

МОСТЫ

10

1963



МОСТЫ

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

10

1963

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭМИГРАНТОВ ИЗ СССР (ЦОПЭ)

BRUCKEN

Hefte für Literatur, Kunst und Politik
Verlag ZOPE, München

BRIDGES

Literary-artistic and social-political almanach
ZOPE Publishing House, Munich

Д. КЛЕНОВСКИЙ

Мы ангелам не молимся совсем,
Мы, с детством распротяться, о них забыли.
Мы лишь тогда дружили с ними все,
Так радостно, так хорошо дружили.

А между тем до Бога далеко,
До ангела же близко. Он порою
И просто и легко (почти рукой)
Коснется нас и нашу жизнь устроит.

Но мы не замечаем и, пойми,
Ему наверно все-таки обидно,
Что вот он здесь, проходит меж людьми,
А им его не слышно и не видно.

Поговорим же с ним хоть иногда,
Его почуя верное соседство,
Без громких слов, без тайного стыда —
На языке утраченного детства.

Д. КЛЕНОВСКИЙ

П О Э З И Я

Когда в ребяческие годы
Я к ней тянулся в полусне,
Она звездою с небосвода
Слетала в комнату ко мне.

И превращалась в легкий шелест,
В сиянье обнаженных рук,
И первой женщиной гляделась
В мой зачарованный испуг.

Теперь, конечно, все иное:
И мне уже не внове ты,
И я давно уже не стою
Твоей нездешней наготы.

Но то, что было, то, что было,
Что звездной тайной обожгло,
Что навсегда душе открыло
Ее второе естество —

Оно запало так глубоко,
Так слито целостно со мной,
Что нету ни конца, ни срока
Для нашей близости земной.

Земной ли только? Знаю, тленье
Стирает сроки и черты,
Но нет тому исчезновенья,
На чьем плече уснула ты!

Я унесу во все скитанья,
В иную жизнь в ином краю
Твое тепло, твое дыханье,
Твое томящее касанье
И тяжесть легкую твою!

1962

Д. КЛЕНОВСКИЙ

Попеременно выли, грохотали,
Сходились, разбегались поезда,
Но не было окна на том вокзале
Без ласточкина гнезда.

И я поверил в смутное преданье
Гласящее издревле, что одна
Из всех созданий рая в час изгнанья
Лишь ласточка осталась нам верна.

Стоял архангел, грозный и разящий,
Но ей была преграда нипочем:
Она метнулась из соседней чащи
И проскользнула под его мечом.

Мы ничего ей дать взамен не можем,
Вот разве этот угол за окном,
Но никогда ее не потревожим
И с каждым маем из Египта ждем.

Крылатый друг, напоминанье рая!
Лети, скользи, черти своим крылом
Тот ломкий путь от края и до края,
Которым мы, блуждая и плутая,
К какой-то трудной истине идем.

1962

БОР. ЗАЙЦЕВ

МОЛОДОСТЬ — БЕЛЫЙ

Царицыно — дачное место под Москвой, по Курской дороге. Недостроенный дворец Екатерины, знаменитые пруды, парк вроде леса. Очень красиво. Сила зелени, произрастание, свежесть и влага. В Москве многие любили Царицыно. Были там и собственные дачи, или — кому особенно нравилось — снимали помещения из года в год у местных жителей, становились как бы летними обитателями Царицына.

— Борю Бугаева отлично помню, — говорила моя жена, в юности тоже царицынская дачница.

— Я была девочкой еще, мы жили в Воздушных садах, около дворца. Дача Бугаевых недалеко оттуда. Боря был светленький мальчик, лет двенадцати, с локонами, голубыми глазами, очень изящный. Прямо скажу даже — очаровательный мальчик. Любил рыбу удить в пруду, так и представляется мне с удочкой, на берегу — пруды там огромные. Мать у него была бледная, красивая, отец — профессор в Москве, чудаковатый какой-то. За Борей присматривала гувернантка. Потом, много позже, я встретила с ним в Москве, он стал студентом и оказывается поэт, пишет «Симфонии», «Золото в лазури». . . Боря Бугаев оказался Андреем Белым!

Отец «Бори Бугаева» математик, крашенный старик с разными причудами — молва о нем шла однородная, вряд ли ошибочная.

Профессора этого не приходилось встречать. Мать Белого я немного знал: блестящая женщина, но совсем иных устремлений — кажется, очень бурных. Так что Андрей Белый явился порождением противоположностей.

На московском Арбате, где мы тогда с женой жили, вижу его уже студентом, в тужурке серой с золотыми пуговицами и фуражке с синим околышем.

Особенно глаза его запомнились — не просто голубые, а лазурно-эмалевые, «небесного» цвета («Золото в лазури»!), с густейшими великолепными ресницами, как опахала оттеняли они их. Худенький, тонкий, с большим лбом и вылетающим вперед подбородком,

всегда закидывая немного назад голову, по Арбату он тоже будто не ходил, а «летал». Подлинно «Котик Летаев», в ореоле нежных светлых кудрей. Котик выхолонный, барской породы.

Он только еще начинал писать. Учился на естественном факультете, печатался в «Скорпионе» (издательство), в журнале «Весы» под началом Валерия Брюсова. Считалось среди молодежи тогдашней, что он «необыкновенный» какой-то — поэт, мистик с оттенком пророчественности и символист (по другим «декадент»). Но не просто декадент, а всем обликом своим являет нечто особенное — не предвестие ли «новой религии»? Видели в нем нечто общее и с князем Мышкиным из «Идиота». Передавали, что в университете вышел с ним даже случай схожий: на студенческом собрании, в раздражении спора кто-то «заушил» его. Он подставил другую щеку.

Ранние его произведения довольно быстро привлекли внимание — насмешливое у старших, сочувственное у молодежи. Лазурь бугаевских глаз в стихах «Золото в лазури» сияла почти ослепительно. Конечно, острее и *духовней* ощущал он свет, чем кто-либо. «Симфонии» показались необычайными и по форме — полулитература, полумузыка. . . Лес, кентавры, беклиновское нечто в «Северной». В «Драматической» синие глаза московской красавицы, Владимир Соловьев, Евангелие от Иоанна — все это несло в туманно-музыкальном вихре.

В то время и он и Блок только еще выходили из-под плаща Соловьева — в «Симфонии» Соловьев с «брадою» своей и в крылатке, развевающейся фантастически, «шествовал» над Москвой в утренних зорях, обещавших и Белому и Блоку некие откровения, «раскрытия».

Все это оказалось призраком, мечтой, на церковном языке «прелестью». И оба оказались — по-разному — но вроде одареннейших лжепророков.

Как бы, однако, об этом не судить, что бы об этом не говорить, о Белом и Блоке в целом, юношеский образ «Бори Бугаева» отгиснут в памяти печалью романтической — прозрачные, чистые краски в нем были тогда. И нечто певуче-летающее, с оттенком безумия.

*

В публике его сразу определили чудаком, многие и смеялись. Все газеты обошло двустипшие из «Золота в лазури»:

Завопил низким басом,
В небеса запустил ананасом.

Это недалеко от брюсовского:

О закрой свои бледные ноги.

Но Брюсов был расчетливый честолюбец, может быть, и сознательно шел на скандал, только чтобы прошуметь. А у Белого это — природа его. Брюсов был делец, Белый — безумец.

Читал стихи он хорошо, в тогдашней манере, но очень своеобразно, как и во всем не походил ни на кого. Некоторые считали его гениальным.

«Литературно-Художественный Кружок» в Москве, богатый клуб тогдашний, часто устраивал вечера. Особняк Востряковых на Дмитровке отлично был приспособлен — зрительный зал на шестьсот мест, библиотека в двадцать тысяч томов, читальня, ресторан хороший, игорные залы. Брюсов был одним из заправил: заведовал кухней и рестораном.

На одном таком вечере выступает Белый, уже небезызвестный молодой писатель.

Из-за кулис видна резкая горизонталь рампы с лампочками, свет прямо в глаза. За рампой, как ржаное поле с колосьями, зрители в легкой туманной полумгле. А по нашу сторону, «на этом берегу», худощавый человек в черном сюртуке, с голубыми глазами и пушистым руном вокруг головы — Андрей Белый. Он читает стихи, разыгрывает нечто и руками, отпрядывает назад, налетает на рампу — вроде как танцует. Читает — поет, заливается.

И вот стало заметно, что на ржаной ниве непорядок. Будто поднялся ветер, колосья клонятся вправо, влево — долетают странные звуки. Белый как бы и не чувствовал ничего. Чтение опьяняло его, дурманило. Во всяком случае, он двигался по восходящей воодушевления. Наконец, почти пропел приятным тенорком:

И открою я полотер-рн-ное за-ве-дение. . .

В ожидании же открытия плавно метнулся вбок, будто планируя с высоты — присел основательно.

Это было совсем не плохо сыграно, могло и нравиться. Но нива ощущала иначе. Там произошло нечто вне программы. Теперь уже не ветер — налетел вихрь и колосья заметались, волнами склоняясь чуть не до полу. Надо сознаться: дамы помирали со смеху. Смех этот, сдерживаемо-неудержимый, веселым дождем долетал и до нас, за кулисы.

«И смех толпы холодной». . . — но дамский смех этот в Кружке даже не смех врагов и толпа не «холодная», а скорее благодушно-веселая. «Ну что же, он декадент, ему так и полагается».

Все-таки. . . — какая бы ни была, насмешка ожесточает. И лишь много позже, с годами, стало ясно, сколько горечи, раздражения, уязвленности скопилось в том, кого одно время считали «князем Мшшкиным».

В 1906-07 гг. кучка молодежи литературной издавала в Москве журнальчик «Зори», а затем газету «Литературно-Художественная Неделя». Объединяли участников родственные черты — некое «русское» (левое) настроение, тяготение к мистицизму и христианству, надежды на зарождавшееся народоправство мирного толка (первые Думы), в литературе и искусстве модернизм умеренного оттенка и не брюсовского духа. Из петербургских молодых писателей у нас печатались Блок, Ремизов, Городецкий. Из московских — Белый.

Все это предприятие оказалось недолговечным, влияния имело мало, во многом было наивным. Все же след, светлый, в наших сердцах остался — искреннее увлечение юных лет, правда некие «Зори».

Белый дал нам статью о Леониде Андрееве. Чуть ли не в том же номере появился какой-то недружественный отзыв о Брюсове.

Брюсов, конечно, разъярился. Белый был постоянным сотрудником «Весов» брюсовских — там была строгая дисциплина — он тоже разъярился (иначе и нельзя было). Как, он, Белый, тогда подчиненный «магу» и «пророку» с Цветного бульвара, сотрудничает у нас?

Встретив где-то П. Муратова, нашего сотоварища, сотрудника по отделу искусства, набросился на него иступленно, поносил и его и нас в выражениях полупечатных. Князь Мышкин вряд ли одобрил бы их.

Муратов, вне себя, прибежал ко мне,

— Он всех нас позорит, оскорбляет. . .

А одновременно появилась и статья Белого в «Весах» против нас, совсем иступленная. Видно было, в каком он запале.

Нетрудно себе представить, что — при нервозности и обидчивости юных литераторов — из этого получилось. Собрались у меня, решили отправить Белому ультиматум.

Написал его я, в тоне резком, совершенно вызывающем. Белого приглашали объясниться. Если он не возьмет назад оскорбительных выражений, то «мы прекращаем с ним всякие как личные, так и литературные отношения». Назначалось свидание в редакции, на квартире В. И. Стражева.

Труднее всего приходилось тут мне. Я был ближе других к Белому лично. Он просто мне нравился — изяществом, своеобразием, даже полоумием своим. Я считал его и большим поэтом, в спорах всегда и со страстью защищал его. Он со мной тоже был чрезвычайно приветлив и ласков. И вдруг — именно он. . . Если бы не Белый, было бы легче, можно бы не обращать внимания. Но он! За нехвальный отзыв о Брюсове! Нет, и горестно, но и спустить нельзя.

В назначенное время собрались в кабинете поэта Стражева: кро-

ме хозяина, Б. А. Грифцов, П. П. Муратов, Ал. Койранский, поэт Муни и я.

Звонок. Появляется Белый — в пальто, в руках шляпа, очень бледный. Мы слегка ему кланяемся, он также. Останавливается в дверях, обводит всех острым взглядом (глаза бегают довольно быстро).

— Где я? Среди литераторов или в полицейском участке?

Можно было любить или не любить нас, но на полицейских мы не походили.

Первая же фраза задала тон. Трудно было бы сказать, про свидание это, что «переговоры протекали в атмосфере сердечности и взаимного понимания».

— В таком тоне мы разговаривать не намерены. Или возьмите оскорбления назад, или же мы расходимся.

Сражение началось. Белый в тот день был весьма живописен и многоречив — кипел и клубился весь, вращался, отпрядывая, на-скакивал, на бледном лице глаза в оттенении ресниц тоже метались, видимо он «разил» нас «молниями» взоров. Конечно, был глубоко уязвлен моим письмом.

— Почему со мной не переговорили? Я же сотрудник, я честный литератор! Я человек. Вы не мое начальство. Я мог объяснить, это недоразумение. А меня чуть не на дуэль вызывают. . .

Я не уступал.

— Мы только тогда начнем с вами разговаривать, когда вы возьмете назад слова о нашем сотоварище и о нас.

Он кричал, что это возмутительно. Я не подавался ни на шаг. Наконец, Белый вылетел в переднюю, я за ним. Тут вдвоем у окна мы разыграли заключительную сцену, вполне достойную кисти Айвазовского.

Мы пожимали друг другу руки и уверяли, что «лично» по-прежнему друг друга «любим», в литературной же плоскости «разошлись» и не можем, конечно, встречаться, но «в глубине души ничто не изменилось». У обоих на глазах при этом слезы.

Комедия развернулась по всем правилам. Мы расстались «друго-врагами» и долго не встречались, как будто даже раззнакомились. (Издали, после страшных прожитых лет, это кажется смешными пустяками. Но тогда переживалось всерьез).

И уже много позже, в светлой, теплой зале Эрмитажа петербургского, около Луки Кранаха случайно столкнулись — нос с носом. Прежние глупости растаяли. Белый засиял своей очаровательной улыбкой, чуть мне в объятия не кинулся. В ту минуту зимнего северного дня, рядом с великой живописью так, вероятно, и чувствовалось. Неправильно было бы думать, однако, что на зыбком песке

можно что-нибудь строить. Нынче мог Белому человек казаться приятным, завтра — врагом.

Весь он был клубок чувств, нервов, фантазий, пристрастий, вечно подверженный магнитным бурям, всевозможнейшим токам и разные радиоволны на разное его направляли. Сопротивляемости в нем вообще не было. Отсюда одержимость, «пунктики», иногда его преследовавшие.

Одно время это были «издатели». Все зло от издателей. У них тайный союз, чтобы погубить русскую литературу. Их союзником оказался Георгий Чулков. Белому представлялся он мистическим персонажем, как таинственная птица пронесившимся над Россией, воплощавшим в себе. . . — не помню уже что, но весьма не украшавшее. Много сердился тогда этот левый человек, тут в согласии с Пуршкевичем, и на евреев.

Не знаю, была ли у него настоящая мания преследования, но *вблизи нее* он находился. Гораздо позже я узнал, что в 14 году, перед войной, ему привиделось нечто на могиле Ницше, в Германии, как бы лжевидение, и он серьезно психически заболел (книга Мочульского).

*

Вблизи Спасских ворот, наискосок вниз от памятника Александру II, была в Кремле церковка Константина и Елены. Она стояла уединенно, как-то интимно и поэтически, близ Москва-реки и стены, в осенении деревьев — к ней и добраться не так просто.

Одну пасхальную заутреню встречали мы в ней с Андреем Бельмым (уже после примирения). Ночь была сырая и туманная, палили пушки, толпа в Кремле, иллюминация — Иван Великий высвечивает золотым бисером, гудят «сорок сороков» торжественным, веселым гулом.

Белый был очень мил, даже почти трогателен — мы христосовались, побродили в толпе, а потом отправились к общему нашему приятелю С. А. Соколову («Грифу», поэту, издателю раннего Блока), разговляться.

Легко можно себе представить, что такое были розговены в Москве довоенной, даже не в Замоскворечье, а в доме литературно-интеллигентском: пасхи, куличи, окорока, цветные яйца, возлияния — все в размерах внушительных, в духе того веселого беспорядка, мирной сытости, что вообще уже стало легендой, а тогда стояло на краю пропасти.

У Грифа квартира была небольшая. В длинной и узкой столовой, за пасхальным столом все мы и разместились — литературная молодежь того времени. На одном конце стола Гриф, на другом жена его, артистка Лидия Рындина. Христосовались, смеялись, ели,

пили. В середине, напротив меня, сидел Белый, за ним гладкая стена.

Сначала все шло отлично. Хозяева угощали, пили за гостей, мы поздравляли друг друга, уплетали пасху, куличи. . . Но в некий момент тон изменился. Белого стал задирать Александр Койранский — критик, художник, остро слов — всегда он Белого не весьма чтил, а тут и вино поддержало. Белый начал волноваться, по русскому обыкновению разговор скакнул с пустяков к серьезному. Смысл бытия, назначение поэта, дело его. . . Койранский подзуживал, разговор обострился.

И вот Белый впал в исступление. Он вскопчил, начал некую речь — исповедь-поэму:

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел,
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.

Последняя строчка стихотворения этого (ему принадлежащего) и была, собственно, главным звуком выступления. Тут уже и Койранский и все мы умолкли. Белый прекрасно, с трагической силой и пронзительностью изображал горечь, незадачливость и одиночество жизни своей. Непонимание, его окружавшее, смех, часто сопро-вождавший —

Не смейтесь над мертвым поэтом,
Снесите ему венок.
На кресте и зимой и летом
Мой фарфоровый бьется венок.

.
Пожалейте, придите;
Навстречу венком метнусь.
О, любите меня, полюбите,
Я быть может не умер, быть может проснусь,
Вернусь. . .

Да, то же рыдательное, что и в лучших его стихах — будто сложная и богатая, на горестную сумятицу и неразбериху обреченная душа томилась перед нами. Что страннее всего: в Святую ночь! Когда особенно дано человеку почувствовать себя в потоке мировой любви, единения братского. А он как раз тосковал в одиночестве. Пустой вихрь жизни, раны болят, — но пустынный внутренняя вообще была ему свойственна. Нечто нечеловеческое было в этом удивительном существе. И кого сам-то он любил? Кажется, никого. А груз чудачества, монструозности утомлял.

Фигура его металась на фоне стены, правда, как надгробный ве-

нок в ветре. Вдруг он раскинул руки крестом, прижался к стене спиной, совсем побледнел, воскликнул:

— Я распят! Я в жизни распят! Вот мой путь. . . Все радуются, а я распят. . .

Расходились поздно, туманным утром. Быть может, Александр Койранский и не так был доволен, что распалил Белого.

*

Большая публика не принимала его, но восторженные поклонники у него были. Позже примкнул он к антропософскому движению — приобрел и там верных почитателей.

В те предвоенные годы вышли книги его стихов «Пепел» и «Урна». Как и «Золото в лазури» это, пожалуй, лучшее, что он написал. Некоторые звуки его стихотворений и теперь пронзают и будут пронзать. (Одно было посвящено мне: «Века текут. . .» но в позднейшем берлинском издании Гржебина он это посвящение снял, несмотря на встречу в Эрмитаже).

Дал и романы: «Серебряный голубь» — детская и лубочная вещь, и «Петербург» — безвоздушная фантазмагория. Много кипел, выступал, ссорился, ожесточался. Имя его приобрело известность, но довольно странную. Во всяком случае, боевую.

Вот небольшой образец этой «боевой» его деятельности.

Читает он в Литературно-Художественном Кружке. Начинаются прения, выступает среди других некий беллетрист Тищенко, тем известный, что Лев Толстой объявил его лучшим современным писателем. Этот Тищенко был человек довольно невидный, невзрачный, невоенственный. Как вышло, что он разволновал Белого, не знаю. Но спор на эстраде, перед сотнями слушателей, так обернулся, что Белый вдруг взвился и «возопиял»:

— Я оскорблю вас действием!

К нам, заседавшим наверху, в ресторане Кружка, известие это дошло вроде того, как в деревне передают, что загорелась рига.

— Борис, Борис, скорей, там скандал!

Бросились тушить. Но было уже поздно. Из-за кулис вовремя задернули занавес, отделив публику (Белым возмущенную) от эстрады. Зал кипел, бурлил. «Безобразия!» «Еще поэтами называются» . . .

На большой лестнице картина: спускается Андрей Белый, в полюбморочном состоянии. Кругом шум, гам. Бердяев и моя жена поддерживают его под руки, он поник весь, едва передвигает ноги. Одним словом Пьеро, и сейчас, как в «Балаганчике», из него потечет клюквенный сок.

Внизу его одели и увезли. Завтра дуэль. Вернулись мы из Круж-

ка на рассвете, условившись с Сергеем Соколовым утром быть уже у Белого — секунданта не секунданта, а вроде того.

Часов в десять явились к нему в Денежный (близ Арбата, мы все жили в тех краях). Белый был действительно совсем белый, почти в истерике, не раздевался, не ложился, всю ночь бегал по кабинету.

Бысокая, великолепная его мать спокойнее, чем мы и «Боря», отнеслась к происшествию. И оказалась права. Излившись перед нами как следует, Белый признал, что вчера перехватил.

Приблизительно говорилось так:

— Тищенко — ничего! Это не Тищенко. Тищенко никакого нет, это личина, маска. . . (Степун в блестящей статье о Белом называет самого Белого «недовоплощенным фантомом» и как бы сомневается в существовании его, как человека).

— Я не хотел его оскорблять. Тищенко даже симпатичный. . . но сквозь его черты мне просвечивает другое, вы понимаете. . . сила хаоса, темная сила, вы понимаете. . . (Белый закидывает назад голову, глаза его расширяются, он как-то клокочет горлом, издает звуки вроде м-м-м. . . — будто вот они, вокруг, эти силы). Враги воспользовались безобидным Тищенкой. . . он безобидный. Карманный человек, милый карлик, да я даже люблю Тищенку, он скромный. . . Тищенко хороший.

Одним словом, оказавшись тут под рукой Тищенко, Белый кинулся бы его целовать, плакал бы на его груди. А через час мог опять возненавидеть, объявить носителем мирового зла.

По нашему настоянию Белый написал письмо-извинение, Соколов и передал его куда надо. До свинца дело не дошло. А о скандале. . . поговорили и забыли.

*

В самые страшные годы России вспоминается Белый более мирно.

Как будто ни с кем не ссорился. Увлекался антропософией, в Петербурге выступал в «Вольфиле», в Москве жил одно время во «Дворце искусств».

Этот «Дворец» — дом гр. Соллогуба на Поварской, у Кудринской площади. Старый дом прославлен «Войной и миром». Там, где Наташа носилась резвыми своими ножками, поселился поэт Рукавишников — его избрал главой «дворца» Луначарский. Во «дворце» читались какие-то лекции, выступали товарищи, кажется, была и столовая, кое-кто поселился. Среди них — Белый, куда и позвал меня к себе в гости.

Он всегда был, с ранних лет, левого устремления. Что-то в революции ему давно нравилось. Он ее предчувствовал, ждал. Когда

она пришла, *огень* многое в ней принял. В те годы (20-21), всего ближе был к левым эсерам, разным «Скифам» (как и Блок). Белый не так страдал морально от революции, как мы, и уживался с нею лучше. Все же антропософия уводила его в сторону. Духовные начала движения этого уж очень мало подходили к уровню «революционной мысли», к калмыцкому облику Ленина.

Не без волнения шел я, в сумерках зимнего дня, по старым, благородным залам, комнатам, коридорам и закоулкам соллогубовского дома. Он построен «покоем» с боковыми крыльями, обнимающими просторный двор (подводы с вещами Ростовых, бегущих от Наполеона... Раненый князь Андрей в коляске своей... Великая слава России).

В больших окнах, до полу, мелькнул этот двор. Из залы можно было выйти на балкон перед колоннами, — а там дальше опять плакаты с расписанием лекций.

Белый встретил меня очень приветливо, где-то вдвали, в своей комнате, выходявшей окнами в сад. Он был в ермолочке, с полуседыми из-под нее «клочковатостями» волос, такой же изящный, танцующий, приседающий.

Комната в книгах, рукописях — все в беспорядке, конечно. Почему-то стояла в ней и черная доска, как в классе.

... Не то Фауст, не то алхимик, не то астролог. Очень скоро, конечно, разговор перешел на антропософию, на революцию. Может быть, с «убийцей Мирбаха» он говорил бы иначе, но со мной стал почти на мою позицию — тут помогала ему и его антропософия.

Теперь и доска оказалась полезной. Он на ней быстро расчертил разные круги, спирали, завитушки. Мир, циклы истории послушно располагались по волютам спирали. Он объяснял долго и вдохновенно — во всяком случае, это было редкостно, менее всего заурядно, почти увлекательно. Белый вообще был отличный оратор-импровизатор, полный образности и красок. Но постройкой не владел — вообще всегда *им* что-то владело, а не *он* владел.

Разумеется, понял я четверть, может быть — треть, самое большее. Астролог же и зуритмик вытанцевывал неумоимо и убедительно. Надо даже сказать, что в соллогубовском этом доме не было в нем обычного иступления. Скорее фантастика успокаивающая. Снег синел в саду, скоро спустится зимняя московская ночь. Граждане выйдут воровать заборы. Иногда слышны будут выстрелы. Глаза Белого сияют, он откидывается назад, взор соколиный, в горле радостное клочкотание м-м-м... На слушателя это хорошо действует.

— Видите? Нижняя точка спирали? Это мы с вами сейчас. Это нынешний момент революции. Ниже не спустится. Спираль идет кверху и вширь, нас выносит уже из ада на простор.

Спираль долго еще выносила Россию на простор — море детских и юношеских гробов, море концлагерей, сотни тысяч погибших, раскулаченных. . . но мы с Белым в тот вечер искренне думали, что вот уже кончается Голгофа: наверно потому, что *хотели* этого. Спираль же украшала желание.

*

В 1921 году отъезд Белого за границу, прощальный вечер у нас в Союзе писателей на Тверском бульваре, в Доме Герцена. Некая нелепость ранней полосы революции: правительство дало нам особняк, мы устроились там довольно основательно, коммунистов же в Союз никаких не принимали. Ни одного коммуниста у нас не было.

В напутственном слове Белому можно было еще сказать:

— Дорогой Борис Николаевич, передайте эмиграции, что литература в России жива. . .

Много прошло лет, а и сейчас чувствую, как спазма сдавила мне горло, надо было сделать усилие над собой, чтобы докончить:

— И никогда. . . никому. . . ни за что не уступит своей свободы.

Говорил я от лица Союза, как его председатель. Белый сидел за столом напротив меня — в зале стало мертвенно тихо. Прекрасные его глаза расширились, весь он напрягся, что-то пролетело, метнулось, будто живая птицеобразная душа без слов сказала. А потом он вскочил.

— Да, скажу, скажу. . .

В ту минуту, быть может, так и думал. Но сомнения нет, что сев в вагон, все сразу же и забыл.

Через год встретились мы уже в Берлине, для нас в «новой жизни», для него это был эпизод: скоро возвратился он в Россию.

Берлинская его жизнь оказалась вполне неудачной. Берлин как бы огрубил его. По всему облику Белого прошло именно *серое*, берлински-будничное, от колбасников и пивнушек, где стал он завсегдаем. Лысинка разрослась, руно волос по вискам поседело и поредело, к концу он несколько и обрюзг, от эмалевой бирюзы арбатских глаз, глаз его молодости, мало что сохранилось. Они сильно выцвели, да и выражение стало иное. Он походил теперь на незадачливого, выпивающего — не то изобретателя, не то профессора без кафедры. Характер сделался еще труднее. С одной стороны — был он антропософом и в этом направлении даже переделал (очень неудачно) свои прежние стихи, вышедшие в Берлине, строил даже в Дорнахе антропософский храм, Гетеанум. Потом вдруг накинулся на Рудольфа Штейнера с яростью:

— Я его разоблачу! Я его выведу на свежую воду!

И вот из Берлина, являвшегося ему обликом мучительной пустоты, решил опять бежать в Россию. (И опять я согласен со Степу-

ном: что он любил, собственно? Россия для него такой же призрак, как и все вообще).

Его пустили.

На прощанье жена моя повесила ему на грудь образок Богоматери и сказала:

— Не снимай, Борис. И помни: будешь в Москве, поклонись ей, и Родине нашей поклонись. И не вешай на нас, на эмиграцию, всех собак!

Он помахивал лысо-седой головой, бормотал:

— Да, я поклонюсь. Да, Вера, я не буду вешать на вас собак! Я уважаю берлинских друзей. Даже люблю их. Я буду держать себя прилично.

Он уехал в Россию в плохом виде, в настроении тягостном. Не знаю точно, что говорил там об эмиграции, о «берлинских друзьях» (с одним из которых, Ходасевичем, успел поссориться еще в Берлине, на прощальном обеде в русском ресторане). Кажется, говорил, что полагается. Обвинять его за это тоже нельзя. Есть, пить надо. И в концлагерь мало кому хочется.

Но в России революционной все же не преуспел. Видимо, оказался слишком диковинным и монструозным.

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел...

Да, в Крыму, в Коктебеле. Жарился на солнце, настиг его солнечный удар.

И лишь в самое последнее время дошла до меня весть, что на пораженном «солнечными стрелами» нашли тот образок, который Вера повесила ему на грудь в Берлине.

Богоматерь как бы не покинула его — горестного, мятущегося, всю жизнь искавшего пристани.

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

«Островом стать может каждый».
Имп. Елизавета Австрийская

— «Островом стать может каждый!»
Это сказала однажды
В час огорченья и гнева —
Странствований королева —
Елизавета Австрийская.

«Островом стать может каждый. . .»
Островом? Что это значит?
Сердце вздыхает и плачет,
Слезы по ветру летят
И улетают назад
Брызгами волн океанских
На океанское дно.

Знать никому не дано
То, что судьбой суждено.
. . . Нож. И смертельная рана.

Стройность прекрасного тела,
Нежная прелесть лица. . .
Плана она не имела,
Счастья найти не умела
В долгих скитаньях своих,
Вечно томимая жаждой
Дальних, чужих горизонтов,
Очень боялась конца.

И умерла не поняв, не заметив,
Что умирает.

— Может ли каждый
Островом стать?

Вряд ли мне это удастся узнать.

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

Как этот летний вечер тих,
И как прелестно умирает
Тень облака иль ангела
У ног твоих,

Но ты не смейся. Может быть
Тень эта, попросту, моя:
В ином нездешнем измереньи
Я облако и ангел я.
Я облако и нежно таю,
Я ангел твой. Я улетаю
И возвращаюсь каждый день
Домой.
А здесь я только тень.
Тень облака и ангельская тень.

Иль нет, постой —
Я только отраженье,
Я только тень от тени
Того, чем невозможно быть
Здесь на земле.

И разве я живу и существую?
Я только снюсь тебе,
Я только снюсь самой себе.

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

Я живу день изо дня
Океански одиноко,
И не знаю отчего
Нет ни одного
Друга у меня.

И казалось, что грустней,
Безнадежней и темней
Горестной моей судьбы?

Ну, а вот пойдя,
Бьется радостно в груди
Сердце.

Если б, если б да кабы
Улететь бы мне в Америку,
В Тегеран, на Арарат,
В Индию, в Китай и к Тереку,
И в Москву и в Петроград,
Чтобы встретиться с тобой.

Друг далекий, друг и брат,
Где бы не жил ты на свете
На одной со мной планете,
Разве встрече ты не рад? —
Нашей встрече долгожданной,
Нам обещанной с тобой
Нашей общею судьбой?

Ты читаешь строки эти,
Ты в глаза мои глядишь,
Сонно закрываешь веки —

Остальное свет и тишь,
Как в раю —

навек,
навек.

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

«Звезды, звезды, откуда такая тоска!»

А. Блок

У зеркального пруда
Белая томится лилия.
Кто занес ее сюда,
В мировое одиночество?
Адрес, возраст, имя, отчество
и фамилия. . .
Одиночество мое,
одиночество твое,
Наше, ваше, их
одиночество.

Вечер благостен и тих,
В небе празднично-прозрачном
Первая зажглась звезда,
А за ней вторая, третья,
Сотни, миллиарды звезд.

Звезды — древнее пророчество,
Музыка астрологическая
И тоска,
тоска магическая —
«Звезды, звезды, откуда такая тоска!»
Кто услышит, кто опишет
Одиночество звезды!

Летний ветер жарко дышит
И доносит голоса
Космонавтов.

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

В городском саду,
В теплом свете дня,
Лирою скользит
Лебедь на пруду.

— Подожди меня
Возле тучи той,
Как верблюд горбатой.

Подожди меня
И побудь со мной
До заката.

Л. РЖЕВСКИЙ

НАЧАЛО РОМАНА

1

— Послушайте... — сказал лежавший на соломе тем глухим, отрешенным голосом, которым говорили все смертники в этом жутком бараке. — Вы, может, решились бы попробовать сами... вместо меня?

Вероятно от этого голоса, потрясавшего сильнее воплей и слез, смысл вопроса дошел до П. не сразу, но лишь в повторах, перекатами, как эхо в горах:

«Вы, может, решились бы попробовать сами... вместо меня?»

«Сами... вместо меня?»

«Вместо меня?..»

Он вздрогнул.

Уж много позже, когда этот вечер, нары, лицо в усах и бородке, почти не ведавших бритвы, так отчаянно напоминавшее лицо Христа, стали давнопрошедшим, — П. не мог вспомнить без внутренней дрожи вдруг овладевшего им смятения. «Попробовать» означало бежать! Бежать из этого лагеря смерти, воспользовавшись тем невероятным сплетением случайностей, которое до начала оканной войны могло встретиться разве только в авантюрных романах; которое принадлежало этому юноше-лейтенантику, умиравшему от трамвы плена, истощения и поноса, и которое умирающий хотел перепоручить ему, П.

Бежать! Безумная мысль!

Безумная ли?..

Ему стало жарко. Понадобилось мощное, почти мускульное усилие воли, чтобы заглушить возникший вдруг внутренний, такой неуместный сейчас диалог, оборвать смятенную паузу. Она повисла над полусосвещенным кусочком нар почти мистическим пятном тишины среди стонов и хрипа, дыханий и шорохов, наполнявших барак.

— Вы не должны падать духом, Павлик, — сказал он. — Все образуется.

— Это назначено уже на послезавтра, вы же знаете. . .

— Это можно отсрочить. Пока вы не поправитесь.

— Вы же знаете, что я не поправлюсь, П.

В глазах, уставленных на него, в полумраке слившихся с запавшими глазницами и похожих на две черных проруби, затягивающихся ледком, была та же, что и в голосе, отрешенность, запрещающая невесомые слова. П. почти судорожно искал и не находил подходящих. . .

— Нагнитесь ко мне, нас слушают. . . — попросил юноша (в ворошившихся по сторонам и с нар напротив потемках угадывались настороженные лица и головы). -- Со мной — все. . . — зашептал он, отдавая П. жаром горячего дыхания и раскаленных щек, каким-то невыразимо домашним жаром больного ребенка, и от этого неожиданного в смрадном бараке ощущения домашности у П. защипало в носу. — Пожалуйста, ничего не говорите. . . Я приготовился. Я только хочу — письмо. . . Несколько только слов на обороте этой самой записки, вы видели. . . Не могу, не могу представить, что вот — конец, сволокут тебя в яму, и она не узнает. . . Ведь это невыносимо, что не узнает. . .

— Хотите продиктовать?

— Нет, я сам!

— Пишите, конечно, мы доставим!

— Но почему «мы»? Почему не вы лично? . . И все рассказать. . . П., ради Бога. . . — Он попытался подняться, но скользнул локтем по соломе и упал на спину, мучительно вытягивая тонкую шею, чтобы удержать на весу голову.

— Успокойтесь, Павлик. Мы все обсудим.

— Ведь послезавтра она будет ждать меня там. . . — продолжал юноша жалобным шопотом. — Ждать! ждать! ждать! . . И вы бы могли. . . П., милый, обещайте хотя бы подумать.

— Я подумаю.

Больной опустил голову на изголовье и закрыл глаза.

В глубине барака кто-то застонал в голос. По узкой траншее между нарами прошел санитар, размахивая «летучей мышью». Рыжеватое полотнище света плеснуло по иконописному лицу в пергаментно натянувшейся коже, выхватило две стремительных струйки серого пара из выострившихся узких ноздрей. У него жар! — думал П. — Какая трагедия заключена в трех безразличных словах: «ничего нельзя сделать». . . И неужели эта трагедия может так коснуться меня? Гибель этого мальчика и этот его фантастический план. И так вдруг, как снег на голову. . . Силы небесные! Кажется, это уже проникло в меня, и теперь, если б и захотел, не мог бы об этом не думать! . .

Стоны в конце барака оборвались. Санитар, все так же болтая фонарем, стал пробираться обратно. Клинья рыжего света сдергивали по пути темноту, и она откатывалась, как волна с плоскодонья, обнажая щелястые доски нар, ноги в сапогах, ноги в портянках, скрюченные под шинелями полузарывшиеся в солому тела. Поравнявшись с П., сидящим на краешке нар, санитар перестал болтать фонарем, почтительно, чтобы не задеть, обошел, косясь на белую нарукавную повязку, отмечавшую лагерных переводчиков.

Больной снова открыл глаза.

— Расскажите про Пронина. . . Ведь это он поручил вам меня опекать?

— Ну, конечно, он, Павлик. Вы же знаете.

— Это ему удалось? Позавчера?

— Ведь я уже рассказывал, Павлик.

— Расскажите еще. . . — Он почти метался теперь на соломе, рывками закидывая то в одну то в другую сторону голову на беспомощной, в стелек исхудавшей шее. Кажется, ему трудно было дышать. Он притих, когда П. начал послушно:

— Его включили в команду, которая чинила шоссе. Это почти в километре от города. Шоссе там на насыпи, с северной стороны вниз небольшая круча и тотчас же подлесок, довольно густой. Пятнадцать человек, три конвоира. Он выбрал момент, когда начали собираться на обед. Все закоченели, ветрище. . . Стали с немцами пересчитывать инструменты — не забыли ли чего, — он прыгнул с обочины и побежал. Покуда конвоиры очухались, был он уже метрах так в сорока, не меньше. Они ведь здесь из запаса, народ небойкий. Ребята рассказывают: один пустился было догонять — споткнулся, покатился кубарем вниз. У другого затвор заело. Третий начал стрелять. Бах! — Мимо. Бах, бах! . . . — это когда Пронин уж до самой опушки добрался, два шага оставалось. . . Опять мимо! . . .

П. поймал себя на том, что, уже в третий раз описывая Павлику побег Пронина, неизбежно и против воли делает перед этим «опять мимо», остановку, которую именно в этом месте делать не следовало. Потому что третья пуля достала-таки беглеца. Он упал. Правда, через несколько секунд снова поднялся, побежал, припадая на бок, и пропал за частым молодняком и кустарниками еще до очередного выстрела. Но был ранен — тяжело или нет, об этом по-разному отвечали и спорили пленные из шоссеинной команды, которых расспрашивал П. «В плечо, не то под лопатку. . . Может, шагов с десятка потянул еще по лесу — и каюк. . . завалился!» Пессимизм в отборе вариантов был у пленных естествен, но самому П. верить в «каюк» не хотелось — завалившийся на обледенелый кочкарник

Пронин неизменно поднимался в его воображении и, зажав рукой раненое плечо, шагал и шагал вперед. . .

— Да, так вот и ушел. После все трое открыли огонь, но уже по лесу, в белый свет как в копеечку. . . — кончил П. и искоса взглянул на слушателя.

Он как будто дремал. Санитары подвесили теперь «летучую мышь» где-то посередине барака к потолку. В жидком добиравшемся до нар свете крупно и выпукло желтели веки, обтянувшие яблоки глаз, под ними чернела тень от ресниц, юношеского мягкого взмаха которых не могла искалечить болезнь, и полуоткрытый рот.

— Вы спите, Павлик?

— Нет, я припоминаю. Когда Пронин пришел сюда с вами прощаться, он сказал... Вы помните, он сказал: «И ты, Павлик, скоро следом за мной. Свидимся, не сдавай!» Помните? Вот как ошибся...

— Совсем неизвестно, ошибся ли. И я еще раз говорю: не впадайте в панику. Стыдно!

— Когда вы рассказывали, — продолжал юноша, не слушая, — мне вдруг представилось, будто мы с Прониным сидим в ресторане, в Москве. . . И пьем красное вино. Я даже почувствовал его вкус во рту. . . Если бы мне. . .

— Что, Павлик?

— О, П.! Если бы мне глоток красного вина! Один хотя бы глоток. . . — он снова заметался по изголовью.

— Плохо дело! — сказал чей-то голос с нар.

— Подождете меня спокойно? — спросил П., поднимаясь. — Я только сбегая в Управление.

— Вы уходите, П.?

— Я, может быть, достану вам вина. И таблеток.

— Не уходите, пожалуйста. Я должен объяснить. . . Вы знаете: это приходится как раз в день моего рождения. . .

— Я сейчас же обратно, Павлик. Еще до отбоя. . .

В нише против выхода из барака двое санитаров на корточках раздували буржуйку. Третий, с отекившим лицом и монгольскими усиками, курил, вороша носком сапога наваленные кучей сосновые чурки.

— Кто у вас старший?

— Вроде как я, господин переводчик. Что прикажете?

— Присмотрите-ка за лейтенантом, пока я за лекарством схожу. Вода в головах, в котелке. И чтобы не слишком раскидывался.

— Будет исполнено, господин переводчик. Позаботимся!

— Они позаботятся. . . — принеслось вдруг из потемок вместе с соломенным шорохом и липким зловонием, вдруг потянувшим в

лицо. — Помереть человек не успеет — поскорей норовят раздеть да на свалку.

— Последнюю пайку несчастную ополовинивают. Ряжки растят. . .

— Не слушайте их! — перебил санитар с монгольскими усиками, забегав глазами. — Народ вздорный, прицепливый, на них не потрафишь. Не беспокойтесь, все будет в порядке. . .

2

Лагерь за дверью окутывала ноябрьская морозно-скользящая тьма, шевелящаяся, как копоть, сквозь которую желто-бурыми кляксами сквозили кое-где окна конюшен-бараков (раньше здесь стоял кавалерийский полк). Клякса поярче, шагах в двухстах наискось, растекавшаяся рыжим стрелчатым диском, — был фонарь у дверей Управления, куда надо было П. Там помещалась «ваха», дежурил переводчик из немцев и жило с полдюжины русских врачей. С глухим рассыпчатым треском лопался под ногами выпивший мелкие лужи ледок. П. шагал, с наслаждением выдыхая из легких смрад барачного воздуха. И с каждым свежим глотком — ощущал он со страхом — оживала и ширилась в нем только что пережитая у нар с умирающим дрожь, столь же тревожная, сколь и счастливая, — дрожь предстоящего решения, осторожного и покорного, или — отчаянного, может быть и безумного, как прыжок в пропасть, когда за тобой погоня, с двумя-тремя шансами из ста не разбиться и уцелеть. . .

«Вы, может, решились бы попробовать сами. . . вместо меня?»

«. . . вместо меня?»

«Плохо дело!» — сказал чей-то голос с нар.

«Да, с Павликом плохо», — повторил про себя П. — «Очень плохо» . . .

— Zu den Ärzten! — кинул он часовому в огромных, похожих на двойной постамент, сплетенных из соломенных жгутов опорках, топтавшемуся у освещенного входа.

За столом, окруженным, как ринг, немецкими двухэтажными койками, четверо пленных врачей сражались в домино. Под свисавшей на шнуре лампочкой блестела выложенная зигзагами змейка очкастых костяшек.

— Привет медработникам! — сказал П., щурясь от света. — Простите вторжение, но срочно требуется хотя бы одна таблетка от жара, либо от бессонницы.

— А жареных рябчиков с брусничным вареньем не требуется?

— спросил один из помощников смерти протодьяконским басом.

— Не так круто, коллега! — вступился второй, в очках, заматанных тонкой бечевкой по соединительной дужке; с этим врачом П. почти подружился за последнюю неделю, заходя в лазаретный барак. — Я знаю: П. сейчас — от моих смертников. Там у него подопечный. Ну как, еще держится?

— Скверно. Жар...

— Значит, конец. Я его, этого вашего паренька, утром осматривал. Понос поносом, но — дистрофия! Организм истощен вдребзги и отравлен. Поместите его сейчас в лучший санаторий — все равно не спасете.

— Ну, если не спасти, то хоть облегчить как-нибудь конец...

— Так ведь нечем, дорогой! От таблеток у нас давно только воспоминание. Да чего там — таблеток! Термометр один на полтыщи больных, друг другу выдаем под расписку...

— За таблетками к немцам ступайте! — рыкнул бас, загоразживая горстью от соседа свой расставленный частоколом игральный запас. — Их там у каждого полный набор. Верят в них, как шаманы.

— Не знаете, кто сегодня дежурный?

— Да будто зондерфюрер Даль, ваше начальство. Вот у него и спытайте...

3

Даль (Александр Даль, зондерфюрер) был из балтийских немцев. От русской матери, и эта смесь кровей отложилась в его натуре причудливо перемежающимися пластами: русские поговорки, русская жалостливая доброта и остзейская чванливость, очень может быть, что и конъюнктурная — он натурализовался совсем недавно. В лагере занимался он приемом новых партий, а в свободное время весьма даже самоотверженной благотворительностью: ему удавалось иной раз освободить кое-кого из пленных, из гражданских, попавших под благоприятные в этом смысле параграфы. В помощники себе он выбрал П.

Даль панически боялся вшей, поэтому, когда П. постучался, быстро прошел навстречу и, хотя и впустил его в комнату, но во все время беседы держал у дверей, как бы очертив мысленно лишь самый необходимый — как стоять — краешек пола, который потом непременно протрет карболкой.

— Что-нибудь случилось? — спросил он тревожно, похожий в своей в дудочку обтянувшей его униформе на престарелого пажика у дверей дворцовой опочивальни.

— Нет, ничего, у меня только просьба...

— Таблетки для сна — можно, конечно, — сказал Даль, выслушав, и полез в карман френча. — Одну минуту... Вот! Две... А вино невозможно совсем. Нет у меня сейчас, и помимо всего нам строго запрещено давать что-нибудь пленным из своего рациона. Никогда не рекомендую вам обратиться с такой просьбой к немецкому офицеру, — добавил он почти уж и вовсе надменно, повытянувшись во весь свой узкий маленький рост, но тут же вдруг смяк и затормошился:

— Вот сигареты могу. Это свои, рижские, из дома... Берите пять штук. Берите, пожалуйста. Я знаю, вы не курите, но ведь можно обменивать... для этого же вашего больного. А вообще это очень хорошо, что вы явились. У меня дело к вам. Понимаете: пришло сразу несколько прошений от этих... Ziwilbevölkern, насчет освобождения. Надо сыскать. Сейчас я — фамилии...

Он просеменил за письменный стол с выложенными по линейке стопками папок. На большой немой, школьной должно быть, карте Европейской России, висевшей над столом, заметалась смешно удлиненная тень узкой его головы. Поверх П. заметил строй воткнутых в карту флажков, тоже слегка трепетавших тенями, похожих на журавлиный косяк, летящий на север. Флажок головной, оторвавшись от прочих, торчал впритык к заштрихованному многоугольнику, подле которого неровными чернильными буквами написано было Moskau.

Порядком повозившись, Даль принес список и бланки.

— Вот. Надо разыскать и опросить. Если удастся. Сам я, вы знаете, избегаю заходить в эти конюшни.

— Я постараюсь.

— Да, трудное время. Тиф, голод... И никаких резервов. Крестьяне нищие, в городе даже базара настоящего нет, все в развалинах, как вам известно. Впрочем, вы, вероятно, из лагеря ни разу не выходили?

— Нет, не пришлось.

— А между тем что-то следует делать. Под лежащий камень, как говорится, вода не течет. Ну, посмотрим. Сейчас более вас не задерживаю.

— Еще один вопрос, господин зондерфюрер, — обернулся П. уж с порога (припоминая впоследствии разговор, он готов был поклясться, что вопрос этот задал какой-то в т о р о й П., как бы из-за угла подстерегающий первого). — Вы не возражаете, чтобы я раз включился в какую-нибудь городскую команду?

— В городскую команду? Но, господин П., вы же знаете: вы мне нужны здесь.

— На один какой-нибудь день. Только чтобы посмотреть город.

— Гм. . . Но какой же день? Впрочем вот: у нас завтра Zugang*), и, если вы все же справитесь с этим опросом пятерых, могу отпустить вас на послезавтра.

— На послезавтра?

— Ну да, если желаете. Послезавтра я еду в штаб и вы мне тут не понадобится. Ступайте теперь, и, если остановит патруль, скажите, что задержал вас я. . . Доброй ночи!

4

«Послезавтра! . . . Послезавтра». . . — твердил П., шагая мимо оранжево освещенного часового в спорках. Послезавтра! Что это — еще одно совпадение или подсказка судьбы? П о с л е з а в т р а ! Слово было объемно и протяженно, наматывалось, как нить без конца, на хлипкий стерженек еще только брезжившего решения, при одной мысли о котором екало и щемило в груди. Послезавтра!

«Это назначено на послезавтра». . .

«Это можно отсрочить». . .

Этого нельзя отсрочить! И Боже мой! — неужели он действительно прозевал отбой, и патруль может помешать ему добраться до Павлика?

Как в ответ, впереди — льдистый треск под шагами, электрический, в молочных ресницах, набегающий глазок и окрик:

— Halt! Wer ist da?

— Переводчик от зондерфюрера Даль. Иду в санитарный барак.

— Verboten ab sechs abends. Erst morgen. . .

— Мне только лекарство передать для больного.

— Verboten! — повторил подходя солдат, закутанный с головой в плащпалатку и шерстяное тряпье. За ним в темноте сопел, перепрыгивая с ноги на ногу, его напарник.

— Вы понимаете: только лекарство! — настаивал П., повысвобождая в кулаке, чтобы не раскрошить, таблетки. — Человек может умереть. . .

— Verflucht nochmal! . . . Warte einen Augenblick, Hans, ich bring' den Kerl nach Hause. . .

«Проклятая инвалидная команда! — думал, идя за ним, П. — Несчастный Павлик! Вот катастрофа! . . . Будет теперь всю ночь бредить и звать меня».

Патруль привел к сторожке, где жили переводчики. Толкнул дверь — щель взорвалась светом, махорочным дымом и выкриками.

*) Новая партия пленных.

— Вот! — сказал он. — И чтобы никаких больше прогулок по лагерю!..

5

«Вы, может, решились бы попробовать сами... вместо меня?»
«Сами... вместо меня?»..

Как заглушить этот шелестящий в ушах голос, эту одолевающую, как озноб, тревогу немислимого решения... отодвинуть на утро, заснуть!

В бревенчатой тесной сторожке — десять сонных дыханий. Вместе с прогорклым дымом, вонью портянок, смрадными выхлопами сонных человеческих тел они поднимаются к низкому потолку, лезут в запаутиненный угол, в тараканьи пазы над верхом двухъярусной койки, прямо над головой П.

Десятеро резались в карты, когда П. вошел. Выменяв полученные от Даля сигареты на фишки (за сигарету пять штук), сел играть тоже, чтобы отбиться от навалившихся мыслей, одуреть от дыма, от жара жестяной раскаленной докрасна печки, устать... В десять белесый и грузный Петер, немец Поволжья, их старший, сказал «отбой!» и выключил свет. Сейчас он громко, руладами, храпит под ним, на нижней койке; в потемках белеет свесившаяся к полу толстая рука. Если очень прислушаться, слышно, как тонко и остро, как выточенный кухонный ножик капусту, шинкуют храп ходики, и тогда кажется, будто слышишь какую-то вторую и главную тишину. Ходики, вероятно, уже перебежали полночь. Час назад П. проглотил одну из далевских сонных таблеток. Волна сладковато-тягучей мути тяжело проползла к затылку. Сон не шел...

«Э то назначено на послезавтра»...

«Это» пишется не тремя, но шестью буквами. Они сейчас вспыхивают под веками, силящимися защемить сон, как реклама, плывущая где-нибудь над ночной крышей: Бе-Е-Же-А-Те-Мягкий знак. Мрак, в котором, невидные, толкутся обрывки мыслей и слов, складываясь потом снова в шесть огненных букв: Б-Е-Ж-А-Т-Б...

Бежать!

П. думает о том, что никогда прежде, в летописи любых других катастроф и войн, слово это не было так трагически бессмысленно и нелепо. Бежать из плена! Прежде это был порыв сердца, зов крови, непримиримость, отвага. Над тобой и вокруг — романтика смертного риска; впереди — родное, свое, объятия встреч, признание подвига... Что значит б е ж а т ь теперь? Не для батальонного

комиссара Пронина, у которого где-то в подкладку шинели зашит красный билетик, патент на доверие самой жестокой и недоверчивой в истории человечества деспотии, но для него, П.?

Он вспоминает:

Сентябрьское болотисто-мглистое утро. Еще едва начавшееся, с мокрым хрустом сучья под ногами, серым парком над кочками и такими же серыми косяками поднявшегося на утреннюю зарядку яростно голодного комара.

Вместе с тремя разведчиками, возвращаясь с ночного задания, П. натывается на лежащего ничком в кустах можжевельника человека. Мертвого — судя по стылости позы и распухлости синих огромных кистей, вкогтившихся в мох.

— Осмотреть! — приказывает он и проходит мимо к пеньку, не оглядываясь.

— Живой! — говорят сзади. — Дышит!..

Человек оказывается лейтенантом какой-то пехотной попавшей в окружение части. Он провел две недели в немецком пересыльном лагере и бежал. Он без пилотки, изъеден гнусом. Клок волос мертво налипает на лоб в глубоких продольных ссадинах. Такие же гноящиеся ссадины на щеках, заросших пыльной щетиной.

Его оживляют, как в сказке порубленного кашцею царевича, живой и мертвой водой. От «мертвой» — спирта-сырца, подручно разбавленного из болотца, он открывает глаза. От «живой» — русской речи и ободряющих похлопываний по плечам и спине — встает на локтях и, вдруг вскрикнув, бросается обниматься.

Еще через четверть часа все идут на КП. Беглец, с усилием укрощая бурлящий в груди восторг возвращения к жизни, старательно сухим языком донесения рассказывает о виденных по пути вражеских важных объектах. — «Бы меня к себе возьмите, ребята... — прорывается он к концу. — Я ведь с разведкой знаком. У нас я...»

— Кто разрешил вам тащить прямо на КП непроверенного человека? Порядков не знаете? Где вы его оставили?

— У моей землянки, товарищ комиссар дивизии.

— Под охраной?

— Нет... Но, я думаю,....

— Мне все равно, что вы думаете. Ставлю на вид для первого раза. Выделите сопровождающего в «особый» корпуса. И чтобы до машины ни шагу от него не отходил!

— Товарищ комиссар...

— Исполняйте, что вам приказано!..

Когда П. с выделенным для охраны сержантом подошел к землянке, беглец уж окончательно вернул к жизни. Без рубахи, разутый, сидел он в блеклых пятнах раннего солнца, привалившись спиной к насыпи и вытянув ноги. Кажется, он успел уже и ополоснуться — ссадины на лбу и щеках посветлели, волосы прядали тугими кольцами и от лица, оказавшегося теперь, несмотря на щетину, совсем молодым, словно бы шло свечение.

— Отдыхаю вот. . . Красота! — поднялся он П. навстречу, с видимым наслаждением шевеля по холодному мху созревшими пальцами ног и улыбаясь.

— Что там обо мне? Какое решение?

— Поедете в штаб корпуса. Как только машина будет готова.

— Эх, канитель! А я было совсем тут обжился. . . Тогда разрешите сбежать в каптерку, гимнастерку сменить — совсем, дьявол, завшивела вся и в клочьях.

— Это я сейчас попытаюсь устроить. Отдыхайте пока.

— Да мне все равно надо туда. В хозчасть. Там один обещался побрить. Оброс ведь как леший. Что? Возражаете?

— Вам лучше пока оставаться тут. . .

Рядом брякнула о корневище опущенная к ноге винтовка. Лейтенант обернулся на этот звук и только теперь разглядел стоявшего за П. сержанта. Улыбку смыло с его лица и на посеревшем лбу стали ярче багровые ссадины. Он перевел глаза с сержанта на П.

— Так это что? — спросил он глухо. — Это, выходит, я. . .

— Сержант будет сопровождать вас в штаб корпуса, — сказал П., отводя глаза в сторону. — Формальность, ну и, конечно, сами понимаете, приказ!

— Я понимаю. . . — проговорил лейтенант, дрогнув губами, и, повернувшись, снова опустился на мох. Он сел спиной к П., сержанту и солнцу, втянув голову, отчерченную от туловища бурой полоской загара, в плечи. На одной из выпиравших под синеватой кожей лопаток было у него крупное, с майского жука, родимое пятно. Лопатка с пятном вдруг дернулась судорожно и заходила вверх-вниз, как поршень. . .

— Так я пошел по вашим делам к хозяйственникам! — сказал П., делая сержанту знак оставаться на месте. Сержант взглянул на своего командира, командир — на сержанта. Оба, не сговариваясь, подумали и почувствовали, вероятно, одно. Приблизительно:

«Что же это за сила заставляет их двоих так бессмысленно дико, так не по-человечески обойтись с третьим? Страшная, ощути-мо враждебная сила. И как обидно и унижительно ей подчиняться!» . . .

Бежать!

Батальонный комиссар Пронин мог бежать...

Батальонный комиссар Пронин, которого П. выручил из штрафного бункера, куда его посадили за то, что не объявился комиссаром при опросе. Было не легко с помощью Даля растолковать, что Пронин, историк по специальности, — комиссар только военного времени. Но удалось, — буханка хлеба, полученная какой-то добровольной ищейкой за привод комиссаровой души, пошла прахом. Пронина выпустили.

Вот он сидит, зачастивший к П. Пронин, плотно сбитый и жилистый, с негустой желтизны сухими глазами, поперечной надбровной складкой и двумя резкими вдоль довольно мясистого носа. Сидит в их сторожке, на нижней койке, где храпит сейчас Петер.

— Я удеру... — говорит он сосредоточенно, словно бы сам про себя, и три складки на его лице вырезаются как-то особенно резко, образуя весьма притягательную и завоевывающую доверие маску мысли. — Удеру, если вы действительно уверены, что вас за меня не притянут к ответу. Удеру! Это решено и план выработан. Подстрелят, убьют — наплевать! Все равно, здесь меня рано или поздно доедут...

И помолчал:

— Вам советую то же. Вам это значительно легче... Не возражайте: все, решительно все понятно. Куда? На первый взгляд будто и некуда. Фронт далеко, да это и не для вас. Партизаны? — тоже не для вас, понимаю. Но ведь важно не куда, а откуда, от чего. Бежать надо от гибели, стопроцентной и верной — думаете, вы переживете здесь зиму? Значит, безразлично, куда — в лесные какие-нибудь выселки, в военные мужья, батраки — лишь бы прочь из-за проволоки. И — переждать! Остаться здесь значит угодить в братскую ямину или же... — он сдвигает брови и что-то чуждое, даже враждебное появляется в его желтоватых глазах. — Или же стать полноценным немецким холуем. Не обижайтесь, голуба моя, я вас в этом не подозреваю, но, знаете, можно ведь и совсем незаметно для себя постепенно свихнуться в предатели. Правду говорю...

И еще один раз Пронин — последний, уже дня за три до бегства:

— ... Чудесный такой паренек. Лейтенант. Павликом зовут. Дезинтерия. Поддержите по человечеству — ну, там сухарь какой-нибудь подкинете, санитаров пугните, чтобы живо не раздели. Плох! И ведь какая трагедия: у него здесь, в городе, невеста. Да, «его величество случай»!.. Энергичная, видать, особа и, думается, связана с каким-то подпольем. Пыталась выволнить его легально — здесь ведь отпускают иной раз на поруки к местным. Но сорва-

лось. Он, видите ли, из первого, прифронтового лагеря пробовал дать тягу. Поймали, избили, не то немцы, не то наши же полицейские, и с волчьим билетом прислали сюда. Сверх того, на допросе ляпнул, что комсомолец. . . Слушайте дальше: теперь она, эта девица его, все подготовила для побега. Что-то очень мудреное, но кажется верное. Третьего дня ему перебросили через проволоку шифровку с наставлениями. Но — боюсь, что не встанет. Во всяком случае пройдемте с вами к нему в санитарный барак. Передам вам с рук на руки. Какое у парня лицо! . .

Лицо, узкое, в усах и бородке, похожее на лицо Христа, плывет под сжатыми веками П. по черной муаровой зыби. То исчезает, то появляется вновь, пергаментно-выпуклое, в желтом качающемся свете фонаря. Длинные, ненатурально длинные и острые, тени от ресниц. Полуоткрытый рот вдруг кривится. Он страшен сейчас. Он кричит! Или это кричит какой-то больной в конце барака. Или — совсем и не больной, а кто-то из спящих внизу, здесь же, в сторожке? . . Потом рот пропадает, и под новым кивком фонаря — белый вырванный из блокнота клочок бумаги. Сильно смятый — в него увернули камень или монету, чтобы ловчей было перекинуть через забор. «Шифровка» — назвал это Пронин. «Я хочу только несколько слов на обороте этой самой записки. . . вы видели». . .

Потом опять тьма. И тишина. И, если прислушаться:

«Вы, может, решились бы попробовать сами. . . вместо меня?»
«... сами, вместо меня?» . . .

— Подъем, П. Вставайте! — говорит над головой Петер, потягивая и протирая ресницы, обсыпанные мелкими, как перхоть, гноинками.

Неужели он все-таки спал? . .

П. отказывается от чая — мутного, похожего на полосканье, немецкого чая из мяты (если бы, однако, все двадцать тысяч лагерного населения могли бы его получать по утрам!). Торопясь, не попадая в рукав, натягивает шинель. . .

6

На дворе та же вчерашняя шевелящаяся мгла, слегка лишь подсиненная и разжиженная близким рассветом. Редкий снежок, кружно слетая, не покрывает земли и кажется серым. Лязганье котелков, привязанных к поясу, треск льда под подошвами. Самих ног не видно — скученные силуэты собирающихся на работу команд выплывают из муты, как призраки. . .

Санитар с монгольскими усиками встречает у дверей барака. Видно, что он ждет П. Видно — по тому неустоявшемуся выражению отекавшего лица, в котором одновременно и испуг и значительность и от которого П. останавливается сразу, как будто его взяли за плечи.

— Ну?

— Кончился!.. господин переводчик.

— Когда? — спрашивает П. помолчав.

— К утру, надо полагать. Ночью разов пять к нему подходил. Хрипел уж...

— Бредил вчера?

— Да не скажу... Что-то даже писал, поднимался. Потом пить спросил и вроде забылся... Пройдемте?

В бараке по-прежнему фонарь с шоколадного цвета стеклом и еще более сгустившийся за ночь смрад. Синеватыми пятнами брезжут над нарами куцые окна. — Я его в вашу плащпалатку увернул, оправил, вещички какие были прибрал личные, — говорит хриплым шопотом санитар, когда они подходят к длинному темнозеленому свитку на клочьях соломы. — Желаете взглянуть?

— Откройте, — говорит П.

«Вот куда надо было б художнику», — смятенно думает он, вглядываясь в иконописные, будто нежнейшею темперой выведенные черты, полные, как ему сейчас кажется, какого-то пронзительного очарования и покоя. «Хорошо, что закрыты глаза... Да, «апофеоз войны», может быть, и не груда черепов на поле, а всего лишь вот одно такое юношеское лицо, без времени потушенное, не успевшее разглядеть мир. Да, одно только такое лицо»...

— Вот их имущество! — говорит санитар, вытаскивая из карманов шинели целлулоидную прозрачную мыльницу, треснувшую по краям, с табачной грухой внутри, огрызок карандаша с набалдашником, плоский обтрепанной кожи бумажник, металлическую расческу... — Окромя — пара платков, исподнее... шибко все, извиняюсь, замаранс... нукуда!

П. раскрывает бумажник. Два отделения. В одном — завернутый в слежавшуюся марлю плоский маленький ключик. В другом пусто. К внутренней стенке суровыми нитками пришита самодельная, из кожи же, рамка. В ней — фотография, мелкая, как для паспорта, стертая, выцветшая и в трещинах. Девичье лицо. Обыкновенное. «Волосы русые, нос прямой», как пишется тоже в паспортах. Цвет глаз — Бог его знает, какой. Рот... Рот, пожалуй, необыкновенный, очень сочно очерченный, и нижняя губа полная, даже чуть слишком полная. Смелый рот! Такому рту нельзя приказывать, что говорить, но слушать любую, какую выскажет, просьбу и, как приказ, выполнять... Прямой пробор, крутые линии лба

и бровей, свой, особый постав головы и поворот, придающий лицу тоже особый, неуловимо притягательный взмах. Нет, совершенно необыкновенное лицо, не пройдешь мимо!.. Как ее могут звать?

Забыв о санитаре, выжидающем рядом, П. начинает вдруг подбирать имя, точнее — звуки, какие могут его составлять... Линия рта, одновременно чуткая и энергичная, это — «И». «А» — чистый лоб, взлет бровей... И-А или И-Я...

— Хм... — покашливает рядом санитар.

— А где же записка? — вспоминает П.

— Как, извиняюсь?

— Записка! Листок из блокнота. Он еще вчера хотел мне передать.

— Не было записки, господин переводчик. Все по карманам проверил, солому даже и ту перетрес. Что есть — все вам представлено, до последнего.

— Как не было? Должна быть! Вы сами сказали, что он что-то писал. Не на ладони ж писал?

— Оказия! — бормочет санитар, и залпвшие глазки его потерянно бегают. — Может, они сами сничтожили ее ночью, записку... Сейчас обратно в брючных карманах пошарю...

Он раскутывает темнозеленый свиток к ногам, до конца. П. видит до пояса голое, лишенное мякоти тело со страшно проваливающимся вниз от выперших ребер животом и отворачивается. Мутная, тошнотная слабость подплывает вдруг к плечам и коленям, и каждый мускул, распружинясь, начинает болезненно ныть. Избегая глазами любопытные вокруг лица и головы, он опускается на край нар. Листка нет! Вот и развязка истории, такая же неожиданная, как и начало, даже еще более ошеломительная. Судьба!..

— Нашел! — говорит за спиной санитар. — Глядите-ка где: в кулаке у него зажатый!

— С собою унести хотел... На тот свет! — говорит кто-то с нар.

П. кажется вдруг, что он слышит, как хрустят разжимаемые санитаром уже оковеневшие пальцы. Он болезненно морщится. Ощущение слабости, однако, исчезает так же внезапно, как пришло.

Он встает, бережно расправляет в руках мятый клочок бумаги, теперь еще более мятый, затертый до лохм, прячет в бумажник, со смущением видя, что пальцы его дрожат.

— Плащпалатку возьмете себе! Остальное — как тут у вас полагается... Вы ведь что, покойников — раздеваете?

— Приказ, господин переводчик.

— И — куда?

— Складываем покуда что в штабель. Земля промерзшая, ин-

струмента нет. Управление обещало взрывчатку, чтобы рвать. А покуда лежат. Вы не беспокойтесь, пристрою поаккуратнее. Примечу, где...

— Ладно... — говорит П.

7

Он возвращается в сторожку. Удача: никого! Старикашка Фомич, «прислуга за все», подмахнул в угол мусор — в воздухе стоит еще неосевшая пыль, теребящая ноздри, — поставил на печку котел с недоободранной гречкой и ушел.

П. подсаживается к столу, под лампу, вынимает бумажник, осторожно, со сбивающимся дыханием, вытаскивает из него листок, кладет на ладонь...

«Прощай, Зина!» — читает он первых два вмятых слепым карандашным острием слова, опускает ладонь и переводит дыхание. Зина. Зинаида... И-А-И-А... Как он почти угадал!.. Имя «Зинаида» — от «Зин», иначе «Зен», иначе «Зевс». Значит: «Рожденная Зевсом». Это вздор, впрочем... Дальше!

«Со мной все! Больше никогда тебя не увижу... Написал эти слова и сам удивляюсь, что после этого все еще дышу. Но это конец. Ради Бога, не думай, что сдал, не дрался за жизнь. Я пережил все, что может пережить человек. Пережил и то, чего он не должен, н е с м е е т переживать. Ради тебя, Зина... Зина, это письмо передаст тебе»...

После «тебе» — ничего. Сквозная вмятина — точка и длинная черта вниз, обрывающаяся у самого обреза, как вскрик.

П. переворачивает листок. — Что-то вроде плана. Пунктир, крестики, надписи. В левом нижнем углу цифра 5, обведенная кружком. Тем же слепым вдавливающимся карандашом перед кружком добавлено: «Ком. № 5». — Команда № 5. Эта команда, в которой всего полдюжины пленных, роется в развалинах замка, сравненного с землей огромной фугаской, в самом почти центре города. Комендант лагеря, престарелый оберст, помещенный на старине, надеется сыскать под навалами камня «антиквитеты» — черепки ваз, скульптур, осколки мозаики... Чертеж — схема развалин. С правого края, в середине, трапеция, заштрихованная под кирпич. Печка? Под трапецией крестик и пунктирная линия вверх; рядом — стрелка и очень мелкими буквами: "Ten yards". Потом кружок и, еще мельче: "basement, at the right". Basement по-английский подвал. П. припоминает, что перед самой войной Павлик поступил в институт иностранных языков... Пока идет глад-

ко: десять ярдов — десять некрупных шагов, а кружок, очевидно, ход вниз или просто провал. . . Что еще? «День твоего рождения» — стоит в самом низу бисерная строчка по-русски, — “three o'clock, 3”.

«День рождения!» — повторяет про себя П. Завтра в три. Все, кажется, ясно! . .

Вскрипывает дверь, и он, поворачиваясь к ней спиной, торопливо прячет листок в бумажник.

— Стерва погода! — говорит Фомич. — Снегу кот начихал, а мороз того гляди ахнет. Погибать будем!

— Да? — рассеянно переспрашивает П. и идет к выходу.

8

П. впоследствии пробовал, и всегда безуспешно, восстановить в памяти внутреннее движение этого жуткого дня: ход и последовательность своих мыслей, приготовлений, поступков. . . Никакой последовательности, вероятно, и не было. Была и всего его заполняла странная смесь недоуменного выжидания, похожего на задержавшийся перед барьером лошадиный прыжок, решимости и безволия. В такой совершенной несобранности, переходах от неподвижности к спешке, он ходил по баракам, выполняя вчерашнее поручение Даля, выкликал и опрашивал, записывал и переписывал начисто показания тех кандидатов на освобождение, которых удалось разыскать. Так же машинально, как все делал в то утро, взглянул на часы — было время обеда — и вдруг почувствовал голодную ноющую боль под ложечкой.

Размазня из полуободранной гречки шла в котелке разводами, похожими на седые брови, мурлыкала и плевалась мутными почти музыкально лопающимися пузырьками. Четверть часа спустя П. добирал из миски последние ее остатки, слушая, как, обжигаясь, вздыряет с ложки Фомич.

Потом пришел Петер с немецким обеденным порционом, пронзительно пахнущим копченой свининой.

Совсем для себя неожиданно, за секунду еще не зная, как начнет, П. сказал:

— Будьте добры, Петер, запишите меня в пятую команду на завтра.

— В пятую? Вас? . . А дела с зондерфюрером?

— С ним все согласовано. Я, видите ли, хочу посмотреть город.

— Ну, если согласовано. . . — Петер дожевал, что было во рту, и вытянул из бокового кармана клеенчатую тетрадку с нарядами. — Тогда прежнего переводчика я сниму? Двоим делать нечего. . .

— Снимайте.

— Есть. Однако... уж не премию ли охота вам раздобыть?

— Премию?

— Бутылку шнапсу пообещал оберст, если кто откопает стоящий какой черепок.

— Что ж, — засмеялся П., с удовольствием про себя отмечая, как натурально вышел у него этот смех. — Почему бы и нет?..

9

И еще одна ночь...

П. такой не припомнит. Может быть оттого, что обычно не видит снов. Эта же — вся в снах, бредовых и тревожных, обрываемых короткими всполохами пробуждения, тоже мутного, с усилием пробивающегося в явь, — это, может быть, от второй, предназначавшейся Павлику, таблетки.

— Наши войска, — говорит, сидя за своим столом, зондерфюрер Даль, — уже у ворот Москвы. Я отмечаю победоносный их путь флажками на карте...

Даль отчего-то — в миниатюре, похож на гнома: крохотная головка его едва торчит за краем стола, и слова мчатся стремительной дискантовой скороговоркой, как если проигрывать на предельной скорости грамофонную с записью чьей-то речи пластинку.

— Думаете вы, — верещит скороговорка, — что кто-нибудь теперь еще может сомневаться в исходе войны? Что какой-нибудь случай может поворачивать назад пятками колеса истории? Что подлинные русские патриоты-антибольшевики могут думать сейчас о чем-нибудь ином, кроме самого тесного сотрудничества с нами, немцами?..

— Отвечайте! — сердится Даль, выкатывая вперед узенькие плечи и грудь, и вдруг начинает тянуться и пухнуть, обретая действительные свои размеры. — Отвечайте, когда с вами разговаривает немецкий офицер! Взгляните на карту и отвечайте!

П. смотрит на карту, и горло у него перехватывает от ужаса: на белом набитом на палку полотнище, вместо речных голубых извилин и пуговиц, обозначающих города, — схема развалин, та самая, которая сейчас лежит у него в кармане, в бумажнике... Заптрихованная под кирпич трапецийка с крестиком рядом и пунтиром вглубь. Цифра «5» в кружке слева, и справа крупным светящимся бисером: «День твоего рождения. Three o'clock, 3».

Если Даль обернется...

— Что с вами? — спрашивает Даль нетерпеливо и подозрительно.

Сию секунду он обернется — и все, все погребло!

П. толчком перегибается через стол и рвет с крюка карту. Она падает с хрустом, сбивая на пол стопки разложенных в огородном порядке бумаг.

— Вы с ума сошли! Hilfe!.. — кричит Даль и выхватывает револьвер...

Провал...

Темный, слепой, с тишиной незнакомого, необитаемого берега. В нее, тишину, через ровные паузы, врывается, то приближаясь, то замирая, глухой рокот, как прибой по камням.

В черноте, густой и плывучей, похожей на притушенный киноэкран, вспыхивает вдруг бумажный клочок, начинает кружиться, как сброшенная с самолета листовка, подсвистывая на особенно крутых виражах. Потом тускнеет, сплывает вниз, повисает недвижно. На нем слова: «Зина! Это передаст тебе П., мой друг. Он тебе все расскажет. Зина, Зина, позаботься о нем — он так много для меня сделал, пытаюсь вырвать из лап смерти. Пусть то, что сделаешь ты для него, чтобы спасти и устроить, сделаешь ты как бы для меня самого. Он верный человек, Зина. Может быть, ты и сама будешь нуждаться в помощи, — положишься на него»...

Еще одно световое пятно на экране, даже и не пятно — отблеск, серый отблеск лица с крутым лбом под ровным пробором, сведенными над переносом бровями и гневной нижней губой. «Ведь это не Павлик писал. Боже мой!» — слышит П., не то произносит сам, — и все исчезает...

Опять темнота, и прибой, но теперь видны и накатывающиеся на прибрежные скалы волны. Над ними вдруг мутные очертания зубчатых башен, стрельчатых окон с решетками. Замок-тюрьма. Подземелье. Низкий, в мокнущей плесени, каменный свод. Язычок самодельной коптилки освещает тюремную узкую койку. На ней вытянутое, страшное в смертной неподвижности тело, увернутое в зеленую плащпалатку. Рядом, на коленях, зарыв в ладони лицо, — П. «Это ведь уж что-то литературное, — думает он — Из Дюма»... но тут же и утрачивает способность сонного видения «со стороны». Под его ладонями и между пальцами космы волос. Борода! Сколько лет они пробыли здесь, в этом мешке, он и его товарищ? Четырнадцать лет! И — безнадежно! Выйти отсюда можно лишь, как выходят покойники, ногами вперед... «Может быть, вы решились бы попробовать сами... вместо меня?» — слышит он голос и цепенеет, сраженный внезапной идеей. Потом вскакивает, заваливает темнозеленый свиток на койке клоками соломы и ждет. За дверью шаги. Размахивая факелами, входят двое в тяжелых кас-

ках, с винтовками. «Где же покойник?» — спрашивает один по-немецки.

— Это я! — отвечает П.

— Quatsch! Слышишь, Ганс, он говорит, что он умер.

— Я думаю, что он говорит правду.

— Тогда все в порядке. Komm mit! . .

Он идет за ними, оступаясь на выпцербленных каменных плитах пола, поднимается по винтовой узкой лестнице. Ветер в лицо. Звезды. Двор. . . Они обходят какую-то осыпавшуюся кирпичом стену. От нее в сторону — кремнистая, отмеченная пунктиром из стальных блях дорога, похожая на уличный в больших городах переход. Она сразу же обрывается, и там, где она обрывается, темное круглое отверстие, обведенное металлическим, как иллюминатор, кольцом, поблескивающим в лунном свете. Двое подводят П. к самому краю отверстия и сами отходят. Перекурить. . . П. ждет. . .

— Мы должны спросить у него Ausweis! — говорит один. — Он не должен находиться после отбоя на территории замка.

— Правильно, Ausweis! Слышишь, ты. . . — Ausweis!

— Сейчас! — говорит П., пытаясь нацупать карман гимнастерки, где лежит выданный ему Далем пропуск, но гимнастерки нет — он оставил ее в подземелье.

— Also. . . — произносит двое и, лязгая по камню кованными подошвами, начинают придвигаться к нему. Замерев, он всем телом ощущает это приближающееся лязганье, а за спиной — холод черной дыры. Двое подходят вплотную, в лицо ему бьет перегар их дыханий и вонь сигар. Он перестает дышать. . .

— Los! — говорит один и толкает его плечом. Вскрикнув, он срывается в бездну. . .

Потом скидывает с головы чуть не задушившую его плащпалатку, вытирает со лба липкий пот, слышит раскатистый храп, наполняющий всю сторожку — это храпит внизу Петер. . . Все еще в полусне, начинает судорожно шарить навешенную на тычок койки гимнастерку. Карманы. . . Здесь! Все, все на месте. . . Бумажник. Плоская фляжка с ромом. Хрусткая на ощупь вчетверо сложенная бумажка. . . Даль!

Вечером он был необычайно любезен. Даже восторжен. Может быть, его покорили четко переписанные протоколы опросов, которые принес ему П. «Послушайте. . . — начал он неожиданно, — я хочу сделать вам небольшой презент. Это мой собственный, из посылки. Нет, нет, не отказывайтесь! Это как говорят? . . . Да: от чистого сердца. . . Так, значит, вы завтра хотите осматривать город? С этой командой?»

— Ну, осматривать вряд ли... У меня ведь никаких документов.

— Гм... — задумывается Даль. — Это можно устроить.

Он вытаскивает из папки бланк Управления с ярким лиловым штампом в углу. Берет ручку. Пишет на бланке полдюжины слов: „Kriegsgefangener P. Dolmetscher. In besonderem Auftrag“.

Подписывается. Росчерк узкий и вытянутый, как он сам.

— Вот. С этим можете гулять, где хотите. До отбоя.

«До отбоя»...

П. снова проваливается в сны.

Это теперь подземные какие-то ходы, туннели. Чем дальше, тем путаннее. П., изнемогший, отчаявшийся из них выбраться, бредет в склизком, пахнущем плесенью мраке, провожаемый глухим отголоском шагов и капелью с сырых стен и сводов. Электрический фонарик — глазок в белых ресницах — не одолевает мглы, слепнет — сдает батарейка.

Подземелье напоминает монастырские катакомбы. Ниши-провалы в стенах, открытые и за решетками. К одной из решеток П. прислоняется перевести дух, глазок скользит вглубь за ржавые прутья и застывает: трупы! Штабель трупов, вперемежку головами и пятками, вероятно для устойчивости. Серый редкий снежок лениво садится на страшно вывернутые ступни, синие липа в мертвенных костяных оскалах. П. кажется, что среди них он различает одно — узкое, в усиках и бородке, юношески прекрасное в самой смертной стылости. Он вздрагивает, замуривается, делает несколько стремительных шагов прочь. Глазок фонарика выцветает в едва различимую оранжево-дрожащую петлю и пропадает совсем. Тьма. Идти дальше некуда. Он обессиленно опускается на липкий ледяной пол. «Вставай и пойдем!» — слышит он вдруг голос, тембра которого не может разобрать — голос, как ватой, окутан разреженным эхо, — и чувствует мягкую теплую руку, обхватившую его заястье. «Зина?» — спрашивает он, поднимаясь, но не получает ответа. Идет, влекомый непонятной рукой. И тотчас же впереди — далекий просвет, квадратно-голубой, похожий на раструб бездоннейшего колодца, оканчивающегося небом. Просвет быстро близится, увеличивается и сверкает. Вот уж и край, свежий, морозный воздух, резь в глазах от невыносимого блеска. В гранитной рамке выхода — снежное, в искрах, поле. За ним — опушка леса, хвойная, зубчатая, в прошве покладно-серых голых стволов и сучьев.

«Нам надо укрыться в этом лесу! — говорит голос. — Ты слышишь?..»

За спиной накатывающийся грохот, как в подземке от при-

ближающегося поезда. Но это не поезд. Это топот и крики. Это погоня!

«Бежим!» — говорит голос.

Они бегут через снежное поле. Собственно, не «они» — потому что он по-прежнему только чувствует на своей руке чьи-то пальцы, но рядом нет никого.

«Скорее! — говорит голос. — Не оборачивайся!»

Но он оборачивается. Видит несущихся за ними солдат в стальных шлемах, Петера. Даль, припадая в снег на одно колено, целится из револьвера. «Хальт!» — вопят двое в шлемах. «Назад!» — слышит он отчаянный крик Петера. «Давайте назад! Я отменяю свое назначение!..»

— Подъем, П. Вставайте! — говорит Петер над его головой, потягиваясь и протирая белые, в гнойниках, ресницы.

На какое-то мгновение, которое и длится, может быть, только секунду, но кажется сейчас П. предательски затянувшимся и нелепым, он не в силах связать в одно два голоса Петера — приснившийся и настоящий.

— Подъем! Вам ведь сегодня — в город, охотиться за кунштюками. Знаете, где собирается ваша команда?

— Нет.

— У Управления, у подъезда. Полвосьмого, всех позже: аристократия! Если только не отменят на сегодня: снег!

Выпал снег! Можно догадаться по голубизне окна и полурассвета в сторожке, в котором беспомощно желтеет на шнуре лампа и так осязательно плывут вверх увалы дыма от самокруток и сигарет. «Что если в самом деле отменят?» — думает П. и хочет сказать: «Судьба!..» Но не может — отвратительная пустота вдруг вырастает в груди, недоумение и почти страх: неужели все, все переживалось впустую, так вот возьмет и разрешится в ничто?..

На этот раз он долго пьет чай, пахнущий аптекой. Надо всех пересидеть.

Все и уходит. Остается Фомич. Берется за прутьяной веник в углу, но оглядывается на П. за столом, кладет веник снова на место и уходит тоже.

Семь часов.

Вытащив из бумажника, П. рассматривает выданный Далем пропуск. „Kriegsgefangener P. Dolmetscher. In besonderem Auftrag“. Что это, случайность или предопределение? В сущности, пропуск сводит на нет всю отчаянность замысла. Если что-нибудь не заладится, П. может теперь преспокойно вернуться в лагерь, с командой или один. Что именно не заладится? Да Бог ты мой, что угодно!

Весь этот кем-то придуманный план может лопнуть либо потребовать отсрочки. Эти лазейки и выходы из развалин, обозначенные таинственными крестиками и кружками, — кто поручится, что они не открыты уже и не завалены, существуют и до сегодня? Кто поручится, что о болезни Павлика, а то и о смерти, не стало уже известно за проволокой (санитары таскаются в город менять, что награбили у покойников), и, значит, его, П., никто не будет, не может ждать. Наконец, если даже... Чертовски сложна эта авантюра побега! Уйти теперь, может быть, и не трудно, но — укрыться! Слишком многие знают его в лицо. Нужно тотчас же прочь, как можно дальше от этого города. Отпустить бороду, переменить имя, жить без страха, что кто-нибудь опознает. Наконец... — впрочем, было уже, кажется, одно «наконец», эти «но» бесконечны...

Четверть восьмого.

Он все еще сидит у стола, выжидающе и безвольно. Мысль, которая сейчас почему-то занимает его, не нужна и случайна: смог бы он сегодня решиться на все (не на вылазку в город с этой командой, разумеется, но на все, до конца), если бы не было у него этой бумажки от Даля, так облегчающей риск? Кто-то один в нем отвечает «да», кто-то другой, назойливый и упрямый, как совесть, — «нет». Он раскрывает бумажник и долго смотрит на фотографию, испытывая странное ощущение, будто из-за угла таинственно и воровато заглядывает будущему в лицо. В этом будущем, кажется вдруг ему, ответы на все вопросы, источник безграничной решимости...

Семь двадцать.

Он встает, вытаскивает из-под двухэтажной койки фанерный баул — единственный в сторожке баул без залора. Достает из него свитер, колючий и толстый, натягивает поверх гимнастерки; мыло в свинцовой бумажке, бритву, коробку спичек — это в шинельный карман. В бауле остается несколько книг по-немецки, грязная пара белья, которую следовало бы прихватить, но до которой гадко дотрагиваться. Подумав, засовывает в карман сырое еще полотенец с койки и со стола — ополовиненную «пайку» хлеба. Надевает шинель, ушанку. Идет к двери.

На пороге бьет в лицо запах снега. Вместе с ним — пронзительное и непередаваемое ощущение шага в неведомое; ощущение, от которого на мгновение делаются ватными ноги, — ощущение, когда за гранью, которую переступаешь сейчас, оседает прах прошлого, навсегда, навсегда — плен, безнадежность, тиф, вши, смерть...

Снег повизгивает под подошвами. Он еще подслеповатый и матовый в молочной мути рассвета; он похож на чехол, которым па-

радно прикрыли срам лагеря, его нечистоты и нужники, ржавь и угрюмость проволоки и сторожевых вышек. Он необилен и робок, снег, легкая поземка уже сдирает его по проходам, укладывая вдоль барачков в курчавые острорезные грядки. Но он все-таки торжествен. . . Неужели из-за него отменят нынче команду? Сейчас, за поворотом, станет виден подъезд. Стоят там люди? . . . П. пытается и не может представить себе возвращения назад, в сторожку. . . Он почти бежит. . .

Они стоят! Серая кучка в шесть человек. Стоят и ждут, похожие на бедуинов в своих непригнанных, как халаты, шинелях без пояса и тряпках, поддетых под шапки для тепла и свисающих на плечи.

П. подходит к ним одновременно с унтером из Управления, представляющим конвой. Унтер низкоросл, округл от фуфаяк, в зеленом вязаном шлеме под летней пилоткой, из которого торчат дряблые щеки и кавычки усов «под фюрера». Он деланно хмурится на нарукавную скатавшуюся в жгут повязку П., толчками, словно подхватывая английским ключом, вертит головой, пересчитывает шестерку, вскидывая на ремень автомат. Они трогаются.

10

За воротами тоже мела поземка. Возле будки с часовым П. снова одолевает чувство брошенного жребия. Оно на мгновение делается крылатым и щемит — когда за воротами открывается вдруг перспектива улицы: две неожиданно цельные и ровные линейки фасадов, один к одному, за которыми будто таится живая и теплая, только еще сонная, еще непроснувшаяся жизнь.

Но вот он идет мимо, и с обеих сторон бросаются на него, почти задевая за локти, слепые прогалины окон, зевы витрин, за которыми стынет крошево камня, валяются скрюченные в бересту, чуть припушенные снегом листы кровельной жести. Другие, еще не облетевшие, визжат и лязгают над головой по карнизам. Нет, смерть похозяйничала и здесь — город на три четверти выжжен «зажигалками».

Линейки фасадов, сходясь впереди, окунаются в серо-молочный кисель, на глазах голубевший, — где-то, невидное, тоже быть может в фуфайке и шлеме, поднимается солнце.

— Я извиняюсь, господин переводчик, вы что ж, постоянно будете теперь с нами ходить?

Пленный, семенивший рядом, похож на унтера и заметно бойчее других. Он тщетно пытается попасть с П. в ногу и теперь, забежав вперед, заглядывает на него сбоку. Как и у унтера, у него мелкое печеное личико, рыжеватые усики, ползущие в рот.

— Нет, я только сегодня. Посмотреть город.

— Слышать вы — профессор? Как, извиняюсь? Ну, все одно, из ученых. Будем знакомы. Сам я ветфельдшер. Теперь вот в археологи попал. Бригадиром здесь. Что ж, надо спасаться... Тут ведь нам оберст по кило в день ихнего немецкого хлеба дает...

— А нашли что-нибудь?

— Одна ерунда. Кафели с печки пооддирали старинные. Еще — черепки. Вот тот, впереди идет, нашел один черепок здоровенный. От каменной вазы, с рельефом. Думали, выкопаем и остальное — куда там! все в пыль разбито. Две ведь фугаски ударило, огромные. Теперь дрожим каждый день, боимся — отменят нас...

— Далеко до замка?

— Да нет, минут с десять. Два поворота — и площадь откроется.

Площадь открылась под почти уж рассветшим небом, тяжелым, скатывающимся вниз сразу же за развалинами. Рыжие, в бурых подпалинах, развалины напоминали гигантский пирог с приподнятыми боковинами и продавленной середкой. П. поймал себя на том, что уже издали высматривает в продаже предметы и прибавляет шаг. Никуда не годится!..

11

В дощатой теплушке с окошком-глазком на руины сидит унтер. Плоская, похожая на таксу печурка раскалена. Воздух горько и едко пахнет жестяной гарью.

Унтер приподнимает навстречу вошедшему лицо, по-домашнему розово-бело раздрябшее от жары, как ступня, опущенная в горячую ванну.

— Вы меня звали? — спрашивает П.

— Ja, — говорит унтер, прогоняя с лица домашность, и кивает на зеленоватый клочок стекла — там, из невидной за бруствером траншейки, то выскакивают то исчезают серые верхи шапок, летит кувыркаясь кирпич и — веерами с лопат — щебенка. — Sie haben sich nicht unerlaubt zu entfernen. Klar?

— У меня разрешение от зондерфюрера. Вот!

Унтер слегка изумлен, но скорее приятно: кейфу его помех не предвидится, — с ним рядом, на лавке — трепаный, свернутый в трубку тридцатипфениговый роман.

— Das ist eine andere Sache... — говорит он, возвращая бумажку. — Bitte! В двенадцать у нас перерыв на обед. В 3.40 кончаем.

— Я хочу осмотреть развалины.

— Wie sie wollen...

У входа в траншейку дожидается бригадир.

— Шумит? — подмигивает он в сторону теплушки. — Я знал, что зашумит, как только вы наверх полезли. Он нас тут даже опарвиться на три шага не пускает, на месте велит. . .

— Я показал ему разрешение в город, — говорит П. — Но это потом. Сейчас хочу поглядеть на развалины. Может, сыщу для вас какой-нибудь новый объект.

— Куда б зря хорошо! Неделю ковыряемся без толку. Сейчас по полу ведем. . . зал был вроде. Внутри ведем, по стене — и хоть бы тебе что-нибудь! . . Если на самую кручу полезете, фомку прихватите, — камень склизкий, загнеть можно свободно. . .

Траншейку искатели черепков отрыли буквой «Г». Короткое плечо — почти ровный, как погреб, квадрат с жилым духом махорки и пота. Работают двое мотыгами, двое отгребают и вышвыривают лом; пятый, на корточках, выковыривает паркетины — две желтоватых стопки их аккуратно уложены у рваной стены. «Кроме — ни хрена!» — снова жалуется бригадир. — «Хоть бы тебе стула какая альбо подсвечник. . . Вот вам фомка. Счастливо!»..

С фомкой — коротким, сильно сплюснутым на конце ломом — П. выбирается из траншеи. Оглядывается кругом. Взрыв вытаснул и уложил фасад причудливой осыпью, напоминающей не поспевшую к берегу окаменевшую волну. В первую свою попытку, которой помешал унтер, П. взял сильно влево от теплушки. Подняться далеко не успел, но заметил, что круча ползла здесь все выше, не видно конца. . . Гряда, у которой стоял он теперь, в своем застывшем движении скрывала, казалось, какой-то особенный ритм, поддержанный, может быть, скошенными штрихами снега по скату. В этом ритме за первой волной как бы угадывалась и вторая. Если так — между двумя грядами, в провале, как раз и мог прятаться его ориентир.

Скользя по обледенелым кирпичинам, орудуя фомкой, чтобы не оборваться, он начал карабкаться вверх. Ритм не обманул: за гребнем, на который он выполз, тянулся второй, почти параллельно, только чуть выше и ломаннее. Опершись на руки и повысунувшись вперед, П. окинул глазами лоцинку, и сердце у него застучало: справа, шагах в двадцати, торчал остов печки с выщербленным с обеих сторон верхом.

Перевалив гребень, он почти сбежал вниз. Вогнутое зеркало печки, должно быть угловой, парадной, выступало из завала вокруг всего на полроста, но спереди завал был разрыт до карниза, чтоб отодрать изразцы. Два-три осколка их влипали в застарелую известь, как впаянные, были светлокофейного цвета с коричневым

завитком узора, похожего на шоколадную струйку, которой выши-
сывают на куличах буквы «Х.В.».

Спеша и оступаясь, П. обогнул печь, стал спиной к площади, с
трудом удерживая равновесие и чувствуя под ногами не расплз-
жающиеся камни, но — крестик, нанесенный на плане подле заштри-
хованной под кирпич трапецийки. 10 ярдов вперед... Немыслимо!
Впереди новая круча, почти отвесная, в ней одной шагов десять.
Впрочем, может быть все высчитывалось на плоскости...

До очередного гребня добрался он задыхаясь, с черной в глазах
пеленой от усилий и одновременно ослепленный огромным свалив-
шимся на него небом. Здесь, за гребнем, оно неожиданно блестя и
размашисто убегало к далекому горизонту, едва различимому в
слоистой клинописи леса, полей, облаков. — Заречье!..

Он заглянул вниз. Развалины замка были тут вздыблены над
обрывистым берегом и кончались. Рваной кромкой поднималась к
углу стена, справа устоявшая почти доверху, с осыпавшейся про-
боиной окна, в котором снежно-сквозисто висел клочок парка. Под
ней, один на другом, грудились ржавые листы кровельного желе-
за. Между ними и гребнем — треугольное небольшое плато, завален-
ное острым кувырком кирпича и щебенкой, на котором в своем
воображении он уж различал это обозначенное на плане кружком
отверстие, ход в подземелье...

Отверстия не было!

Издали обшаривая глазами каждую припорошенную снегом
впадину — оно должно быть здесь, оно только и может быть здесь,
в этом именно месте! — он спускается с гребня.

Шаг за шагом, то почти не сгибаясь, с размаху, то став на коле-
ни, начинает прощупывать фомкой стылую засыпь.

Фомка то мягко проваливается в щебенку, то, брызжа кирпич-
ной крошкой и отдавая болью в запястье, отскакивает от обледене-
лого камня и вылетает из рук.

Смахивая рукавом льющийся на глаза из-под ушанки горячий
пот, он бьет все ожесточеннее, из последних сил, надеясь услышать
железное лязганье либо глухой деревянный отстук — если бы где-
нибудь под завалом оказался прикрытый и засыпанный люк...

Потом, отшвырнув фомку, садится у подножья гряды. Болез-
ненная, ноющая в каждом мускуле слабость охватывает его. Ис-
кать больше негде. Конец авантюре, которая, конечно же, всегда
и ощущалась им как авантюра, странная мешанина действительно-
сти и фантастики.

Холодно!

Он вдруг ловит себя на том, что почти с вождением думает

сейчас о сторожке, в это время пустой, жаркой, с домашне-деревенским запахом пригорелой гречки. Ветер с реки пронзителен и колюч. Заречье лежит перед ним, пощаженное и мирное. Косо, как узкая скорописная строчка поперек ватманского листа, вьется через реку тропа, кое-где обрываема блестящими ледяными залысинами, расчищенными поземкой. Над раскинутыми, как из пригоршни, домишками недвижные косицы дымок. Другой, мирный, мир в страшном мире войны, непонятно спокойный на вид, в который он попытался было и не смог отыскать дорожку...

Ветер поддувает рыжие кровельные листы — они шевелятся и повизгивают. П. замечает вдруг, что лежат они не под самой стеной, но чуть отступя и словно к чему-то прислонены. Поглядеть, что за ними?

Он пересекает плато. Откидывает один за другим изжеванные пламенем клочья жести, — да, они прикрывают остаток какого-то снесенного взрывом простенка.

Последний, самый большой и разлатьй, примерз к кирпичу. Когда П. пробует его сдернуть, он пружинит и острый иззубренный его угол вшивается под перчатку, в подушечку кисти.

Рваная рана тотчас же заплывает кровью и начинает ныть. Кровь льется обильно, сразу несколькими зигзагами, скапывая под ноги, — П. замечает впервые, как щемяще-контрастно выглядит свежая кровяная капля, упавшая в снег.

Он прижимает собранный горстью снег к ране; туго, помогая зубами, затягивает на ладони платок.

Потом в порыве внезапной, почти ребяческой, злобы, когда хочется наказать стул, о который ударился, обеими руками рвет и отбрасывает лист в сторону.

За ним открывается черная узкая продолговатая брешь...

На мгновенье у него снова темнеет в глазах. Не от напряжения на этот раз, но — как на качелях, в крайнем, захватывающем дух, словно застывающем в воздухе на секунду размахе. Что ж, ведь и вправду как на качелях мечет его сегодня от одного ошеломления к другому судьба!

Став на колени, он просовывает в расщелину голову. Это несомненно ход. На три четверти заваленный кирпичами, но ход, спуск в подземелье. Узкий, округлый свод над головой, выведенный кирпичным веером, идет вниз. Пахнет стылой гарью и плесенью. Зажженная спичка мгновенно гаснет, но ему кажется — он различает в глубине ступеньки.

Он поднимается и, неожиданно для себя оглянувшись — нет,

никто не следит за ним в этих грудях развалин! — дрожащими руками снова прикрывает отверстие жостью.

Потом глядит на часы:
половина одиннадцатого! . .

12

В разреженном воздухе у людей — гул в ушах и необходимость соразмерять либо подавлять инерцию движений. П. себе признавался потом, что в эти четыре часа ожидания, самые томительные, как казалось ему, изо всех пережитых, был во власти именно таких высотных ощущений. И когда, спустившись в траншейку, выслушивал сбивчивый, хором, рассказ шестерых о какой-то открытой ими плашке с камина, едва удерживаясь, чтобы не отмахнуться от них и не уйти, неизвестно куда и зачем торопясь; и позже, когда унтер, сопя, перевязывал ему на руке рану; и, наконец, в обед, когда вместе с остальными сидел на полу в теплушке, задыхаясь от мажорочного дыма, который не помещался уже над головами, но, как пес, ползал по полу, норовя облизать лицо.

Сидел — и все шестеро, вместе с унтером, представлялись ему как бы на другом берегу, а на этом ему предстояло действовать, немедленно и энергично, но для этого надо было сперва преодолеть шум в ушах и странную расщепленность сознания, мешавшую сосредоточиться. . .

После перерыва, выйдя из теплушки вместе со всеми, он направился в город. На площади, вымощенной кошачьими головами, было по-прежнему пусто, но в дальнем конце разместилась биваком, дымя походною кухней, какая-то броневая часть — он повернул обратно, мимо развалин. Было четверть второго.

Он шел вдоль парка, примыкавшего к замку, отгороженного довольно уродливой чугунной, на кирпичной подошве, решеткой, забранной изнутри досками. Доски местами повылуцили — в прорехах сквозил заиндевелый веер кустарников, невнятным заснеженным профилем петляли дорожки, сбегая к овалу пруда, тоже запудренного снежком, с ледяными ргутного блеска проплешинами посередке. И парк, и ограда шли уступами вниз, размахистым поворотом спускаясь к набережной. П. шагал, наслаждаясь быстротой движения, которое теперь незачем было усмирять, прикосновением снежинок, очень мелких, колибри снежного царства, садившихся ему на лицо, и пытаюсь нащупать и ухватить кончик невидимой нити — самого главного, о чем сейчас надо думать, что предстояло всего через несколько, хотя бы и долгих, минут.

Почему-то теперь он уже был уверен, уже не сомневался ни-
сколько, что его будут ждать.

Его, вестника смерти!

Это был кончик нити, и он на ходу стал мысленно подбирать
первые для встречи слова, начало диалога, осторожное, чтобы под-
готовить, вступление... Чорт возьми, как бездарно все это у него
сейчас получалось!

Рвануло ветром. Он вышел на набережную.

Заречье, которое давеча разглядывал он с развалин, лежало те-
перь перед ним накоротке и уже не казалось таким безмятежно-
мирным. У крайнего к реке, сползшего к самому берегу дома сто-
яла запряженная в дровни лошаденка, низкорослая и взъерошен-
ная, словно соскочившая с бытовых картин передвижников, а с
ней рядом, задними колесами в огородных с сухим быльем гряд-
ках, торчал тупоносый немецкий грузовик. Двое солдат в зеленых
шинелях копошились под раскрытым капотом — мотор взрывался
очередями оглушительных выхлопов, и при каждой очереди лоша-
денка пятила сани, выгибаясь лохматой испуганной запятой.

Обгоняя кудерки поземки, пронесся мимо по набережной очка-
стый мотоциклист. П. вдруг почувствовал, что уже продрог на вет-
ру. Подумал, что кто-нибудь из немцев может привязаться, пожа-
луй, к его русской шинели, потребовать документы. Кто знает, до-
статочно ли бумажки от Даля для объяснений на месте. Еще по-
ведут куда-нибудь, выйдет задержка...

Он повернул назад...

Отогреваясь в теплушке, он положил сам себе высидеть час, о
главном не думая. Но с каждым шорохом новой перевернутой стра-
ницы, которую, обливав толстый палец, отдирал с угла унтер, все
сильнее трепала его лихорадка невыносимого выжидания. «Снова
лезть на развалины, думал он, нужно слева от будки, чтобы никто
не заметил, чтобы запутать следы... Неизвестно, сколько понадо-
бится на это времени. До назначенного срока, до трех, он, в конце
концов, может подождать и на месте»...

Он поднялся четверть третьего, с удовольствием чувствуя, что
вместе с решением встать возвращаться к нему воля и собранность.

— Я пошел на час в город! — говорит он унтеру, открывая
дверь.

И вот она опять перед ним, заваленная кирпичным кувыркром
площадка. Оттащив ржавый лист, прикрывающий брешь, он успо-

коенно садится рядом на карниз отдышаться: пришлось забирать в сторону, карабкаться почти через отвесные кручи, чтобы миновать место, откуда могли его снизу заметить. Следы?.. Снег здесь почти дочи́ста выдуло, он только по щелям и выбоинам; в ближайшей он замечает отпечаток своей ступни и, вытянув ногу, старательно стирает его носком сапога.

Потом, ослабив на шинели ремень, опускается ничком, ногами в отверстие, и начинает сползать.

Кирпичный навал крут и колюч — отталкиваясь, он сильно бредит на ладони рану.

Когда край бреши оказывается над головой, он, морщась от усилий и боли, подтягивает с боков клоки жести и прикрывает отверстие изнутри. Тьма!..

Еще несколько толчков назад — и ноги его упираются в стенку. Ниже, на ощупь, ступеньки..

Он сползает к ним на руках и, завалясь на бок, зажигает спичку. Ступеньки идут винтом в тесном каменном раструбе. Держась за стенки, он спускается вниз, пытаясь считать витки, которые делает лестница, и ощущая противную близость головокружения. Ступеньки кончаются. Тянет затхлостью лежалого камня и поганками. Подвал! Может, бомбоубежище? Покуда разгорается спичка, мелькает жуткая мысль о людях, застигнутых, может быть, здесь врасплох. Но вряд ли, в замке был только музей.. Да, подвал пуст; вислые своды сплывают в круглые, похожие на цистерны упоры. По передней стене ряд овальных непонятого назначения ниш — возможно, туда ставили бочки.. Он пересекает подвал по направлению к правой, угловой нише. Еще спичка.. Дверь! Тоже овалом, узкая, в три четверти роста, с ржавой, кованной от руки личиной замка, за которую оберст наверное не пожалел бы бутылки. Дверь, завизжав на петлях, отходит вперед..

Низкий — не выпрямиться — подземный ход, похожий на катакомбы его сна. Скорее — труба, выложенная выщербившимся серым камнем, древней кладки, древнее, по-видимому, конца восемнадцатого столетия, когда строили замок. С плоским дном и редкими, в две-три ступеньки, уступами, ведущими вниз.

П. входит, чиркая спички, в одну за другой освещаемые вспышками воронки, сужающиеся в черноту. Может быть, это выход на набережную? Напрягая глаза, он ждет, что вот-вот, совсем как в его сновидении, засквозит перед ним просвет. Но мгла впереди густа, как деготь, и, кажется, вытеснила из трубы самый воздух, — трудно дышать!

Туннель обрывается неожиданно резким скосом вниз, словно перекушенный поперек гигантскими щипцами-кусачками. Острый угол-тупик завален смешанной с соломой щебенкой. Став на коле-

ни, П. ощупывает завал, разрывая щебенку руками. Потом долго водит над головой зажженной спичкой. Нет, туннель зажат наглухо. Когда спичка гаснет, П. охватывает ощущение замурованности и безвоздушности склепа. Здесь в самом деле легко задохнуться. . .

Он почти отрывает крючок на воротах гимнастерки; придерживаясь за кладку, хочет подняться — и вдруг чувствует под рукой холодок металла. Дверь? Он водит ладонью по ровной скользкой поверхности, стучит в нее костяшкой пальца, и она отвечает гулким металлическим голосом. Проклятая спичка не зажигается вечно. . . Да, это дверь, справа в кладке, точней — люк, приземистый и разлзтый, как в русской печке заслонка. Над замочной скважиной — позеленевшее, узорчатое, как сержа, кольцо.

П. тянет кольцо на себя — дверь сопротивляется твердо, как впамянная. Толкает ее внутрь, с силой бьет низом ладони — каменная труба наливается речитативом глухих ударов, похожих на гул проходящего над головой поезда, если стоишь под мостом. Кажется, стали заметней пазы! Спичка в другой руке, догорев, больно жжет пальцы. Отшвырнув ее и почти задыхаясь, он упирается ногами в противоположную стенку и плечом — в дверь. Она поддается, вязко и туго, словно заваленная чем-то снаружи. Она поддается, и из расплзающейся скважины льется в лицо ему приглушенный дневной свет. . .

14

Вьползши из туннеля, П., не поднимаясь, долго и жадно дышал морозным живительным воздухом, неуловимо-сладко пахнувшим клюквенным муссом. Воздух тек от оконца, узкого, вытянутого, как в конюшнях, залепленного паутиной и пылью, но у которого сквозил небом выбитый уголок стекла. Оконце вполсумрака освещало сарайчик, дощатый, в инее по углам, тоже вытянутый в длину. У коротких стен — переборки, похожие на миниатюрные стойла, вдоль задней — груды соломы; солома и по полу, вперемежку с чем-то сыпучим, податливым под локтем. Сарайчик, очевидно, пристроен вдоль ската, в который выведен ход. Но куда выходит сам скат?

П. поднялся, перешагнул через цинковую опрокинутую кормушку; пригнувшись, заглянул в треугольную щель стекла. За ней были ветки, край пруда, того самого, который он недавно разглядывал сверху, через ограду. Все — и ветки, и берег, и дорожка между ним и сараем — бережно выснежено поземкой, хрупко, нетронуто. Ничьих следов, кроме птичьих по снегу, похожих на полотенечный крестиком шитый узор.

Сарайчик, по-видимому, тоже предназначался для птиц. Кто-то говорил, кажется, что в парке были лебеди. Оторвавшись от щели, П. уловил сухой кислотоватый запах хрустящего под ногами помета. И то, что он принял за иней, был надутый в углу и по щелям шевелящийся пух. Лебедятник! На миг он задумывается, существует ли вообще это слово, но тут же, спохватившись, глядит на часы: срок пять минут третьего. Четверть часа до встречи!

Он сел на груды соломы напротив двери, тоже дощатой, запертой, может быть, извне — он не хотел пробовать, чтобы не нарушить снежной целины за стеной. Торопясь, расстегнул шинель, вытянул павликов плоский бумажник и из-за обшлага — заветный листок. Карандаш, гребенка. . . Все вместе, как передать. . . По привычке задержался глазами на фотографии. Через какой-нибудь десяток минут эти брови и лоб, этот рот с полной нижней губой, смелый и притягательный взмах лица предстанут перед ним живые. Живые! . . . Сердце у него, чуть помедливши биться, разжалось потом стремительно и упруго, как разжимаются при броске пальцы, расталкивая по всей левой половине груди щекотное, почти обжигающее тепло. Отчего он так волнуется? . . . Он припомнил, что уже больше четверти года не слышал женского голоса. Последняя женщина, с которой он говорил, была солдатка-колхозница где-то в Полесье — они, трое разведчиков, ночевали у нее перед очередным паническим откатом назад. Она потрясла их своей бесхитростно-ласковой, кажется одной только русской крестьянке и свойственной, заботою о чужих. Наутро она валялась у П. в ногах, моля заступиться: пришли из «особого» угонять, во исполнение приказа, скот. Прихватывая вслепую руками четверых своих ребятшек, она билась головой об пол и выла, наивно надеясь, что ей кто-нибудь может помочь. . .

Но — в сторону это. Он все еще разглядывал фотографию. Навероятно, чтобы этот рот с чувственной — да, может быть, именно чувственной — губой заговорил. Ему казалось, что он будет ждать ее голоса, как ждут в театре или на концерте первого такта оркестра, после того как дирижер постучит по пюпитру палочкой.

Потом ему представилось, как эти спокойные, чуть горделивые черты дрогнут и исказятся, услышав то, что должен он сообщить; как милое это лицо станет каменно-отчужденным, может быть даже враждебным, еще прежде, чем он успеет открыть рот, в тот поистине отчаянный момент, когда она увидит не того, кого ждет. . .

Он вдруг вскочил: было три часа без минуты. Подбежав к двери, прислушался. Пролетая над зеркалом пруда, едва внятным

крупчатый шорохом ложилась за стеной поземка. Далеко и глухо, должно быть в Заречье, работал моторный движок. Никаких шагов, ничего. . .

Он стал ходить взад и вперед по сарайчику, поминутно останавливаясь у дверей, прилегая к ним ухом и забывая дышать. Холод лез под шинель, и то ли от этого, то ли от выжидания начинала бить дрожь. Отшвыривая мешавшие под ногами груды соломы, он почти бегал, чтобы согреться.

Потом сел опять, лицом к двери, решив как можно дольше не глядеть на часы, чтобы не замечать, как мучительно тянется время, и весь обратился в слух: снег нетронутый, хрусткий, издали должны быть слышны шаги. . .

Ветер за стеной крепчал, подвывая в щелях на крыше. Изловчившись, задувал по временам внутрь через выбитый треугольник стекла, плотно и шумно, словно приложившись к нему губами, и тогда шевелился по пазам и карнизам лебяжий пух. Белая грудка его в углу вдруг ожила, пушинки забегали по соломе, приподнялись на пуанты, начали танец, похожий на танец маленьких лебедей из «Лебединого озера». П. следил за ними, спрашивая сам себя, как долго может еще выдержать это напряжение — ждать, и чувствуя, как стынут у него ноги.

Когда он снова взглянул на часы, было половина четвертого.

Ошеломленно, почти с ужасом жертвы смотрел он на острие стрелки, направленное прямо ему в грудь, так предательски быстро пробежавшее полциферблата и стершее по пути самое значительное, самое чаемое звено его авантюры. Как вообще позволил он сам себе вдруг поверить, что это что-то большее, чем авантюра, что-то действительное, а не только фантастика, сон! . . . Половина четвертого! Сейчас, в эту минуту, унтер в теплушке тоже глядит на часы, искатели черепков складывают в угол ломы и лопаты. Они, разумеется, не станут ни ждать его, ни разыскивать. Со своим пропуском он может вернуться в лагерь один, до шести, когда ему вздумается. Может присоединиться к ним и сейчас, выставив эту дверь, если она приперта снаружи, и пройдя через парк.

Он приподнимается, делает шаг к двери, но тотчас же и останавливается, скованный почти болезненным чувством боязни и жалости что-то дорогое и хрупкое поспешно и навсегда оборвать и разрушить. Что именно? Продолжает он все еще, несмотря ни на что, надеяться? . . . Дьявольский холод! Он вдруг вспоминает о фляжке с ромом, презенте Даля. Вытаскивает ее из кармана, делает три некрупных глотка. Обжигая горло, они взрываются, как маленькие ракеты, упругим подгоняющим кровь теплом.

Он решает ждать до четырех. Садится к стене, подкинув под ло-

патки соломы, зарывает в солому же заоченевшие ноги, а руки засовывает в рукава.

Голубой треугольник в окошке тускнеет. Кончается день. Идет снег. Редкие сероватые хлопья залетают внутрь вместе с ветром, тут же и пропадая на лету, и навстречу им разбегаются и танцуют на соломе пушинки, похожие на маленьких в белых пачках балерин... Как согревает ром! Даль непременно спросит о городских впечатлениях. Узкий, с металлическим голосом Даль. Тотчас же по возвращении в лагерь нужно будет идти к нему с докладом. По возвращении! Слово тоже звучит металлически и щемит, и, вытягиваясь в киноленту, отщелкивает невыносимо-знакомое, чему не суждено было стать только прошлым: часовой у входа за проволоку, новые «этапы», обуглившиеся от езды на открытых платформах, смрад барачков, из которых не успевают выбрать покойников, сторожка, дым, карты. . . «Подъем, П., вставайте!» — говорит Петер, протирая загноившиеся ресницы, и день начинается снова — безнадёжность, голодные судороги, вши, тиф, смерть. . .

Лента обрывается, и теперь перед ним — Заречье. Косо, как узкая скорописная строчка поперек ватманского листа, вьется через реку тропа. Лошаденка, запряженная в дровни, пугаясь выхлопов, всхрапывает и выгибается запятой. Выпутавшись из пригоршни домишек, едва различимая по свежей пороше, бежит к лесу дорога. Лиловый прислонившийся к самому горизонту косяк — начало огромного лесного массива, идущего на юго-восток. Если иметь пропуск, такой же, как у него сейчас, только чуть по-другому написанный, можно завалиться на эти дровни, только что, видимо, вытащенные, еще пахнущие сенной теплой пылью сарая, и тронуть возжи. . . Господи. Боже ты мой, какой бесконечный и мирный, захватывающий дух простор! И по лесным рощицам сколько заброшенных выселков и отдельных дворов, до которых не добрался еще немецкий сапог! . . . Вот он, П., вечером, один за столом, в избе. Непременно в избе — с бревенчатыми, проконопаченными пепельной костристой паклей стенами и русской печью, которая сейчас топится, утробно потрескивая и гудя. На столе коптилка, освещающая на бумаге только две строчки — ту, которая уже пролегла, и ту, которая еще только должна быть написана. Накрытый полотенцем, чьими-то заботливыми руками приготовленный для него ужин. Он ждет, ждет, чуть придремывая от тепла и уюта, напряженно прислушиваясь к сугробам и мерзлону насту за занавешенным окном, — не хрустнут ли под ногами. И вот, наконец, различает сперва невнятный, потом все отчетливее, торопливый и легкий хруст. Он все ближе, минует окошко и — обрывается. Сени на

засове. Если это шаги те, которые он ждет, сейчас должен раздастся стук в дверь.

Затаив дыхание, он ждет теперь этого стука. . .

Стука нет, и, тем не менее, он чувствует вдруг, что уже не один в комнате.

Он разжимает слипшиеся веки и поднимает голову. . .

Он поднимает голову, и глаза ему режет узкая, в четверть раствора, дверная щель с кипенью сквозящих за ней заснеженных веток и берега. Свет, вваливающейся в дверь, уже притушен сумерками и бессилен, он выхватывает лишь край отпрянувшей к стенке фигуры — плечо и рукав с полутсннувшей в нем маленькой кистью, выронившей на землю набитый до отказа солдатский рюкзак. Выронившей, не опустившей — разведенные пальцы так и застыли в движении, в которое привел их испуг.

Потерянно, еще не стряхнув сонного оцепенения, он смотрит на эти обращенные к нему пальцы, недоуменные, выжидающие. Потом переводит глаза чуть повыше и видит серое в полумраке уставленное на него лицо с фотографии.

Разглядеть выражения не успевает, потому что снова опускает глаза — ему хочется зажмуриться, проверить, сон это или нет.

Тут же, мгновенно и горячо, понимает, что это не сон, переводит дыхание и хочет встать — ноги затекли и не слушаются.

В смятении от затянувшейся паузы, стаскивая ушанку, трет лоб. . .

— Простите, я кажется задремал! — выговаривает он наконец.

ИВАН ЕЛАГИН

ПОЭМА БЕЗ НАЗВАНИЯ

Там, в сквере, пять иль шесть
Деревьев оголенных,
Но как-то страшно сесть
У этих голых кленов.

Там пьяницы сидят,
И Данте Алигьери,
Как страж у входа в ад,
Поставлен в этом сквере.

Он здесь уже давно.
Он наблюденьем занят.
Он смотрит, как вино
Босяк из фляги тянет.

И как передает
Он эту флягу другу.
Друг отопьет — и вот
Она пошла по кругу.

Что им земная боль,
Обиды и измены,
Так нежно алкоголь
Разогревает вены.

Блаженны босяки.
Кто на земле мудрей их?
На скамьях пиджаки,
А души в эмпиреях.

В глаза их посмотри,
В лоснящиеся щели.
У каждого внутри
Не сердце, а качели.

Но вот уже дома
Над улицей качнулись,
И улица сама
Качнулась среди улиц.

Где подымался ввысь
Какой-то камень серый,
Оранжево зажглись
Квадратные пещеры.

Автомобиль кривой,
Как допотопный ящер,
Скользнул по мостовой
На светофор горящий.

Весь уличный пролом
Заставлен небосклоном.
Там небосклон стеклом
Стоит темнозеленым.

На этот жалкий сад,
На этот сброд невзрачный
Три звездочки глядят
Из полумглы коньячной.

На этот бедный люд,
На этот люд никчемный,
Они сиянье льют
Из глуби полутемной.

Три звездочки — ночей
Серебряные банты
Блестают на плече
У каменного Данте.

Ночные голоса
И гул трактирных стоек
Не слышат корпуса
Неконченных построек.

Их силуэт сквозной
Напоминает соты
Под маленькой луной,
Закинутой в высоты.

И корпуса таят,
В стенах своих упрятав,
Звучание сонат,
Сверкание театров,

Рукоплесканье лож,
Свистки и крик галерок,
Восторженности дрожь,
Взволнованности морок.

И дирижерский взмах
Мерещится оттуда,
Где высится впотьмах
Бесформенная грудая.

Но вот уже дома
Над улицей качнулись,
И улица сама
Качнулась среди улиц.

Еще почти что пуст
Участок, на котором
Раскинется искусств
Сверхсовременный форум.

И ты сюда придешь,
И под удары клавиш,
Как ставят грудь под нож,
Всего себя подставишь.

Как много женских плеч
И лиц блестящих глаз,
Чтобы тебя увлечь,
В мехах стоят, как в вазах.

Как много вееров
На бархате балконов,
Люстр, ламп, прожекторов,
Юпитеров, неонов.

А что, когда обдаст
Тем холодком особым,
И ты, энтузиаст,
Отсюда выйдешь снобом?

Не доверяй коврам
И мраморным ступеням,
Павлиньим веерам,
Ночным столпотвореньям.

Верь звонким чердакам,
Что жмутся к самым крышам.
Поближе к облакам
Свободнее мы дышим.

Еще блаженно-тих
Сад, где поставлен Данте.
Еще сюда франтих
Не натащили франты.

И полицейский страж
Еще не гонит пьяниц.
А как войдет он в раж,
То наведет он глянец.

Здесь станет кадилак
С почтительным шофером,
Что смотрит на зевак
Презрительнейшим взором.

И женщина пройдет,
Каменья платьем тронув,
И выставкою мод
Блеснет у этих кленов.

И юркнут в тесноту
Те личности живые,
Что прямо налету
Хватают чаевые.

Но с грохотом дома
Над улицей качнулись,
И улица сама
Взорвалась с сотней улиц.

Где было пять иль шесть
Деревьев оголенных,
Там только тени есть
Обугленные кленов.

Где пьяницы сидят?
Где Данте Алигьери?
Уже у входа в ад
Или у райской двери?

Огромный город ввысь
Швырнуло глыбой серой
И в воздухе рвались
Пещера за пещерой.

Автомобиль кривой,
Как допотопный ящер,
Сдох, испуская вой
И буркалы тараща.

И в небо, как в пролом,
Распахнутый циклоном,
Весь мир упал стеклом,
Рассыпавшись со звоном.

На этот бедный ад,
На этот мусор бренный,
Три ангела глядят
Из огненной вселенной.

Они стоят в дверях
Зари багровотемной,
Глядят на жалкий прах,
На этот прах никчемный.

Три ангела — столбы
Пылающего неба,
Глядят на тех, кто был,
Глядят на тех, кто не был.

Где блещет райский куст,
Поближе к райским хорам,
Раскинется искусств
Сверхсовременный форум.

И женщина в шелках
Приедет в кадиллаке,
Туда, где в облаках
Лакей стоит во фраке.

И дирижер в раю
Подыметя над сценой,
Взяв палочку свою
С галантностью отменной.

И полицейский страж,
Весь в переливах радуг,
Небесный ералаш
Там приведет в порядок.

Туда ты не войдешь!
Ты жил уже на свете,
Ты ринешься в галдеж
Земных тысячелетий,

В тот океан земной,
Где катятся лавиной
Все беды до одной,
Все муки до единой.

В тот мир, что, сотворив,
Сам Бог давался диву.
Его не тронет взрыв.
Он недоступен взрыву.

СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ

Ржавый якорь
В песке у самого моря,
Того, что Черным зовется,
Хотя голубое оно.
Есть, однако,
В выси такие же взгорья,
И мачта стонет и гнется
И с шумом уходит на дно.

Здесь играло
В прятки солнце рыбаچه —
По скалам и побережью,
В жестких травах густых.
Жизни мало,
Надо с смертью судачить,
И луч воспаленный брезжит
В озерках золотых.

Разбросал
Камни прибой сердитый,
Быстрой заоблачной птицы
Набегающая волна,
Паруса
В дальнем краю забыты. . .
И только в полночь мне снится
Черноморская глубина.

Стрелою пена всходит на корму,
Летит корабль и нет ему возврата
В страну осиротелого заката,
В мой белый город в ласковом дыму.

О, бывших гроз неповторимый гром
И ты, полуразрушенная арка,
О, странный год, когда деревья в парке
Трещали под зловещим топором!

Уже воспоминания не лгут,
В них все теперь несокрушимо просто —
Был вой собак и лошадиный остов
На кровью опоганенном снегу.

И как понять замороженный взгляд,
Где нет ни ожиданья, ни печали.
Донесся выстрел, стекла задрожали,
И сердце, сердце бьется невпопад.

И мнится: в море темная скала,
И снова ночь, и эта дева в белом.
Все то, что вьюга долгая отпела,
Что я забыть не смела, не смогла.

СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ

Перевернутое, чужое
В мире том, что необъясним:
След палатки, скрытый травой,
Котелок, и пепел под ним.

Как от глаз назойливых спрятать
Под глухой смертоносный гром
Эту солнечную заплату
На валежнике снеговом!

Горько-горько дымят ограды,
Ночь и черная тишина,
И рассыпавшаяся радость
Подытожена, сочтена.

Ни догадок, ни сожаленья,
Только скорби сухой огонь...
Но как милостыню — прощенье
Опускаю в твою ладонь.

СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ

Раскидаю, разобью, растрочу,
Чтоб себя навек отъединить...
Если хочешь, я отдам в придачу
И судьбой отсчитанные дни,

И тоску, и ласковые бредни,
И тревогу — все, что ни проси:
Лучше быть извозчиком последним,
Чем шофером тряского такси.

Лучше быть смешным, иногородним
Пьяным забулдыгой без пути,
Чем в неумолимое сегодня
В макинтоше с зонтиком войти!

К. ПОМЕРАНЦЕВ

ИТАЛЬЯНСКИЕ НЕГАТИВЫ

*Спит она, улыбаясь как дети, —
Ей пригрезился сон про меня.*

А. Блок

*Подо мной: земля, человек, смерть.
Нищие*

СНЕЖНЫЙ ПРОЛОГ

Конец июня. Три часа дня.

*«Как шитый полог свод небес
Пестреет частыми звездами».*

Париж спит. Парижу еще снятся сны. Мой сон только начался. Когда Париж проснется, я буду за сто, за двести, за триста километров от него.

Равномерно стучит мотоциклет. Теплая ночь постепенно переходит в прохладное утро. С левой стороны начинает светать. Я уменьшаю скорость: холодно. На дороге никого. Раньше середины июля редко кто ездит в отпуск. Тем хуже для них — пусть

Варятся в автомобильной каше,
Под музыку клаксонов и гудков!

Я люблю простор, люблю смотреть на километры вперед, за набегающую колокольню, за сверкнувший мазок реки, за оранжевое пятно крыши, за побеждающее утро.

Где это было и когда?

В Париже? В Женеве? В Неаполе?.. Не все ли равно. Мы бродили всю ночь напролет. Утром, когда легкий туман стал покачиваться над городом, советский офицер сказал мне:

— Я понимаю, что вы не хотите возвращаться. Я никогда так не любил Россию, так ее не чувствовал, как здесь, за тысячи километров от нее.

Рисунки в тексте Ю. Анненкова.

Уже совсем рассвело. Небо из молочно-желтого становится синим. Начинает теплеть.

Кажется, это моя первая летняя поездка без дождя. Я уже на полпути к Сервозу, альпийскому городку у подножья Монблана. Десять часов. Там, за мной, Париж давно проснулся. Не проснулась только шестнадцатилетняя Лин. Вчера она держала выпускной экзамен и заявила мне, что теперь будет отсыпаться. Будет спать до полудня.

Это было двадцать пять лет назад. . .

Пусть спит. Ей наверно приснился сон обо мне, о мотоциклете, о Сервозе, о Монблане: обо всем, что я сейчас пишу.

Я пишу о приснившемся Лин.

Остается еще двести километров, но как переменился воздух, как позеленела зелень, посинело небо, как стали четко-отчетливы предметы. Надо сделать несколько фотографий.

Дождливым зимним вечером буду вспоминать дышащую зноем дорогу, убегающие километровые столбики, еле заметную акварель начинающих приближаться гор.

Жарко. Воздух застыл. С ним застыло и время. Времени больше нет. От дороги клубами поднимается зной. Снимаю с себя все, что можно. Остается безрукавка, шорты, сандалии на босу ногу. Ищу тень. Щелкаю фотоаппаратом.

Лин очень фотогенична. Ей бы играть в кино. Да она только об этом и мечтает. Весной она познакомилась с известным кинооператором. Они протанцевали весь вечер в «Быке на крыше». Прощаясь, Марк сказал ей: «С такой внешностью, как ваша. . . я вам открою все двери. Завтра в семь часов я заеду за вами и мы поедем ко мне. Ждите меня, как всегда, за углом. . .»

Лин в восторге. Я, конечно, не обижусь, если завтра она ко мне не придет. Ведь дело касается всего ее будущего. Только — тсс. . . Ни слова маме.

Я вынимаю бутерброд, два персика, булочку, неизменную флягу с кальвадосом:

«С ним невозможное так сладостно возможно. . .»

Да и что такое двадцать пять лет?

Который час? Одиннадцать. Лин еще спит. Она же сказала, что будет спать до полудня.

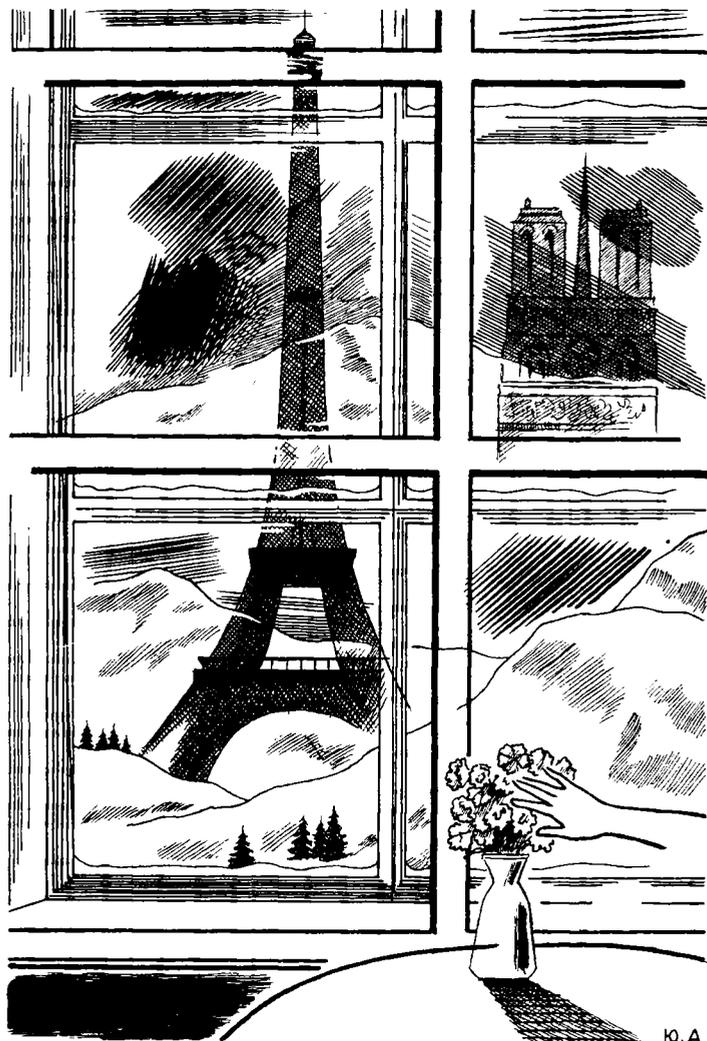
Значит, сон продолжается. . .

Ресторан отеля окнами выходит на Монблан. Снега Монблана возвышаются над елями во всем своем савойском великолепии.

*«Как он любил родные ели
Своей Савойи дорогой. . .»*

Я тоже их люблю. Люблю французскую Савойю, густой бархат ее зелени, снежные склоны ее гор.

Как близок Монблан! Кажется, если пройти — ну, полчаса, ну, час, ну, от силы полтора (если не торопиться).



А вот специалисты уверяют, что нужно по крайней мере два дня, и не отсюда, а от Шамоникса, где надо сначала добраться на подъемнике до Пик дю Миди и уже оттуда идти на Монблан.

Но что понимают специалисты? Два дня подъема на оставшие-

ся восемьсот метров? Вздор! Они наверно никогда не ходили с Лин... А может быть, и никогда не любили.

Что такое снег? Специалисты ответят: атмосферные осадки, химическое соединение водорода с кислородом, при какой-то там температуре. Решительная чушь! Снег это сияние, снег это тишина, снег это небытие:

И за пределами сознания,
На рубеже Восьмого дня,
Коснуться вечного сиянья
Монблана и небытия.

Бог вызвал мир из небытия. Смотрите на Монблан, — это мысли Божества. Смотрите на Монблан — и вы коснетесь божественной мудрости.

— Я предпочитаю смотреть на космический корабль «Восток II» и прикоснуться к мудрости построивших его советских ученых, — ответил мой сосед по столику, американский студент.

Он прав. Да и Лин советовала: — Брось богословствовать. Мы живем не в Средние века. Да и атомная физика не алхимический трактат. К тому же в Библии сказано: «И почил Бог в день седьмый от всех дел своих, которые делал». Теперь же настал день человеческий — день Восьмой...

Кто это сказал: «Человек отпущен на свободу, больше Бог не опекает человека, человек свободен»?

Да, свободен! Но кто хочет свободы человека? Церковь хотела послушания. Коммунизм — рабства. В Писании же сказано: «Познайте Истину и Истина сделает вас свободными».

Но кто может познать Истину и не сойти с ума?
Как же тогда быть?

— Оставаться в послушании и пребывать в рабстве.

*«Но я земную ось верчу
И этого я не хочу!»*

Я не хочу ни послушания, ни рабства!

Я хочу, чтобы продолжался блаженный сон Лин, чтобы поднималась вверх альпийская дорога. Я хочу, чтобы воздух становился все прохладнее и прохладнее, а солнечные лучи все жарче и жарче. Я хочу, чтобы надо мной было только небо, а вокруг меня только снег. Я хочу, чтобы все осталось внизу: земля, человек, смерть.

Я уже второй день в пути. На столбике указана высота: 2357 метров. Снеговые пятна все чаще. Справа, за поворотом, целое снежное поле. Какая невыносимая белизна! Еще несколько минут, и я в настоящем снежном коридоре в самый разгар лета, 1 июля 1961 года.

Останавливаю мотор. Слезаю, прислоняю мотоциклет к снегу. Шипят цилиндры, поднимается пар. Залезаю в снежную расщелину. Натаираю снегом ноги, руки, лицо.

*«Зарыться бы в снежном бурьяне,
Забиться бы сном навсегда»,*

мечтал когда-то Блок.

Помечтаю и я...

Лин придет в восемь часов и мы пойдем в ресторан. Дорогой я куплю красные гвоздики и поставлю на столик. Лин любит красные гвоздики. Мы закажем по ломтику ветчины, фаршированный перец и непременно фисташковое мороженое. Потом попросим кофе и две рюмки коньяку...

Но Лин не пришла.

Как я забывчив! Она же предупредила, что в семь часов...

*Зарыться бы в снежном бурьяне,
Забиться бы сном навсегда...*

Я ночевал на горном перевале Изеран, — почти три тысячи метров высоты. Надо мной было черное звездное небо. Подо мной: земля, человек, смерть.

За двойными стеклами отельной комнаты, за лиловатым отблеском снега, виднелся Париж. Вон промелькнула золотая стрела воздушного метро. Чуть вздрогнула вазочка с красными гвоздиками на столе прокуренного ресторанчика. Сладковатый дым американской папиросы сиреневым облаком качнулся над цветами.

— Сиреневый дым... Мама говорила, что в России снег отливает фиолетовым цветом... Закажи еще по порции мороженого.

ВСТРЕЧА В РЕСТОРАНЕ

*Вдруг он улыбнется нахально, —
И нет близ меня никого...
Знаком этот образ печальный,
И где-то я видел его...*

А. Блок

Я не приехал в Италию: я в нее спустился. Спустился с альпийских снегов, куда-то на петлистую дорогу, возле Бриансона.

Опять на дорогах Италии,
Порьвисто дышит мотор.
Венеция, Рим и т. д.
Помпея, Миланский собор...

Седьмой час. До Милана двести километров. Многовато. Придется заночевать в дороге. Ближайший город — Суза. Пусть будет Суза. Чем она знаменита? Не все ли равно.

До Сузы пятьдесят километров. Если все будет благополучно, через час доберусь. Дорога не ахти: крючки, шпильки, подъемы, спуски: горы еще не утряслись.

Но что это? Впереди, слева, как будто тучи. Тучи над Италией? Невероятно!

Но сомнения нет: с Востока надвигались тучи.

Тучи с востока. . .

А в Константинополе, в Британской школе для русских детей, меня учили: «Экс ориенте люкс!»

Вот и разбирайся!

Бьющий в лицо ветер доносит первые раскаты грома. Неужели придется останавливаться, доставать непромокаемый плащ и прочую противодождевую броню? Неужели не пронесет? Тучи над Италией! Потрясение основ!

Жаль, что по бедности эмигрантской пришлось продать автомобиль. В автомобиле в грозу куда уютней. В крайнем случае убавишь скорость. . .

— Неужели нельзя быстрее? Сколько еще до Биаррица?

— Километров пятьдесят.

— Наш автомобиль — это благополучный мирок среди разбушевавшейся стихии. . . Я люблю благополучие среди катастроф.

— Это эгоизм.

— Я знаю, что я дрянь.

— За это я тебя и люблю, Лин.

— За откровенность или за дрянь?

— За то, что ты знаешь, что нет сильней этой любви.

— А говорят, что любовь спасет мир.

— Не любовь, а красота.

— Это одно и то же.

— Нет, это много страшней!

В Биаррице выла буря. Диким верблюдом горбился океан. По набережной летали клочья желтой пены и звонко шлепались на мостовую, на витрины магазинов, на стекла автомобиля.

— Океан отпущен на свободу.

— Океану некого любить.

— Стихии не нужно любить.

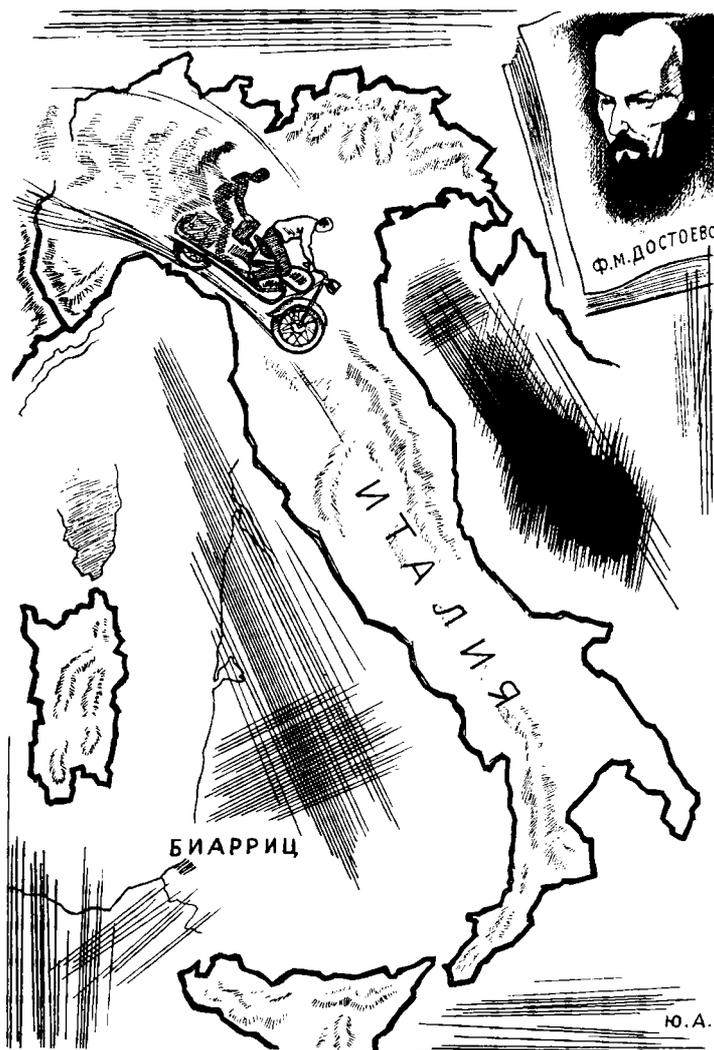
— А человеку?

— Чтобы он не стал стихией. . .

Этим вечером Лин стала моей невестой. Был понедельник, восьмой день недели.

Мы проводили рождественские каникулы у моего двоюродного

брата в Биаррице. Всю ночь гнулись кипарисы и скрипели оконные рамы. Но дождя не было.
Пронесло. . .



Когда я подъезжал к Сузе, небо уже совсем очистилось. Я начал искать ночлег.

Толпа гулкая, улицы узкие. Красные (почему-то красные) мотоциклисты, хвастаясь ловкостью, бросались от одного тротуара к

другому. От них с визгом отскакивали мальчишки, скрипели стайки, вспыхивали девушки.

В двух отелях отказали. То ли переполнено, то ли вид не внушает доверия. Да и кто разгадает человека за масляными пятнами и слоем мотоциклетной пыли. Кто угадает, что я — «большой и нежный, что я сердцем чист.»

Ну, а вдруг — кого-нибудь зарежу под истошный твист?

Остается на главной площади большой отель с ливреями, ливингурами и прочими звездочками. Наверно дорого и неудобно и опять же — мотоциклетный вид.

Можно, конечно, проехать дальше, поискать в другом городке, да уж слишком разморило. Теперь бы отмыться, переодеться, полежать, помечтать, человеком стать, да за стол с неизменными спагетти и благословенным кианти.

Объясняю свою нужду:

— Камера персона сола. Уна нотта.

— Мольто бене.

Ну, значит, жив Бог!

Зал ресторана небольшой, уютно освещенный зеленой лампой. На столике декоративная черная пепельница и вазочка с красными гвоздиками. Но я не курю. Красные же гвоздики мне давно ни к чему...

— Учитесь ценить ненужные вещи, — замечает позади меня, по-французски, молодой человек своей визави.

— Да я только их и ценю.

Я вижу в зеркале задорный профиль девушки, белое платье в синих цветах. У молодого человека светлые вьющиеся волосы. Струйка сладковатого дыма от американской папиросы.

— Разрешите подсесть? Марк, журналист, философ и поэт. От безделья и тоски мотаюсь по дорогам Италии. С удовольствием бросился бы под автомобиль или сиганул через парапет, да страшновато. По природе я труслив и подл.

Я хотел что-то ответить, но незнакомец уже уселся и посмотрев на недопитую бутылку, попросил:

— Велите принести еще стакан. Мне дьявольски хочется пить, и кусок сыру: я с утра ничего не ел.

Что было делать? Я пожал плечами и велел принести сыру и пустой стакан. Гость налил себе вина, выпил и с аппетитом закусив, продолжал:

— Вас смущает моя бесцеремонность? Но что делать? Приходится. Жизнь не к такому приучает. К тому же в чужом городе, в чужой стране, без гроша в кармане.

Я прервал:

— Простите, но если у вас нет денег, как же вы путешествуете и как вы попали сюда?

— Я же сказал: болтаюсь от тоски и безделья по дорогам. А попал в Сузу на вашем же мотоциклете.

— Как?!

— Очень просто. Помните, когда, отъехав от границы, вы остановились, чтобы сфотографировать ущелье и плюющийся рыжей пеной поток? Я там и подсел на заднее седло. Если не заметили, то исключительно по рассеянности. К тому же приходилось торопиться из-за надвигавшейся грозы. Как раз в это время донесся первый раскат грома, почему-то напомнивший мне биаррицкий прибой. Вы вскочили на мотоциклет, я за вами, и мы очутились в Сузе.

Я не выдержал:

— Помилуйте, это какой-то бред!

— Жизнь вообще превратилась в бред. В апокалиптический бред. Но могу заверить: войны не будет. По крайней мере в этом году. А жаль! Когда не знаешь, что с собой делать, то ждешь войны, «как сказочного волка»... Пусть рвутся водородные бомбы и гибнут миллионы жизней, лишь бы моей гаденькой персоне стало интересней жить. Как бы это сказать? Пикантней, что-ли. Хуже ведь все равно не станет. А убьют — тоже не беда. Не скажу, чтобы я вспоминал с таким уж отвращением вторую мировую. Конечно, бывали неприятные минуты: допросы, обыски, несколько недель в лагере. Но они больше щекотали нервы. Зато не было времени для встречи с самим собой.

— Перестаньте молоть вздор! Кто вы?

— Я же сказал: журналист, философ и поэт. Берите на выбор. Из поэтов больше других уважаю Тютчева за его «мысль изреченная есть ложь»: единственная написанная стихами правда. Из философов Сартра за его ад: «Ад, это взгляд другого».

— Чепуха!

— А вы попробуйте. Интереснейшее занятие. Рекомендую. Почти самокритика. Кстати, коммунисты уже давно заменили исповедь самокритикой. Чертовское знание человеческой природы. Принцип все тот же: освободить человека от самого себя. Подменить личность коллективом. Рационалисты и просветители высмеивали религию и доказывали, что никакого Бога нет, что все отчуждение (по Фейербаху), а следовательно и исповедоваться не нужно. Что из этого вышло, сами знает: великая и бескровная. Но она, как помните, долго не продержалась. Тут-то и появились коммунисты с их самокритикой. С этого момента все пришло в порядок и победа коммунизму была обеспечена.

— Значит, борьба с коммунизмом невозможна?

— Почти. Но способ все же есть.

— Способ?

— Да. Способ избавиться от коммунизма. Это — завладеть техникой.

— Сверхбомбы?

— Сверхспутники. Послать, например, на Венеру американский космический корабль и в нем сто человек. В тот же день советский человек поклонится американскому сверхкосмическому кораблю и делу конец. Ведь сами коммунисты научили кланяться сверхспутникам. . .

Выходя из ресторана, я услышал за спиной знакомую французскую речь:

— Коммунизация Китая? Диалектический материализм? Безусловно. Но знаете ли вы, что еще до сих пор китайцы, накрывая стол, ставят лишний прибор. Это для умершего. И разговаривают с ним, как будто он с вами рядом. Интереснейший народ. . .

Жаркая итальянская ночь. За светящимися цветными рекламами почти не видно звезд. Стеклянно-прозрачен воздух. Чувствовалось, что в небе ни одного облачка. Тучи с востока рассеялись окончательно. Сладковатым дымом кружилась голова. Я пошел наугад вдоль узкой улицы к светящемуся красной гвоздикой фонарю.

Завтра Милан, потом Генуя, потом Пиза. . .

Ну вот, я в Италии снова. . .

Что еще нужно человеку?

НА ПЛОЩАДИ СРЕДИ ВЕКОВ

*Мы пили в память возлюбленного вино,
Опьянившее нас до сотворения виноградника.*

Омар ибн Фарид

Холодно. Отвратительно барабанит осенний дождь. Ему вторит мой ундервуд. В окно вижу чужие окна. В них чужая жизнь. Зажигается электричество.

Осень, дождь, вечер. Чужая жизнь и своя. Чужая и своя судьба. Между ними — окна, холод, дождь.

Я пишу об Италии. Я смотрю на мокрые окна и, за дождем, за электричеством, за своей и чужой судьбой, всматриваюсь в звонкий июльский день, в вереницу грузовиков на дороге Турин-Милан, в автомобили, в столбы с какой-то рекламой и с надписью:

Милан — 128 клм., Милан — 126 клм., Милан — 124 клм. .

Забилась в угол стрелка счетчика, чуть вздрагивает и просит пощады. Подожди, еще тридцать километров и будет полпути. Полпути от Сузы до Милана.

Я высмотрел тенистую полянку среди деревьев тянущегося вдоль автострады леса. Разложил клеенку и на ней лукуллов зав-

трак: хлеб, сыр, две груши, сдобную плюшку и флягу с кальвадосом.

Жарко. Пока ехал, дул ветер, — теперь все застыло. Одна жара, извиваясь тропическим чудищем, лижет воздух липким языком. Метрах в трех, над высоким красным цветком, повисли в воздухе две стрекозы. Вот одна из них села, сложив прозрачные слюдяные крылья. Я неслышно подкрадываюсь, хватаю за крылья стрекозу. Ого! Эта, пожалуй, больше всех остальных. Такой я еще не видел ни у одного из моих школьных товарищей. Я осторожно кладу стрекозу в папиросную коробку. Слушаю, как она там бьется, потом ложусь на спину и смотрю в синее, густое небо. Я никогда не думал, что небо так близко, что так близко до неба, до святых, до ангелов, до Бога.

Я люблю лежать в зеленой траве и смотреть в синее небо.

Если повернуться, видно, как внизу, за розовой кашкой, серебрится Хопер. Напрямик, от бабушкиного сада до Хопра — минут двадцать. Завтра утром Фадеич обещал взять меня на рыбную ловлю. . .

Парижский вечер, итальянская дорога, серебристый Хопер. Залетевшая из бабушкиного сада на миланскую автостраду стрекоза. Чужая и своя судьба. Сорок пять невероятных лет. . .

Вот и останься бы лежать на поляне, в траве, возле дороги, смотреть в синее небо и слушать, как проносятся автомобили, как догоняют их года, как все перегоняют воспоминания:

Так, под мерную дробь ундервуда,
Возникают былые года,
Появляются из ниоткуда
И, срываясь, летят в никуда. . .

Снова гудит мотоциклет, загоня в угол стрелку счетчика. Милан совсем близко. Я оборачиваюсь назад, трогаю рукой заднее седло. . . Не растрясло ли багаж? Или. . . Нет, все благополучно. Вот и городские окраины. Как бы теперь найти тот самый отель, в котором я останавливался в прошлом году?

Постараюсь по памяти.

Улицы привычные, места знакомые: пинакотекка Бреа, Санта Мария делла Грация, Каstellо Сфорцеско. Теперь проехать метров семьсот по трамвайной линии и будет мой прошлогодний отель.

Так и есть: язык до Киева доведет. Правда, здесь не Киев, а Милан, и без языка, но все же добрался.

Встретились, как старые друзья. На франко-русско-итальянском эсперанто обсудили международные дела и погоду, и я поднялся в мой номер отряхнуть мотоциклетный прах.

Было около полудня, когда я сидел на огромной пьядца дель Дуомо, среди яркой международной толпы, за столиком кафе, пря-

мо перед Собором. За тем же самым столиком, того же самого кафе, за которым сидел год назад, когда впервые на фоне синего неба и двадцатипятиэтажных небоскребов увидел это мраморное наваждение.

Все осталось по-прежнему, ничего не изменилось, как будто и года не прошло, и не то, что года — столетий. Такими же застывшими, вдвинутыми один в другой стояли остановившиеся века: Собор с его окаменевшими святыми, площадь с застывшими перед полицейской палочкой автомобилями и я, за столиком кафе, с вереницей тянущихся к Собору лет — огромной стрекозой в папиросной коробке, красной гвоздикой на столике парижского рестораничка, рыжей пеной биаррицкой бури и фиолетовым отблеском снега на замерзшем серебре Хопра. . .

— Кант был прав, утверждая априорность времени и пространства. Но он позабыл, что есть и ненормальные сознания, больные, — философствовала моя соседка, недавно вернувшаяся из Москвы студентка-шведка, запасающаяся солнцем перед возвращением к себе на север. — А что такое ненормальность, как не выпадение из мировой уравниловки, из закона большинства. Есть сознания, для которых не существует ни нашего времени, ни нашего пространства. На этом основаны все предсказания. История свернута. Мы ее разворачиваем во времени, но ее можно развернуть и в пространстве. А развернув историю в пространстве, можно захватить и будущее. Разворачивайте же ее в пространстве и предсказывайте.

— Я не верю в предсказания.

С соседнего столика доносился разговор:

«— Я вас не про то спросил, — верите вы или нет, что привидения являются. Я вас спросил: верите ли вы, что есть привидения?»

— Нет, ни за что не поверю, — с какой-то злобой вскричал Раскольников.

— Ведь обыкновенно как говорят? — бормотал Свидригайлов... — Они говорят: 'ты болен, стало быть, то, что тебе представляется, есть один несуществующий бред'. А ведь тут нет строгой логики. Я согласен, что привиденья являются только больным, но ведь это только доказывает, что привиденья могут являться не иначе как больным, а не то, что их нет самих по себе».

— Самих в себе, — поправила шведка. — Ваш Достоевский плохо знал Канта.

— Надо выбирать: или Кант, или Достоевский — «Или, или».

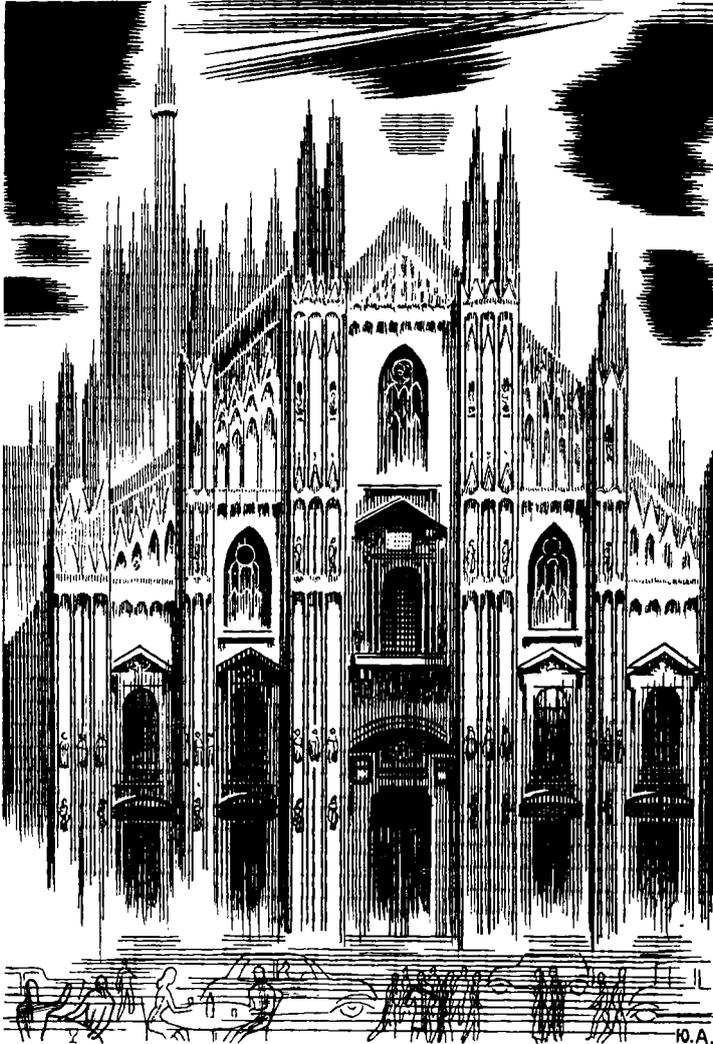
— Киркегор?

— Нет, Хаммершельд. Вы разве не знаете, что он разбился вчера вечером в Ндоле, близ Катанги?

— Позвольте! Хаммершельд разобьется в сентябре, а сегодня начало июля? Я ничего не понимаю.

— Понимать решительно нечего. Я же сказала: разворачивайте время в пространство.

— Но почему же разбился и почему непременно Хаммершельд?
— Очень просто: Хаммершельд хотел замирить Конго и тем ликвидировать одну из причин раздора между Западом и Востоком.



Но это кого-то там не устраивало. Железная логика. А вы мне — сентябрь! Впрочем, расплачивайтесь и идемте в Санта Мария смотреть «Тайную Вечерю». Кстати, наши соседи расплатились и тоже пошли.

— Я видел «Тайную Вечерю» в прошлом году.

— Не говорите глупостей. Вы простояли десять минут перед картиной, перед которой стоят века. Я приходила смотреть почти каждый день, все три года, с 1495 по 1497, следя за каждым мазком Леонардо, и вот теперь снова иду.

Трапезная монастыря разделялась на две части. В одной за длинными столами сидели монахи, среди них толпились посетители. Я заметил Свидригайлова, что-то объясняющего Раскольникову. В другой, в полумраке, еле виднелись лики Христа и апостолов.

— Картина, — говорил Свидригайлов, — должна была напоминать монахам, что всякая пища есть причастие.

— Да вы-то сами в причастие верите? — резко и с азартом спросил Раскольников.

«— Да, пожалуй, pour vous plaire, — пробормотал Свидригайлов, как бы задумавшись».

— Сейчас это уже незаметно, — пояснила моя спутница. — Сейчас краски картины почти стерлись, но тогда это всех поразило: лик Христа был только набросан. Леонардо его не кончил. Говорят, умышленно. Помню, как он стоял возле картины точно в забытьи. Кто-то из присутствовавших заметил: «Лик Христа таков, каким его видит каждый».

— А если я его не вижу никаким? — с нескрываемым раздражением взвизгнул Раскольников.

— Вините в этом Достоевского, — ответил Свидригайлов..

Было уже совсем темно, когда мы снова очутились на пьядца дель Дуомо. Горели витрины. Кувыркались цветные рекламы. Прямо перед нами светилась огромная масса Собора. Она застыла на площади бледным, поднявшимся из веков призраком. Вертикальные тени бесчисленных башенок и статуй напоминали складки огромного савана. Напротив пестрели столики кафе. Калейдоскопом вращались цветные огни.

Свидригайлов продолжал:

— Писатель ответит за своих героев! За каждое их действие, за каждый их жест, за каждое их слово. Вы что думаете: сел, написал, одного заставил застрелиться, другого повеситься, третьего убить старуху, населил мир всеми этими призраками, а потом «во блаженном успении вечный покой, подаждь Господи»? Нет, Родион Романович! Трижды нет! Такое только в сказках бывает, для утешения оставшихся в церкви поется. Говорю вам: за все, за все ответит писатель. За все будет отчитываться художник. Искусство, это страшная вещь!

— Надоели вы мне с вашей мистикой, — горячился Раскольников. — То у вас привидения являются, то ответы заставляете дер-

жать. Кому и когда? Не верю я ни в привидения, ни в ответы, ни в бессмертие души. Вздор все это!

— Вы опять не о том. Какое кому дело, верите вы или не верите. Я говорю о фактах, а не о вере.

В отель я вернулся около полуночи. Лег, но долго не мог заснуть. Вспоминал Биарриц, то Рождество, бесконечные споры об искусстве. Двоюродный брат готовил выставку картин и Лин часто ему позировала. Особенно удался ее портрет — светящийся силуэт на фоне вечеряющего неба. Закатное солнце зажигало волосы.

Картина долго лежала в подвале. Теперь она снова висит в моей комнате.

Прошло больше двадцати пяти лет... Дождь перестал. Закрылись ставни соседнего окна. Утомился ундервуд. Поскорее бы лечь и заснуть: сон — младший брат смерти.

Кто это сказал?

ГЕНУЭЗСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Схоластики интересовались вопросом, сколько ангелов может поместиться на острие булавки.

Из учебника средневековой философии.

Никогда не думал, что так трудно писать. Легче таскать пятипудовые мешки. Да я их и таскал. Не мешки, а корзины с углем.

В Константинополе в 1925 году. Тогда мне было восемнадцать лет.

Я окончил среднюю школу и ждал визу во Францию. А в ожидании визы разгружал пароходы на угольном складе в Каракее, на Босфоре.

Счастливым было время! Угольные корзины на спине казались манной небесной: они приносили полторы лиры в день, хоть и весили по пятьдесят килограммов. Но что значат все килограммы мира в сравнении с восемнадцатью годами?

Я работал по десять часов. Затем бросался в Босфор, смывал с себя угольную пыль и перетасканные корзины, и возвращался домой.

*«Эх, ты молодость, буйная молодость,
Золотая сорви голова!»*

У меня никогда не болела спина от угольных корзин. А вот теперь перед каждой строкой, перед каждым словом моих итальянских воспоминаний — хоть выходи на улицу и вой.

И вовсе не потому, что хочется написать с каким-то вывертом, не так как другие. Не до вывертов в наше время, и какое мне дело, как и о чем пишут другие: «Что у кого болит — тот о том и говорит!»

А болит у меня весь мир. Я болен всем миром и весь мир болен мной. Каждым из нас.

Ну, а кто не болен миром, значит тем не нужен мир и они не нужны миру.

Оставим их:

«Пусть доживут свой век привычно.»

Но какое это имеет отношение к Италии, к автостраде Милан-Генуя, к начинающему тускнеть небу, к обрывающимся каплями дождя? Да такое, поймите меня (хорошо поймите), что везет-то мой мотоциклет целую человеческую судьбу, и одному Богу ведомо, чего только там нет, в мешке этой человеческой судьбы: и корзины с углем, и стрекоза в папиросной коробке, и букет красных гвоздик, и клочья желтой пены, и снежный пролог, и разговор в ресторане, и несостоявшееся свидание (единственное настоящее), и цепь цветных воплощений, за обрывающимися каплями дождя. Все летит, все несется по стальному асфальту автострады.

Подсевший ко мне в Сузе поэт-философ, кинооператор Марк, Раскольников со Свидригайловым, студентка-шведка — все они примостились на мотоциклете: все сразу, все вместе — много ли человеку мотоциклета надо?

Теперь я уже не один. Теперь я не одинок. Теперь я во всем моем человеческом богатстве. Теперь я сразу — в настоящем, в прошедшем и в будущем. Теперь я и мгновение — одно! А мгновение, это вечность, сказал Гете — мы обязаны верить Гете. . .

Главное же — это дождь. Он еще не идет. Иногда срываются отдельные капли. Им надоело висеть между небом и землей. Им захотелось воплотиться и упасть на зеленую траву. Когда мне было два года и я только начинал говорить, я почему-то все повторял: «Хотю зеленой тлавки. . .»

Родители улыбались, вели в сад, но ничего не понимали. Я тоже ничего не понимал.

Теперь я знаю, почему мне хотелось «зеленой тлавки»: я соскучился по зеленой траве.

У мотоциклета много преимуществ. Разве его можно сравнить с автомобилем? На мотоциклете все видно — и справа и слева, и снизу и сверху. На мотоциклете все переживается по-особенному. Вы становитесь скоростью и безумием. В вас въедается ветер, в вас влюбляется солнце. Мотоциклет — это молодость.

Детская коляска,
велосипед,
мотоциклет,
автомобиль. . .
Дроги.

Пять этапов, пять веков человеческого бытия.

Еще в прошлом году был мотоциклет. . .

Не выносит мотоциклет только дождя. Дождь это злейший враг мотоциклета: шины скользят, каждая капля — булавка: словно тысячи сестер милосердия вонзают в вас тысячу отвратительных шприцев.

Ничего не поделаешь, приходится останавливаться, вынимать противодождевую броню.

— Слезай, мотоциклетная братия!

Но дождь не пошел. Не захотел. Может быть, не смог. У дождя тоже свои капризы, свое подсознание.

Дорога проходила на возвышенности и отделялась от остального ландшафта широким белым парашютом. Я поставил мотоциклет и решил позавтракать. Рановато — всего десять часов. Но какая в этом беда? Хуже, что холодно, не по-итальянски.

— Во сне всякое бывает. Во сне и Италия бывает не итальянской, — дидактическим тоном заметил Марк. До чего я не выношу этот дидактически-покровительственный тон!

— А вам откуда известно, что Лин еще спит? Это случилось всего раз, когда она отсыпалась после экзаменов. Потом, насколько помню, вы ее бросили.

— Надо всегда вставать рано. Мир принадлежит тем, кто встает рано, — вмешалась шведка.

— Не повторяйте избитостей! Скажите лучше, вы знаете Геную?

— Я там жила, когда ее завоевали французы. Это было в 1527 году. Жаль, что к этому времени вас уже не было в живых. Вы скончались ровно сто лет назад. Но это неважно. Мы пройдем на кладбище и я покажу вам вашу могилку. Подумайте только, какая поэзия: постоять на своей собственной могиле, над своими собственными костями! С кладбища я поведу вас в Сан Маттео. Там до сих пор висит меч, подаренный папой Павлом III адмиралу Андреа Дория. Да и сама церковка пречаровательна. . . Хорошее тогда было время. Жаль только, что недолго длилось. Вскоре у Дории умер брат аббат, оставив огромное наследство, и папа потребовал наследство себе: аббатство без наследства — мертво есть. По Писанию. С этого все началось и уже продолжалось до самой смерти. С удовольствием похожу по родным когда-то местам. . .

— А как вы думаете, — спросил Раскольников, — литературные герои, будучи своего рода вымыслом, тоже перевоплощаются?

— Ваш вопрос не имеет существенного значения, — ответил Свидригайлов. — Мы с вами временем не ограничены и, как вам известно, не стареем. Пройдет еще сто лет и вы, Родион Романович, останетесь таким же молодым человеком, как и теперь, каким были и в Петербурге, когда, помните, «в начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер», вы, «выйдя из своей коморки, которую нанимали у жильцов в С-м переулке, медленно, как бы в нерешимости, отправились к К-ну мосту.»

— Я не о том спрашиваю, — с досадой перебил Раскольников. — Я спрашиваю, существовали ли мы до Достоевского?

— Иными словами, — вмешался Марк, — вас интересует, почему вы убили старуху. Я говорю, конечно, не о вашей идее, а о том, почему она у вас появилась. Появилась именно у вас, а, например, не у господина Свидригайлова. Почему именно вы почувствовали непреодолимое желание, своего рода обязанность кровно рассчитаться со старухой.

— Или связаться, — словно автоматически продолжал Свидригайлов. . .

Дождливый туман давно рассеялся и над Генуей стоял неумолимый итальянский день. Огромное кладбище жалось резным мрамором гробниц, темной зеленью кипарисов, застывшим отчаянием мраморных фигур. Некоторые памятники были миниатюрной копией готических соборов, другие дворцами, третьи фантастическими сооружениями с сонмом ангелов и святых, то ли принимающих душу покойника, то ли провожающих ее в новую жизнь.

Но вечного покоя не было. Вокруг меня сверху и снизу выла буря, стоял безысходный человеческий стон.

Нет. Баратынский никогда не был на кладбище!

Я остановился в нижней части города, возле порта, на самой дороге, идущей через Геную на итальянскую Ривьеру. Мне кажется, что я никогда не видел такого движения, столько автомобилей, такую шумную и пеструю толпу. Цветные автобусы и легковые машины с цветными иностранцами, как вагоны нескончаемого поезда, тянулись один за другим. Между ними в двух направлениях протискивались трамваи, между трамваями — еще автомобили, между автомобилями — мотоциклисты, между мотоциклистами — велосипеды и, властвуя всей этой неразберихой, зажигались фонари: зеленый, желтый, красный.

Генуя мне не понравилась. Быть может потому, что боясь не найти комнату, я бросился в первый попавшийся отель. А отель оказался на редкость пакостным: огромная, серая, почти в пятьсот



комнат казарма, переполненная туристами, все больше стадными, с проводниками и переводчиками, занимавшими сразу целый этаж.

Я в нем растворился, потеряв моих дорожных спутников, — не под силу оказалась им эта казенщина, этот жуткий железо-бетон.

Я и на кладбище-то пошел с надеждой, авось кого встречу. Но и там никого не нашел. Какая-то итальянская семья — папа, мама и девочка лет десяти — поднимались вверх по крутой дорожке в поисках могилы какого-то именитого покойника, совершенно не предполагая, что сам покойник, в это самое время, отчитывается за свои похождения перед судьями Тананарива, которых он, во времена Доррии, заманил хитростью в засаду, а затем сгноил в генуэзской тюрьме.

Бог с ними! Мне бы отыскать свою собственную могилку, постоять над своим собственным прахом, встретиться со своей собственной судьбой. . .

Но кто теперь меня поведет? Кто шепнет мне хоть одно слово? Кому теперь нужен я, с моим мотоциклетным одиночеством? Мои дорожные спутники остались в отеле, забились в каменную муку его стен.

С кладбища вернулся часа в четыре, поставил мотоциклет в гараж и решил пойти наверх, в город, уже пешком. Передвигаться, даже мотоциклетом, было невозможно: автомобили, заторы, красные огни — весь арсенал моторизованного благосостояния, предельная мечта составителей очередной программы КПСС!

Добрел до виа Гарибальди. Потом узнал, что это одна из достопримечательностей города, почти сплошь состоящая из дворцов: палаццо Доррия, палаццо Россо, палаццо Бьянко, палаццо Ка-стальди. . .

Зашел в Россо. Теперь там музей: ван Дик, Караваджо, Рубенс, Веронезе... Напротив какое-то консульство. Два полицейских у входа, вдоль здания дорогие иностранные автомобили. Чуть дальше кондитерская.

Я вошел в кондитерскую, сел за столик и попросил фисташковое мороженное и рюмку коньяку:

«Явись, явись, возлюбленная тень...»

На обратном пути уже вечерело. Движение и толпа стали абсолютно непреодолимыми. И в торговых кварталах Парижа, в часы разезда, я не видел столько людей, столько автомобилей.

Даже двадцать пять лет назад, возвращаясь серой ноябрьской ночью, после последней встречи с Лин, я не чувствовал такого одиночества. Даже тогда, той промозглой парижской ночью, мне не было так холодно, — холодно от человеческого холода.

Генуя великолепная! Генуя тысячелетняя!

НОЧНОЕ СВИДАНИЕ

*Блажен, кто завлечен мечтою
В безвыходный, дремучий сон,
И там внезапно сам собою
В нездешнем счастье уличен.*

В. Ходасевич

Чтобы не превратиться самому в автомобильный бред, я решил встать пораньше и не торопясь выехать в Пизу. Что может быть лучше прозрачного, не очеловечившегося утра? Город еще спит, людям еще снятся сны, дороги еще пусты.

Но с Генуей у меня решительно не ладилось. На каком-то плане, в каком-то воплощении мы с нею не сговорились, что-то не поделили.

Во-первых, я проспал. Никогда такого со мной не случалось. Я всегда просыпаюсь рано, а в дороге тем более. Во-вторых, когда я спустился вниз, в приемной никого не оказалось. В ресторане накрывали столы, ставили на них чашки. Два клиента маячили возле чемоданов, ожидая, с кем бы расплатиться.

Что делать? Я сел и заказал завтрак. Его принесли минут через двадцать. Карамба! Кофе напоминал лучшие дни немецкой оккупации: не то желуди, не то вареные чулки.

Попросил счет. Официант засуетился, начал объяснять. Я понял: проснется хозяин и будет счет. Ночь была трудная, приезжали до зари. Надо же человеку отдохнуть.

Конечно надо!

Отдохнуть... Если бы и я мог отдохнуть. Лечь, как Обломов, проснуться, как Обломов, и лежать, как Обломов, зная, что сегодняшней день будет таким же, как вчерашний, а завтрашний таким же, как сегодняшний. Что ничего за эти дни не переменится, и не только за дни — за месяцы, за целые десятилетия.

Отдохнуть... Но разве я не отдыхаю, карабкаюсь по скалам, носясь по дорогам, бегая по городам... Карабкаюсь, ношусь, бегая. До тошноты, до головокружения: отдыхаю от самого себя.

Наконец, в начале девятого, я расплатился, погрузил багаж и завел мотоциклет. Дорога уже превращалась в калейдоскоп. Замигали светофоры, двинулись автомобили, поползли грузовики.

Пополз и я. Пробриться сквозь это чистилище не было никакой возможности. Генуя проснулась. Генуе перестали сниться сны. Генуя становилась моторизованной обыденщиной. Но даже проползти больше пятисот метров не удалось. На первом же перекрестке затормозил передо мной какой-то двадцатитонный ихтиозавр и все движение остановилось, уступая дорогу рыжему, визжавшему от страха щенку. Я тоже затормозил, но тормоз не подчинился и лоп-

нул. Тыфу, пропасть! Увечья не произошло: какое увечье при пяти километрах в час? Но надо было останавливаться, втаскивать мотоциклет на тротуар, вынимать ключи, чинить, пачкаться.

Еще раз — карамба! Генуэзская эпопея решительно не желала прекращаться.

Как не проста тормозная починка — переменить только тросс — ушло на эту канитель около часа: починив, надо было пригнать, отрегулировать, словом, «люби и саночки возить»!

Когда двинулся снова, было уже около десяти. Чистилище переходило в ад. Огромная гусеница автомобилей даже не ползла: она извивалась и корчилась, словно кто-то наступил на ее стальную голову, словно тысячи невидимых рук, вырвавшись из-под могильных плит, уцепились за автомобили живых:

*«Усталый друг, мне страшно в этом мире,
Усталый друг, могила холодна...»*

Прошел еще час, пока не стало просторней, пока не остались позади грузовики, автомобили, щенки, покойники, кладбище — весь ужас человеческого тупика. Справа даже открылось море: синее, спокойное, чуть серебрящееся на горизонте. Зато дорога становилась крючковатее, поворотам не было конца, только и знаешь, что переводишь скорости да тормозишь.

Не люблю я итальянскую Ривьеру, как не люблю и французскую. Слишком много здесь бесстыдной роскоши, какого-то предельного наплевательства на людскую скорбь, на человеческое горе.

После Рапалло дорога немного выровнялась. Оказалось даже несколько километров приличного спуска из соснового леса к какому-то курортному городку. Поднажал: пусть обдаст ветром. Жарко!

В самом низу, где дорога переходила в улицу, она вдруг завиляла: то вправо, то влево. Так просто, ни с того, ни с сего, без всякого предупреждения, без малейшего намека. Я чуть не влетел в рыбную лавку, уже на тротуаре укротие сбесившийся мотоциклет.

Уф!

Вот почему так долго спал хозяин генуэзского отеля и перебегавший дорогу щенок остановил грузовик: старый тормоз не устоял бы перед рыбной лавкой.

Слава всем уцепившимся за меня генуэзским покойникам. Всем хозяевам, всем грузовикам, всем щенкам!

Всем, всем, всем!

В Пизу я приехал после трех. Погода была странная. Как будто в небе, где-то между солнцем и землей, застрял туман. Солнце светило, небо было синим, деревья зелеными, но не чувствовалось то-

го блеска, который встретил меня в Пизе в прошлом году. Что-то затаило в своем подсознании небо, что-то готовило, но что, — я не мог разгадать.



Отель нашел сразу, недалеко от знаменитой площади. Перед моими окнами разместились Собор, Баптистерий и Башня.
Фотограф, бери аппарат и снимай!

Я и снимал — под всеми углами и перспективами.

Сколько будет удачных? Не все ли равно? В каждой фотографии будет что-то от Пизы и что-то от меня. Вот на одной вся пизанская троица: собор, баптистерий и башня. Помню, как я все ходил и примерял: как бы ухитриться, чтобы уместились все три. Никак не выходило, кого-нибудь приходилось обижать. То баптистерий оставался без купола, то башня без боку. Все-таки изловчился: влез на дерево, в углу городской стены, оттуда и щелкнул.

Потом снова ходил по огромной площади, ходил и не верил, что я опять в Пизе, что я смотрю и вижу и что то, что я вижу, такая же реальность, как моя парижская комната, мой письменный стол, мой ундервуд, как космические полеты вокруг Земли.

Где я это прочел? — Если бы не жила в человеческой душе тоска по иному миру, если бы не вспоминал человек о другой своей родине, то не было бы и искусства.

А вы пристааете с десталинизацией, с советско-албанским конфликтом, с кубинской революцией!

Мимо, мимо!

Обедали в Пизе поздно. Когда я затем поднялся в номер, было уже совсем темно. Из окон, за силуэтами деревьев и световым облаком перекресточного фонаря, на черном фоне ночи белели: собор, баптистерий, башня.

Я зарядил фотоаппарат и пошел на площадь.

На улице не было ни души. Время близилось к одиннадцати, магазины давно закрылись и лишь запоздалые автомобили шарили фарами в пизанской ночи.

Я поставил аппарат на выдержку: авось выйдут бледные призраки вбитого в землю человеческого отчаяния. Авось я перенесу их из итальянской ночи в мою парижскую ночь. Авось, карабкаясь по лабиринтам священного мрамора, я вычитаю наконец объяснение обрушившейся катастрофы лет.

Какая ночь! Мне хочется взять ее в руки, как ребенка прижать к груди, зацеловать, как возлюбленную.

Я ложусь на траву. О, если бы я только мог поверить, что все это так и есть, что я в Италии, в Пизе, что это не сон и не бред, что я приехал сегодня из Генуи и завтра поеду в Сиену, а оттуда в Рим, в Неаполь, в Помпею. . .

Куда еще? —

Мы пережили все помпеи,
Все геркуланумы прошли.

Чего еще нам нужно? Бомбы в сто мегатонн?!

Я стараюсь не двигаться: главное не спугнуть, главное не про-снуться, главное лежать и смотреть, смотреть, смотреть. . .

Вот лестницей опустили года: один, два, три... двадцать пять. Ноябрь. Сена. Собор Парижской Богоматери. Мы встречались в последний раз. Лин сказала:

— Ты должен понять.

— А если я люблю?

— Меняй любовь на свободу: свобода страшнее любви.

Ноябрьская ночь. Париж. Сена. Двадцать пять лет...

Мне даже не приходит в голову, что Лин совершенно не изменилась за эти двадцать пять лет.

Я же знаю: она давно замужем, у нее две взрослых дочери. Говорят, она располнела, стала верной супругой и добродетельной матерью.

Какой ужас: «Верная супруга и добродетельная мать!»

Все, что нужно от женщины обществу.

Обществу...

А мне?

Лин ложится возле меня на траву. Мы долго молча смотрим на собор, на баптистерий, на башню. От электрического света резче мраморная резьба.

Как странно, что Лин никогда не говорит о своей семье. Может быть, они разошлись? Может быть...

Я подвигаюсь к ней. Чувствую ее лицо возле моего лица. Она не двигается. Она ждет.

Но как же тогда, та другая ночь, на берегу Сены, возле собора Парижской Богоматери?

Как же теперь? Или все это снится?

Или теперь она поняла, что любовь страшнее свободы и важнее общества?

И как она очутилась в Пизе? Где ее муж? Что стало с дочерьми?

Мысли не доходят до сознания. Они на заднем плане. Они за действительностью... а может быть и за сном.

— Пойдем в собор, — говорит Лин.

Я помогаю ей встать, беру под руку и мы идем по пустой черной площади. Дверь открыта. Нас охватывает гулкий полумрак.

Убегают вдаль строгая перспектива колонн под равнодушным тлением электрических лампад.

— Мне холодно.

— В католических соборах всегда холодно, Лин.

Я прижимаю ее к себе, хочу поцеловать. Она не сопротивляется и опускает голову. Я снова начинаю гадать: как она попала в Пизу, что произошло? Но спросить боюсь.

— Встреча всегда судьба.

— Моей судьбой был Марк.

Марк... Теперь я вспоминаю: все началось с Марка. С того вечера, когда Лин не пришла ко мне. С фиолетового отблеска снега на

замерзшем серебре Хопра. С той самой биаррицкой бури, с того самого биаррицкого Рождества. Но судьба не забывается и не забывает: Марк — судьба Лин, а Лин — моя судьба. Что развязано на небе, не свяжется на земле.

Лин ушла с Марком. Марк бросил Лин. Я порвал с Лин. Через полгода Лин вышла замуж:

«Банальнее банального...»

И вдребезги стакан!»

Только ли стакан?

И вот теперь в полумраке пизанского собора, под болезненными огнями электрических лампад, я держу Лин в своих руках, жду, что теперь, через двадцать пять лет...

Но разве связывается на земле то, что уже развязано на небе?

— Я ничего не могу понять.

— Ищи в прежних жизнях.

— Даже Марка?

— Марк другое дело...

Лин предложила:

— Пойдем наверх. Здесь холодно.

Мы поднялись по витой лестнице на крышу, возле купола. На нас хлынула итальянская ночь. Завтра Сиена, послезавтра Рим.

— Поедем со мной в Сиену.

— А как же Марк?

— Не понимаю.

— Ты же сам сказал: «Марк другое дело».

Лин показала на стену в конце площади:

— Посмотри, как ложатся тени от башенных зубцов. За ними серебрятся троллейбусные провода. За проводами город. Он спит, мы одни не спим.

Мы не спали и тогда. Помнишь, как ворвались флорентинцы, купив ключи от городских ворот? Когда это было?

— В 1406 году.

— Значит, помнишь?

— Теперь вспомнил...

— Ты был среди них.

— Я был среди победителей.

— Марк был среди побежденных, в городе. Ты взял его невесту.

— То было правом победителей.

— Теперь настал суд победителям.

Я сложил штатив, спрятал аппарат и отправился в отель. В бае еще сидело несколько запоздалых клиентов. Я попросил коньяку. Старик кельнер поставил рюмку на столик и наклонившись ко мне вежливо прошептал:

— Разрешите снять волос с вашего плеча?

КАМНИ ОТЧАЯНИЯ

Одно из имен Бога Отца есть
Смерть.

Рудольф Штейнер

Проклясть глухой и темный мир,
Людей, и Ангелов, и Бога.

Вл. Смоленский

И было мукою для них,
Что людям музыкой казалось.

Иннокентий Анненский

Вчера умер Смоленский.

Только я сел писать о Сиене, — о том, как я подъезжал к Сиене, как постепенно земля, деревья, здания, сам воздух становились красно-коричневыми, — зазвонил телефон. . .

Теперь вспоминаю: когда я остановился на дороге перед Генуей и Свидригайлов начал объяснять Раскольникову, что бессмертие литературных героев заменяет им перевоплощение смертных людей, шведка заговорила о смерти. Но тогда я не понял, что она говорила о Смоленском.

Потом была Пиза. В Пизе Лин говорила о любви. Но тогда я не понял Лин.

Я еще не знал, что Смерть и любовь — одно.

В Сиене я долго и наугад бродил по нескончаемому лабиринту узких улиц, словно по тропинкам каменного леса, то там то здесь разрезанного расщелинами переулков. Сквозь них светилось небо, падали полоски солнца, напоминая средневековому отчаянию о свете и о тепле.

Я старался понять, почему за все мои итальянские странствования я не встретил ни одного храма, ни одного монастыря, ни одной церковки, посвященных Богу-Отцу. Все итальянское религиозное искусство — я тогда еще не был в Риме — рисовалось мне отмеченным каким-то предельным страданием, последним отчаянием.

Страданием Сына, отчаянием Матери.

Человеческим, слишком человеческим.

Потому-то и давили эти каменные громады — дворцы, соборы, памятники, монастыри, — с их мраморной резьбой, с их золотыми мозаиками, с их переходящим в кошунство, великолепием.

Ведь кругом-то — бубонная чума, голод, отчаяние, смерть!

Сын — страдание, Богоматерь — боль. Отец — ледяное спокойствие.

«И почил Бог в день седьмый от всех дел своих».

А дела-то какие: вся тварь стенает!

Нет, не мог человек славословить Отца.

Он молился Сыну, он взывал к Матери, чтобы страдание отозвалось на страдание, боль откликнулась на боль.

Тогда, в Сиене, я позабыл, что на Тайной Вечери, идя на Смерть, Христос сказал ученикам: «Я к Отцу иду».

Смерть и Отец — одно.

Но тогда я этого не понимал. Я не знал ни тайны Смерти, ни тайны Отца. Я позабыл, что, идя путем Сына, через Смерть, приходишь к Отцу.

Я бродил по лабиринту улиц, смотрел через расщелины переулков на каменеющее бесчувствие неба, на черный и белый мрамор вбитого в землю собора.

Бедный Смоленский. . .

Он всю жизнь ненавидел Смерть и только с нею одной и жил. Он жил в аду. Только в аду проклинают людей, и ангелов, и Бога. Он до конца додумал мысль, он знал:

*«Какое там бессмертие — пуста
Над миром ледяная высота.»*

Но Смерть и Отец — одно.

Об этом знала поэзия Смоленского, но сам Смоленский этого не знал.

*«Проклясть глухой и темный мир,
Людей, и Ангелов, и Бога. . .»*

Проклясть за Смерть.

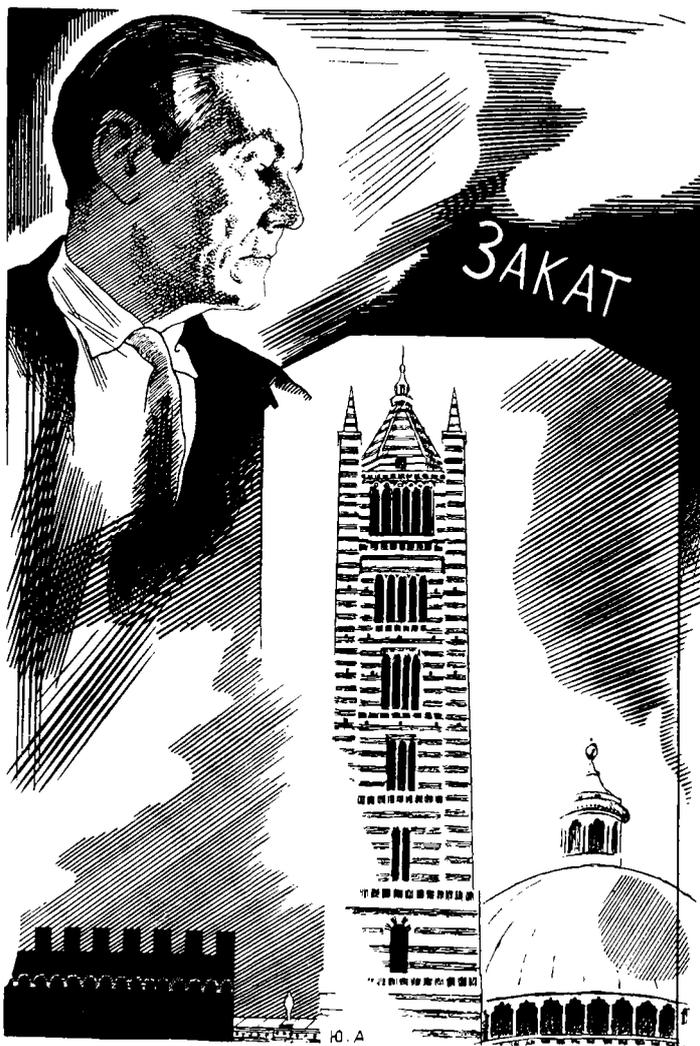
За всю эту вколоченную в землю человеческую обреченность, за все эти камни отчаяния, за эти соборы, за эти монастыри, за эти памятники — всю эту Ложь святую и великую, святейшую из святейших, величайшую из величайших, то единое на потребу, без чего не прожил бы ни один человек.

Стоял химически чистый итальянский день. Мне кажется, я никогда не видел такого пустого, такого прозрачного неба. За пьядца Термини поднимался купол собора, клинки колоколни, кресты кладбища. Возле высокой стены о чем-то шептались два монаха в коричневых сутанах, с черными молитвенниками в руках.

Голубое небо, серый силуэт собора, коричневые монахи, черные молитвенники, рыжая стена. Какая изумительная гамма осенних цветов!

Вдруг в небо ворвалась белая тонкая стрела. Поющее торжество мотора волнами ударило о землю: над Сиеной пролетел сверхзвуковой самолет.

По-прежнему шептались монахи, по-прежнему врезывались в голубую эмаль серые клинки колокольни, по-прежнему каменели кладбищенские кресты. Лишь жалобно вздрогнула какая-то метал-



лическая часть стоявшего близ меня автомобиля, да восторженно закинули головы два босых мальченка.

Подобное отозвалось на подобное, будущее на будущее.

Самолет же, отзвенев в своем математическом небе, скрылся за

звуковой стеной, отделяющей мир человеческих надежд от мира людского отчаяния.

Нигде я не почувствовал его, это людское отчаяние, с такой предельной обнаженностью, как в Сиене, быть может самом замечательном из всех итальянских городов. Одна пьядца дель Кампо чего стоит!

Огромная раковинообразная площадь, окруженная концентрическими, идущими вверх кругами узких средневековых улиц, таких узких и таких высоких, что и солнце-то туда никогда не проникает. Я, по крайней мере, его там не видал. Переулки-расщелины, словно спицы огромного колеса, лестницами расходятся вверх, чтобы там наверху, за камнями тысячелетних зданий, хоть как-то коснуться неба.

Сама площадь — розовая, как хорошая теннисная площадка — широкими белыми полосами каждому указывает его место: грузовикам, автомобилям, мотоциклетах, пешеходам.

Здесь шесть веков назад заклинал развратную толпу святой Бернардин, потрясала стигматами своих рук Екатерина Сиенская. . .

Теперь же, на святых когда-то местах, высыпали мухоморы: пестрые зонтики бесчисленных кафе.

Я следил из маленького рестораника, как меняются тени окружающих зданий, как меняются сами здания, как поднимается цветная пыль от автомобилей, от рассыпающегося пылью средневекового великолепия.

Сиенское небо не забавлялось закатом: оно просто бледнело, становясь окончательно пустым и холодным. Меня даже начало знобить, хотя от раскаленных камней еще поднимался солнечный угар.

Какая разница с моим живым детским небом, оставшимся где-то на берегу Хопра.

Так вот во что превратились заклинания святого Бернардина, чем стали стигматы Екатерины Сиенской!

Быть может их заклинания и стигматы, все их молитвы, слезы и вопли, — всех от века существовавших святых и пророков, юродивых и кликуш, — навсегда стерилизовали небо, вымолили все, что можно было вымолить, и теперь каменным отчаянием застыли в земле, разукрашенные золотом мозаик и мраморной резьбой?

Потому что нет ничего святее человеческого отчаяния.

Зато небо стало пустым. Мы родились под пустым небом. Нашей

матерью была пустота, нашим отцом — отчаяние. Мы дети абсурда. Не до искусства нам:

*«Какое там искусство может быть,
Когда так холодно и страшно жить!..»*

Это тоже знал Смоленский.

Бедный Смоленский, он много знал.

Какое там искусство. Искусство кончено. Завершена его миссия в мире.

Не через искусство будет спасаться человек, а через других людей: «Если двое или трое. . .», «Отче наш», а не Отче мой.

В небо снова врезалась белая стрела. Металлические волны прокатились по столикам кафе. Задребезжало стекло старинного дома, не впуская механическое буйство в догнивавший покой.

Я расплатился и, протискиваясь по задыхающимся улочкам, пошел на пьяцца дель Дуомо. Солнце почти село, ударяя последними лучами в золотую мозаику собора. Мозаика светилась и слепила. Колокольня из черного и белого мрамора, полосами, как арестантская рубаха, заканчивалась куполом с двумя заостренными башенками по бокам.

Я остановился против собора, у стены госпиталя-монастыря. Какая изумительная резьба, какое поразительное сочетание стилей — романского и готического! Как выделяется каждая деталь! А колокольня! Прищурить глаза и покажется, что это не башенки наверху, а поднятые в отчаянии человеческие руки. Да и не колокольня это вовсе, а застигнутый врасплох беглец-каторжник.

Так и есть: сейчас вырвется и убежит! Я же видел, как покачнулась ее мраморная туша.

Ну, чего испугалась, мраморная дура? Не взорвать же пришел я тебя, за две тысячи километров приволокся из Парижа, сквозь солнце и снег, сквозь дождь и зной, с коробом комплексов и воспоминаний на начинающейся гнуться спине.

Поклониться пришел! Поклониться твоей невыносимой красоте, твоему великому отчаянию, всей вере, всем восторгам, всей крови и всем мукам, тебя строившим.

Потому что Смерть и Отец — одно. Лишь через страдание и Смерть становится бессмертным человек.

Так заканчивался мой сиенский день, седьмой день моих мотоциклетных странствований.

Завтра я буду в Риме.

Завтра начнется восьмой день.

ВОСЬМОЙ ДЕНЬ

Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит.

Иоанн, XIV-12

Иисус отвечал им: не написано-ли в законе вашем: «Я сказал: вы — боги.»

Иоанн, X-11

От Сиены до Рима двести тридцать километров. Нарочно встал с зарей, чтобы пораньше выехать и раньше быть в Риме. А утро-то какое выдалось! Никогда я еще не видел такого утра. Казалось, что если бы пролетел очередной спутник или лунник, я разглядел бы все его детали: ни воздуха, ни расстояния, одна сияющая пуста!

Вспоминая генуэзскую эпопею, в отеле я расплатился накануне: в шесть часов вещи были уложены и я уже спускался по вертикальной почти улочке на пьядца дель Кампо, чтобы выпить там кофе и еще раз взглянуть на каменное великолепие человеческого отчаяния.

Но все кафе оказались закрытыми. Сиенцы еще спали, предпочитая сны яви своего города.

Не беда: перекушу в пути, в какой-нибудь забредшей на дорогу трагтории.

Я завел мотоциклет, надел очки и поехал в Рим. Но мне не удалось даже выехать из Сиены. Мотор вдруг остановился и не отзывался ни на какие уговоры. Я сразу понял: что-то с электричеством, то ли с динамо, то ли с распределителем, то-есть с тем, в чем я решительно ничего не понимаю. Для очистки совести снял крышку распределителя, покопался в проводах, винтиках, пружинках и прочей бесовщине, вымазался, но ничего не нашел.

Главное же, я абсолютно не знал, куда идти, по каким закоулкам волочить двести килограммов вдруг обессилевшей стали. Хотя бы закоулки были ровными, а то — как по верблюжьей спине!

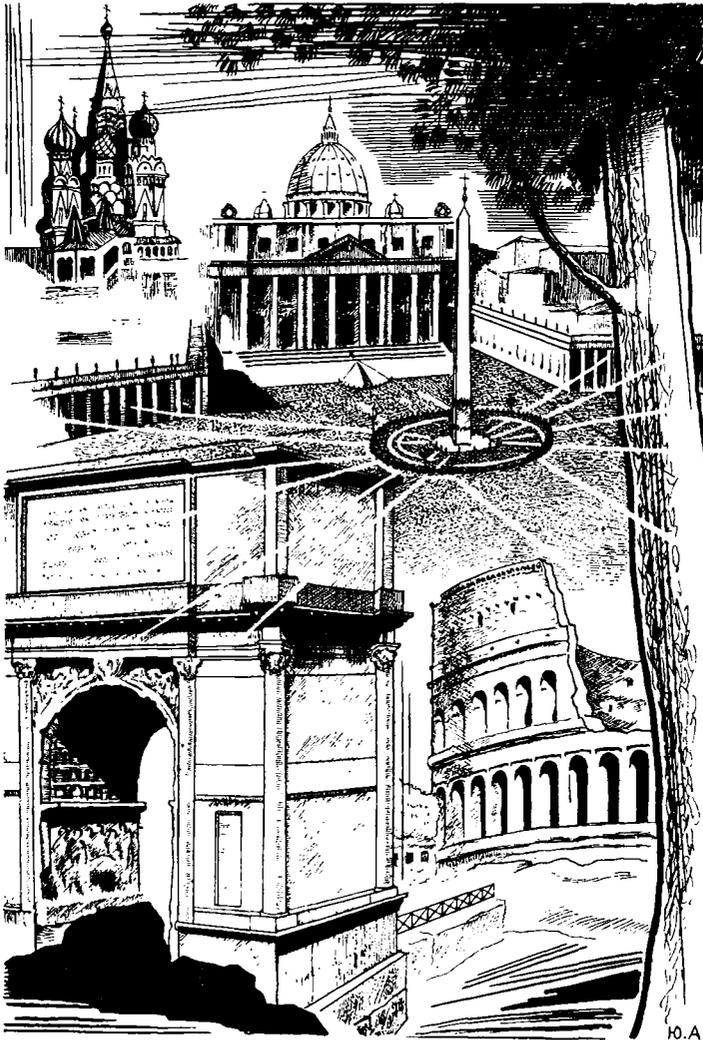
Часам к семи начали появляться люди. Но магазины не открывались. Объяснил, как мог, свою беду. Из ответов понял: раньше десяти никаких надежд. Еще раз отвинтил крышку, еще раз проверил и еще раз ничего не нашел. Пропотевшая рубашка клеилась к телу, руки, как промасленные шестеренки. Наконец, на перекрестке, метрах в ста, появилась белая фигура полицейского. Я бросился к спасителю. Пусть только скажет, где мастерская, а я сам растол-

каю заспавшегося механика. Полицейский выслушал и вынес приговор:

— Оджи феста!

— Как феста? — взвизнул я.

— Очень просто: воскресенье. Никто не работает. «Но лаворо».



— Как «но лаворо»? А как же я в Рим поеду? Сан Пьетро, Колосseo, Форo Романо, Капелла Сикстина, Восьмой день, наконец! Я безнадежно размахивал руками, указывая на уткнувшийся в

стену мотоциклет. Вокруг начала собираться толпа. Зловещее «феста» сколопендрой сверлило уши: «Феста», «феста»!

Кто-то сжалился, объяснил: к десяти в мастерскую, что в соседней улочке, придет электрик, он и починит. Раньше никак: «Од-жи festa!»

Починка оказалась плевой. Отскочила какая-то мизерная проволока, — из-за нее обесилели двести килограммов.

Да что там килограммы? Весь Рим чуть не провалился!

В половине одиннадцатого замелькали снова километровые столбы.

Все реже и реже встречались селенья. Дорога становилась узкой и ухабистой, видно не ремонтировалась с самой войны. Она тянулась серой лентой по нескончаемым, сожженным солнцем рыжим холмам. Какой суровый, какой безнадежный простор.

Я даже остановился, такой грандиозной показалась мне эта безнадежность. Стерилизованное небо сверкало, солнце жгло. Кругом глина и мертвая трава. Ни одного автомобиля, ни одного человеческого жилья! Позади каменное отчаяние Сиены, впереди выжженная безнадежность тосканских полей. За нею Рим.

Так вот из чего зарождался Восьмой День! Вот что получил человек к Восьмому Дню, с чем вступал он в свой первый человеческий день. Что ж? — будем творить из пустоты! Сказано же в Писании: «Вы — боги.» Потом посмотрим, чей мир будет лучше: божеский, или — человеческий.

А сожженные холмы все тянулись и тянулись. Лишь перед Римом шоссе стало ровней и шире, движение оживилось, поля позленели, замелькали деревья и дома, становилось легче дышать.

Ну вот, и моя дорога привела в Рим. На восьмой день моих итальянских странствований.

Куда же я теперь отправлюсь? С чего начну *мой* день?

Я остановился в большом отеле, на виа Консильячione, на границе Ватикана, около самого Собора. Комната большая, светлая, две двуспальных кровати, шкаф на целую семью, зеркала, умывальники — весь жуткий комфорт. Не терплю я этого праха, но что делать? Все переполнено. Хуже пришлось мотоциклету: уж слишком жалко жался его двухколесный силуэт среди сверкающих лаками автомобилей. Неуютно ему в гараже фешенебельного отеля.

На площади, перед Собором, били фонтаны. Гигантской стрелой, — готовая к полету ракета, — высился обелиск. Я вошел в Собор. Вопреки большинству церквей, в нем было светло, слишком светло. Двухтысячелетний итог католицизма сверкал здесь всем своим могуществом: цветным мрамором, золотом, драгоценными камнями, скульптурой и живописью знаменитых мастеров.

Пусть знают все — на Севере и на Юге, на Западе и на Востоке, — как здесь, в Ватикане, в центре Римской империи, в центре самого мира, закреплено и приковано к земле дело босого палестинского Плотника. Так закреплено и так приковано, что ни бунты, ни войны, ни ереси и революции вырвать его уже не смогли. Куда там! Если даже на Ватикан упадет атомная бомба — и та не взорвется: не сможет!

По узкой витой лестнице я поднялся на крышу Собора. Передо мной возвышалась огромная фигура Христа с апостолами по бокам. У моих ног лежал Рим. За мною слышались голоса:

— Москва грандиозней.

— Рим величественней.

— За Москвой будущее.

— За Римом прошлое.

— А настоящее?

— На лезвие ножа.

Я обернулся. Группа молодых людей — человек тридцать — светлыми, открытыми лицами всматривались в темнеющий горизонт.

— Откуда вы?

— Мы из Москвы.

— Я там родился. . .

Стрела обелиска делила пополам открывшуюся панораму, касаясь вершиной Тибра и сливаясь с четкой белизной зданий. Там, за Тибром, виднелись крылья Сант-Анджелло, еще дальше — Коллизей, за ним горизонт, за горизонтом — Москва.

— Как странно встретиться в Риме. . .

— Все пути ведут в Рим.

— Только ли в Рим?

Светлана задумалась, поправила прядь льняных волос. Закатное солнце ударило ей в спину и она казалась светящимся силуэтом на фоне вечеряющего неба.

— Теперь в Москву.

— Через Рим.

— Что это значит?

Тень от обелиска, стрелкой гигантских часов, удлиняясь, ползла по площади. Андрей сказал:

— Тысячелетиями мир строился на религиозных мифах. Мы построим его на математической действительности.

Геннадий прибавил:

— Религия учила, что труд — проклятие. Мы превратим его в благословение.

Светлана мечтательно всматривалась в розовеющие закаты дома.

— Мы хотим, чтобы все люди были счастливы, все без исключения. Скажите, почему американцы хотят войны?

Я вспомнил мою молодость, когда и я беспечно и безусловно делал мир геометрическими линиями, как математический чертеж.

— На Западе знают, что высочайшие учения приводили к страшнейшим из катастроф. Человек не химическая формула, с заранее известными реакциями. Войны бывают не потому, что их хотят, — да и кто их хочет?

Андрей предложил:

— Пройдемтесь вместе по Риму. Вы давно здесь?

— Я только что приехал.

— Мы тоже. Пойдем?

— Пойдем.

Мы спустились с Сан-Пьетро и через Тибр, проспект Виктора Эммануила II и площадь Венеции, прошли в античную часть города, к форуму и к Колизею. На мосту еще раз обернулись. Оранжевый закат сжигал фиолетовый силуэт собора. По ту сторону реки виднелись купола и колокольни других церквей.

— Днем мы были в Ватиканском музее. Какое богатство и какая красота! Сколько понадобилось труда, терпенья и любви, чтобы все это создать, — заметил Андрей.

— А вот вы сказали, что все построено на мифе, т. е. на небывшем. Было бы величайшим чудом, если бы все — все эти соборы, памятники, музеи, статуи и картины — вышли из мифа, из ничего и что никогда не существовавший Христос вдохновил все это существующее искусство.

— Мне этого никогда не приходило в голову, — призналась Светлана, подбирая соскользнувший с плеч синий с белым горошком платок.

— А к чему это привело? — как бы отмахнулся Геннадий. — К классу господ и рабов. К насилию, нищете и непрерывным войнам.

— Такова была цена. Цена теперешнего сознания. Чтобы мы могли сказать: «Велик человек, создавший все это великолепие», его нужно было создать.

Кто-то заметил:

— Но теперь над этим великолепием, над всей за него заплаченной ценой, будут кружиться наши спутники и наши космические корабли.

— И над теми миллионами жертв, которыми заплатила за них советская индустрия. . .

Когда мы подходили к Колизею, было уже совсем темно. Схороненные его амфитеатром века смотрели на нас сквозь огромные полуразвалившиеся своды. Они поднимались из земли, словно скор-

ченые ребра допотопного чудовища. Жестокое величие античного Рима наступало на нас. Светлана попросила:

— Расскажите что-нибудь.

Я рассказал, как мог и что знал о первых веках христианства, о катакомбах, о преследованиях, о мучениках, о перевоплотившемся в искусство страдании.

Кто-то признался:

— Мы никогда об этом не слышали. Даже не могли предположить.

— Чего?

— Мы считали христианство религией рабов, основанной на мифе, — ответил Андрей.

— Не цепи создают раба, но рабская психология. Современная же физика показала, что материя не первичная реальность.

— Но разве можно верить всему, чему учит Церковь?

— Верьте только самим себе.

— Мы хотим не верить, а знать.

— Надо и верить и знать.

Раздался голос:

— Мы не хотим, чтобы победа Советского Союза прошла даром.

— То, что покупается страданием, никогда не проходит даром.

— А на что нам христианство?

— Чтобы заключить его в душу ваших космонавтов.

— Зачем?

Я рассказал, как две тысячи лет назад ходил по Палестине бедный, босой Плотник, чему Он учил и как, поднимаясь на Голгофу, сам нес свой крест.

— Для чего?

— Для того, чтобы неся в своей душе воспоминание о Нем, люди смогли создать все то, чем мы только что восхищались.

— Только ли для этого? — спросила Светлана, всматриваясь в остывающие камни. Теперь, под электрическим светом прожекторов, они казались лианами какого-то первобытного хаоса.

— И для того, чтобы наша здесь с вами встреча не прошла даром. Чтобы вы здесь в Колизее — в начале, а не там, в Ватикане — в конце, нашли то, из чего строить лучший мир. . .

Андрей спросил:

— Что это значит: здесь в начале, а не там в конце?

— Это значит, что путь Церкви завершен. Купол святого Петра — символ ее торжества. Он возвышается над двадцатью веками человеческой культуры, вдохновенной Тем, за верность кому отдавали себя на растерзание диких зверей первые христиане.

Геннадий улыбнулся:

— Выходит, что и мы должны отдать себя на растерзание, чтобы восторжествовала наша правда?

— Совсем нет! Сравните нашу легкую жизнь на Западе с вашей трудной в Советском Союзе и вы поймете меня. Больше сорока лет Россия несет Голгофский крест. За свои и за чужие грехи. Не на одной только советской науке будет строиться будущее благосостояние, но на Голгофе русского народа. Поймите это, и вы станете апостолами будущего человечества.

— Как это может быть? — смутилась Светлана.

— Христианская культура осуществила величайшую науку, величайшую философию, создала величайшее искусство. Осуществите же вы величайшую правду. Пусть инженеры строят заводы, вы — стройте правду, и не будет никаких войн.

Становилось совсем темно. Надо было расходиться. Им в отель, мне в какой-нибудь затерявшийся ресторанчик. Мы еще побродили среди электрических теней, но уже молча. Каждому хотелось остаться со своими мыслями.

Прощаясь, Андрей сказал:

— А вот мы думали, что приехали в Рим только для того, чтобы ходить по музеям да по старым церквям. . .

Ресторанчик я нашел здесь же, на маленькой площади, под звездами и цветными фонариками. Клиентов было немного: влюбленная парочка и я.

Слева, на уже совсем черном фоне, светился Колизей. Справа, метрах в двухстах, на площади Венеции, высился огромный белый памятник Виктору Эммануилу II. Его беспощадно освещали прожектора и он казался вылепленным из смальца, совсем как в витринах гастрономических магазинов. Между Колизеем и памятником залегла римская ночь. В ней исчезли силуэты моих случайных советских друзей. Теперь на их месте, там, где они свернули в боковую улицу, два автомобиля скрестили лучи своих прожекторов.

Хорошо, что завтра не надо рано вставать. Завтра я останусь в Риме. Теперь и я знаю, зачем приехал в Рим, зачем до десяти часов не мог вырваться из Сиены, почему сразу пошел в Собор, а оттуда наверх, смотреть на римский закат.

Хорошо сидеть в маленьком ресторанчике, под цветными фонариками, за рюмкой коньяка, перед вазочкой с фисташковым мороженым и букетом красных гвоздик. Время близится к полночи. Но какое мне дело до полночи? Пусть хоть к утру. Завтра я пойду в Ватиканский музей, потом на форум, затем в маленькую церковку с знаменитым микельанджеловским Моисеем. Затем. . .

Но не все ли равно? . .

Где-нибудь найду своих спутников!

Я отчетливо вижу убегающую перспективу лет, фантастическую колоннаду, спешащую навстречу моему мотоциклету: бабушкин

сад, Хопер, Константинополь, угольные мешки, Париж, первая встреча с Лин, Биарриц, клочья бури, тот вечер, когда...

Мой маленький эгоистический мирок в страшном разбушевавшемся мире войн, революций, изгнания, концлагерей.

— Что помню? — Вереницу войн,
Да вереницу революций,
Глухой аэропланной вой...

Все помню. Ничего не позабыл:

*«Мы дети страшных лет России —
Забывать не в силах ничего.»*

А они, мои случайные римские друзья, помнят ли они, знают ли они об этих годах?

*«И помнит ли, и знает ли она, —
Моя невероятная страна...»*

Моя невероятная страна... Та, которая захотела сорокалетним страданием купить Восьмой День, чтобы он был ее Днем.

СКАЗАНИЕ О РУССКОМ ГРААЛЕ

*Из крови пролитой в боях,
Из праха обращенных в прах*

.....
Восстанет праведная Русь.

Максимилиан Волошин

Когда я подходил к отелю, уже начинало светать. Звезды еще перешептывались, электрический свет еще бился в неоновых трубках, но легкая утренняя прохлада уже ложилась между улицами и мной.

Хорошо, что сегодня никуда не ехать и можно подольше поспать. Хорошо, что спасительная усталость постепенно овладевала телом.

Я блаженно лежал, отдыхая от двадцатичасовой езды и беготни, но мысли не хотели отдыхать. Вчерашняя встреча разговаривала и жестикулировала, она светилась и бушевала, и мне казалось, что вот-вот какой-то невидимый вихрь подхватит, сорвет с кровати и понесет.

Нет, это не наваждение, не фантазия, мне это вовсе не снится. Я чувствую, нет, я знаю, что стоит только захотеть, стоит только сильнее пожелать и не будет ни притяжения, ни отельной комнаты, ни оранжевеющего рассвета, ни Рима, ни Италии.

Вот только еще одно предельное напряжение: вдохнуть воздуха, задержать дыхание, напрячь мускулы, сделать бросок и . . .

«И с этого пойдет, начнется...»

Я стискиваю зубы, почти не дышу. Ну, как? Решиться или не решиться на последний шаг, на последнее торжество?

А вдруг?

Что я тогда буду делать? Кто дал мне право, вот так без молитвы, без смирения? . . .

«Дела, которые творю Я...»

Знаю, знаю! Но я еще не сотворил и меньших дел. Я еще не сотворил и микроскопических дел.

Будут ли они вспоминать о нашей встрече?

. . . — А вот мы думали, что приехали в Рим только для того, чтобы ходить по музеям да по старым церквкам. . .

Встреча всегда судьба, уверяла Лин.

— А где же свобода? — как-то спросил я.

— Свобода в том, что мы из встречи делаем.

«А вот мы думали. . .»

Я тоже думал. Но теперь я знаю.

Теперь я знаю, зачем встретился с Лин, зачем полюбил ее любовью, что страшнее свободы.

Затем, чтобы через двадцать пять лет, после того как во всем мире начали пытаться, мучить и убивать, в другой уже встрече узнать, что такое Свобода и что такое Любовь.

Снаружи уже совсем рассвело. Я видел в окно убегающую перспективу виа Консильячione, желтомигающий на перекрестке светофор, заголубевшее небо и, прямо передо мной, бледный серп полумесяца — восхищенную ангелами от земли чашу святого Грааля.

Где-то я слышал, что после первой мировой войны и русской революции, после того, как в мире снова начали насилловать, пытаться и убивать, святой Грааль был унесен на небо, потому что на земле не оставалось ни одного места, где бы можно было хранить эту святыню.

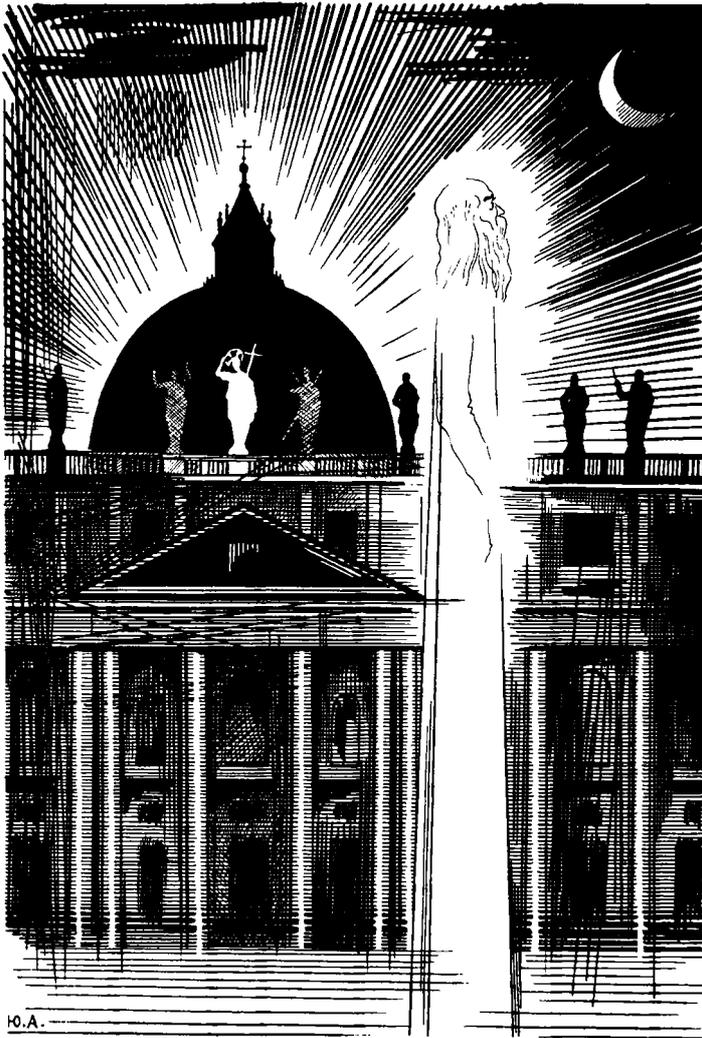
Теперь он серебряным полумесяцем пробивается сквозь зачинающееся утро.

Я посмотрел на часы: начало шестого. Я знал, что уже не загну. Я оделся, спустился вниз и снова пошел к Сан-Пьетро.

Огромная площадь была пуста. Только гигантский купол Собора врезывался в проваливавшуюся бесконечность, царил над затаившейся тишиной. Какое строгое, скупое великолепие!

Так вот он, Рим! Первый и единственный, оплот христианского Запада, не покачнувшийся ни перед какими бурями, ни перед какими мятежами, не уступивший своего первоапостольства ни коро-

лям, ни патриархам, ни Северу, ни Югу, огнем и мечом, кострами и четвертованиями, молитвами и постами отстаивавший власть своих ключей и тиару своего Первосвященника.



Ю.А.

Я отошел к концу площади так, что прямо передо мной высились Собор и обелиск, тот самый, что вчера казался готовой к отлету ракетой. Теперь в его вершину били лучи восходящего солнца и она светилась его отраженным светом. Чуть выше, на крыше Собора, белели фигуры Христа и апостолов. От скульптурного купола ме-

чами расходились лучи. За мной — на восток, еле заметный продолжал плыть святой Грааль. Кругом было по-прежнему пусто.

Я шую от света глаза, всматриваюсь в обелиск, в фигуру Христа, в огромный купол, в его окружающую бесконечность.

Но какой же это обелиск? Я отчетливо вижу посередине площади, прямо перед белой фигурой Христа, другую фигуру, «фигуру девяностолетнего почти старика, высокого и прямого, с высохшими глазами, но из которых еще светится, как огненная искорка, блеск... Он хмурит седые густые брови свои и взгляд его сверкает злоещим огнем».

Я стою, прикованный к асфальту. Хочу крикнуть, но слова отказываются звучать. Хочу броситься на Старика, но не могу пошевелить каменным телом.

Так бывает во сне: еще можно успеть на отходящий поезд, — а ноги превратились в пуды, их не оторвать от земли.

Но я не сплю. Я вообще сегодня не спал. И на площадь-то попал потому, что не мог заснуть. Да разве можно заснуть, когда в утренней тишине плывет серебряный Грааль, благословляя дорогу моих вчерашних друзей.

А Старик подымает голову, всматривается в даль, тянется к начинающемуся солнцу, хочет, чтобы молодые утренние лучи коснулись его изношенного тела. О, он великолепно знает, какие наступают сроки, какие бунтуют времена, какие свершаются пророчества! Но не ему ли даны ключи и власть вязать на земле и на небе? И он две тысячи лет вязал, и как вязал! Второй Рим пал, над Третьим Римом взошла пятиконечная звезда, а первый Рим как стоял, так и стоит.

Разве не сверкают купола его церквей, не горят мозаики его соборов, разве не слышен на весь мир звон его колоколов и голос его Первосвященника?

Разве не верны ему тысячи тысяч на Севере и на Юге, на Западе и на Востоке?

Разве не чудо все это? Разве разглашена вверенная ему тайна? Разве поколеблен завоеванный им авторитет?

Но откуда тогда эти глухие звуки, словно подземные гулы, эти красные за зарею языки? Зачем поплыл на Восток тонкий полумесяц Грааля, почему он еще не растворился в утвердившемся утре, словно готовится принять в свою чашу еще чью-то кровь?

Старик выпрямляется, делает полуоборот, всматривается в горизонт. Он хочет убедиться, что ничего не изменилось, что вековой твердыне ничего не грозит — ни с Юга, ни с Севера, ни с Запада и ни с Востока.

Я вижу, как отходит тонкая светящаяся нить от его маленьких

угольных глаз. Она медленно обшаривает горизонт, словно лучи вращающегося маяка.

Но не в горизонт всматривается Старик.

Он знает, что попытка не удалась. Он знает, что подорвавший веру в чудо и отвергнувший тайну авторитетов — уже не авторитет.

Он знает, что ему одному были даны ключи и власть вязать и развязывать, причащать и отлучать, благословлять и проклинать из рода в род и из веков в века. Потому, что только ему было открыто, что лишь то останется связанным на земле, что было раньше связано на небе и никогда не осуществится во имя Кесаря то, что не осуществилось во имя Бога.

Разве не знает он, что только по Единому Отцу люди братья и лишь перед Его судом все равны?

Вот видится ему та ледяная октябрьская ночь, когда Тот-Другой, Его-Другой, тоже болеющий участью сотен миллионов малых сих, захотел, по его примеру, взять на себя бремя непосильной им свободы и пытался похитить вверенные ему ключи.

Тем липким ледяным октябрьским рассветом никто кроме него не знал, *какая и за это* начиналась борьба.

И вот хижины восстали на дворцы. Села на города. Дети на родителей. Новая ложь на старую ложь.

Пошатнулся мир.

Сколько раз вкрадывалась мысль: а что, если не хватит сил? А что, если одолеет Тот-Другой?

Но Тот-Другой не одолел. Даже тогда, когда, поддавшись искушению Великого Духа, он завладел священным огнем, заключил его в контейнер ракеты и послал вращаться вокруг Земли.

— А знаете почему? — раздался возле меня знакомый дидактически-покровительственный голос.

Я даже пошатнулся.

— Как вы сюда попали? Я думал. . .

— Вы думали, что все мы так там и растворились в каменной муке генуэзского отеля, — самодовольно улыбался Марк.

— Бросьте повторяться! Что вы здесь делаете? Как. . .

— Успокойтесь, не на вашем мотоциклете. Но об этом потом. Сейчас позвольте продолжить вашу мысль, вернее воспроизвести наш разговор, помните, в Сузе, за стаканом кианти? На ваш вопрос — сверхбомбы? — я ответил: нет, свехспутники. Послать, например, на Венеру американский сверхкосмический корабль и в нем сто человек. В тот же день советский человек поклонится американскому сверхкосмическому кораблю и делу конец.

— Ничего не понимаю.

— А вы постарайтесь. Вспомните, что не только коммунизм создает передовую технику, и сделайте вывод. Что же касается хижин, дворцов, равенства и братства, сами знаете, что из всего этого получилось. Значит, пока (я говорю, «пока»), Старик может не беспокоиться. Да он и сам это знает. Его волнует «Колизей». Посмотрите только, как он корчится, всматриваясь в его контуры. Правда, издали они странно напоминают карту России: вогнутый снизу эллипс.

Я опешил:

— Колизей? Россия? Что все это значит?

— Вы стали тупеть, Кирилл Дмитриевич. Стареете, а все мотоциклетствуете. Даю святой совет: покупайте автомобиль и бросьте задаваться на макароны.

— Позвольте. . .

— Да что там позволять? Уж если вы таких вещей не понимаете. . .

— Убирайтесь к черту!

— А вам от этого легче станет? — невыносимо серьезно спросил Марк.

Я растерялся, хотел что-то возразить, но он, декоративно раскланявшись, направился к маленькой улочке, что вела к Ватиканскому музею.

Солнце уже совсем поднялось. На площади появились люди, зашмыгали автомобили. Рвался к небу обелиск. За ним, его подддерживая, врезывался в запад Собор. Рассыпалась пыль фонтанов. Над другой частью города, за Колизеем, чуть виднелся святой Грааль.

Россия — Колизей — Русский Грааль. . .

Дескать миллионов замученных и убиенных, за нас уцелевших и за детей наших. . .

Но неужели так огромно зло, что той Великой Жертвы не хватило?

И неужель все это средство,
Для тех, для дальних, для других?
Но что за страшное наследство
Для нас, оставшихся в живых!

«Дела, которые творю Я, и вы сотворите, и больше сих сотворите».

Господи, неужели приближается День и наших дел? Неужели приблизилась и наша Голгофа?

Ни в атомную катастрофу,
Ни в благоденствие людей, —
Я верю только лишь в Голгофу
Бессмертной Родины моей.

Какое изумительное утро! Так бы и простоял, глядя на четкую перспективу бегущего к Тибру проспекта. За ним белеют крылья Сант-Анджелло, крестятся купола церквей, паутинится сеть трамвайных проводов.

Часы на площади показывают начало десятого. Время идти в музей: Сикстинская капелла, лоджии Рафаэля, Ватиканская библиотека, Апполон Бельведерский, Лаокоон... драгоценный прах легендарных веков.

Божественное, слишком божественное...

ИЗ СТИХОВ О ПОЭТИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ

ДЕТАЛЬ

Вы хотите от меня деталей?
Посмотрите же наискосок —
Проплывает в ясной дали
Паутины волосок.

Это значит умер в мире ветер,
А земли осенние поля
Кто-то благостный отметил
Дуновеньем бытия.

СТРАННИК

З Е М Л Я

Шар такой чудесной выточки,
А висит на чем не знаю,
Может, он висит на ниточке
Меж несчастьем и раем,
Между слабостью и силою,
И висеть до срока надо, —
Полюбите эту милую
Землю, пахнущую садом.

СТРАННИК

БЕСПЛОДНОСТЬ

Печальна и страшна езда
Средь неприкаянного мира.
Уродливые поезда
Каких-то ловят пассажиров,
И, второпях, им не сказав,
В каком везут их направленьи,
Привозят на пустой вокзал,
Откуда было отправленье.

СТРАННИК

ХУДОЖНИКИ

Мы не худшие и не лучшие,
А такие, каким дано
Все сады и луга пахучие
Слышать в утреннее окно.

Полюбив кого, не расстанемся,
Хоть и будем всегда вдали.
Никому никогда не достанемся
На дорогах этой земли.

СТРАННИК

ЗНАНИЕ

Д. Кленовскому

Тут надо быть, Кленовский, престарелым
И понимать, что в мире есть
Прекрасное изнеможенье тела,
Идущая от неба весть.

Часы священного неузнаванья
Ничтожных слов и мелочей,
Неодолимое согласованье
Небесных и земных лучей.

СТРАННИК

**КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ДЕНЬ**

Ветки пальмы словно тонут
И поднять себя не в силах,
Воздух синий нежно тронут
Ветерками птичек милых,
Этим серым, желтым, синим,
Несговорчиво поющим,
Залетающим под кущи,
Ветром жизни средь пустыни.

РОССИЯ

Сколько разных светлых точек
На полнощном небосклоне.
Клейкий маленький листочек
Шевелится в звездном лоне.

Пахнет сыростью нездешней,
Обнаженных листьев тленьем.
Средь прогалин у скворешни
Умирает снег весенний.

ЯЛЬМАР СЕДЕРБЕРГ

Ш У Б А

Лютая зима стояла в этом году.

Люди съезживались от холода и делались меньше размером. Кроме тех, у кого были шубы.

У судьи Рихарда, например, была богатейшая шуба. Это собственно почти что входило в служебные его обязанности, потому что он был заместителем директора в одной совсем еще новой акционерной компании.

Старый приятель его, доктор Хенк, напротив, шубой не обладался. Зато у него была красавица жена и трое детей.

Доктор Хенк был бледен и худ.

Некоторые люди, женившись, полнеют; другие — становятся тощими. Доктор Хенк потощал.

И вот подошел сочельник.

«Плохой был у меня нынче год!» — рассуждал сам с собой доктор Хенк, идя часа в три пополудни, уже в сумерки, к своему другу Рихарду, чтобы признаться у него деньжат. — «Отвратительный год! Здоровье у меня стало хуже, если не сказать, расстроилось вдребезги. Пациенты же мои, наоборот, вдруг поздоровели всем скопом — я почти не вижу их последнее время. По всей вероятности, я скоро умру. Так думает и моя жена — я читаю это у нее на лице. Если так, пусть бы случилось все до конца января, до проклятого взноса за страхование жизни»...

Когда доктор Хенк дошел в своих размышлениях до этого пункта, он находился на углу улицы Правительства и Портовой. Пере-

Яльмар Сёдерберг — шведский писатель, один из мастеров шведской прозы, считавший своими учителями Мопассана и А. Франса. Умер в 1941 году.

бираясь через перекресток, он поскользнулся на обледенелой колее и упал. Извозчицьи сани, несшиеся во весь дух, появились в то же самое мгновение. Кучер выбранился, лошадь инстинктивно приняла в сторону, но все же одним из полозьев Хенка толкнуло в плечо, а какой-то гвоздь либо винт либо другой столь же колючий предмет оставил на его пальто порядочную прореху.

Вокруг столпился народ. Полицейский помог Хенку подняться на ноги. Какая-то девица счистила с него снег. Женщина почтенного возраста оживленно махала руками над прорехой, с видом, который говорил, что она тут же, на месте, готова была бы ее заштопать, если б это было возможно. Принц королевского дома, случайно проходивший вблизи, поднял докторову шляпу и надел ее ему на голову. Словом, все было в порядке.

Кроме пальто.

— Черт возьми, Густав, как ты выглядишь? — воскликнул судья Рихард, когда Хенк вошел в его контору.

— Да, я, понимаешь ли, попал под лошадь... — сказал Хенк.

— Похоже на тебя! — засмеялся Рихард. — Ты не можешь, однако, идти в таком виде домой. Надевай мою шубу, а я пошлю мальчика за своим пальто.

— Спасибо, — сказал Хенк.

И потом, заняв нужные сто крон, прибавил:

— Так, значит, ждем тебя к ужину...

Судья Рихард был холостяком и сочельник всегда проводил у Хенков.

На обратном пути Хенк настроен был лучше, чем когда-либо в последние дни.

«Это из-за шубы, — думал он. — Будь я умней, я давным бы давно купил себе шубу в кредит. Это подняло бы мою веру в самого себя, да и прочие больше бы чувствовали ко мне уважения. Врачу в шубе стесняются платить нищенский гонорар, не то что врачу в пальтишке с обтрепанными петлицами. Досадно, что это не приходило мне в голову раньше. Теперь уже поздно»...

Он прошелся немного по городскому парку. Стемнело, снова начался снег, и знакомые, которых он встречал, не узнавали его.

«Кто, однако, сказал, — продолжал он беседовать сам с собой, — что теперь уже поздно? Я еще не так стар, и в конце концов я могу ошибаться насчет своего здоровья. Я беден, как церковная крыса, но ведь и Джон Рихард был беден еще совсем недавно. Жена холодна и недружелюбна ко мне с некоторых пор. Но она, я думаю, снова полюбит меня, если я смогу зарабатывать больше денег и ходить в мехах. Мне показалось между прочим, что Джон стал ей нравиться больше, когда приобрел себе шубу. Правда, она была слегка влюблена в него когда-то, еще почти девчонкой; но он ни разу к ней не посватался — напротив, повторял ей и всем, что ни о чем не рискнет жениться без по крайней мере десяти тысяч годового дохода. А я рискнул, и Элен была бесприданница, и ей хотелось замуж. Я не думаю, чтобы она была увлечена мной настолько, что мне удалось бы ее соблазнить, если б я захотел. . . Но я и не хотел. Как мог я мечтать о такой любви! Я перестал мечтать о ней после того, как лет в шестнадцать увидел в первый раз Фауста в опере. Но я все же уверен, что нравился ей в первое время нашей совместной жизни — в таких вещах не ошибаются. Почему я не мог бы понравиться ей опять? И в первое время после женитьбы она всегда говорила Джону неприятности, как только они встречались. Но потом он основал это свое товарищество, приглашал иногда нас в театр, завел себе шубу. Со временем, естественно, ей надоело говорить ему колкости» . . .

У Хенка нашлись еще кое-какие дела до ужина. Было уже половина шестого, когда, нагруженный покупками, он вернулся домой. Левое плечо у него ныло, в остальном же ничто не напоминало о случившемся на улице. Ничто, кроме шубы.

«Интересно, какую мину состроит жена, когда увидит меня в таком наряде», — сказал сам себе доктор Хенк.

В передней было совсем темно — лампа зажигалась только в часы приема.

«Она в гостиной, — подумал Хенк. — Она движется легко, как птичка. . . Это удивительно, что у меня все еще теплеет на душе каждый раз, когда я слышу шаги ее в смежной комнате».

Хенк был прав, предположив, что жена встретит его приветливее обычного, увидя на нем шубу. Она тесно прильнула к нему в

самом темном уголке передней и обвила его шею руками. Поцелуи ее были нежны и порывисты.

Потом она зарыла лицо в пышный мех его воротника и шепнула:

— Густава нет еще дома.

— Да, да! — ответил доктор Хенк, чуть задыхаясь и глядя обеими руками ее волосы. — Да, он дома. . .

В кабинете доктора Хенка пылал камин. На столе стояли виски и сода.

Судья Рихард, растянувшись в глубоком кожаном кресле, курил сигару. Сам Хенк понуро сидел в диванном углу. Дверь в зал, где госпожа Хенк и дети зажигали елку, стояла открытой. Ужин прошел в молчании. Только ребятишки чирикали о чем-то друг другу, им было весело.

— Ты все молчишь, старина! — сказал судья Рихард. — Сидишь и думаешь, верно, о своем порванном пальто?

— Нет, — ответил Хенк. — Скорее — о шубе.

Прошло еще несколько минут, прежде чем он продолжал:

— Я думаю также и кое о чем другом. Я сижу и думаю, видишь ли, что это последнее Рождество, которое мы празднуем вместе. Я врач и знаю, что жить мне осталось не много. Теперь я это знаю совершенно точно. И потому я хочу поблагодарить тебя за твою доброту в последнее время ко мне и моей жене.

— О, ты преувеличиваешь. . . — пробормотал судья, отводя глаза в сторону.

— Нет, — ответил Хенк, — я не преувеличиваю. И я хочу также поблагодарить тебя за то, что ты одолжил мне шубу. Это доставило мне несколько секунд счастья. Последних в моей жизни. . .

ПЕРЕВОД С ШВЕДСКОГО Л. Р.

Счастье! Ты разве знаешь о нем,
О счастье рожденном в муках?
Ты думаешь просто сказать: возьмем!
Протянув спокойную руку —

И вот оно здесь! Точно снежный ком
Скатился, сверкающ и звонок,
И лег у ног пушистым клубком,
Ласково, как котенок.

О, если ты это счастьем зовешь,
Не стоит и жить на свете!
Я знаю другое: то ранит, как нож,
То синей звездой светит.

То горькой судорогой сводит рот,
Ломает пальцы от боли,
То жаворонком в небе поет,
Цветком расцветает в поле,

Бросает радуги яркий мост
Над морем и все — сиянье,
То вдруг весь мир, взлетевший до звезд,
Сметает до основанья.

Словами о нем нельзя рассказать.
И рвется душа на части.
И дивно и жутко смотреть в глаза
Такому страшному счастью!

НОННА БЕЛАВИНА

Не стремись любовь удержать!
Видишь — облаком в небе тает,
Видишь — каплей с листа стекает,
Осыпается белым маем...
Не стремись любовь удержать!

Разве можно теперь помочь?
Видишь — дрогнули крылья птицы,
Слышишь шелест последней страницы
И уже ничего не снится
Мне в мою спокойную ночь.

Ни просить, ни прощать, ни звать!
Словно камешек — в глубь колодца,
Лишь едва вверху отзовется.
Сердце больше тобой не бьется...
Не стремись любовь удержать!

ИРАИДА ЛЕГНАЯ

*И печальным, горячим встречам
В час, когда защититься нечем...
Ив. Елагин*

Первым, но не последним,
Встречным, поперечным,
Новорожденным, новогодним
Жду тебя, но не больше года.

А не явишься в назначенный срок
Для другого сорву с головы платок.
Кроме печальной горячей встречи
Помнить о тебе — нечего.

ИРАИДА ЛЕГКАЯ

Электрической лампой
Взорвана мгла.
Под кровать отступила,
Под комод легла.

Успокоилась тенью
По своим местам,
Но это смиренье —
Не проста.

Электрической лампе
Не долг срок —
Щелкает выключатель
Как курок.

И царствует ночь,
Темным темна,
До четырех утра.

Василий Теркин на том свете

Тридцати неполных лет
Любо ли — не любо —
Прибыл Теркин на Тот свет,
Раз на этом убыл.

Убыл — прибыл в поздний час
Ночи новогодней;
Осмотрелся в первый раз
Теркин в преисподней.

Так ли, сяк ли — довелось
Лично быть на месте.

— Нет, позволь: да ты всерьез?
Ты скажи по чести,
Что не шутишь. Вовсе нет?
Стой! Держи тогда ответ.

Это, что же — не насмешка
И не явный произвол:
Столько с Теркиным помешкав,
На тот свет его повел?

Предъявляем неустойку,
Сам собой встает вопрос:
Почему же не на стройку,
Не в колхоз
И не в совхоз?

Почему не в цех к мотору,
Не на шахту, не в забой?
Ну, по крайности, в контору —
Годен к должности любой.

Иль в торговлю, без опаски,
Что проштрафится орел,
Иль в ансамбль народной пляски,
Где бы тоже не подвел.

Не о том ли все пеклись мы,
Чтобы Теркин жил при нас,
Не тебе ль писали письма —
Пусть без марки иной раз.

Проводили обсужденья,
Усадив тебя за стол,
Предложенья и решенья
Заносили в протокол.

Нет, не дело для поэта
Отражать в стихках Тот свет,
Знать от этого-то света
Оторвался ты, поэт?

Забурел, кичась талантом,
Дескать, — мой велик ли, мал.
Новым, видите ли, Дантом
Объявиться возмечтал.

И начальству не в догадку
Просто вызвать на бюро,
Да призвать тебя к порядку,
Чтобы выправил перо.

Чтобы попусту бумагу
На авось не тратил впредь,
Не писал бы этак смаху, —
Дал бы плагчик посмотреть.

И без лишних притязаний
Приступил тогда к труду,
И последних указаний
Дух всегда имел в виду.

Дух тот брал бы за основу
И не ведал бы прорук...

Эти стихи получены из Советского Союза, где они распространяются в рукописных тетрадях; нам они были любезно предоставлены редакцией польского журнала «Культура» (Париж). Их приписывают А. Твардовскому, возможно, ошибочно: вариации на тему одного из произведений этого поэта появлялись и раньше, как в России, так и в русском зарубежье. (Ред.)

Тот свет, —
Путь закрыт обратно.

Видит, к станции сюда
Двери настезь с ходу.
Прибывают поезда:
Что людей, народу!

И выходит к поездам,
Важный и спокойный,
Того света комендант
Генерал — покойник.

По уставу, сделав шаг,
Теркин доложил: —
Мол такой-то, так и так,
На Тот свет явился.

Генерал опрятен, брит,
Голосом усталым:
— А с котормы, — говорит, —
Прибыл ты составом?

Теркин — в струнку, как стоял,
Тем же самым родом:
— Я, товарищ генерал,
Лично, пешим ходом.

— Как так пешим?
— Виноват...
Но у коменданта
Нарочито строгий взгляд:
— Говоришь, отстал, солдат,
От своей команды?

Так ли, нет ли, все равно
Спорить не годится.
— Ясно. Будет учтено.
И не повторится...

И, глядишь, помятче стал.
— Так-то, — молвил генерал, —
Ладно, оформляйся.
Есть порядок, чтоб ты знал,
Тоже, брат, хозяйство.

Показал на смежный зал
И неторопливо
Изъяснился генерал
С грустью горделивой:

— Вот, гражданский взять Тот
свет —

Малоллюдно, глухо.
Там хлопот особых нет,
Ну, старик, старуха,
Ну случится, что пяток
разом соберется...
Не налажен там поток,
Спит и руководство.

А уж тут — размах друтой:
На ногах всечасно.
Позабудешь про покой,
Как в полку запасном.

Всех прими, да всех устрой,
По заслугам место.
Этот — трус, а тот герой —
разберись — еще порой
не всегда известно.

Да, при всем, при том, солдат,
надобно отметить:
на Том свете аппарат,
как на этом свете.

Вдоль и поперек стена!
Сдвинь-ка стену эту!
Только разница одна:
перестройки нету.

Как создал его сам Бог,
в том и есть он виде...
Проходи, давай, дружок,
Поглядишь — увидишь.

— Есть — идти! — и поворот
Теркин дал по форме.
И прошел сперва вперед
прямо по платформе.

И едва за стрелкой он
своротил направо —
меж приземистых колонн
первая застава.

Тотчас все на карандаш:
Имя, номер, дату...
— Медальон в каптерку сдать, —
говорят солдату.

Теркин крайне удивлен,
даже растерялся:
— Не носил я медальон,
жить я собирался.

— Это — мало ли — мечты,
вспоминать на кой их!
Ну, а вдруг, как ты — не ты,
а другой покойник?
И ни знака, ни примет,
так что — извиняюсь,
что ж ты думал: на Тот свет,
как хочу, являюсь?

Дескать — помер и — концы,
ничего не надо?
Все мы, братцы, мертвецы,
а на то — порядок.

Для того ведем дела
строго помер в номер,
чтобы ясность тут была —
правильно ли помер?

Ведь бывает иногда:
рана — не смертельна,
а его зашлют сюда.
С ним возись отдельно.

Помещай его сперва
в зале ожидания...
(Теркин мельком те слова
принял во вниманье).

Ты, понятно, новичок,
вот тебе и дико,
а без формы на учет
встань теперь, поди-ка!

Ну, — смекнул уже солдат —
нет беды особой:
так ли, сяк ли, а назад —
вороти, попробуй.

И прошел учетный стол.
Дальше — влево стрелки.
Повернул налево:

— Стоп!
Смотрит:
«Стол проверки.»

И над тем уже столом
своды много ниже,
свету меньше, а кругом —
полки, сейфы, ниши.

Да шкафы, да вертлюги.
Сзади, как в аптеке,
книг загробных корешки,
папки, картотеки.

И оградой обнесен
этот стол крошечный.
И таит безвестный тон
Того света телефон,
внутренний, конечно.

И разносится в тиши
голос тот недобрый:
— Авто-био опиши
Кратко и подробно!

Тут уж Теркин на рожон
с места лезть намерен:
мол, в печати отражен,
Стало быть проверен.

— Знаем: «Книга про бойца».
— Ну так, в чем же дело?
— Без начала, без конца,
не годится в «дело».

— Но, поскольку, я мертвец...
— Это толку мало.
— ... То не ясен ли конец?
— Освети начало.

— Да причем я буду здесь,
незнакомый музам:
те ж стихи, прошу учесть,
автор — член Союза...

— Это — мало ли чего,
тою меркой мерим,
погоди, и самого
автора проверим.

Вот садись-ка да пиши,
устраняй помеху.
Не волнуйся, не спеши,
вечности не к спеху.

Видит Теркин — что уж тут
и беда, пожалуй:
не напишешь, так пришьют
от себя начало.

Нет, уж лучше, если сам.
И у спецконторки,
примостившись, написал
авто-био Теркин.

По графам — вопрос, ответ.
Начал с предков: кто был дед?

— Дед мой сеял рожь, пшеницу,
обрабатывал надел,
он не ездил за границу,
связей также не имел.

Пить — пивал. Порой без шапки
шел домой, в сенях шумел,
но помимо, как от бабки
он взысканий не имел.

И притом отлично ладуил
он с работою любой.
Лишь отмечу правды ради:
не работал над собой.

Не учился, и поскольку,
близ восьмидесяти лет,
он не рос уже несколько —
укорачивался дед.

И так далее — родных
отразил и близких,
всех, что числились в живых
и посмертных списках.

Стол проверки кинул взгляд
на его работу:
— Что ж, приемлемо, солдат,
только нужно фото.

-- Где же взять? ..
Но голос строг,
стол такой недаром:
— ... и не менее, чем в трех
нужно экземплярах.

Теркин — к самому столу:

— Что ж, как не запаса,
как за всю войну в тылу
не был я ни часа?

Правда, снял корреспондент,
«рот пришлю» божился.
Ну, а в данный-то момент
адрес мой закрылся.

До поры была со мной
карточка из дома —
уступить пришлось одной,
скажем так, знакомой.

Но не мягче тон стола,
голос тот не проще:
— Это личные дела,
а порядок общий... .

Нет уступки нипочем,
Хоть грозить-то нечем.
— Как же так ты не учел
и не обеспечил?

— Да не думал, что сюда
попаду я ныне.
— Ах, покойники! Беда
с вами, как с живыми... .

Дальше больше, как ни строг,
стол проверки — сбавил,
выдал пропуск, корешок
у себя оставил.

Вышел Теркин на простор,
веселей в походке.
Думал — все, а вот он — «стол
медсанобработки».

Он не мог того учесть —
дело то в новинку —
что терпеть ему и здесь
тяжкую заминку.

Не подумал сторяча,
протянувши ноги,
что без справки от врача
в вечность нет дороги.

Что держать бы все ключи

надо наготове —
все анализы мочи
и остатней крови.

Ахнул Теркин, что за чорт,
что за постановка.
Ну, как будто на курорт
мне нужна путевка.

Сколько всяческой возни
в этом странном мире.
Слышит вдруг:
— А ну, дыхни,
рот разинь пошире.

Принимал?
— Наоборот. —
И со вздохом горьким:
— Непонятный вы народ —
усмехнулся Теркин.

— Как бы мне глоток, другой
при моем раненьи
я бы, может, ни ногой
в ваше заведение.

Но солдат — везде солдат:
то-ли, се-ли — виноват.

Виноват, что в этой фляге
не нашлось ни капли влаги,
старшина был скуповат,
не уважил, виноват.

Виноват, что холод жуткий
жет меня вторые сутки,
что вблизи упал снаряд,
разорвался — виноват.

Виноват, что на том свете
за живых мертвец в ответе,
за других в накладе сам, —
обсудите Мед и Сан.

Мед и Сан:
— Какой там суд!
Все же человека
задержать хотели б тут
под своей опекой.

Мол, покойник со свежа
входит в норму еле,
словно в нем еще душа
притаилась в теле.

Рассуждают: не таков
запах — вот забота.
Пахнет парень табаком,
валенками, потом.

Применить хотят состав,
препаратец некий,
чтобы этот дух отстал
от него навеки.

Сразу к делу Сан и Мед —
разговор короткий.
— Приготовься на предмет
медсанобработки.

Теркин был не из нерях,
и без колебаний
он бы рад свой бранный прах
обработать в бане.

В учрежденье, мол, беды
подзаняться малость.
— Баня есть, но без воды.
— Без воды? Случалось.

Но хоть с паром?
— Пар-то есть,
Сколько вам угодно,
только следует учесть —
пар у нас холодный.

— Вот так раз! А все ж иду,
хоть и случай редкий.
— Но имей, солдат, в виду —
веников — ши ветки.

Тьфу ты пропасть! Сколько бань
не видал — однако
уж такая, скажем, дрянь
выше меры всякой.

Сдавши голову, кудрей
не жалеть, известно.
— Что ж, валяйте, да скорей,
мне бы хоть до места...

(Так бывает, что и тут,
в нашей проволочке,
человека доведут
до такой уж точки,
что — ответчик ли, истец —
он про то забудет,
только пусть уже конец —
хоть какой, да будет..)

И опрыснули его
жидкостью научной,
и как будто ничего —
все благополучно.

Только все уже вокрут,
что видал, не видя,
перед ним предстало вдруг
в натуральном виде.

И во весь свой разворот
свет ему открылся Тот.

Койки узкие рядами —
головами к головам,
мертвецы лежат с ногами
на постели тут и там.

И матрацы и подушки —
не перо, понятно, стружки, —
гробовой комплект белья —
все для нужд небытия..

По рядам проходит Теркин —
как тут все заведено.

Те лежат, а те в четверки
собрались — и в домино
бьют во времени безмерном,
не заметишь, год ли, час,
точно так же, как, примерно,
в доме отдыха у нас.

Та же самая отрада.
Уж за стол как сел, так сел. —
Разговаривать не надо.
Думать незачем совсем.

Разгоняют скукой скуку,
но Тот свет — он все ж Тот свет:
как ни бьют — не слышно стуку,

как ни курят — дыма нет.

И с тоскою бесконечной
Теркин справиться не мог.
Ведь не месячный, а вечный
был ему назначен срок
пребыванья в тех хоромах.
Впрочем что ж — войны закон:
Там, пойдя, одних знакомых
наберется с батальон.

С кем солдат в живых встречался,
с кем дружил, с кем был ровня,
шел в огонь, врага кляня,
и кому он подчинялся,
чьей грозы в бою боялся
много больше, чем огня, —

Все в одном собрались месте —
кто в каких ни есть чинах.
Никому особой чести —
те же стружки в головах.

На беспамятные годы
до несбыточной поры —
те же каменные своды,
те же кости для игры.

Так-то за год или за день
из конца в конец солдат
обошел новинки ради,
Того света комбинат.

Много странного приметил
в залах — с виду, как метро.
Вот глядит — при блеклом свете
Преисподнее Бюро.

Это те сошлись, должно быть,
что не в силах побороть
заседаний вкус особый,
им вошедший в кровь и плоть.

Им ни отдыха, ни хлеба, —
как усядутся рядком —
ни к чему земля и небо —
дайте стены с потолком!

Им, что ведро, что ненастье,
что там ночь, что ясный день,

целиком подстать их страсти
Того света полутень.

Вот с величием натуральным
над бумагами склонясь,
видно делом персональным
занялся — то-то сласть!

Тут ни шутки, ни улыбки —
мнимой скорби тон и вид.
Признает мертвец ошибки,
извернуться норовит.

Но несытые признаньем —
мол, раскрыт не до конца, —
воспитательным взысканьем
наказуют молодца.

По соседству так же рьяно,
с той же строгостью лиц
обсуждают план романа,
что представил беллетрист.

Этим членам все известно,
что в романе быть должно,
кто герой, и то ли место
для любви отведено.

Хорошо ль начало плана
и годится ли конец —
не беда, что нет романа —
ведь писатель-то мертвец.

Он с улыбкой безунывной
держит речь, бубнит урок:
дескать, разум коллективный
в самый раз ему помог
уточнить канву сюжета...

Теркин сплюнул за углом.
Глядь — редактор стенгазеты
Того света —
за столом.

Весь в поту, статейки правит,
водит носом взад-вперед,
то прибавит, то убавит,
то свое словечко вставит,
то чужое подчеркнет.

То его отметит птичкой,
сам себе и глав и лит,
то возьмет его в кавычки,
то опять же оголит.

Знать в живых сидел в газете,
дорожил большим постом:
как привык на этом свете,
так и мучится на Том.

Вот притих, уставясь тупо,
рот разинут, взгляд потух.

Едрут —
навел на строчку лупу,
избоченясь, как летух.

И последнюю проверку
применяет: тот же лист
он читает снизу кверху
и обратно сверху вниз,
(попадись такому в руки
эта сказка — я погиб).

Едрут солдата появление
отмечает тусклый взор:
— Вот отлично! Пополнение...
Руки потные потер.

— Что ж, давай, пиши нам, воин.
Что писать? Чудак-рыбак:
как добрался, как устроен,
настроенье, взгляды как?

Что-нибудь зверни о смерти,
ну и, так уж повелось,
кашу маслом не испортишь —
самокритики подбрось.

Приступай, товарищ Теркин,
что неясно — беспокой.
— Мне неясно: кто ваш орган
здесь читает под землей?

Мертвецы? Да нет, пожалуй,
спят иль заняты «козлом».
Что ж писать, как в книгу жалоб
на вокзале узлом?

Посмотрел редактор хмуρο,
нет ли видимых примет.

— Кто читает? А цензура?
А отдел стальных газет?

Как прочтет — отдаст приказом,
если что — поправит нас.
— Я другим, пожалуй, разом...
— Помирают только раз,
голова!..

Но Теркин мимо,
Теркин попросту стрелка.
Что там бомба или мина!
Во сто крат страшней тоска!

Там хоть некая фортуна!
Тут — надежду позабуди.
Поворот — глядит: трибуна —
некто в ящичке по груди.

Ухватив края руками
точно дьявол заводной,
так и сяк вертя белками,
чесет челюстью вставной,

Слов пустых несчетной тратой
беззаветно одержим.
Надпись: «пламенный оратор»
на фанере перед ним.

Что с того, что в зале пусто —
только эхо меж колонн —
страсти собственной искусством
он с избытком упоен.

Говоренье — труд любимый,
словеленье языка —
нет спасенья!

Теркин — мимо
вслед за Теркиным — тоска.

И среди той жизни мнимой —
вот уж рад невыразимо —
вдруг встречает он дружка.

В дружбе есть святая проба.
Есть особая статья:
Если мы друзья до гроба —
и за гробом мы друзья.

Верю я в закон могучий,
что на свете не избыт:

друг мой, смерть нас не разлучит,
если жизнь не пособит.

Пусть прощенья час настанет,
мне ль, тебе ль придет черед.
Дружбы долг в себе оставит
неизменно — тот и тот.

Точно так же, как разлуку
среди живых познав людей,
я твою родную руку
как бы взяв держу в своей... .

Повстречал солдат солдата
друга — вдоль и поперек,
с кем от Бреста брел когда-то,
пробираясь на восток.

С кем в глухом бою под Ельней,
невдали от большака,
пуля подписью смертельной
разлучила на века.

С кем расстался он, как с другом
расстается друг-солдат,
второпях, за недосугом
совершать над ним обряд.

Не посетуй, что причалишь
к месту сам, а мне — вперед,
не прогневайся, товарищ, —
и не гневается тот.

Только, может, в миг прощальный
про себя живой солдат
тот безропотно-печальный
и уже нездешний, дальний,
протяженный в вечность взгляд,
навсегда в душе отметит,
хоть уже дорога врозь... .

Друг-товарищ, на том свете —
вот где встретиться пришлось?!

Вот он в блеклой гимнастерке
без погон — из тех времен.
Значит, все что есть — сон,
значит — все! — подумал Теркин.

Да, брат, да! Простились мы

не в конце ль июля. . .
Все четыре, брат, зимы
тяпнул за войну я.

«Похвалиться тороплюсь» —
сам смекнул с досадой.
«Ну четыре, ну и пусть —
поминать не надо.
Потому — не все ль равно:
тот ли этот случай.
Что недавно, что давно —
честь одна и участь. . .»

Только не был виноват
Теркин — так уж вышло:
повстречались и стоят. . .
Видит — словно бы не рад
друг его давнишний.

Видит, вроде разговор
не для этой встречи.
Или вправду им с тех пор
поделиться нечем.

Вот он, вот он где Тот свет —
с грустью видит Теркин.
Достаёт, вздохнув, кисет,
есть чуть-чуть махорки.

Той надёжной, фронтовой,
что купил, как был живой,
той надёжной, неизменной,
что верна в стране военной,
в час грозы и тишины —
вроде старой злой жены,
что иных тебе дороже,
пусть красивей, пусть моложе,
да от них и самый вред,
как от легких сигарет.

Угощаются взаимно
за беседою дружки,
оба — дымный и бездымный
проверяют табаки.
Курит Теркин — дегустатор,
друг глядит:
— Ну, что? каков?

— Тот имеет недостаток,
что не пахнет табаком.

Ну, а мой?
С улыбкой бледной
друг вздохнул:
— Прости, отвык.
Видно, вправду мертвым вредно,
что годится для живых.

— Да и я из жизни выбыл,
но прошу не осудить:
что чего не съел, не выпил —
не могу себе простить.

Не добрал — такая жалость —
там стаканчик, там другой.
А закуски что осталось,
а закуски — да какой?!

За Угрой-рекой в землянке —
только сел, а тут: в ружье!
Не доел консервов банки,
так и помню про нее.

В деревушке белорусской
у хозяйюшки одной
не доел гулеш свиной,
правда, прочие нагрузки,
может быть, тому виной.

А вернее — сам повинен,
что не думал помирать
и того не споловинил,
что до крошки мог прибрать,
поддержать в пути здоровье.
Помнишь старое присловье:
выпьем там, закусим тут,
на том свете не дадут. . .

Взял он под руку дружка
мягко, осторожно:
— Как, мол, доля здесь? Тяжка?
— Да, но спать-то можно,
дрыхни — только и труда. . .
— А как спать нет мочи?
Ночь-то да, а день куда?
Тут — ни дня, ни ночи. . .
— Вон тут что! — присвистнул
вслед

Теркин, идя с другом. —
Лучше был бы он, Тот свет
за Полярным кругом:

День — так день, а ночь — так ночь
Пусть себе полгода.
Год прошел — и сутки прочь...
Ну, а как с погодой?

Друг-солдат махнул рукой:
— Позабудь.
— А все же?
— И погоды никакой
и природы тоже.

Освещение и тепло —
все от электрички...
— Без природы — тяжело.
— Это без привычки.
Пообвыкнешь, новичок,
будет все терпимо —
аттестат, оклад, паек
и табак без дыма.

Теркин слышит — не поймет,
что на что похоже.
А паек, допустим, тот
это будет что же?
— Вот послушай, поясню
постановку эту:
обозначено в меню,
а в натуре нету.

— Погоди, постой-ка, брат,
не в догадку словно.
— Ну, еще точнее: оклад
и паек условный
на тебя и на меня
числится в обозе.

— Вроде, значит, трудодня
з нашенском колхозе?
— Так, примерно. Распишись —
и порядок полный.

— Ну, брат, это же не жизнь!
— Вон о чем он вспомнил!
Жизнь! И слышать-то чудно:
ведь в загробном мире
жизни быть и не должно —
дважды два четыре.

— Но скажи тогда: зачем
столько канители?

— Как зачем? Да чтобы всем
кадрам быть при деле.
Чтобы все, как говорят,
шло своим порядком:
достижений целый ряд,
ну и... недостатков.

Чтоб товарищ и в гробу,
и во сне глубоком
вел бы все-таки борьбу
навзничь или боком.
Находился б на посту,
пребывая в пекле,
знал бы: вот, мол, как расту
и и на Том свете.

Теркин дальше тянет нить,
развивая тему:
— А нельзя ли сократить
данную систему?

Сели рядышком друзья
на загробном ложе.
— Сократить никак нельзя,
пробовали тоже.

Невозможно уследить
где начет, где вычет.
Выйдет, чтобы сократить,
надо увеличить.

И никто не виноват,
сделай сам, попробуй, —
чтоб убавить этот штат,
нужен штат особый.

— Как же быть, с чего начать,
где искать начало?
На земле у нас печать
малость выручала...

Тут минутку улучил
Того света старожил,
молвит с живостью заметной:
— А награды-то посмертной
ты, гляжу, не получил?
К нам приписанный навеки,
ты не знал наверняка,
как о мертвом человеке
тут забота велика.
Стол наград и званий рядом —

все на месте, без хлопот,
доложилея — и порядок,
дело часу не займет.

Словом, так уж разукрасил...
Теркин молвит между тем:
— Я бы даже был согласен
за наградой съездить в Кремль.
Так и быть уже. Да что там,
сколько есть того пути —
по снегам, пескам, болотам —
с полной выкладкой пройти...

Драть хоть месяц по наряду —
и пускай мне там награду
вдвое меньшую дадут.

Даже вовсе скажут: рано,
не видать еще заслул,
я оспаривать не стану —
ни к чему и недосут.

То ли дело мимоходом
подзаняться той Москвой,
погулять с живым народом,
и считать, что ты живой.
Вот бы так! А тут признаться,
хоть и орден получу,
перед кем покрасоваться?

— А хотел бы?

— А хочу...

— В чем же дело? Для форсистых
осмотрись еще вокруг —
медсестриц, телефонисток —
боевых полно подруг.
Встречный вскоре б ты нашел
взгляд тоски любовной.

— Да, но женский этот пол
тоже ведь условный?!

— Что условный, это да,
против не имею,
но позволь одну тогда
высказать идею.

Я подумал уж не раз
да смолчал, покаюсь,
не условный ли меж нас
ты мертвец, покамест?

Теркин снова за кисет,
крутит самокрутку,
что-то скажет он в ответ,
может, и не шутку?

Дескать, то-то и оно,
друг ты мой заветный,
самому-то мне давно
стало быть, заметно...

Вдруг донесся некий гул
задрожали стены,
на Том свете свет митнул,
залилась сирена.
Не воздушный ли налет,
вот уж где нелепо
попадаться в переплет!
Впрочем, нет же неба.
Только своды над тобой,
все благонадежно...

— Теркин, Теркин! — вестовой
строго и тревожно
кличет издали, спешит,
дышит суматошно.
— Стол проверки... Надлежит...
Срочно!... Лично!... Точно!...

Теркин:

— Слушай-ка, земляк,
а не много ль чести
для меня? — Да что, да как?
— Выяснишь на месте...
Знать не знаю этих дел
сам за недосугом.

Так что Теркин не успел
и проститься с другом.

Подхватил, заторопил
грозный исполнитель.
Но видать, покойник был
новостей любитель.

Дали вскорости отбой,
Улеглась тревога.
И солдату вестовой
Все открыл дорогой.

Так и быть, скажу тебе,

но держи в секрете:
разбирается гепэ
нынче на Том свете.

Некто, видимо, любя
бдительность особо
матерьяльчик на тебя
доложил за гробом.

Показал, явившись к нам,
тот покойник новый,
будто ты известен там
в качестве живого.

Будто б ты и был и есть
у живых в почете,
но при этом ты и здесь
мертвый на учете.

Рассуждая в простоте,
ты — как тот начальник,
что прописан и в Чите
и в Москве случайно.

Взвесив факты, розыск свой
подняла проверка.
Мол, к покойникам живой
просочился сверху.

Чтоб опасность предупредить —
срочное задание:
мол, изъять и поместить
в зале ожиданья.

Запереть двойным замком
и держать, покуда
полноценным мертвецом
не уйдет оттуда.

Так что видишь, не беда —
все на месте встанет.
— Это верно, это да...
Теркин время тянет.

Теркин видит, что попал,
но еще не сдался:
— Да, но как же генерал?
Он-то — ждать-заждался.

Мне в четырнадцать ноль-ноль

быть у генерала.
То-есть как? Позволь, позволь, —
вспокоился малый.

Стол проверки точно ждет,
знает — ты уж вышел...
— А какой же мне расчет?
Генерал-то выше.

Да, но если ты живой —
ты не нашей части.
Не имеет над тобой
он командной власти.

— Вот уж эти ты оставь
вредные погудки.
Извращать тебе устав
не позволим, дудки!

Был и есть устав силен
заповедью твердой.
Генералу подчинен
и живой и мертвый.

Да к тому еще учти:
мы знакомы лично,
приглашает — не зайти
даже незтично.

(И занятно самому:
вру-то как завидно,
на Том свете кой-чему
подучился видно).

Бестовой:
— Ну что ж, зайди, —
выдохнул с натугой. —
Да меня не подведи,
ведь с тобой как с другом...
Чуть ведь что — меня под суд
с места же сегодня.
— Брось, товарищ, не пошлют
дальше преисподней.

— Это, знаешь, как сказать...
— Да с Того-то света
ну куда тебя девать?
Даже фронта нету.

Хорошо ты шутишь, брат, —

что себя в расчет беру,
что покамест на Том свете
не пришлось ко двору.

И еще сознаться можно,
потому спешу домой,
чтоб задачей неотложной
загорелся автор мой.

Пусть со слов моих подробно
отразит он мир загробный,
все по правде. А приврать —
для наглядности подсобной —
не беда. Наоборот.

С доброй выдумкою рядом
правда в целости жива.
Пушки к бою едут задом —
это верные слова...

И поникнув головою,
малым знаком не прервал
речь солдата бывший воин,
Того света генерал.

— Ох-хо-хо! — вздохнул вояка, —
Так-то так оно. Однако...
Ты ведь здесь зачислен в штат,
и чего же проще —
занимать тебе, солдат,
на Том свете площадку...

— Виноват, повременю,
площадку — не причина.
На нее-то мне броню
выдаст медицина.

На нее-то я права
как и все имею...
— Это верно: не Москва,
там оно сложнее...

Я-то что ж, помочь бы рад —
не помехаprobe.
Но опять же аппарат,
ведь пробы: утробят.

Управление — только счет,
эти штабы, штабы...
Мне б живых один полчок,

батальон хотя бы, —
я бы... Эх! — И не сказал
более детально:
ведь какой же генерал
без военной тайны...

— Что ж, товарищ комендант,
я уже сам как-либо.

-- Да уж ладно, пропуск дам,
говори спасибо,
что потворствую любя,
в память бывших действий,
Впрочем больше на себя
как в бою надейся!

— Есть. Спасибо.

-- Выполняй,
да смотри...

— Понятно...

— Будет лихо — не пеняй,
и стучись обратно.

На Тот свет при всем ином
чем небезупречен —
круглосуточный прием
вот уж обеспечен...

Так. И с росчерком пера
генеральского на бланке,
что нашелся там в землянке,
нам из сказки в быль пора.

Как простился с генералом,
протеснился в некий круг
Теркин, знать того не знал он,
что творилось вокруг.

Там в страде невыразимой,
в темноте, хоть глаз коли,
всей войны крутые зимы
и жары ее прошли.

Там руин горячий щербень
бомбы рушили на грудь,
и огни толпились в небе
заслоняя млечный путь.

Там валы, завалы, кручи
громоздились поперек,
а песок сухой сыпучий
из-под ног бессильных тек.

И мороз по голой коже
драл скребницей ледяной,
а глоток воды дорожке
жизни, может, был самой.

И до робкого сознания,
что забрезжило в пути,
— То не Теркин был — дыхание
одинокое в пруди.

Боль была без утоления
с темной — тяжкою тоской,
неисходное мученье,
что звало принять покой!..

Но вела к своим солдатам
воля к жизни, наш ходатай
и заступник, всех верней,
на земле запасом дней!..

Как там смерть ни билась круто,
переменчива борьба.
И настала та минута —
дотацился до столба.

До границы. Вот застава,
поперек дороги — жердь.
И дышать полегче стало,
и на миг отстала смерть.

Вот уж дома. Только б ноги
перекинуть через край.
Но не в силах без подмоги,
пал солдат в конце дороги.
Точка, Теркин, помирай.

А уж тут-то неохота,
как от смерти ты утек.
И всего-то нужен кто-то,
кто бы капельку помог.

Как бывает и в обычной
нашей суতোлке здесь:
вот уж все, что мог ты лично,
одолея, да вышел весь.

Даром все — легко ль смириться, —
годы мук, надежд, труда...
Был бы бог, так помолиться,
а как нету — что тогда?

Что тогда, тот час недобрый,
испытанья горький час?
Человек, тебе подобный, —
вот кто нужен про запас.

Человек — он может много,
у него довольно сил,
даже вдруг оспорить бога,
если б он на месте был.

Не в заробной той пустыне, —
среди живых в беде спасен.
— Редкий случай в медицине, —
слышит Теркин как сквозь сон.

И лежит он в жилой хате.
Простыня — не белый снег.
И стоит над ним в халате
незнакомый человек.

Пусть не сразу стихла мука,
словно выиграв войну,
говорит сама наука:
— Ну и Теркин! Ну и ну!

Воротился с Того света,
прибыл вновь на этот свет.
Тут уж верная примета —
жить тебе еще сто лет.

АНРИ МИШО

В РЕСТОРАНЕ

Перышко обедал, когда к нему подошел метрдотель и, сурово взглянув, сказал тихо и таинственно:

— То, что у вас на тарелке, не значится на нашей карте блюд.

Перышко поспешил извиниться:

— Понимаете, я вообще не взглянул на карту блюд. Я, знаете, торопился, и заказал на авось котлету, — думал, что, может быть, у вас есть котлеты. . . Официант, кажется, не очень удивился, когда я заказал котлету, и принес мне ее, — ну и, видите ли. . . Конечно я за нее заплачу, сколько вы скажете. Я заплачу немедленно. Если бы я знал, я бы заказал что-нибудь другое, скажем, яйцо, — вы понимаете. В общем, я больше не голоден. Я заплачу немедленно.

Но метрдотель стоял неподвижно и молчал. Перышко смутился еще больше. Еще бы: заказать блюдо, которого нет на карте блюд!

Через несколько минут, решившись, наконец, поднять глаза, Перышко увидел, что перед ним уже не метрдотель, а хозяин ресторана. Он опять извинился:

— Я не знал, что на карте не указаны котлеты. Я ведь близорук, да и очки забыл, и вообще от чтения у меня всегда глаза болят. Я заказал первое, что пришло в голову, и когда принесли, я по рассеянности начал есть котлету. Я вам сейчас заплачу.

Протягивая деньги, Перышко вдруг увидел рукав какой-то форменной одежды. Перед ним стоял милиционер.

Перышко тотчас же извинился:

— Понимаете, я зашел в ресторан, чтобы отдохнуть, и вдруг официант кричит: вам чего, гражданин? Ну, я, чтобы отделаться, и сказал: котлету, — сказал, не думая. Уж постарайтесь, голубчик, уладить дело, я вас отблагодарю.

Но перед ним был уже начальник милиции. Еще бы — заказать блюдо, не указанное на карте блюд!

Перышко немедленно извинился:

— Понимаете, я хотел повидаться с другом и, чтобы не ждать на улице, зашел сюда, в ресторан. А чтобы не подумали, что я бо-

юсь расходов, я заказал котлету. Уверяю вас, я не собирался ее есть — это вышло машинально, бессознательно, — нервы, знаете...

Но начальник милиции уже известил органы госбезопасности. Передавая Перышку телефонную трубку, он сказал:

— Объясните все, это ваш единственный шанс.

В ресторан ворвалась пожарная команда.

— Это катастрофа! — кричал хозяин ресторана, показывая на опустевший зал. Все посетители в панике бежали. Еще бы: один гражданин заказал блюдо, не значащееся на карте блюд!

В трубке шипел строгий голос:

— Дешево не отделаетесь. Говорите всю правду.

А здоровенный милиционер, подталкивая бедного Перышка, кричал:

— Я тут ничего не могу! Такой порядок! Приказ! Сознавайтесь, а то как тресну! Понял? А то как тресну! . .

ДИНО БУЦАТТИ

ЛИКВИДАЦИЯ ЗЛА

Новое правительство объявило, что оно намерено вести беспощадную борьбу против преступности, безнравственности и болезней. В стране была проведена поголовная прививка против первородного греха. Гражданам приказали стать такими же добродетельными, какими были Адам и Ева до грехопадения.

Дьявол, разумеется, не верил в действенность прививки, но он был разъярен брошенным ему дерзким вызовом. Призвав всю нечистую силу, занятую в этой стране, он распорядился: объявить забастовку! И нечистая сила тотчас же перестала склонять граждан к преступлениям и порокам и насылать на них болезни. И настала в стране — тишь, гладь, даже как будто Божья благодать.

Слухи об этих невероятных событиях быстро проникли за границу. И так всех там взволновали, что никто больше не интересовался ни совещаниями на высоком уровне, ни космическими полетами, ни фестивалями. Все прислушивались только к тому, что делается в стране, где ликвидировано зло.

А там, в счастливой стране, события постепенно начали развиваться в неожиданном направлении.

Там стало очень скучно жить. Наводили тоску слонявшиеся без дела адвокаты, милиционеры, аптекари. Присмирившие люди медленно тупели. Всеми понемногу овладевала апатия.

Нельзя сказать, чтобы против такого положения вещей ничего

не предпринималось. Адвокаты, например, добились того, что число праздников пополнилось «Национальным днем кражи со взломом». Профсоюз врачей объявил соревнование на наиболее серьезную форму язвы желудка. Больше того: агенты министерства госбезопасности начали тайком и бесплатно снабжать граждан кокаином и пропагандировать проституцию.

Но все было напрасно: граждане пребывали в состоянии полнейшей апатии.

И вдруг забастовка нечистой силы окончилась: дьявол решил — хватит! И в первый же день в столице было зарегистрировано тридцать четыре убийства.

Старая, давно исчезнувшая чума снова принялась косить людей. А люди? Представьте: у них вернулся вкус к жизни.

ЯНУШ ОСЕКА

ПРОБЛЕМА ДОЛГОЛЕТИЯ

Нашим замечательным ученым удалось продлить человеческую жизнь на несколько тысячелетий. И теперь у нас есть шансы дожить до лучших времен. Мне самому уже 1200 лет, моей жене 900, но она кажется моложе: ей больше 750 лет не дают.

«Молодежь должна перебеситься», — говорит пословица, и за четыреста лет я стал отцом двухсот двадцати детей. Единственное, что отравляет наше семейное счастье — это квартирный вопрос. Конечно, мы спим организованно: на верхних койках помещаются те, кому раньше всех вставать на работу. Средние койки заняты учащейся молодежью, а представители свободных профессий и отпускники располагаются на койках нижнего ряда.

Страшная кутерьма подымается, когда ночью приходится вставать кому-нибудь из обитателей верхних коек. Укладка снова по койкам происходит строго по плану и нередко продолжается до рассвета. Обо всем этом я сообщал жилуправлению лет сто тому назад, но там мне сказали, что еще несколько столетий придется потерпеть. Директор нашего предприятия, конечно, давно получил новую квартиру, у меня же есть только один шанс: каждую тысячу лет в лотерею разыгрывается один индивидуальный дом. Может быть, мне повезет?

Хорошо еще, что в очередях за продуктами приходится стоять годами. Это отчасти разрешает трудную проблему жилищности: семья никогда не бывает в сборе. Недавно за ветчиной я стоял три

года. На моих глазах животноводы старались добиться увеличения приплода у свиноматок. Безрезультатно.

В заключение скажу, что благодаря низким ценам, как и трудностям, с которыми связаны закупки продуктов питания, я сберегаю довольно много денег. Трачу я их главным образом на уплату штрафов. В общем, в ближайшее тысячелетие едва ли все наши проблемы будут разрешены. Но в первой половине следующего тысячелетия — наверняка.

ИЗ ДРУГОГО МИРА

На какой-то отдаленной планете космонавты нашли записи на неизвестном языке. Ученым Земли удалось их расшифровать. Вот что они прочли:

«Приятная новость: министерство здравоохранения выпустило преполезные таблетки. Они называются Лилипутоль. Человек проглатывает несколько таких таблеток — и превращается в лилипута.

Еще несколько таблеток — и он делается совсем крошкой, пылинкой. Как это выгодно! Уже через неделю мы стали такими маленькими, что наши расходы на питание уменьшились в десятки раз.

Прежде мы все жаловались, что нам тесновато; теперь мы принимаем таблетку Лилипутоль — и целая семья комфортабельно располагается в ящике комода. Министерство даже организовало соревнования, на лучшие показатели по самоумалению. Газеты трезвонят в один голос: «Только Лилипутоль обеспечит вам счастливую, зажиточную жизнь!»

Вчера мы с женой были на балу у соседей. Очень веселились, было многолюдно. Правда, большинство гостей невозможно было разглядеть без микроскопа, такие они стали крошечные. . .»

Продолжение этих записей, к сожалению, разобрать не удалось: оно написано слишком мелким почерком.

СТАНИСЛАВ ЛЕЦ

АФОРИЗМЫ

— Признать, что жизнь хороша, меня обычно просят те, кто мне ее губил.

— Ах, если бы у меня было столько слушающих, сколько подслушивающих!

— Его пытали, стараясь обнаружить у него свои собственные идеи.

— Серая жизнь может быть опасной: порой возникает желание скрасить ее серостью кровью.

— Иногда нужна сатира, чтобы починить то, что было испорчено пафосом.

— Если хочешь петь вместе с хором, сначала внимательно взгляни на палочку дирижера.

— Людоеды предпочитают есть в первую очередь тех, у кого нет хребта.

ПЕРЕВЕЛ ИГОРЬ ЧИННОВ

ГЕОРГИЙ СТУКОВ

Новое о судьбе О. Мандельштама

С ПРИЛОЖЕНИЕМ ШЕСТИ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ

В биографии замечательного русского поэта Осипа Мандельштама (1891-1938) еще много белых мест. Печатные источники ее крайне скудны: даже в послесталинское новое издание Малой Советской Энциклопедии Мандельштам не попал, хотя том на «М» вышел уже в 1959 году, когда столь многие писатели были «реабилитированы». В советской «Литературной энциклопедии», вышедшей в начале тридцатых годов, совершенно неверны, по-видимому, сведения об окончании Мандельштамом Петербургского университета. Несколько лет тому назад покойный Георгий Иванов в рецензии на Чеховское издание сочинений Мандельштама упрекнул редакторов этого издания, Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, за то, что им не было известно, что Мандельштам был женат и что у него была дочь; между тем факт этот оставался неизвестным многим любителям русской поэзии и ценителям Мандельштама и, насколько известно, в свое время в печати оглашен не был¹⁾.

Но совсем уже мало известно о последних годах жизни Мандельштама, и эти белые места едва ли скоро будут целиком заполнены. Когда теперь в Советском Союзе возвращают литературную жизнь тем жертвам сталинского режима, которых постигла не только духовная и творческая смерть, но и физическая гибель, то правдивый рассказ об обстоятельствах последних лет жизни и о гибели каждой такой жертвы подменяется лицемерной шаблонной формулой: «Незаконно репрессирован в период культа личности. Реабилитирован посмертно». Такого рода формулы находим мы в биографиях нескольких писателей в недавно вышедшем первом томе новой «Краткой литературной энциклопедии». Что сказали бы

¹⁾ По имеющимся сведениям, вдова Мандельштама еще жива. О судьбе же дочери его сведений нет.

редактора этой самой «Энциклопедии», среди которых мы находим несколько почтенных ученых, если бы такая формула была применена в «царское» время в каком-нибудь энциклопедическом словаре к Полежаеву или к Кюхельбекеру?! Может быть, к тому времени, когда «Краткая литературная энциклопедия» дойдет до буквы «М», хрущевская «либерализация» зайдет еще дальше и принятая ныне формула получит некоторое расширение и станет более конкретной. Но едва ли и тогда о судьбе Манделъштама — судьбе, как увидит читатель, поистине трагической — мы узнаем всю правду и только правду.

*

Исчезновение Манделъштама из литературы произошло после 1938 года — после этого года нам неизвестно никаких его произведений в печати²⁾. Но «репрессирован» — употребляя советское словечко — он был, по-видимому, во второй половине 1934, а то даже и в начале 1935 года. За последние два-три года на Запад проникло довольно много списков неопубликованных стихотворений Манделъштама, частью тождественных, частью между собою разнящихся. Некоторые из этих стихотворений были напечатаны — во втором выпуске альманаха «Воздушные пути» (57 стихотворений), в «Вестнике Русского Студенческого Христианского Движения» (№ 62, 1962, пять стихотворений); другие остаются ненапечатанными³⁾. В входящих за границу списках есть явные дефекты, в большинстве случаев объяснимые ошибками переписчиков, но не всегда поддающиеся исправлению, так что точный подлинный текст некоторых стихотворений нельзя иногда восстановить. В некоторых списках есть и стихотворения, вызывающие подозрения и сомнения в принадлежности их Манделъштаму; возможно, что иногда в подборку манделъштамовских стихотворений, несомненно циркулирующих среди любителей поэзии в России, попадали и чьи-то чужие стихи — иногда, может быть, самого переписчика. Некоторые из этих сомнений, подозрений и недоумений, может быть, будут разрешены, когда осуществится наконец то издание стихотворений Манделъштама в большой серии советской «Библиотеки поэта», о котором поговаривают уже несколько лет. В 1959 году это издание было даже объявлено на конец года в официальном советском библиографическом бюллетене, носящем название «Новые книги». Но осуществлено издание это не было.

²⁾ См. О. Манделъштам, Собрание сочинений. Под редакцией и с вступительными статьями Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Изд. имени Чехова, Нью-Йорк, 1955.

³⁾ Ниже мы даем шесть ранее не публиковавшихся стихотворений Манделъштама, по одному из имеющихся у нас списков.

За последние год-полтора о нем говорят все упорнее и упорнее, иногда называя даже имя редактора, известного советского литературоведа, не раз подвергавшегося нападкам за свое пристрастие к «авангардной» поэзии. По последним слухам, одномыслик Мандельштама должен выйти весной 1963 года. Едва ли, однако, в него войдет *все* поэтическое наследие Мандельштама, или даже все то, что пока проникло за границу, не говоря уже о его прозе, как ранее издававшейся, так и до сих пор неопубликованной (о существовании таковой известно).

Из ходящих по рукам списков стихотворений Мандельштама, где под очень многими стихотворениями имеется точное обозначение места и даты, стали известны и некоторые новые факты его биографии. Так, стало известно, что либо к концу 1934, либо к началу 1935 года Мандельштам оказался в ссылке в Воронеже. Среди напечатанных в «Воздушных путях» стихотворений стихи начала 1934 года помечены еще Москвой, стихи 1935 года уже Воронежем. В других циркулирующих на Западе списках часть никогда не печатавшихся в России стихотворений носит названия «Первая воронежская тетрадь» и «Вторая воронежская тетрадь». В пределах этих «тетрадей» стихи расположены в более или менее хронологическом порядке, причем в первой тетради самые ранние стихотворения датированы апрелем 1935 года, а самые поздние — зимой 1936 года, с большим пробелом между июлем 1935 и зимой 1936 года (в других списках стихотворения вместо пометы «Зима 1936» носят более точные обозначения: «Декабрь 1936», «Январь 1937»). Напрашивается предположение, не объясняется ли этот длинный пробел тем, что Мандельштам в это время сидел в тюрьме (на тюремное сидение есть намеки в некоторых стихотворениях) и, если и писал стихи, то они не сохранились. Такое же предположение допустимо в отношении второй половины 1934 и самого начала 1935 года — для этого периода тоже нет налицо датированных стихотворений⁴).

Во второй воронежской тетради, как она фигурирует по крайней мере в двух известных нам списках, первые стихотворения датированы тоже зимой 1936 года (в других списках некоторые из этих стихотворений опять-таки носят уточненные даты), а самые поздние — маем 1937 года, причем под очень многими стихотворениями весны 1937 года — между февралем и маем — стоят точные даты. Таким образом можно с уверенностью утверждать, что Мандельштам пробыл в Воронеже по крайней мере с весны 1935 по май

⁴) Правда, сведения из нескольких различных источников связывают арест Мандельштама с убийством Кирова, которое произошло в самом конце 1934 года. Но по другим сведениям Мандельштам был арестован за «эпиграмму» на Сталина, а эпиграмма эта могла быть написана и раньше.

1937 года. Стихов, датированных позже мая 1937 года, нам не по-
падалось (в «Воздушных путях» самое позднее стихотворение по-
мечено «17 апреля 1937 года»). Правда, в одном из списков, в кото-
ром и некоторые другие даты возбуждают сомнения, а иногда, ви-
димо, поставлены кем-то без уверенности (например, после «1935»
в скобках стоит «1934»), есть одно стихотворение, помеченное «Ян-
варь, 1937, Москва», но это почти наверное опечатка в машинописи
вместо «1934»: все другие стихотворения за январь 1934 года (а их
много, и несколько из них навеяно смертью Андрея Белого) поме-
чены Москвой, тогда как под всеми другими стихотворениями от
января 1937 года стоит помета «Воронеж» (или же они просто
включены в «воронежскую тетрадь»).⁵⁾

*

Дошедшие пока на Запад стихи Мандельштама не проливают
света на судьбу поэта после мая 1937 года — повторяем, стихов с
более поздними датами мы не знаем. Дата смерти Мандельштама
очень долго оставалась неизвестна. Называли 1942 год (и якобы
от рук немцев), называли и 1940-й. Эта последняя дата была дана
Эренбургом в его воспоминаниях, когда они были напечатаны в
«Новом мире» (1961, февраль). Эренбург много и с большой теп-
лотой рассказывал о своих встречах с Мандельштамом в первые го-
ды революции — в Киеве, в Крыму, в Грузии, — но обошел почти
полным молчанием его дальнейшую судьбу. Дату смерти он поче-
му-то привел со слов какого-то советского агронома, вернувшегося
с Дальнего Востока и якобы находившегося во Владивостоке, ког-
да Мандельштам там умер. Между тем один молодой американ-
ский славист, писавший диссертацию о Мандельштаме, в ответ на
свой вопрос о точной дате рождения и смерти О. Э. Мандельштама,
обращенный к одному официальному советскому научно-литера-
турному учреждению, получил справку, гласившую, что Мандель-
штам скончался во Владивостоке 27 декабря 1938 года.⁶⁾ Если не
точная дата, то место и год подтверждаются рассказом, дошедшим
теперь до нас из Москвы из осведомленных литературных кругов.
Вот этот рассказ, все еще оставляющий кое-что в тумане, но пока-
зывающий, какал жуткая, трагическая картина скрывается порой
под лицемерно-фальшивой формулой о незаконном репрессирова-
нии и посмертном реабилитировании:

⁵⁾ Правда, в одном из виденных нами списков есть стихотворение с поме-
той «1934. Воронеж», но это же самое стихотворение, с небольшими разночте-
ниями, помечено в «Первой воронежской тетради» в другом списке апрелем
1935 года.

⁶⁾ См. Г. Струве. «Итальянские образы и мотивы в поэзии Осипа Мандель-
штама», в итальянском сборнике в честь Этторе Ло Гатто и Джованни Мавера
(Рим, 1962). Еще раньше эта справка была предана гласности в парижской
газете «Русская мысль».

«По сведениям, исходящим от людей, видевших Мандельштама в начале 1938 года на „транзитке“ (так назывался транзитный лагерь во Владивостоке), он был, как и другие ссыльные, арестован в Воронеже, осужден на пять лет и „этапирован“ во Владивосток, где ждал открытия навигации (для отправки в Магадан или один из других лагерей? Г. С.). Еще в этапе он стал обнаруживать признаки помешательства. Подозревая, что начальство (этапный караул) полугило из Москвы приказ отравить его, он отказался принимать пищу, которая состояла из хлеба, селедки, щей из сушеных овощей и иногда пшена. Соседи улизнули его в хищении хлебного пайка и стали подвергать зверскому избиению, пока не убедились в его безумии. На владивостокской транзитке сумасшествие О. Э. приняло еще более острые формы. Он боялся отравления, похищая продукты у соседей по бараку (он считал, что их пайки не были отравлены), его снова стали зверски избивать. Кончилось тем, что его выбросили из барака, он жил около сорных ям, питался отбросами. Грязный, заросший седыми волосами, длиннородый, в лохмотьях, безумный, он превратился в лагерное пугало. Изредка его подкармливали враги из лагерного медпункта, среди которых был один известный воронежский враг, любитель стихов, хорошо знавший Мандельштама».

По словам лица, от которого получен этот рассказ, Мандельштам умер «видимо, весной 1938 года на владивостокской транзитке». В отношении места сведения эти не расходятся с официальной справкой советского учреждения. В дате же здесь довольно существенная разница. Если верны сведения насчет весны 1938 года, то это показывает, что Мандельштам не выдержал этой жизни и не дожил до перевода в лагерь. Если же верить официальной справке, то остается неясным, почему Мандельштам оставался так долго во Владивостоке. Может быть, он был официально признан ненормальным и помещен в больницу?

После смерти Блока и Гумилева Максимилиан Волошин написал известное стихотворение о трагической судьбе русских поэтов. Но никакое самое необузданное воображение не могло бы ему нарисовать страшную судьбу его друга — столь ценного им, как поэта — Осипа Эмилевича Мандельштама, который незадолго до написания этого стихотворения гостил у него в Коктебеле!

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ О. МАНДЕЛЬШТАМА

1. НОВЕЛЛИНО

Вы помните, как бегуны
У Данте Алигьери
Соревновались в честь весны

В своей зеленой вере.
По темнобархатным лугам
В сафьяновых сапожках
Они пестрели по холмам,
Как маки на дорожках.
Уж эти мне говоруны,
Бродяги-флорентийцы:
Отъявленные все лгуны,
Наемные убийцы.
Они, под звон колоколов,
Молились Богу спяна,
Они дарили соколов
Турецкому султану.
Увы, растаяла свеча
Молодчиков каленых,
Что хаживали в полплеча
В камзольчиках зеленых,
Что пересиливали срам
И чумную заразу,
И всевозможным господам
Прислуживали сразу.
И нет рассказчика для жен
В порочных длинных платьях,
Что проводили дни, как сон,
В пленительных занятиях:
Лепили воск, мотали шелк,
Учили попугаев
И в спальню, видя в этом толк,
Пускали негодяев.

Май 1932. Москва.

Цитируя в своей вышеупомянутой статье об итальянских мотивах у Манделъштама часть этого стихотворения, Г. Струве отмечает, что отправной точкой для него «послужили упомянутые Данте в 15-ой песне Ада веронские бегуны» (конские состязания, *palio?*), но что «возможно, что дантовский образ как-то связанся с личными переживаниями поэта». Стихотворение Манделъштама — свободная импровизация, тематически как будто не связанная с бегльм упоминанием «бегунов» у Данте. Среди неизданных стихотворений Манделъштама имеется еще следующий краткий вариант на тот же дантовский мотив:

Вы помните, как бегуны
В окрестностях Вероны
Еще разматывать должны
Кусок сукна зеленый.

Но всех других опередит
Тот самый, тот — который
Из песни Данте убежит,
Ведя по кругу споры.

В напечатанном Г. Струве тексте в строке четвертой вместо «сукна» читается «холста». Датировка этого стихотворения в двух известных нам списках разная: в одном — «Москва, май 1932. — Воронеж, сентябрь 1935»; в другом — «1933-35. Воронеж». У Данте о «бегунах» говорится только вот что:

Зачем он повернулся, став подобен тем,
Кто в Вероне мчится за зеленым сукном
По полю; казалось, он из тех,
Кто побеждает, а не кто проигрывает.

(Песнь 15-ая, стихи 121-124,
перевод Б. К. Зайцева)

2. АРИОСТ

Во всей Италии приятнейший, умнейший,
Любезный Ариост немножечко охрип —
Он наслаждается перечисленьем рыб
И перчит все моря нелепицею злейшей.

И словно музыкант на десяти цымбалах,
Не уставая рвать повествованья нить,
Ведет туда-сюда, не зная сам, как быть,
Запутанный рассказ о рыцарских скандалах.

На языке цикад — пленительная смесь
Из грусти пушкинской и средиземной спеси —
Он завирается, с Орландом куралеся,
И содрогается, преображаясь весь.

И морю говорит: шуми без всяких дум.
И деве на скале: лежи без покрывала.
Рассказывай еще — тебя нам слишком мало.
Покуда в жилах кровь, в ушах покуда шум. . .

О, город ящериц, в котором нет души —
Когда бы чаще ты таких мужей рожала,
Феррара черствая, — который раз с начала,
Покуда в жилах кровь, рассказывай, спеши.

В Европе холодно, в Италии темно,
Власть отвратительна, как руки брадобрея,

А он вельможится все лучше, все хитрее
И улыбается в крылатое окно —

Ягненку на горе, монаху на осляти,
Солдатам герцога, юродивым слегка
От винопития, чумы и чеснока,
И в сетке синих мух уснувшему дитяти.

А я люблю его неистовый досуг —
Язык бессмысленный, язык солено-сладкий
И звуков стакнутых прелестные двойчатки —
Боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчуг.

Любезный Ариост, быть может, век пройдет —
В одно широкое и братское лазорье
Сольем твою лазурь и наше черноморье. . .
. . . И мы бывали там. И мы там пили мед. . .

4-6 мая 1933
Старый Крым.

Это стихотворение осталось, очевидно, неизвестно Г. Струве. В своей уже упомянутой статье он цитирует только восьмое четверостишие в несколько иной редакции: три последние строки четверостишия в этой редакции совпадают с нашей редакцией, первая же читается так:

Друг Ариосто, друг Петрарки, Тассо друг —

В таком виде это четверостишие, как отдельное стихотворение, имеет по крайней мере в двух списках — в одном с датой «Май. 1933. Крым», в другом — «Старый Крым. Май 1933». Под тем же названием «Ариост» в одном из списков имеется еще стихотворение из пяти четверостиший и трех трехстиший, начинающееся строкой «В Европе холодно, в Италии темно» и частично воспроизводящее вышеприведенное, но в существенном ином варианте.

Ариосто, как и другие итальянские писатели (Тассо, Данте, Петрарка), часто фигурируют в стихотворениях Мандельштама 30-х годов, многие из которых представляют собой варианты на одну и ту же тему.

3. * *
* * *

Холодная весна, голодный Старый Крым,
Как был при Врангеле — такой же виноватый.
Овчарки на дворе, на рубищах заплаты,
Такой же серенький, кусающийся дым.

Все так же хороша рассеянная даль,
Деревья, почками набухшие на малость,
Стоят, как пришлые, и вызывают жалость —
Вчерашней глупостью украшенный миндаль.

Природа своего не узнает лица,
А тени страшные — Украины, Кубани. . .
И в туфлях войлочных голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца.

Старый Крым
Июнь 1933.

В этом стихотворении нашел себе отражение страшный голод 1932-33 гг. на юге России. Для биографии Мандельштама три последних стихотворения интересны тем, что из них явствует, что весной и летом 1933 года он жил в Старом Крыму. До того Мандельштам жил в Крыму при Врангеле, в 1920 году.

4. ФАВОРСКОМУ

А посреди толпы — задумчивый, бородатый,
Уже стоял гравер — друг меднохвойных досок,
Трехъярой окисью облитых в лоск покатый,
Накатом истины сияющих сквозь воск.

Как быдто я повис на собственных ресницах
В толпокрылатом воздухе картин
Тех мастеров, что насаждают в лицах
Порядок зрения и многолюдства чин.

Январь 1934.

«Быдто» в пятой строке: так в единственном известном нам списке. Это, может быть, и опечатка, но с Мандельштамом никогда нельзя быть уверенным.

Стихотворение это относится к целой группе стихотворений, которые Мандельштам посвятил смерти Андрея Белого (одно из них вошло в подборку «Воздушных путей»). Белый умер 7 января 1934 года, и все стихотворения Мандельштама, посвященные ему, помечены этим месяцем, причем одно озаглавлено «10 января 1934».

В. А. Фаворский — известный художник, гравер, иллюстратор многих произведений классической и современной литературы. Из других стихотворений Мандельштама на тему о смерти Белого можно вывести, что Фаворский рисовал его портрет в пробу.

Украшался отборной собачиной
Египтян государственный строй —
Мертвецов наделял всякой всячиной
И торчит пустячком пирамид.

Ладил с готикой, жил озоруючи
И плевал на паучьи права
Наглый школьник и ангел ворующий —
Несравненный Виллон Франсуа.

Март 1937

Виллон Франсуа — Франсуа Вийон (François Villon, 1431-14??), знаменитый французский средневековый поэт, ставший бродягой, в 1462 году приговоренный к повешению за убийство и после приговора сгинувший бесследно. Акмеисты провозгласили Вийона одним из своих учителей, и Мандельштам еще в 1913 году напечатал о нем в «Аполлоне» статью, к которой были приложены отрывки из «Большого Завещания» в переводе Н. С. Гумилева.

Это стихотворение — одно из последних по времени, пока дошедших до нас, стихотворений Мандельштама.

Кроме того, недавно до заграницы дошло и стихотворение Мандельштама о Сталине. Время написания его в точности неизвестно, но по всей вероятности это именно та написанная в 1934 году «эпиграмма», за которую, по давно уже проникшим на Запад сведениям, Мандельштам был впервые арестован и сослан в Воронеж. Вот это стихотворение:

Мы живем, под собою не зная страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца, —
Там помянут кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны.
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.

А вокруг его сброд толстокожих вождей,
Он играет услугами полулюдей,
Как подковы кует за указом указ —
Кому в лоб, кому в бровь, кому в пах, кому в глаз.

Что ни казнь у него, — то малина
И широкая грудь осетина.

ФЕДОР СТЕПУН

ХУДОЖНИК СВОБОДНОЙ РОССИИ

В Советском Союзе за последнее время наблюдается углубление памяти об отошедшей в прошлое России. Нет сомнения, что в связи с этим влечением к национальному оздоровлению, со временем заинтересуются и столь живописной во всех отношениях личностью, какой был князь Сергей Александрович Щербатов, внук воспетого Жуковским в «Певце во стане русских воинов» героя 1812 года, впоследствии генерал-губернатора Москвы. В наследство от своей бабушки, в жилах которой, по слову московского митрополита Филарета, текла не кровь, а огонь, Щербатов (1874-1962) унаследовал живой интерес к благотворительной и общественно-политической деятельности. Унаследовал он и необходимый для нее темперамент.

Одаренный Щербатов попал в мюнхенскую художественную школу, в которой учился и ряд других русских художников, лишь по окончании Московского университета. Некоторое время его учителем был Игорь Грабарь, весьма лестно отзывавшийся в своей книге «Моя жизнь» о даровании своего ученика: «Щербатов был очень талантлив и скоро оставил далеко позади себя других учеников, работавших уже два года, а то и больше». Благотворное влияние оказало на творчество Щербатова и нарастание в дни его молодости в России интереса к французским импрессионистам. Оно определило «лучистость» его палитры и освободило его полотна от темноватого колорита мюнхенской школы.

В 1950 году в Риме, куда Щербатов попал после длительного пребывания в Мюнхене, состоялась выставка его картин. Выставлено было больше 50 работ. Посетителей и критиков поразило разнообразие сюжетов: композиции на религиозные темы, свободные композиции, портреты, пейзажи, натюрморты, как и разнообразие технических способов: масло, темпера, пастель, карандаш. Критика отзывалась о работах Щербатова весьма благожелательно, подчеркивая однако не столько чисто художественное формальное досто-

инство его работ, сколько их душевное содержание. Писали, что картины Щербатова «овеяны поэзией и легкой меланхолией», что у его моделей «замечательные глаза» и что в их таинственном взгляде «светится красота внутреннего человека». Было обращено внимание и на исключительную многосторонность творчества Щербатова; отмечалось, что в его живописи «согласуются искусство VIII века, византийская икона, помпеанская фреска, флорентийские портреты, Пикассо первого периода и несколько лет русской светской живописи».

Будучи талантливым живописцем, Щербатов был не только им. Его художественное дарование было шире. Уже в его картинах видно тяготение к архитектонике линейных построений, к большим формам, к фрескам и архитектуре. Памятью этой стороны его дарования должна была остаться фресковая роспись одной из зал Казанского вокзала в Москве, над чем он работал, по приглашению Н. К. фон Мекка, вместе с Александром Бенуа, Билибиным, Яковлевым и Лансере. Через побывавших в Москве иностранцев до Щербатовых дошла весть, что одна из зал Казанского вокзала оказалась расписанной по картонам Щербатова, но насколько удачно, узнать, кажется, пока не удалось.

Замечательным памятником архитектурных интересов Щербатова мог бы остаться построенный по его планам на Новинском бульваре талантливым архитектором Тамановым известный всей Москве щербатовский дом, долженствовавший представлять дворец екатерининской эпохи, перенесенный в XX век. Первые три или четыре этажа, точно не помню, были отведены под исключительно комфортабельные, изящно отделанные квартиры (в одной из них шумно и талантливо жил Алексей Николаевич Толстой, развесивший по стенам, в качестве своих предков, купленные на Сухаревке портреты). А над наемными квартирами помещался «особняк» Щербатова, хранивший в своих стенах художественное собрание и коллекции исключительной ценности.

Как будто бы рискованная идея возвести барский особняк, во всех усадьбах окруженный садами и парками, на пятый этаж доходного дома, неожиданно удалась. Таманов получил за щербатовский дом золотую медаль и звание дворцового архитектора и академика. Академия художеств премировала щербатовский дом, как «самое красивое здание Москвы». По смерти Щербатова его дом должен был перейти во владение города Москвы и превратиться в «городской музей частных собраний». Этому плану не дано было осуществиться: самое красивое здание Москвы было в первый же год революции расхищено и разрушено. Драгоценные дверные ручки продавались за копейки на Сухаревке.

Судьба второго крупного замысла князя Щербатова была менее

печальна, но только потому, что он не был осуществлен. Будучи тонким знатоком русского крестьянства, которое он по-своему крепко любил, и живо заинтересованный в правильном разрешении социальных вопросов, Щербатов, общественный деятель очень личного покроя, затеял выстроить в своем подмосковном имении, в Наро-фоминске, детский посад для сирот и обездоленных детей. Посад предполагалось обнести низкой стеной и обсадить веселыми березками и рябинами. Главное здание должно было быть украшено мозаиками на тему Христовых слов о детях. Этот план, как и замысел дома в Москве, свидетельствуют об исключительной своеобразности Щербатова как человека и как художника. Это своеобразие живо чувствуется в его прекрасно написанной книге «Художник в ушедшей России».

Тайна личности, по учению Платона, — в памяти. Национальность, по средневековому учению, есть некая соборная личность. Пафос всякой революции — в отрицании прошлого, в отрицании памяти, а потому и в разложении нации, как соборной личности.

Одним из действительнейших средств против болезни беспамятства является серьезная мемуарная литература. Серьезность и значительность прекрасно написанных воспоминаний князя Щербатова, большого мастера словесного портрета (Дягилев, Серов, Коровин, Остроухов и другие), заключается в том, что он лишь на немногих последних страницах с глубоким волнением и сдержанным гневом говорит о своей личной судьбе, на протяжении же всей книги повествует исключительно о судьбах русских художников, которых он прекрасно знал, и о судьбах русского искусства.

Внутренняя правда книги заключается в том, что она написана отнюдь не реакционером, как может показаться на поверхностный взгляд, но подлинным консерваторм. Психология типичного реакционера очень близка к психологии революционера: революционер отрицает прошлое во имя будущего, реакционер — будущее ради прошлого. Оба с разных сторон разрывают, говоря словами Гамлета, «цепь времен». В отличие от реакционера, всякий подлинный консерватор прекрасно понимает, что прошлое как таковое сохранению не подлежит, что сохранения достойно лишь переходящее в прошлое, требующее ради своего участия в построении будущего непрерывного переформирования. Сознывая это, князь Щербатов часто подчеркивает в своей книге новаторский и даже революционный характер своего консерватизма.

Наряду с консерватизмом, отличительной чертой воспоминаний Щербатова является их исключительная русскость: возвышенная, страстная и нежная любовь к образу своей России. Доказывать, что кроме России, нарисованной Щербатовым, издревле существовала и другая Россия, гораздо менее привлекательная, конечно, можно,

но вряд ли сейчас нужно. Наша задача, в особенности задача старой эмиграции — иная. Наш долг сделать все от нас зависящее, чтобы за устрашающе грандиозным, но и уродливым образом большевистской республики не исчез бы образ той пленительной, подлинной Руси, которым, как никак, все же светится и грешный образ царской империи.

Этот пленительный образ нарисован князем Щербатовым с исключительной силой, много проникновенных страниц посвящено им стародворянской усадьбе, с ее глубокой не только национальной, но и европейской культурой, живописной русской деревне (красные рубахи, пестрые ситцы, античные складки сарафанов, легкая девичья походка босых ног), населенной смышленным, живым по духу, независимым крестьянством, и, наконец, русской природе с ее неохватными горизонтами, ее глубоким дыханием и подчас нездешнею вечерней тишиной.

Эту свою, слегка, конечно, как и полагается живописцу, стилизованную Россию, князь Щербатов горячо защищает от ее главных врагов: от надменной петербургской бюрократии и революционной интеллигенции; негодует он и на подмену подлинной России псевдорусским сентиментально-кустарническим "style russe", от которого не был свободен безусловно талантливый, но и лубочный Билибин.

Русскость книги князя Щербатова заключается, однако, не только в ее эротическом, отнюдь не воинственно-государственном патриотизме — в шовинизме князя Щербатова упрекнуть никак нельзя, — но и в его подлинно русском отношении к искусству. Это отношение всецело определяется близкой Владимиру Соловьеву и Достоевскому верой, что «красота спасет мир». Как для этих великих мыслителей, так и для Щербатова искусство неразрывно связано с познанием истины. Этой теме посвящена его вышедшая в эмиграции статья «Искусство как вид духовного познания». Лишь искусство, связанное с красотой, нужно, по мнению Щербатова, жизни. Лишь искусство, органически входящее в жизнь, возвышает и преображает ее. С таким пониманием искусства, высшим выражением которого является русская икона, связано, что понятно само собой, отнюдь не слепое, но все же отрицательное отношение к творчеству современных художников, для которых важен только талант, мастерство и вкус, но которые весьма равнодушны к прозрению Гете, что красота получает свое посвящение от вечной истины. В этой связи Щербатов говорит очень остроумно о Пикассо и русских «подпарижниках».

Не любя современное искусство, он не любит и того, как искусство живет в современном мире. Книга его исполнена живой тоски по тем временам, когда сиенские горожане в триумфальном шествии провожали только что законченную картину Дуччио из мастер-

ской художника в собор, когда флорентийская толпа днями и ночами любовалась «Персеем» Бенвенуто Челлини, или когда голландский синдик вешал на дубовую стенку своей уютной полутемной столовой интерьер Питера де Гоха, портрет Рембрандта. Эта интимная любовная связь между искусством и жизнью, по правильному мнению Щербатова, уже давно отошла в прошлое.

Страницы, посвященные разрыву между художником и обществом, принадлежат к самым парадоксальным, но быть может и самым существенным страницам книги. Недопустимым представляется князю Щербатову то, что картины, по которым на выставках лишь бегло скользнул профессиональный глаз знатока или поверхностный взгляд обывателя, получают, как больные в лечебницах или преступники в тюрьмах, свой номер и отправляются в усыпальницы музеев, где они, ненужные ни церкви, ни дворцу, ни комнате, скучно живут вне соприкосновения с жизнью, никем интимно не любимые и никому по-настоящему не дорогие.

Таким требованием интимного отношения между искусством и жизнью объясняются все художественные затеи князя Щербатова: постройка в Москве дома-музея и благотворительно-художественного детского сада в подмосковном имении, роспись вокзала, устройство в Петербурге постоянной выставки «Современное искусство», поддержка кустарей, передача своего дома городу для устройства в нем городского музея частных сокровищ, устройство поездок учеников школы живописи по России и т. д.

На осуществление этих планов князь Щербатов тратил громадные деньги. Толстовского стыда за свое богатство перед неимущими и обездоленными он никогда не чувствовал, социалистический пафос поравнения был ему и как дворянину, и как художнику глубоко чужд. Подлинную нравственную ответственность он чувствовал только перед унаследованной собственностью, расточать которую он, по его мнению, не имел никакого права, так как она была дана ему ради праведного служения: вечной красоте, исторической России и ее талантливому умному народу.

ДМИТРИЙ СОРОКИН

Наполеон в творчестве Пушкина

I

Прошло сто пятьдесят лет с тех пор, как наполеоновская буря пронеслась от Немана до Москвы и откатилась обратно, не только до границы, но до самого Парижа. И прошло сто двадцать пять лет, как угас гений русской литературы — Александр Сергеевич Пушкин. Между этими двумя событиями, казалось бы, нет прямой связи. Но 1812 год и творчество Пушкина тесно связаны между собой: явление Пушкина, как и общий расцвет русской самобытной литературы, освобожденной от ига подражания, которое отмечало русскую культуру XVIII века, многим обязаны возрождению национального духа, поднявшегося из пепла сгоревшей Москвы.

Признавая огромную роль Отечественной войны 1812 года в пробуждении национального самосознания, не все исследователи этой эпохи приходят обычно к надлежащим выводам. Литературная критика, трактуя 1812 год, как психологический шок невероятной силы, не всегда перешагивает рамки этого исторического события, чтобы изучить, чем в своем развитии обязана русская литература влиянию войн с Наполеоном. Следует помнить, — а в забвении этого обстоятельства состоит погрешность тех литературоведов, которые упрямо отделяют литературу от истории, — что время национального пробуждения не ограничивается только 1812 годом: оно охватывает целый период от Аустерлицкой битвы до вхождения русских войск в Париж в 1814 году. В эти без малого десять лет, когда напряженное внимание русской общественности постоянно было приковано к непонятной личности Наполеона, этого исчадия французской революции, сделавшего себя императором, чтобы перекроить карту Европы, в эти десять лет и был заложен фундамент новой самобытной русской литературы и русской философской и политической мысли.

Стоит вспомнить, что произошло в русской литературе с 1805 по 1814 год и какими важными последствиями для всей русской куль-

туры была чревата эта исключительная эпоха (а не только 1812 год). До начала XIX века русская литература несла ярмо подражания, особенно французам. Такие писатели, как Державин, отчасти Фонвизин, были исключением. Они остались одиночками, не создавшими новой школы. Галломания пропитывала русское общество во всем: верхи этого общества сочиняли, думали, одевались и ели на французский манер и даже говорили между собой по-французски. Прелестная комедия Фонвизина «Бригадир», одна из первых попыток осмеять галломанию, весны не сделала. Если Херасков, Хемницер или Богданович писали иногда о славянских витязях, то витязи их походили скорее на придворных Людовика XIV, чем на русских богатырей. Рабское подражание классицизму господствовало и не давало возможности создать чисто русскую литературу. Императрицы XVIII века поощряли подражание Западу, следуя заветам Петра, но забывая, что Петр проповедовал подражание Западу, чтобы воспользоваться его культурными ценностями для дальнейшего развития своей самобытной культуры. Даже первые ростки романтизма на Западе, в Англии и Германии, направленные против господства классицизма, были восприняты русскими писателями, как новая литературная мода, как предмет подражания, а не как пример утверждения самобытности. И первые русские журналисты конца XVIII века больше писали, во французском стиле, о справедливости, гуманности и общественных нравах, чем о своем национальном самосознании.

Нужна была встряска всего общества. Ею и явились для России войны с Наполеоном. Потребовалась серьезная угроза родине, при возникновении которой всегда просыпается русский человек. И в этом услужил лютый корсиканец. Как не видеть связи между историческими событиями, всколыхнувшими нашу страну с 1805 по 1815 год (не говоря уже о том, что восстание декабристов, в 1825 году, было естественным эпилогом этих событий), и всем тем, что «завалялось» в нашей литературной жизни за этот десяток лет?

При первых же стычках с Наполеоном галломания получает серьезный удар. Многие задумываются над тем, что не пристойно подражать французам, если французы враги. Об этом с негодованием пишут лучшие журналы того времени — «Сын Отечества», «Русский Вестник». Комедии Крылова «Модная лавка» (1806), «Илья-богатырь» (1806), «Урок дочкам» (1807), высмеивающие галломанию, пользовались большим успехом благодаря историческим событиям.

Озеров, вдохновленный этими же событиями, пишет несколько трагедий, отклоняющихся от принципов классицизма и приближающихся к романтической драме. В «Эдипе в Афинах» (1804) судьба Эдипа перекликается с судьбой изгнанных узурпатором Бурбо-

нов. В «Фингале» (1805), в «Поликсене» (1808), и в особенности в «Дмитрии Донском» (1807), имевшем огромный успех, есть прямые намеки на Наполеона и Александра I. Эти пьесы дышат подлинным патриотическим пафосом; герои в «Дмитрий Донском» уже походят на русских людей, а не на французских рыцарей, переодетых в доспехи богатырей. Это было большим новшеством. Озерову не хватило гения Пушкина, чтобы создать национальную драму, но путь был проложен. Вековая цепь классицизма была надорвана самими русскими, — первая историческая русская драма появилась.

Под влиянием тех же исторических событий, в пылу патриотического подъема, Карамзин именно в эти годы пишет свою знаменитую «Историю Государства Российского», познакомившую русских писателей с прошлым их родины и ставшую для многих из них полноводным источником исторических сюжетов (начиная с «Бориса Годунова» Пушкина).

Знаменитые поэты той эпохи, Федор Глинка и Денис Давыдов (первого Пушкин считал самым оригинальным поэтом своего времени, а второго одним из своих учителей), были участниками почти всех войн с Наполеоном и, научившись у солдат-крестьян простой русской речи, стали писать, задолго до Кольцова и Некрасова, стихотворения сочным народным языком. Это было большим новшеством для русской поэзии, вскормленной на высокопарных классических упражнениях.

Часто подчеркивается огромное значение ожесточенных споров Карамзина с Шишковым, в создании современного литературного языка. Как не видеть связи этих споров с исторической обстановкой того времени? Шишков боролся против «нового стиля» Карамзина потому, что опасался «всякого следа языка и духа чудовищной французской революции», — Наполеон был для него «олицетворением революции». Карамзинисты создали прогрессивный кружок Арзамас, имевший благотворное влияние на Пушкина, своего самого молодого члена.

В 1812 году самые нерешительные из русских писателей поняли, что время подражания отжило, что надо искать что-то новое, самобытное, русское. И как бы ни были слабы попытки того времени писать на русские темы, и не по привычным канонам, путь для Пушкина был проложен. 1812 год не пробудил национальное самосознание, а кристаллизовал его: оно начало пробуждаться в поражениях 1805 и 1807 гг., а окончательно расцвело после полной победы в 1815 году.

Можно было бы дать много примеров тех сдвигов и новшеств, которые подготовили создание самобытной русской литературы в эпо-

ху наполеоновских войн¹). Эти войны явились катализатором, ускорившим ее возникновение. Если новое и должно было развиться, если в конце XVIII века и были некоторые проблески, указывавшие на возможность этого развития, то нет сомнений в том, что это новое пришло бы позже, если бы Россия не пережила всего того, что ей пришлось пережить от 1805 до 1815 года. Конечно, гений Пушкина во многом помог созданию нашей новой литературы, но не помогло ли самому Пушкину то, что происходило в жизни его родины, когда он был еще мальчиком и когда Россия воевала с Наполеоном?

II

В детстве Пушкин лучше говорил по-французски, чем по-русски; свои первые стихи он писал по-французски, подражая французским поэтам. Но вот, через год после его поступления в Царскосельский лицей, началась Отечественная война. Эхо боев доходило до него: учителя читали лицеистам новости и он видел солдат, идущих на войну. За год до смерти, вспоминая это время, Пушкин писал:

... текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидую тому, кто умирать
Шел мимо нас...

В том, кого товарищи прозвали «французом», проснулся русский. Лицейские годы, воспитавшие будущего поэта, протекали в эпоху народного пробуждения. Его старшие друзья, будущие декабристы, вернувшиеся из Парижа после падения Наполеона, познакомили юного Пушкина с либеральными взглядами, которые очень скоро привели его в ссылку. Как не видеть связи между наполеоновскими войнами и судьбой Пушкина?

Отношение Пушкина к самому Наполеону было не одинаковым: оно подвергалось большим изменениям. До ссылки на остров Святой Елены Наполеон для Пушкина — тиран. В «Воспоминаниях в Царском Селе» (1814) юный поэт восклицает:

Где ты, любимый сын и счастья и Беллоны,
Презревший правды глас, и веру, и закон,
В гордыне возмечтав мечом низвергнуть троны?..

Через год, в «Наполеоне на Эльбе», Пушкин пишет о Наполеоне, сидящем на скале:

¹) Подробно об этом я писал в докторской диссертации «Наполеон в русской литературе», защищенной 5 июня 1959 года в Сорбонне. (См. Annales de l'Université de Paris, 1960, No. 1).

В уме губителя теснились мрачны думы,
Он новую в мечтах Европе цепь ковал...

И в том же году, в восторженном стихотворении «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году», Пушкин опять вспоминает о Наполеоне:

В могущей дерзости венчанный исполин
На гибель грозно шел, влек цепи за собою...

В этих произведениях, как вообще во всех стихах того времени, Александр I воспевается, как доблестный герой и освободитель Европы; Наполеон противопоставляется ему, как деспот и губитель (Державин называл его Люцифером, Карамзин — Аттилой).

Но скоро во взглядах Пушкина происходит перемена. Его восторженный, почти консервативный патриотизм уступает место либеральному вольнодумству, под влиянием молодых друзей, вернувшихся из-за границы и мечтавших о реформах (Каверин, Н. Н. Раевский, В. Л. Давыдов, Чаадаев). Наполеон кажется ему уже не тираном, но сыном революции, пронесшим по старой Европе новые веяния.

Кроме того, романтики, в особенности Байрон, которым Пушкин увлекался в юности, проповедуют культ сильной, одинокой личности, непонятой обществом. Наполеон, заключенный на острове Святой Елены, был для них олицетворением такого героя.

Когда Наполеон умер, Пушкин посвятил ему оду. С первых же строк видна перемена в отношении поэта к Наполеону:

Чудесный жребий совершился:
Угас великий человек.

Наполеону уже все прощается:

Искуплены его стяжанья
И зло воинственных чудес
Тоскою душевного изгнанья
Под сенью чуждою небес.

Он страдающий отец:

Забыв войну, потомство, трон.
Один, один, о милом сыне
В унынье горьком думал он.

Последняя строфа оды знаменательна. В ней не только оправдание Наполеона, но и признание того, что он пробудил национальное сознание народа, указав ему «высокий жребий»:

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!

Хвала!.. Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

В упоминании о высоком жребии можно даже увидеть предвещание славянофильского мессианизма: двадцать лет спустя Хомяков посвятит Наполеону три стихотворения. В последнем из них Хомяков говорит, что Наполеон — самое лучшее воплощение славы и гордыни Запада. Но Наполеон был побежден на Востоке и поэтому Запад должен уступить место новой силе, которая пробуждается на Востоке. Народы смотрят с волнением на новую зарю, восходящую над пеплом Москвы.

Тютчев, посвятивший в те же годы, что и Хомяков, несколько стихотворений Наполеону, тоже писал о грядущей судьбе России, предначертанной Наполеоном:

И ты стоял — перед тобой Россия!
И вещей волхв, в предчувствии борьбы,
Ты сам слова промолвил роковые:
«Да сбудутся ее судьбы!»
И не напрасно было заклинанье:
Судьбы откликнулись на голос твой!..

В 1823 году, в стихотворении «Недвижный страж дремал...», излагая свои пессимистические размышления о политическом состоянии Европы, Пушкин опять говорит о значении Наполеона для грядущей судьбы России:

То был сей чудный муж, посланник providенья,
Свершитель роковой безвестного веленья...

Славянофильское отношение к Наполеону таким образом проглядывает уже в творчестве Пушкина. Пушкин отличается от Байрона тем, что для английского поэта Наполеон — гордый тиран, тогда как для Пушкина он — страдающий Прометей, прикованный к скале Святой Елены. Смысл жизни Наполеона долго волновал Пушкина. В 1924 году он писал:

Зачем ты послан был, и кто тебя послал?
Чего, добра иль зла, ты бранный был свершитель?
Зачем потух, зачем блистал,
Земли чудесный посетитель?

В том же году, в знаменитом стихотворении «К морю», в котором он сперва жалеет, что не мог убежать из России, поэт грустно замечает:

О чем жалеть? Куда бы ныне
Я путь беспечный устремил?
Один предмет в твоей пустыне

Мою бы душу поразил.
Одна скала, гробница славы.
Там погружались в хладный сон
Вспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон.
Там он почил среди мучений...

Для него Наполеон гений и «властитель его дум».

Разочарование в том, что революции в Европе (контролируемой Священным союзом) не удалось, привело Пушкина к пессимистическому заключению:

Паситесь, мирные народы!
Вас не пробудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.

Это опять же оправдывает Наполеона, лишившего народы нужной им свободы. Подтверждение этому можно найти в том, что в письме А. И. Тургеневу, написанном в Одессе 1 декабря 1823 года, Пушкин приводит четыре строфы из своей оды «Наполеон» (о французской революции и о том, что Бонапарт лишил народ свободы, чтобы дать ему славу) и, целиком, стихотворение «Свободы сеятель пустынный», из которого взято приведенное выше четверостишие. Сопоставление самим Пушкиным этих двух произведений не случайно. В этом же письме Пушкин пишет Тургеневу, что он прощается со своим либеральным бредом. (Был ли он совсем искренен, — или хотел только показать А. И. Тургеневу, хлопотавшему с Жуковским и Карамзиным о смягчении его ссылки, что он уже изменился?).

Пушкин иронизирует над молодыми людьми, прочацами себя в Наполеоны. В XIV строфе второй главы «Евгения Онегина» он пишет:

Мы почитаем всех нулями,
А единицами себя.
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно.

Тут Пушкин затрагивает важный вопрос о «сверхчеловеке», к которому он возвращается через несколько лет в «Пиковой даме» уже без иронии. Герман, как и Онегин, поклонник Наполеона. Он офицер. У Онегина был только бюстик Наполеона на столе, — у Германа есть физическое сходство с Наполеоном. В четвертой главе повести Томский говорит о нем: «У него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля». В той же главе, далее: «Он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно

напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну».

У Германа — культ сильной личности, он мечтает о славе Наполеона (как, между прочим, герои Стендаля и Бестужева-Марлинского).

Пушкин только слегка затронул тему свехчеловека, — ее разовьет позже Достоевский в «Преступлении и наказании». Любопытно, что Раскольников, как и Герман, горд, беден, он ярый поклонник Наполеона; тут и там — смерть старух, которые должны помочь обоим героям стать богатыми и потому независимыми. Но у Раскольникова целая философия, знаменитое «все позволено» и желание проверить, вошь он или Наполеон.

Вплоть до возвращения из ссылки Пушкин все время обращается к Наполеону, к материалам о нем. Так, 5 июля 1824 года он пишет Вяземскому: «Ламартин хорош в своем Наполеоне». 19 мая 1826 года поэт Измайлов пишет ему из Москвы: «Скоро я буду иметь честь представить суду вашему мой перевод в стихах Казимира Делявинь (его послание Наполеону)». Но вот, после возвращения из ссылки, в конце 1826 года, Пушкина будто перестает занимать «властитель его дум», несколько лет он ничего о нем не пишет. Можно ли усмотреть в этом охлаждение к Наполеону? Или Пушкин боялся цензуры, избегал опасных тем? Вернее последнее. Кроме того, Пушкин все больше увлекается русской историей. Либерализм уступает место национализму. В 1831 году он пишет патриотические стихи об Отечественной войне: «Перед гробницею святой», о Кутузове, и «Бородинская годовщина». В этих стихотворениях нет ни слова о Наполеоне, — может быть, чтобы не сказать о нем злого, как требовала бы этого тема. Однако, в знаменитом стихотворении «Клеветникам России» (1831), обращенном к Западу, есть упоминание и о Наполеоне:

И ненавидите вы нас...
За что ж? ответствуйте: за то ли
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?

Содержат ли эти строки осуждение Наполеона или, — что вернее, — сказаны они только для того, чтобы напомнить Европе, от кого ее спасла Россия? Пушкин патриот и не может воспевать Наполеона за то, что он напал на Россию. И в XXXVII строфе седьмой главы «Евгения Онегина» мы читаем:

Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.

В этих словах выражается скорее его любовь к Москве, чем осуждение Наполеона. Но как противоречиво и насмешливо звучат сохранившиеся наброски, написанные шифром, из десятой главы «Евгения Онегина», рукопись которой Пушкин сжег, по его собственному признанию, 19 октября 1830 года. Вот что он говорит об Александре I в 1812 году:

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой
Над нами царствовал тогда.
Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Бонапартова шатра.
Гроза двенадцатого года
Настигла — кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима, иль русский Бог?
Но Бог помог — стал ропот ниже,
И скоро, силою вещей,
Мы очутились в Париже,
А русский царь — главой царей.²⁾

Поразительные размышления, если вспомнить то, что Пушкин писал в своих патриотических стихах. Во всяком случае, по словам Пушкина выходит, что Наполеон был побежден как-то случайно или по желанию Бога, а русские войска оказались в Париже «силою вещей».

Охлаждения Пушкина к Наполеону никогда не было. Это видно из стихотворения «Путешествие в Арзрум» (1829) и в особенности «Герой» (1830), где происходит разговор друга с поэтом. Друг спрашивает:

...кто всех боле
Твоею властвует душой?

Поэт отвечает:

²⁾ А. С. Пушкин, Собр. соч. Берлин, 1921, изд. Ладыжникова, т. III, стр. 228.

Все он, все он — пришлец сей бранный,
Пред кем смирились цари,
Сей ратник, вольностью венчанный,
Исчезнувший, как тень зари.

Друг спрашивает, когда, при каких обстоятельствах ему больше нравится Наполеон. Поэт выражает уже новую мысль:

Его я вижу, не в бою,
Не зятем кесаря на троне;
Не там, где на скалу свою
Сев, мучим казнию покоя,
Осмеян прозвищем героя,
Он угасает недвижим. . .

Пушкина поражает поведение Бонапарта в Яффе, среди чумных:

. . . ходит меж одрами
И хладно руку жмет чуме
И в погибающем уме
Рождает бодрость. . .

Когда же друг замечает поэту, что историк (Бурьен, в своих воспоминаниях) опровергает действительность этого происшествия, поэт возмущенно восклицает:

Да будет проклят правды свет,
Когда посредственности хладной,
Завистливой, к соблазну жадной,
Он угрождает праздно! — Нет!
Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман. . .
Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран. . .

До конца своей жизни Пушкин интересовался Наполеоном. Михаил Загоскин, автор романа «Юрий Милославский или русские в 1612 году» и участник Отечественной войны, под влиянием этой войны решил написать новый роман: «Рославлев или русские в 1812 году». Тема увлекла и Пушкина и он решил написать своего «Рославлева», смягчая слишком строгий патриотизм Загоскина и его ненависть к наполеоновской армии. К сожалению, Пушкин не успел его закончить.

Редактор «Современника», он уделяет большое место в нем сочинениям о Наполеоне и его времени, — во всех четырех томах «Современника» за 1836 год есть об этом стихотворения и статьи. В первом томе напечатано стихотворение Жуковского «Ночной смотр» (В двенадцать часов по ночам. . .); во втором опубликованы воспоминания Н. А. Дуровой, прозванной «девицей-кавалером», с предисловием самого Пушкина, и статья без подписи «Наполеон и Юлий Цезарь», написанная, может быть, Пушкиным. В этом же томе

длинная статья Вяземского о новой поэме Эдгара Кинэ о Наполеоне. В третьем томе «Современника» Пушкин напечатал свое стихотворение «Полководец», о Барклае де Толли, и статью Дениса Давыдова о партизанской войне. Наконец, в четвертом томе длинное описание взятия Дрездена Наполеоном, тоже Давыдова. В библиографии «Современника», под заголовком «Новые книги», многие книги касаются Наполеона, а некоторые сопровождаются даже комментариями³⁾.

Мы вправе говорить, что мысль Пушкина, от лицейской скамьи до смерти, влеклась к Наполеону, который оказался, по его собственному выражению, «властителем его дум». А через Пушкина «наполеоновская легенда» крепко укоренилась вообще в России первой половины XIX века.

III

Конечно, не один Пушкин проявлял горячий интерес к загадочной личности Наполеона. Если, до 1815 года, пока гремел гром орудий, Державин, Карамзин, Жуковский, Ф. Глинка, Крылов, Батюшков и многие другие писали о нем, как о деспоте и современном Батые, то после вхождения русских войск в Париж и ссылки Наполеона на остров Св. Елены отношение к нему русского общества резко изменилось. Он уже был не страшен и вызывал сочувствие.

Наполеоновская легенда возникла в России довольно быстро и ошибаются те критики, которые думают, что она была порождена «Мемуарами Св. Елены», в которых Наполеон, ловко и увлекательно, пересказал историю на свой лад, или что она была занесена в Россию западными романтиками. «Мемуары Св. Елены» появились в Париже только в 1823 году, когда поэты в России уже воспевали Наполеона (см. выше о стихах Пушкина, написанных в ссылке). Влияние западных романтиков проявилось тоже позднее и относилось оно почти исключительно к императору, страдающему на острове Св. Елены, тогда как тема 1812 года, мало затронутая на Западе, была тогда на кончике пера у многих русских поэтов. Может даже сложиться впечатление, что русские были благодарны этому непобедимому полководцу за то, что он предоставил им случай победить себя и выдвинуть Россию на первый план среди европейских государств.

Постановление Святейшего Синода, провозгласившего Наполео-

³⁾ Пушкин хотел напечатать в «Современнике» стихотворение Тютчева о Наполеоне — «Два демона ему служили», но цензурный комитет нашел его «непозволительным по неясности мысли автора, которая может подать повод к толкам весьма неопределенным».

на Антихристом, уже создало ему в России некий ореол сверхчеловека, еще до 1812 года.

В 1814-1815 гг. в письмах многих русских офицеров из Парижа выражается негодование французами (роялистами), которые встретили русских с радостью и открыто ругали того, кто был их кумиром в течении пятнадцати лет. Батюшков с волнением пишет, как французы набросили петлю на памятник Наполеону на Вандомской площади, чтобы сбросить его статую с высокой колонны.

Симпатии к Наполеону развивались и по чисто политическим причинам. Пока он правил, его считали деспотом и диктатором, но после его падения положение в Европе, под опекой Священного союза, не улучшилось, а кое-где даже и ухудшилось. В Германии, Италии, Испании развивалось революционное брожение. Передовая интеллигенция — в России будущие декабристы — стала сожалеть о Наполеоне и говорить, что он все-таки принес по Европе либеральный и демократический дух Французской революции. Даже участники Отечественной войны, сражавшиеся против Наполеона и клеймившие его в своих стихах, такие, как Жуковский и Денис Давыдов, переменили свое мнение о нем.

Молодые романтики пушкинской школы были самыми восторженными поклонниками Наполеона. И писали они, вспоминая не только о Святой Елене: Одоевский воспеваеет бессмертного вождя на вершине «Сан-Бернара», Бенедиктов на поле «Ватерлоо». Самый же пламенный поклонник французского императора в русской поэзии — несомненно Лермонтов. Он посвятил ему несколько прекрасных стихотворений, воспевал его уже в своих первых стихах и писал о нем в год своей кончины. Для него Наполеон настоящий сверхчеловек, могучий и одинокий дух, вроде его Демона.

Много было написано стихов о Наполеоне и в 1840 году, когда гроб императора с острова Св. Елены перевезли в Париж. Это, может быть, был апогей наполеоновской легенды. Обаятельная личность великого полководца продолжает привлекать писателей, но теперь их внимание переопределяется не в поэтические восторги романтиков: Наполеон оказывается предметом философских размышлений. Правда, Пушкин и в этом был первым.

Белинский, в период своего увлечения Гегелем, который считал Наполеона олицетворением мирового духа и двигателем истории человечества, написал две длинные статьи о «Бородинской годовщине» Жуковского и о «Рассказах о Бородинской битве» Федора Глинки. В них он изложил свои идеи о роли народа в истории, воспевал Наполеона и оправдывал его историческую миссию (Иванов-Разумник, в предисловии к изданию 1911 года Собр. соч. Белинского, полагает, что за эти статьи Белинского можно считать одним из основателей славянофильского движения).

В стихах Хомякова и Тютчева изображается призрак императора, выходящего из гробницы на берегах Сены и смотрящего со страхом на Восток, где подымается новая заря. В неоконченном историческом труде «Россия и Запад», седьмая глава которого называется «Россия и Наполеон», Тютчев хочет доказать, что Россия, как законная империя, должна была победить Наполеона, который, будучи чадом революции, тщетно пытался восстановить на Западе империю Карла Великого. Поэтому Запад потерял свою автономию и должен преклониться перед восточной империей. Тютчев даже мечтает о всемирной монархии со столицей в Константинополе (идею эту он заимствует у Наполеона). Любопытна роль, уделенная Наполеону славянофилами в их мессианской философии. Даже Герцен предсказывал тогда славянской расе великое будущее.

Мечты славянофилов померкли (до поры, до времени) с Крымской войной, которая нанесла наполеоновской легенде сильный удар. Наполеон III будто хотел отомстить за 1812 год и ненависть к этому новому Наполеону сильно повредила славе первого. Поэты отворачиваются от Наполеона — он становится объектом прозаиков. Михайловский-Данилевский пишет историю наполеоновских войн, в которой отзывается о Наполеоне с подчеркнутой враждебностью. Прежде романисты писали исторические романы, выдвигая Наполеона, как гениального полководца (Бестужев-Марлинский, Булгарин, Зотов), — теперь он подвергается критическому разбору. Достоевского-мыслителя Наполеон интересует, как пример сверхчеловека. Идеи о сверхчеловеке и богочеловеке развивают не только Раскольников, но и многие другие герои Достоевского (Версиков, Иван Карамазов, Кириллов, Подросток).

Достоевский пишет «Преступление и наказание», — Толстой в это время уже занят «Войной и миром» и тоже, но с другой точки зрения, изучает Наполеона. Интересно заметить, что первый том вышел сначала, как отдельный роман — «1805 год» — и в нем Наполеон выступает очень умным полководцем, от которого зависит исход Аустерлицкой битвы. Но потом, решив написать огромную эпопею о той эпохе, Толстой, возможно, под влиянием идей Погодина и Прудона о смысле войн, создает свою философию исторического фатализма и по необходимости искажает образ Наполеона, от которого уже не зависит ни одно сражение⁴⁾. У Пушкина Тол-

⁴⁾ Можно допустить, что враждебность Толстого к Наполеону объясняется и тем, что он, участник Севастопольской обороны, хотел как бы взять реванш за Крымскую войну описанием Отечественной войны 1812 г. Карикатурист Волков нарисовал Толстого в 1868 году, в журнале «Искра» (№ 6), пишущим «Войну и мир», глядя на статуэтку Наполеона III.

стой, может быть, заимствовал намерение Пьера Безухова убить Наполеона, как Полина в пушкинском «Рославлеве».

Несмотря на то, что преувеличения Толстого были слишком явны⁵), «Война и мир» нанесла последний удар наполеоновской легенде в России. Все романисты, касающиеся темы 1812 года, уже невольно подчиняются влиянию Толстого: Данилевский («Сожженная Москва»), Мордовцев («Двенадцатый год»), Алданов («Святая Елена, маленький остров»). Если Наполеон изображен у них более объективно, чем у Толстого, то он все же остается типом отрицательным.

В XX веке только один Мережковский, в каком-то мистическом и апокалиптическом преломлении сравнивавший Наполеона с Христом, пишет о нем с восторгом, свойственным пушкинским временам.

Наполеон продолжает интересовать писателей и в наши дни. Советские романисты (Голубов, Никулин, Задонский), описывающие эпоху наполеоновских войн, тоже пишут о Наполеоне. Но у них проглядывает уже другая забота: объяснить личность Наполеона в соответствии с марксистскими принципами исторического материализма⁶).

Антихрист, Аттила, тиран, Прометей на острове Св. Елены, жертва Священного союза, непризнанный герой, один из величайших гениев человечества, таинственный вершитель судеб, сын революции, беспринципный комедиант, жаждущий власти, орудие исторического фатализма, расчетливый политик, слуга буржуазии и капитала, как бы его ни изображали, как бы ни бранили или воспевали, Наполеон для русских писателей — не просто историческое лицо, а большая жизненная тема, как природа, смерть, родина или любовь, о которых можно писать вечно и всегда по-разному.

⁵) А. П. Чехов хорошо выражает общее мнение в письме А. С. Суворину, 25 октября 1891 г.: «Каждую ночь просыпаюсь и читаю 'Войну и мир'. Читая с таким любопытством и с таким наивным удивлением, как будто раньше не читал. Замечательно хорошо. Только не люблю тех мест, где Наполеон. Как Наполеон, так сейчас и натяжка и всякие фокусы, чтобы доказать, что он глупее, чем был на самом деле. Все, что делают и говорят Пьер, князь Андрей или совершенно ничтожный Николай Ростов, — все это хорошо, умно, естественно и трогательно; все же, что думает и делает Наполеон, — это не естественно, не умно, надуто и ничтожно по значению...»

⁶) Это хорошо видно в романе Л. Никулина «России верные сыны», в котором Наполеон, в разговоре с двумя коммерсантами, заявляет, что его цель — обогащение французской буржуазии.

Об одном стихотворении С. Соловьева

Сергей Михайлович — «Сережа» — Соловьев, внук знаменитого историка и племянник не менее знаменитого философа, отдельные сочинения которого он редактировал, как писатель сейчас совершенно забыт. Имя его сохранилось в истории русской литературы лишь в примечаниях к сочинениям и переписке Александра Блока и Андрея Белого, как имя их друга, вместе с ними составлявшего неразлучное трио «соловьевцев», провидевших занимающиеся над Россией несказанные зори.

Сведений о Сергее Соловьеве нельзя найти ни в одном справочном издании, ни в одной энциклопедии. Только из примечаний в некоторых изданиях сочинений Блока можно узнать год его смерти: родившись в 1885 году, он прожил до 1941 года. Но послереволюционный период его жизни окутан почти непроницаемым мраком. Литературная деятельность его как будто оборвалась с революцией. До революции он выпустил три книги стихов. Все они были изданы московским издательством «Мусагет», к которому были особенно близки Андрей Белый и Э. К. Метнер. В 1907 году вышла книга «Цветы и ладан», в 1910 — «Апрель», в 1913 — «Цветник царевны». Едва ли не дольше всех Сергей Соловьев оставался верен символизму — так, как его понимали в начале века он, Белый и Блок. Писал Сергей Соловьев и прозу: например, в 1910 году в петербургском «Аполлоне», который тогда еще печатал рассказы, была напечатана его довольно длинная «византийская» повесть под названием «История Исминия». В «Весах» печатались его критические статьи и рецензии.

Потомство когда-нибудь, может быть, извлечет из забвения Сергея Соловьева, как поэта. Я не ставлю себе здесь этой задачи. Но в недавних своих литературных разысканиях в разных зарубежных книгохранилищах я наткнулся на одно интересное стихотворение Сергея Соловьева, написанное и напечатанное уже после револю-

ции. В связи с этим стихотворением встали и некоторые биографические проблемы. И этим стихотворением и этими проблемами мне хотелось бы поделиться с читателями.

*

Стихотворение, о котором я говорю, называется «А. В. Карташеву». Напечатано оно в московской газете «Накануне», возникшей, как еженедельное издание, в апреле 1918 года, но выходявшей не слишком регулярно — это был последний, предсмертный период независимой прессы в России. Ближайшее участие в этом издании, носившем решительный антибольшевистский характер, принимали будущие вожди сменовеховства в эмиграции — Н. В. Устрялов, Ю. В. Ключников и Ю. А. Потехин (не случайно, может быть, сменовеховская газета в Берлине, выходявшая в двадцатых годах, тоже была названа ими «Накануне»). Среди сотрудников московского «Накануне» были Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков (вскоре после того ставший священником), С. А. Котляревский, А. А. Кизеветтер, В. Н. Муравьев, Ю. И. Айхенвальд, Г. И. Чулков и другие.

Вот это стихотворение Сергея Соловьева, напечатанное под общим названием «Современникам» и цифрой «I» (вслед за ним, очевидно, намечался целый цикл однородных стихотворений):

А. В. КАРТАШЕВУ

Он не лжет — этот ангел на площади града Петрова,
Просиявший тебе в беспросветную ночь октября...
Ты окованный шел, а зима нависала сурово
Над столицей царя.

Ты над Русью рыдал, как над Троей рыдала Кассандра,
И, прощаясь с тобой, обреченным на казнь и тюрьму,
И вздыбившийся конь, и сияющий столб Александра
Уходили во тьму.

Пусть недаром два века на темной окраине мира,
Среди финских болот и туманных больших островов,
Византийских царей золотая блестела порфира,
Как наследство веков.

Но довольно скорбеть о мечте, навсегда обманувшей...
Оборвавши узду, по пустыне несется наш конь.
Слышишь музыку пуль? Слышишь ветер, свистящий нам в уши?
Видишь кровь и огонь?

Карташев, ты, постигший значение слов Иоиля,
Ты, кто жаждал, чтоб Дух в излинии молний сошел,

О, тебе ли скорбеть, что сложил опаленные крылья
Наш двуглавый орел!

Рим четвертый не будет, а третий давно уж не внемлет
То, что Дух говорит, но под небом всегда голубым
Чашу с кровию Агнца и ныне над миром подьмлет
Нестареющий Рим.

Что послужило поводом для этого стихотворения? Оно появилось в № 3 «Накануне», помеченном «Апрель 1918 г.», без точной даты (в том же номере, между прочим, была напечатана статья Н. А. Бердяева «Оздоровление России»), но могло быть написано и раньше. Антон Владимирович Карташев, скончавшийся два с лишним года тому назад, был министром исповедания во Временном Правительстве. Вместе с некоторыми другими министрами Временного Правительства он был арестован после большевистского переворота и заключен в Петропавловскую крепость, где просидел до начала 1918 года. Незадолго до напечатания соловьевского стихотворения, в независимой печати стали появляться статьи Карташева на политические и церковные темы. Об обстоятельствах жизни Карташева, о его аресте и заключении говорит первое четверостишие стихотворения. Но все стихотворение имеет и другой, сверхличный, историософский смысл. В нем, конечно, сразу бросаются в глаза отголоски пушкинского «Медного Всадника». А первый стих в пятой строфе, о «словах Иоиля», имеет в виду «Книгу пророка Иоиля», одну из коротких книг пророков в Библии, проникнутую апокалиптическим духом. В ней содержится рассказ о нашествии саранчи и пророчество о «великом и страшном дне Господнем» и о грядущем суде в долине Иоасафата.

Ключ к некоторым мотивам стихотворения следует, может быть, искать в биографии автора. Но, как уже сказано, для последней мы не располагаем почти никакими источниками. Правда, известно, что не то незадолго до революции, не то уже во время революции, в 1917 году, С. М. Соловьев сделал выводы из давно у него намечавшегося тяготения к церкви и стал православным священником. Не так давно в одном разговоре со мной о. Георгий Флоровский, заинтересовавшийся жизненным путем Сергея Соловьева в связи с одной неопубликованной статьей его, сказал мне, что по некоторым сведениям Соловьев перешел позднее в католичество.¹⁾ Посвященное А. В. Карташеву стихотворение, с которым я ознакомился уже после разговора с о. Георгием Флоровским, навело ме-

¹⁾ Как я потом удостоверился, о переходе С. М. Соловьева в католичество, как о факте, упоминает в своей автобиографии («Самопознание», Париж, 1950) Н. А. Бердяев.

ня на мысль, не могло ли это обращение в католичество произойти именно в 1918 году и не стал ли Сергей Соловьев католиком восточного обряда с возможным сохранением сана.

Весной и летом 1918 года в Москве усиленной «миссионерской» деятельностью в этом направлении занимался о. В. Абрикосов, пользовавшийся бесспорным успехом в некоторых московских литературных и религиозно-философских кругах и обративший в католичество Л. Ю. Бердяеву (возможно, что к этому времени восходит и поворот к католичеству Вячеслава Иванова, оформившийся уже после выезда его за границу). Мне кажется, что в стихотворении Соловьева есть своего рода «римский» уклон. Его можно усмотреть и в строках о золотой порфире византийских царей и сложившем «опаленные крылья» двуглавом орле, и особенно в последнем четверостишии — в словах о «четвертом Риме», которого «не будет», и о «третьем», который давно уже «не внемлет то, что Дух говорит», и еще разительней в двух последних строках о «нестарееющем Риме», который и ныне «под небом всегда голубым» (под небом Италии?) подымлет над миром «чашу с кровию Агнца».

Вскоре после этого, в № 6 того же «Накануне» (май 1918) Соловьев напечатал статью под названием «Гонение на церковь». Статья эта, кстати, была подписана «Священник Сергей Соловьев» (под стихотворением сан обозначен не был). В статье не было решительно ничего, что было бы направлено против православия, и я отнюдь не хочу утверждать, что уже к этому времени Сергей Соловьев присоединился к католической церкви восточного обряда. Но и в этой статье, мне кажется, звучит некая «римская» нотка. Большевизм, захлестнувший Россию, трактуется в ней, как своего рода союз славянофильства с анархизмом, и статья заканчивается следующей фразой: «Новому союзу славянофильства с анархизмом мы желали бы противопоставить вселенский евангелический идеал. Русский человек должен понять, что как в области государственной, так и в области религиозной, свобода осуществляется через закон».

Других писаний Сергея Соловьева, относящихся к послереволюционному периоду, я не знаю. Впрочем, имеются, кажется, указания на то, что в последующие годы он занимался переводами. Но дальнейшей биографии его мы просто не знаем. Как пошла его жизнь? Сложил он с себя священнический сан или остался священником? Если да, то православным или католическим? Кончил он жизнь на свободе или же где-нибудь в тюрьме или в лагере? Может быть, кто-нибудь из бывших советских граждан, находящихся сейчас в свободном мире, может дать хотя бы частичный ответ на эти вопросы?

Хотя к Сергею Соловьеву это прямого отношения и не имеет, мне хочется добавить к этой статье еще один небольшой и любопытный штрих, связывающий Соловьева через Карташева с другим и более известным современным ему поэтом. За какие-нибудь две недели до появления в печати посвященного А. В. Карташеву стихотворения С. Соловьева, в другой независимой антибольшевистской газете, а именно в газете «Страна» от 7 апреля (нового стиля) 1918 года, было напечатано стихотворение Осипа Мандельштама, озаглавленное «А. В. Карташову» (именно таково было написание фамилии). Стихотворение это хорошо известно, оно вошло в сборник Мандельштама „Tristia“ (1922), но вошло туда без заглавия-посвящения, и едва ли любители поэзии Мандельштама знают, к кому он его первоначально обратил или кому посвятил. В отличие от соловьевского стихотворения, в тексте стихотворения Мандельштама не только не упоминается фамилия «адресата», но оно вообще лишено каких бы то ни было атрибутов злободневности. Что Мандельштам как-то мог иметь в виду бывшего министра исповеданий Временного правительства, едва ли могли догадаться те, кто читал стихотворение в сборнике „Tristia“ (ко времени выхода этого сборника Карташев уже был одним из виднейших политических деятелей русской эмиграции).²⁾

Вот это хорошо известное стихотворение, в котором мы восстанавливаем его первоначальное заглавие, но текст которого даем по „Tristia“, устрняя мелкие погрешности газетного текста:

А. В. КАРТАШОВУ

Среди священников левитом молодым
На страже утренней он долго оставался.
Ночь иудейская сгущалася над ним,
И храм разрушенный угрюмо созидался.

Он говорил: Небес тревожна желтизна,
Уж над Евфратом ночь, бегите, иереи.
А старцы думали: Не наша в том вина,
Се черно-желтый свет, се радость Иудеи.

²⁾ Не лишено интереса и то, что подобно С. М. Соловьеву, Мандельштам одно время испытывал влечение к католицизму. Об этом свидетельствуют его статьи о Чаадаеве (в «Аполлоне» в 1915 г.) и некоторые его стихотворения. См. об этом подробнее в моей статье «Итальянские образы и мотивы в поэзии Осипа Мандельштама» в сборнике „Studi in onore di Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver“. Collana di „Ricerche Slavistiche“. I. G. C. Sansoni editore, Roma 1962, pp. 601–614.

Он с нами был, когда на берегу ручья
Мы в драгоценный лен Субботу пеленали
И семисвещником тяжелым освещали
Иерусалима ночь и чад небытия.

В газете стихотворение было напечатано без даты. В книге Мандельштам поставил под ним год: «1917»; иными словами, отнес его к значительно более раннему времени, чем время напечатания. Если верить этой дате, стихотворение было написано либо до большевистского переворота, либо тогда, когда А. В. Карташев сидел в Петропавловской крепости (именно тогда Мандельштам написал и напечатал стихотворение, прославлявшее А. Ф. Керенского). Как часто у Мандельштама, сокровенный смысл стихотворения тщательно зашифрован, хотя библейские образы и символы, может быть, и поддаются расшифровке в плане «злободневном». Так или иначе посвящение стихотворения А. В. Карташеву носило в момент его напечатания явно демонстративный характер: адресат не так давно был освобожден из крепости, он только что вернулся к публицистической деятельности и занялся работой по подготовке созыва церковного собора, а вся Россия была охвачена гражданской войной и политической борьбой, в которой тогда не могло быть нейтральных.

ВИКТОР ФРАНК

МИЧИГАНСКИЙ ПАСТЕРНАК

1

Трехтомное собрание сочинений Бориса Пастернака, опубликованное по-русски американским издательством The University of Michigan Press, Ann Arbor, под редакцией проф. Г. П. Струве и Б. А. Филишова — большое событие. Только после его выхода в свет осенью прошлого года стала возможной общая оценка творчества Пастернака, как это доказывает, например, «Сборник статей, посвященных творчеству Бориса Леонидовича Пастернака» (Институт по изучению СССР, Мюнхен, 1962). До сих пор исследователям приходилось пользоваться в основном однотомниками 1933 и 1936 гг. и рыться в комплектах журналов и в подшивках газет. Задача осложнялась еще и отсутствием библиографии.

Все это теперь отошло в прошлое. Огромная тщательная работа, проделанная Г. П. Струве и Б. А. Филишовым, заслуживает смиренной признательности со стороны всех любителей русской поэзии.

Можно и нужно надеяться, что какое-то количество экземпляров этого собрания сочинений попадет в Советский Союз, либо в частные руки, либо (что более вероятно) в книгохранилища, и станет доступным тамошним читателям. Ибо в Советском Союзе составить себе полное представление о творчестве Пастернака еще труднее, чем за рубежом. Сборник, опубликованный ГИХЛ в 1961 году (Борис Пастернак: «Стихотворения и поэмы», Москва), носит очень убогий характер. Хотя сам факт его опубликования отраден. Что касается старых стихов Пастернака (до 1936 г.), то московский сборник не выдерживает сравнения с довоенными однотомниками. Проза вообще отсутствует, а новые стихи, за исключением «Стихов о войне», представлены очень неполно. Стихотворения из «Док-

тора Живаго» в московский сборник вообще не вошли¹⁾, а из собрания «Когда разгуляется» опущено девять стихотворений. Московский сборник отпечатан в количестве 30.000 экземпляров; значительная часть тиража, по-видимому, ушла за границу. В Лондоне, например, сборник до сих пор еще продается в магазине, представляющем «Международную книгу».

Вообще, несмотря на то место, которое Пастернак занимает в истории русской литературы XX века и в сознании русской интеллигенции, он никогда не печатался в СССР большими тиражами. Вот (неполный) список тиражей его стихотворений до 1945 года:

Сестра моя жизнь	1922	1.000
Избранные стихи	1926	700
Девятьсот пятый год	1927	3.000
Две книги	1927	2.000
Поверх барьеров	1929	300
Девятьсот пятый год (2-е изд.)	1930	3.000
Две книги (2-е изд.)	1930	3.000
Стихотворения в одном томе	1933	5.500
Избранные стихи	1933	5.200
Стихотворения в одном томе	1936	20.000
Избранные стихи и поэмы	1945	25.000

Некоторые тиражи (1936 и 1945 гг.) могут показаться внушительными. Но достаточно сравнить их с тиражами произведений других современных писателей, чтобы восстановить подлинную перспективу. Только за пятилетие 1929-1933 гг., например, произведения Горького были напечатаны в количестве 18.963.000 экземпляров; произведения Шолохова — 2.106.000, Новикова-Прибоя — 1.977.000, Панферова — 1.291.000, Гладкова — 1.289.000, А. Н. Толстого — 902.000 экземпляров.

А ведь с начала 20-х годов Пастернак был некоронованным царем русской поэзии в Советском Союзе. Почти все подлинные поэты советского периода испытали воздействие пастернаковского ритма, синтаксиса и словаря на свою поэзию: Тихонов, Асеев, Сельвинский, Антокольский, Багрицкий, даже Симонов.

Пастернаковский язык вошел в плоть и кровь верхушки советской интеллигенции. Строки из Пастернака бытуют в ее речи, как строки из Пушкина и Грибоедова. Вот два примера.

Юрий Либединский рассказывает в своих воспоминаниях («Современники», Москва, 1958) о встречах со старым большевиком, под-

¹⁾ Не вошли они и в мичиганское собрание, но только потому, что опубликованный тем же издательством «Доктор Живаго» составляет как бы естественный четвертый том собрания.

польным работником царских времен, и приводит две строчки стихов:

«Время наших отцов, словно повесть из века Стюартов!
Отдаленней, чем Пушкин, и грезится точно во сне».

В романе Галины Николаевой «Битва в пути» (цитирую по журнальному тексту, «Октябрь», 1957, № 7) герой пришел проститься с любимой женщиной и не застал ее дома:

«Спазма хватала за горло, и в уме звучали слова, вычитанные здесь, в ожидании ее, в книге, оставленной ею:

Не волнуйся, не плачь, не труди
Сил иссякших и сердца не мучай.
Ты жива, ты во мне, ты в груди,
Как опора, как друг и как случай.

С тех пор, как он полюбил ее, он стал восприимчив к некоторым стихам: ему хотелось говорить с Тиной красивыми, небывальными словами. — Ты со мной, ты во мне, ты в груди... — шопотом сказал он».

И та и другая цитата — из Пастернака: первая (приведенная Либединским неточно) взята из «Девятьсот пятого года», вторая — из «Второго рождения». И примечательно, что ни в том, ни в другом случае имя Пастернака не упоминается: принадлежность их считается самоочевидной.²⁾

Тот факт, что книги поэта, ставшего близким сотням тысяч людей в стране, были и остаются библиографической редкостью, недоступными рядовому читателю, характерен для советских условий. Тот факт, что сорок лет спустя после начала литературной деятельности Пастернака единственное полное собрание его сочинений появилось не в его стране, а за границей, заставляет нас скорбеть и гордиться: скорбеть о судьбе одного из величайших поэтов нашего времени на его родине, гордиться достижением двух зарубежных русских ученых.

2

А гордиться действительно есть чем. Хотя Г. П. Струве и Б. А. Филиппов оговариваются, что Собрание не притязает на исчерпывающую полноту (т. I, стр. V), думается, что им удалось разыскать все появившееся в печати наследство Пастернака, за исключением, вероятно, какого-то количества ранних редакций отдельных стихотворений. Все печатные тексты тщательно сверены и разночтения указаны в примечаниях. Кроме того, в отдельных приложениях к

²⁾ Вряд ли факт опущения имени Пастернака в 1957 году и в начале 1958 года можно объяснить цензурными соображениями.

тт. I и III даны первые редакции некоторых стихотворений в тех случаях, когда позднейшая обработка самим автором превратила их по сути дела в новые стихотворения.

В 1958 году Пастернак подготовил новое собрание избранных стихотворений. Изданию этого тома «Избранного» помешал выход романа «Доктор Живаго» за рубежом. Том был уже набран и сверстан в московской типографии, и редакторам удалось получить фотокопию корректурного экземпляра этого тома с собственоручными пометками и исправлениями Б. Л. Пастернака (I, 493). «Основным источником — пишут П. Б. Струве и Б. А. Филиппов — для установления последней авторской редакции значительного числа текстов явились именно эти корректурные гранки» (I, V). К применению этого принципа «последней авторской редакции» в данном случае я еще вернусь.

Собраны воедино все печатные прозаические произведения Пастернака — не только его повести, рассказы и отрывки из романов, но и очень многочисленные его отзывы о других писателях, предисловия и публичные выступления. (Отмечу один, незначительный пропуск: предисловие Пастернака к его переводу комедии Ганса Сакса «Фюнзингенский конкордат и вороватые крестьяне», «Красная новь», № 5(9), сент.-окт. 1922, где есть фраза, интересная для характеристики политических настроений Пастернака в начале НЭП'а: «Мужиков горожанин Сакс не любил за их всегда прибедняющуюся жадность, слащаво-добросердечную жестокость, просто-душно-дурацливую пронирыльность, постоянное предательство, — черты, нам, конечно, знакомые»).

Большое значение для понимания биографии Пастернака имеет предпосланное первому тому предисловие графини Жаклины де Пруаяр — не столько в силу субъективных суждений автора, близкого друга Пастернака в последние три года его жизни, сколько в силу отрывков из писем Пастернака. Так, например, мы впервые узнаем от самого Пастернака, что он был крещен в младенчестве своей няней и что в годы 1910—1912 он жил «в христианском настроении» (т. I, стр. XI). К сожалению, в статье графини де Пруаяр не всегда ясно, какие мысли высказаны Пастернаком в его письмах к ней, что взято из печатных произведений Пастернака и что, наконец, является интерпретацией автора статьи. Будем надеяться, что Жаклина де Пруаяр сочтет возможным опубликовать полный текст писем Пастернака к ней.

Очень ценны вступительные статьи В. В. Вейдле, предпосланные каждому из трех томов. И совершенно незаменима библиография печатных произведений Пастернака, включающая список его переводов, которые, по понятным причинам, в мичиганское издание включены не были.

Одно критическое замечание:

Борис Пастернак вошел в русскую литературу в 1922-23 гг. В июне 1922 года в Москве, а в сентябре того же года в Берлине, вышла в свет «Сестра моя жизнь». В начале 1923 года в берлинских книжных магазинах появился в продаже сборник «Темы и вариации».

Конечно, Пастернак печатался и раньше, с 1912 года. Конечно, его первые два сборника появились соответственно в 1914 и 1917 гг. Конечно, и до 1922 года были люди, особенно в Москве, опознавшие его, как большого и своеобразного поэта — Маяковский, Бобров, Асеев, Эренбург, Брюсов. Больше того, по свидетельству Брюсова —

«влияние Пастернака на молодежь, пишущую стихи, было едва ли не равно влиянию Маяковского. Стихи Пастернака удостоились чести, не выпадавшей стихотворным произведениям (исключая те, что запрещались царской цензурой) приблизительно с эпохи Пушкина: они распространялись в списках. Молодые поэты знали наизусть стихи Пастернака, еще нигде не появившиеся в печати, и ему подражали полнее, чем Маяковскому, потому что пытались схватить самую сущность его поэзии».³⁾

И все же до 1922 года это была слава кружковая. Марина Цветаева, например, встречавшаяся с Пастернаком в Москве, узнала его, как поэта, только в 1922 году. Впервые познакомился в том же году с поэзией Пастернака, по-видимому, и Мандельштам.

И именно Мандельштам понял значение Пастернака для русской поэзии XX века:

«Когда пароход после каботажного плавания выходит в открытое море, те, кто не выносит качки, выходят на берег. После Хлебникова и Пастернака российская поэзия снова выходит в открытое море, и многим из привычных пассажиров придется распрощаться с ее парокондом».

Он говорил о «великом обмирщении языка» и сравнивал революцию, произведенную Пастернаком в русской поэзии, с революцией, произведенной Лютером, заменившим латынь «черной, поденной речью».⁴⁾

Как бы не оценивать значение раннего Пастернака для русской поэтической речи, одно несомненно: революция эта имела место в 1922 году. Именно в 1922 году Пастернак вышел на большую доро-

³⁾ Валерий Брюсов: «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии», «Печать и революция», № 7, сент.-окт. 1922, стр. 57.

⁴⁾ «Заметки о поэзии», 1923. Цитирую по нью-йоркскому изданию «Собрания сочинений» Осипа Мандельштама, 1955, стр. 351-354.

гу русской поэзии; именно в 1922 году его заметили критики; именно в 1922 году его полюбили читатели.

В мичиганском издании этот литературно-исторический факт затушеван — затушеван вследствие некритического поклонения принципу «последней авторской редакции».

Много раз приводились слова самого Пастернака, написанные им в конце 50-х годов: «Я не люблю своего стиля до 1940 года». В разговорах с посещавшими его корреспондентами он неизменно отвергал большую часть написанного им до 1940 года. Не нам решать, прав он был или не прав. Но мы имеем, пожалуй, право сказать, что мнение самого Пастернака о его собственных ранних стихах — нам не указка. И уж совершенно неоспоримо наше право знать доподлинно, в чем же состояла та революция, которая произошла в русской поэзии в 1922-23 гг. Это литературно-исторический факт, который нельзя скрывать из пиетета к воззрениям самого поэта, сложившимся 35 лет спустя. Эти воззрения тоже имеют огромное значение для понимания развития Пастернака, как поэта и как человека. Но оба факта должны быть тщательно отделены друг от друга.

А что получается в издании Г. П. Струве и Б. А. Филиппова? В приложении третьем к I тому они пишут:

«К книгам ‚Сестра моя жизнь‘ и ‚Темы и вариации‘, которые многие поклонники поэта считают его наивысшими достижениями, он отнесся, пожалуй, еще более строго. Из ‚Сестры‘ не были включены в сборник, готовившийся в 1957 г. . . . 19 стихотворений. . . Позже поэтом под сомнение были поставлены еще . . . четыре стихотворения» (I, 494).

«Из ‚Тем и вариаций‘ не включены были в книгу 23 стихотворения. . . При позднейшем пересмотре Пастернак наметил к исключению еще девять стихотворений» (там же).

Значит, из 50 стихотворений, составляющих «Сестру мою жизнь», Пастернак в 1956-57 гг. забраковал 23. Из 65 стихотворений, образующих «Темы и вариации», он забраковал 33. Оставшиеся же стихотворения (27 из «Сестры моей жизни» и 32 из «Тем и вариаций») он подверг редакторской обработке, иногда касавшейся деталей, но иногда кардинальной. Г. П. Струве и Б. А. Филиппов подают этот, обработанный самим Пастернаком текст, в качестве канонического текста, а текст 1922-23 гг., поскольку он разнится от последней редакции, отправляют «в ссылку», в примечания. Для того, чтобы восстановить текст 1922 года, читателю приходится листать книгу туда и обратно или вносить карандашные поправки.

При этом наши редакторы допускают логическую ошибку. Если уж они избрали своим компасом авторскую волю, то тогда они должны были бы изъять из канонического текста все забракованные Пастернаком стихотворения. А то получается, что те стихотво-

рения, которые Пастернак считал вообще неисправимыми, воспроизводятся в мичиганском издании в их первоначальном тексте, а те, которые он признавал годными, в версии 1956-57 гг.: промах весьма досадный.

К счастью, крупные купюры и изменения сравнительно редки: в стихотворении «Сестра моя жизнь» изменены два четверостишия; из стихотворения «Зеркало» изъято три; в стихотворении «Сложив весла» коренным образом изменено одно четверостишие; из «Заместительницы» изъято пять последних четверостиший.⁵⁾

Но я не хочу кончать своих замечаний на этой критической ноте. Ошибка, допущенная составителями, проистекает исключительно, по-моему, из неправильного толкования принципа авторской воли, то есть от излишка пизетета, а никак не от недостатка внимания. А это — ошибка благородная.

Во всем же остальном все любящие русскую литературу и, в частности, все поклонники неповторимо своеобразного гения Пастернака за рубежом и в Советском Союзе в долгу у Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, а также у издательства Мичиганского университета на многие, многие годы.

⁵⁾ Я знал одну ныне покойную почитательницу Пастернака, которая особенно любила именно это последнее стихотворение. Ей повезло: она прочла «Сестру мою жизнь» в первом берлинском издании. Если бы она читала мичиганское издание, то, м. б., так и не нашла бы запрятанные в дебрях примечаний пленившие ее строки.

БОРИС ФИЛИПОВ

Страстное письмо с неверным адресом

Нельзя подходить с моральной оценкой к истории, к культуре: величайшая гармония достигается борьбой и сочетанием противоположностей. Деспотия — и какой-то социализм (лучше бы, с точки зрения Леонтьева, взятый под опеку абсолютизма, «охранительный»); свобода — и рабство, высочайшая культура и «неграмотность». В статье «Грамотность и народность» (1870) Леонтьев объясняет некоторое своеобразие России и ее культуры тем, что простой великорусский народ еще в значительной степени безграмотен, не приобщился к обезличенной средневропейской образованности.³⁰⁾

«Гармония» — или прекрасное и высокое в самой жизни — не есть плод вечно мирной солидарности, а есть лишь образ или отражение сложного и поэтического процесса жизни, в которой есть место всему: и антагонизму и солидарности. Надо, чтобы составные части цельного исторического явления были изящны и могучи, — тогда будет и то, что называется высшей гармонией. Дороги не вечный мир на земле, а искреннее примирение после страстной борьбы и глубокий отдых в мужественном ожидании новых препятствий и новых опасностей, закаляющих дух наш!»³¹⁾ «Итак, какое дело... исторической, реальной науке до неудобств, до потребностей, до деспотизма, до страданий? К чему эти ненаучные сентиментальности, столь выдохшиеся в наше время, столь прозаические вдобавок, столь бездарные? Какое научное право я имею думать о конечных причинах, о целях, о бла-

Окончание. См. кн. 9 «Мостов»

³⁰⁾ Собр. соч., том 7, стр. 39. Сравни суждения о том же Бродера Христиансена (1908): «Образованность и культура — две противоположности»; «гетерономия — против автономии, подражательное переживание против самобытной оценки и творчества по собственному закону, связанность внешним авторитетом против свободной встречи родственных умов, — такова антиномия образованности и культуры». «Искусство творит для автономных умов, но гетерономные должны оплачивать расходы. Ведь образованность только средство, при помощи которого богатство укрепляет и выставляет напоказ свои социальные преимущества. Чтобы возвеличить себя, оно покровительствует искусству, собирает и сохраняет сокровища всех веков, которые в молчании пыльных зал ожидают тех, для кого они предназначены.

годенствии, напр., прежде серьезного, долгого и бесстрастного исследования?»³²⁾

Таким образом, только и остается одно мерило для оценки жизни и истории: «единство в разнообразии, так называемая гармония, в сущности не исключающая антитезы и борьбы, и страданий, но даже требующая их». Опять вспоминается Достоевский: его черт в разговоре с Иваном Карамазовым утверждает, что он, черт, совершенно необходим для уничтожения скуки и однотонности всеобщей Осанны: без него-де, черта, и отдела происшествий в газетах не было бы: ничего бы не случилось, — Бог и дьявол, свет и тень, добро и зло — необходимые элементы гармонии, природной и эстетической. В замечательном письме к свящ. И. Фуделю Леонтьев предлагает следующую схему относительной применимости тех или иных критериев:

МИСТИКА (особенно положительные религии) Критерий только для единоверцев. Ибо нельзя христианина судить и ценить по-мусульмански, и наоборот.

ЭТИКА И ПОЛИТИКА Только для человека.

Образованность — это хранительница художественной традиции даже во времена засухи в искусстве... Иногда пытались оправдать социальное неравенство, утверждая, что богатство — носитель культуры. Если хотят этим сказать, что богатые, по преимуществу, участвуют в создании культуры, то это грубое заблуждение. Самые оригинальные и мощные таланты выходят из бедняков или из среднего класса... Но с богатством в действительности связан псевдоинтерес: образованность. Ведь этот мнимый культурный интерес является для богатства средством подчеркнуть свои социальные преимущества. Поэтому оно поощряет искусство, материальное существование которого зависит от него. Только в этом смысле богатство — носитель культуры. И в этом смысле социальное неравенство неизбежно и оправдывается потребностями культуры: должен быть дан мотив для необходимого псевдоинтереса. Ведь в целом образованность есть *contradictio in adjecto*. Если бы образование не было привилегией, его перестали бы домогаться, и вместе с ним исчезла бы культура». Но зависимость эта от образованности плохо отражается и на самой культуре: она начинает угасать: «поэтому-то всякий последовательный ряд художников показывает одну и ту же типическую кривую упадка... Во всяком развитии обнаруживается, что внимание и силы художников постепенно сосредоточиваются все более и более на трудностях сюжета, на технической утонченности и декоративности». Культура обезличивается, вынуждена рабски следовать за модой, и всякий внутренний, автономный смысл ее утрачивается. Бродер Христиансен. «Философия искусства». Изд. «Шиповник», СПб., стр. 38-40.

³¹⁾ «Русские, греки и югославяне». 1878. Дополн. 1885. Собр. соч., том 5, стр. 319.

³²⁾ «Византизм и славянство». 1875. Собр. соч., том 5, стр. 199-200.

БИОЛОГИЯ (физиология человека, животных и растений, медицина и т. п.)

Для всего органического мира.

ФИЗИКА (т. е. химия, механика и т. д.)

} Для всего ³³⁾

ЭСТЕТИКА

В письме к В. В. Розанову от 13 августа 1891 года Леонтьев сомневается, что его исторический критерий будет понят как следует. Розанов задумал статью о Леонтьеве, и последний пишет по этому поводу:

«Вы хотите озаглавить вашу статью: 'Эстетическое воззрение на историю'... Опасаюсь, что очень немногие поймут слово «эстетика» так серьезно, как мы с вами его понимаем. Быть может, я ошибаюсь. Но мне кажется, что в наше время большинство гораздо больше понимает эстетику в природе и в искусстве, чем эстетику в истории и вообще в жизни человеческой. Эстетика природы и эстетика искусства (стихи, картины, романы, театр, музыка) никому не мешают и многих утешают. Что касается настоящей эстетики самой жизни, то она связана со столькими огасностями, тягостями и жестокостями, со столькими пороками, что нынешнее боязливое (сравнительно, конечно, с прежним), слабонервное, маловерующее, телесно самоизнеженное и жалостливое (тоже сравнительно с прежним) человечество радо-радешенько видеть всякую эстетику на полотне, подмостках опер и трагедий и на страницах романов, а в действительности — 'избави Боже!'. Мне иногда даже кажется, что, по мере расширения круга среднего понимания природы и искусства, круг эстетического понимания истории все сужается и сужается. В этом случае само христианство (по-моему, конечно, ложно понимаемое большинством, т. е. понимаемое более с утилитарно-моральной, чем с мистико-догматической стороны) часто играет в руку демократическому прогрессу... Я считаю эстетику мерилom наилучшим для истории и жизни, ибо оно приложимо ко всем векам и ко всем местностям. Мерило положительной религии, например, приложимо только к самому себе (для спасения индивидуальной души моей за пробом, трансцендентальный эгоизм) и вообще к людям, исповедующим ту же религию. Как вы будете, например, приступать со строго христианским мерилom к жизни современных китайцев и к жизни древних римлян? Мерило чисто моральное тоже не годится, ибо, во-первых, придется предать проклятию большинство полководцев, царей, политиков и даже художников (большую часть художники были развратны, а многие и жестоки); остаются «мирные земледельцы да какие-нибудь кроткие и честные ученые. Даже некоторые святые, при-

³³⁾ «Леонтьев о Владимире Соловьеве и эстетике жизни». Сергиев Посад, 1913.

знанные христианскими церквями, не вынесут чисто этической критики. Напр., св. Константин, св. Ирина, св. Кирилл Александрийский и почти все ветхозаветные святые... Это во-первых. А во-вторых, этическое мировоззрение неизбежно и всегда колеблется между двумя разными моральями: моралью внутренней борьбы (или моралью стремления) и моралью внешнего результата (мораль осуществления). Пример 1-й морали: я рабовладелец; могу бить, могу даже изувечить раба, но воздерживаюсь от последнего, с большой победой над собой, хотя, однако, все-таки бью и бью крепко, но без членовредительства, и бью, напр., за дело, за грубость, за подлость и т. д. Пример 2-й морали: не бью слугу вовсе, потому что боюсь мирового судьи. Первая мораль, конечно, менее верна; но зато она ближе и к мистической религии, и к эстетике (победа разума и сердца над гневом и зверством есть также эстетическое явление — моральная эстетика); вторая мораль — гораздо вернее: но ведь эта забота об одном лишь внешне-моральном результате и приводит шаг за шагом к тому обще-утилитарному мировоззрению, которое и есть всемирная уравнивательная революция (смещение, разрушение, вторичное упрощение и т. п.). В эстетическом же мировоззрении все совместимо!.. И все религии, и всякая мораль, даже до некоторой степени и мораль внешнего результата... Все это так... Но увы! Не только в глазах какой попало публики, но и в глазах многих весьма серьезных, весьма влиятельных, весьма высоко в государстве поставленных людей слова «художник», «эстетик», «эстетический взгляд на жизнь» роняют практическую ценность мыслей. Им представляется все это сейчас чем-то вроде излишества, роскоши, искусства для искусства, десерта какого-то, без которого можно обойтись. Они не могут понять, что только там и государственность сильна, где в жизни еще много разнородной эстетики, где эта видимая эстетика жизни есть признак внутренней, практической, другими словами — творческой силы. Вот что я хотел сказать».³⁴⁾

Условимся в терминах: Леонтьев говорит все время об эстетике творческой, эстетике жизни и истории (развития), а не об эстетике отражений (эстетике искусства, также творческого) и тем более не об эстетике восприятия (эстетизм, как чисто пассивное наслаждение зрителя, читателя, слушателя произведениями художественной литературы, изобразительного искусства, театра, музыки; или природой, как объектом незаинтересованного эстетического любования). Эстетическое понимание истории и жизни находит у Леонтьева обоснование в его триединой формуле развития:

«Говорят беспрестанно: «Развитие ума, науки, развивающийся народ, развитый человек, развитие грамотности, законы развития исторического, дальнейшего развития наших учреждений и т. д.»

Леонтьев протестует: вовсе не развитие:

«распространение, разлитие грамотности — дело другое... Все эти явления представляют нам разлитие чего-то однородного, общего,

³⁴⁾ «Русский Вестник», т. 285, 1903, стр. 415-418.

простого. Идея же развития собственно соответствует в тех реальных, точных науках, из которых она перенесена в историческую область, некоему сложному процессу и, заметим, нередко вовсе противоположному с процессом распространения, разлития, процессу как бы враждебному этому последнему процессу. Присматриваясь ближе к явлениям органической жизни, из наблюдений которой именно и взялась эта идея развития, мы видим, что процесс развития в этой органической жизни значит вот что:

Постепенно восхождение от простейшего к сложнейшему, постепенная индивидуализация, обособление, с одной стороны, от окружающего мира, а с другой — от сходных и родственных организмов, от всех сходных и родственных явлений. Постепенный ход от бесцветности, от простоты к оригинальности и сложности. Постепенное осложнение элементов составных, увеличение богатства внутреннего и в то же время постепенное укрепление единства. Так что высшая точка развития не только в органических телах, но и вообще в органических явлениях, есть высшая степень сложности, объединенная неким внутренним деспотическим единством... Все вначале просто, потом сложно, потом вторично упрощается, сперва уравниваясь и смешиваясь внутренне, а потом еще более упрощаясь отпадением частей и общим разложением, до перехода в неорганическую 'Нирвану'. При дальнейшем размышлении мы видим, что этот триединый процесс свойствен не только тому миру, который зовется собственно органическим, но, может быть, и всему существующему в пространстве и времени. Может быть, он свойствен и небесным телам, и истории развития их минеральной коры, и характерам человеческим; он ясен в ходе развития искусств, школ живописи, музыкальных и архитектурных стилей, в философских системах, в истории религий и, наконец, в жизни племен, государственных организмов и целых культурных миров... Например, для небесного тела: а) период первоначальной простоты: расплавленное небесное тело, однообразное, жидкое; б) период срединный, то состояние, которое можно назвать вообще цветущей сложностью: планета, покрытая корою, водою, материками, растительностью, пестрая; в) период вторичной простоты: остывшее и вновь, вследствие катастрофы, расплавленное тело и т. д. Мы замечаем то же и в истории искусства: а) период первоначальной простоты: циклопические постройки, конусообразные могилы этрусков..., избы русских крестьян, дорический орден, и т. д.; эпические песни первобытных племен; музыка диких; первоначальная иконопись, лубочные картины и т. д.; б) период цветущей сложности: Парфенон, храм Эфесской Дианы (в котором даже на колоннах были изваяния), Страсбургский, Реймский, Миланский соборы, св. Петра, св. Марка, римские великие здания, Софокл, Шекспир, Дант, Байрон, Рафаэль, Микель-Анджело и т. д.; в) период смещения, перехода во вторичное упрощение, упадка, замены другим: все здания переходных эпох, романский стиль..., все нынешние утилитарные постройки, казармы, больницы, училища, станции железных дорог и т. д. В архитектуре единство есть то, что зовут стилем. В цветущие эпохи постройки разнообразны в пределах стиля; нет

ни эклектического смещения, ни бездарной старческой простоты. В поэзии тоже: Софокл, Эсхил и Эврипид — все одного стиля; впоследствии все, с одной стороны, смешивается эклектически и холодно, понижается и падает. Примером вторичного упрощения всех прежних европейских стилей может служить современный реализм литературного искусства. В нем есть нечто и эклектическое (т. е. смешанное) и приближенное, количественно павшее, и плоское. Типические представители великих стилей поэзии все чрезвычайно несхожи между собою: у них чрезвычайно много внутреннего содержания, много отличительных признаков, много индивидуальности. В них много и того, что принадлежит веку (содержание), и того, что принадлежит им самим, их личности, тому единству духа личного, которое они влагали в разнообразие содержания. Таковы: Дант, Шекспир, Корнель, Расин, Байрон, Вальтер-Скотт, Гете, Шиллер. В настоящее время, особливо после 48-го года, все смешаннее и сходнее между собою: общий стиль — отсутствие стиля и отсутствие субъективного духа, любви, чувства. Диккенс в Англии и Жорж-Занд во Франции (я говорю про старые ее вещи), как они ни различны друг от друга, но были оба последними представителями сложного единства, силы, богатства, теплоты. Реализм простой наблюдательности уже потому беднее, проще, что в нем уже нет автора, нет личности, вдохновения, поэтому он пошлее, демократичнее, доступнее всякому бездарному человеку и пишущему, и читающему. Нынешний объективный, безличный всеобщий реализм есть вторичное смесительное упрощение, следовавшее за теплой объективностью Гете, Вальтер-Скотта, Диккенса и прежнего Жорж-Занда, больше ничего... В истории философии то же... Тому же закону подчинены и государственные организмы, и целые культуры мира. И у них очень ясны эти три периода: 1) первичной простоты; 2) цветущей сложности и 3) вторичного смесительного упрощения».³⁵⁾

Эстетика жизни и истории (развития) полностью совпадает с социальной физикой и онтологией («физикой» в схеме Леонтьева). Красота есть единство в цветущем многообразии, в сложности. Она — вершина расцвета. Она — форма. Она — кристаллизация.

«Форма вообще есть выражение идеи, заключенной в материи (содержании). Она есть отрицательный момент явления, материя — положительный. В каком это смысле? Материя, напр., данная нам, есть стекло, форма явления — стакан, цилиндрический сосуд, полный внутри; там, где его уже нет, начинается воздух или жидкость внутри сосуда; дальше материя стекла не может идти, не смеет, если хочет остаться верна основной идее своего полного цилиндра, если не хочет перестать быть стаканом. Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающей материи разбегаться. Разрывая узы этого естественного деспотизма, явление гибнет... Кристаллизация есть деспотизм внутренней идеи. Одно вещество должно, при известных условиях, оставаясь самим собою, кристаллизоваться призмами, другое — октаэдрами и т. п. Иначе они не смеют, иначе они гибнут,

³⁵⁾ «Византизм и славянство». 1875. Собр. соч., т. 5, стр. 188-189, 193-197.

разлагаются. Растительная и животная морфология есть также не что иное, как наука о том, как оливка не смеет стать дубом, как дуб не смеет стать пальмой и т. д.; им с зерна предустановлено иметь такие, а не другие листья, такие, а не другие цветы и плоды. . . Тот, кто хочет быть истинным реалистом именно там, где нужно, тот должен рассматривать и общества человеческие с подобной точки зрения. Но обыкновенно делается не так. Свобода, равенство, благоденствие (особенно это благоденствие!) принимаются какими-то догматами веры, и уверяют, что это очень рационально и научно! Да кто же сказал, что это правда?»³⁶⁾

Совершенный и законченный детерминизм. Никакого проблеска свободы выбора. Все в жизни человеческой, в жизни нации, культуры, в жизни государства предустановлено, предопределено. Какой-то мусульманский «кисмет». Самое большее, что можно сделать — это несколько задержать, «подморозить» процесс развития, продлить несправедливый, но прекрасный период цветущей сложности. Вот и все. . . Европейский же гуманизм, обездуховленный и обезбоженный индивидуализм — начало смерти индивидуальности, самости и самобытности. Не иронический господин «Подполья» Достоевского, до последних пределов дошедший в апофеозе личности и ее свободы: свободы «по всей своей глупой воле пожить», а апофеоз формы, как деспотизма, идеи, апофеоз силы государства и — еще выше — апофеоз Церкви, не как Целительницы и Освободительницы, а как властной организации, устрашающей загробным последним Судом: не любовь и свобода духа, а с т р а х Б о ж и й — и жажда спасения: трансцендентальный эгоизм. . .

«Какое мне дело, в более или менее отвлеченном исследовании, не только до чужих, но и до моих собственных неудобств, до моих собственных стон и страданий? Государство есть, с одной стороны, как бы дерево, которое достигает своего полного роста, цвета и плодоношения, повинувшись некоему таинственному, независящему от нас деспотическому повелению внутренней, вложенной в него идеи. С другой стороны, оно есть машина, и сделанная людьми полусознательно, и содержащая людей, как части. как колеса, рычаги, винты, атомы, и наконец, машина, вырабатывающая, образующая людей. Человек в государстве есть в одно и то же время и механик, и колесо или винт, и продукт общественного организма. На которое бы из государств древних и новых мы не взглянули, у всех найдем одно и то же общее: простоту и однообразие вначале, больше равенства и больше свободы (по крайней мере фактической, если не юридической свободы), чем будет после. Закрывши книгу на второй или третьей главе, мы находим, что все довольно схожи, хотя и не совсем. Взглянув на растение, выходящее из земли, мы еще не знаем хорошо, что из него будет. Различий слишком мало. Потом мы видим большее или меньшее укрепление власти, более или менее резкое (смотря по задаткам первоначального строения) разделение со-

³⁶⁾ «Византизм и славянство». 1875. Собр. соч., т. 5, стр. 197-198.

словий, большее разнообразие быта и разнохарактерность областей. Вместе с тем увеличивается, с одной стороны, богатство, с другой — бедность, с одной стороны ресурсы наслаждения разнообразятся, с другой — разнообразие и тонкость (развитость) ощущений и потребностей порождают больше страданий, больше грусти, больше ошибок и больше великих дел, больше поэзии и больше комизма; подвиги образованных — Фемистокла, Ксенофонта, Александра — крупнее и симпатичнее простых и грубых подвигов Одиссея и Ахиллова. . . Вообще в эти сложные цветущие эпохи есть какая бы то ни было аристократия, политическая, с правами и положением, или только бытовая, т. е. только с положением без резких прав, или еще чаще стоящая на грани политической и бытовой. . . В то же время, по внутренней потребности единства, есть наклонность и к единоличной власти, которая по праву или только по факту, но всегда крепнет в эпоху цветущей сложности. Являются великие замечательные диктаторы, императоры, короли или, по крайней мере, гениальные демагоги и тираны (в древне-эллиническом смысле), Фемистоклы, Периклы и т. п. . . А страдания? Страдания сопровождают одинаково и процесс роста и развития, и процесс разложения. Все болит у древа жизни людской. . . Болят одинаково эгалитарный быстрый процесс гниения и процесс медленного высыхания, застоя, нередко предшествующий эгалитарному процессу. . . Боль для социальной науки — это самый последний из признаков, самый неуловимый: ибо он субъективен, и верная статистика страданий, точная статистика чувств невозможна будет до тех пор, пока для чувства радости, равнодушия и горя не изобретут какое-нибудь графическое изображение, какое-нибудь объективное мерило. . . Статистики нет никакой для субъективного блаженства отдельных лиц; никто не знает, при каком правлении люди живут приятнее. Бунты и революции мало доказывают в этом случае. Многие веселятся бунтом. . . Поэтому, отстраняя мерило благоденствия, как недоступное. . . , гораздо безошибочнее будет обратиться к объективности, к картинам и спрашивать себя, нет ли каких-нибудь всеобщих и весьма простых законов для развития и разложения человеческих обществ?»³⁷⁾

Эти законы Леонтьев и устанавливает: это — его «триединая формула развития». Для России период ее сложного цветения, ее эпоха «Возрождения» начинается в Петровское царствование.³⁸⁾ Русская идея (- форма, т. е. «деспотизм внутренней идеи») — византизм, т. е. привитый к русскому дичку (материи, славянству) благородный отросток — православное самодержавие. «Изменяя, даже в тайных помыслах наших, этому византизму, мы погубим Россию».³⁹⁾ Говорить, что Россию выручит ее относительная молодость, что Запад гибнет от дряхлости, а России еще жить да жить, — подлинная маниловщина:

³⁷⁾ «Византизм и славянство». 1875. Собр. соч., т. 5. стр. 200-203.

³⁸⁾ Там же, стр. 119.

³⁹⁾ Там же, стр. 145.

«С чего бы мы ни начали считать нашу историю, с Рюрика ли (862), или с крещения Владимира (988), во всяком случае выйдет 1012 лет или 886.⁴⁰⁾ В первом случае мы несколько не моложе Европы; ибо и ее государственную историю надо считать с IX века. А вторая цифра также не должна нас слишком обеспечивать и радовать. Не все государства прожили полное 1000-летие. Больше прожить трудно, меньше очень легко.»⁴¹⁾

Социальный, национальный, государственный организм подлечит тем же законам, как и организм индивидуальный. Он рождается, расцветает, дряхлеет и умирает. Процесс дряхления, умирания многими прекраснодушными социологами и идеологами принимается как раз за процесс прогрессивный, за процесс, несущий людям свободу, равенство и братство, царствие Божие на земле. Ведь в этом случае социалисты и коммунисты — те же хилиасты. И они верят в наступление такой Осанны, когда уже «нельзя будет ни язычка высунуть, ни кукиша в кармане показать», — так все будет разумно и совершенно.

«Социальная наука едва родилась, а люди, пренебрегая опытом веков и примерами ими же теперь столь уважаемой природы, не хотят видеть, что между эгалитарно-либеральным поступательным движением и идеей развития нет ничего логически родственного, даже более: эгалитарно-либеральный процесс есть антитеза процессу развития. При последнем внутренняя идея держит крепко общественный материал в своих организующих, деспотических объятиях и ограничивает его разбегающиеся, расторгающие стремления. Прогресс же, борющийся против всякого деспотизма — сословий, цехов, монастырей, даже богатства и т. п. — есть не что иное, как процесс разложения, процесс того вторичного упрощения целого и смешения составных частей, о котором я говорил выше, процесс сглаживания морфологических очертаний, процесс уничтожения тех особенностей, которые были органически (т. е. деспотически) свойственны общественному телу. Явления эгалитарно-либерального прогресса схожи с явлениями горения, гниения, таяния льда (менее свободного, ограниченного кристаллизацией); они сходны с явлениями, напр., холерного процесса, который постепенно обращает весьма различных людей сперва в более однообразные трупы (равенство), потом в совершенно схожие (равенство) остовы и, наконец, в свободные (относительно, конечно): азот, водород, кислород и т. д.»⁴²⁾

Обездуховленный и обезбоженный, секуляризованный индивидуализм, именуемый гуманизмом, неизбежно приводит европейскую государственность и культуру к вторичному смертельному упрощению, т. е. к смерти. Элементы, приводящие к смерти, содержатся в каждом явлении с момента появления его на свет Божий. В этом

⁴⁰⁾ Писано в 1874 г.

⁴¹⁾ Там же, стр. 253.

⁴²⁾ «Византизм и славянство». 1875. Собр. соч., т. 5, стр. 198-199.

смысле рождение есть уже первый шаг к смерти. Нет ничего постоянно пребывающего. Все находится в процессе развития-расцвета-разложения.

«Цивилизация европейская сложилась из византийского христианства, германского рыцарства, эллинской эстетики и философии (к которым не раз прибегала Европа для освежения) и из римских муниципальных начал. Борьба всех этих четырех начал продолжается и ныне на Западе. Муниципальное начало, городское (буржуазия), с прошлого века победило все остальное и исказило (или, если хотите, просто изменило) характер и христианства, и германского индивидуализма, и кесаризма римского, и эллинских как художественных, так и философских преданий. Вместо христианских загробных верований и аскетизма, явился земной гуманный утилитаризм; вместо мысли о любви к Богу, о спасении души, о соединении с Христом, — заботы о всеобщем практическом благе. Христианство же настоящее представляется уже не божественным, в одно и то же время и отрадным и страшным учением, а детским лепетом, аллегорией, моральной басней, дельное истолкование которой есть экономический и моральный утилитаризм. Аристократические пышные наслаждения мыслящим сладострастием, 'бесполезной (!) отвлеченной философией и вредной изысканностью высокого идеального искусства', эти стороны западной жизни, унаследованные ею или прямо от Эллады, или через посредство Рима времен Лукуллов и Горациев, утратили также свой прежний барский и царственный характер и приобрели характер более демократический, более доступный всякому и потому неизбежно и более пошлый, некрасивый и более разрушительный, вредный для старого стиля. Личные права каждого, благоденствие всех (перерождение, демократизация германского индивидуализма и христианская личная доброта, обращенная в предупредительный безличный сухой утилитаризм) и здесь играют роль. 'И я имею те же права!' говорит всякий и по вопросу о наслаждениях, забывая, что 'quod licet Jovi, non licet bovi', — что идет Людовику XIV, то нейдет Ламбетте и Руместану'.⁴³⁾

Европа давно пережила уже и практику гражданского политического смещения, и практику полного нивелирования национальных особенностей, особенностей отдельных областей и городских общин. Вся эта «феодалная пестрота», напр., эпохи Ренессанса, приводила к бесчисленным войнам, восстаниям, политическим интригам, закабалению целых сословий. Но каждая область, каждый город имел свой, ему только свойственный облик, и Сиенна, Пьемонт, Венеция, Флоренция, Рим, Калабрия, Милан, Феррара — не были только географическими наименованиями, а имели свои школы живописи, поэзии, музыки, свой стиль жизни и свою историческую физиономию, не сливающуюся в физиономию среднеитальянскую, в облик общеитальянского (вернее, среднеевропейского) бур-

⁴³⁾ «Византизм и славянство». 1875. Собр. соч., т. 5, стр. 221-222.

жуа. Тоже — Париж, Лимож, Нормандия, Прованс, Лион — во Франции; тоже — по отношению к отдельным многочисленным государствам и городам Германии, Австрии. Каждый мелкий немецкий князь или ландграф старался обзавестись собственным университетом, собственной академией искусств и наук, собственным театром и собственной картинной галереей. Но этого мало: каждый властитель, каждый город культивировал свою особую школу или школку, и мы сейчас ясно различаем стиль искусства маленького Кульмбаха, Авиньонскую школу, художников Вероны или Мантуи. Материально великая европейская культура не умирает еще:

«Цивилизация, культура, есть именно та сложная система отвлеченных идей (религиозных, государственных, лично-нравственных, философских и художественных), которая вырабатывается всей жизнью наций. Она как продукт принадлежит государству; как пища, как достояние, она принадлежит всему миру. . . Европейское наследство вечно и до того богато, до того высоко, что история еще ничего не представляла подобного. Но вопрос вот в чем: если в эпоху современного, позднего плодоношения своего европейские государства сольются действительно в какую-нибудь федеративную, грубо-рабочую республику, не будем ли мы иметь право назвать этот исход падением прежней европейской государственности? Какой ценой должно быть куплено подобное слияние? Не должно ли будет это новое всеевропейское государство отказать от признания в принципе всех местных отличий, отказать от всех, хоть сколько-нибудь чтимых преданий, быть может. . . (кто знает!) сжечь и разрушить главные столицы, чтобы стереть с лица земли те великие центры, которые так долго способствовали разделению западных народов на враждебные национальные станы. На розовой воде и сахаре не готовятся такие коренные перевороты: они предлагаются человечеству всегда путем железа, огня, крови и рыданий». ⁴⁴⁾

И Леонтьев уверен, что, хотя европейская культура материально и переживет европейские государства, но социализм купно со «средним европейцем»-буржуа приведут Европу к созданию единого обезличенного всеевропейского государства, государства средних людей, одинаковых, фабричного массового выпуска. Европа —

«Не хочет больше морфологии! Она стремится посредством этого смешения к идеалу однообразной простоты». ⁴⁵⁾ «Господство. . . среднего класса — есть тоже упрощение и смешение; ибо он по существу своему стремится все свести к общему типу так называемого 'буржуа'. . . Хорош идеал!» ⁴⁶⁾

Царство этого среднего буржуа — начало полного упрощения и смешения, начало конца, неизбежного и неотвратимого. Леонтьев яро ненавидит этого либерального мещанина. Одну из своих талантливейших работ он называет так: «Средний европеец, как идеал и

⁴⁴⁾ «Византизм и славянство». 1875. Собр. соч., т. 5, стр. 250, 251.

⁴⁵⁾ «Византизм и славянство». 1875. Собр. соч., т. 5, стр. 225.

⁴⁶⁾ Там же, стр. 235, 236.

орудие всемирного разрушения». «А жизнь видимо пошлет от прогресса», — вздыхает он время от времени в своей автобиографии «Моя литературная судьба». ⁴⁷⁾ Это естественно. Вода в глубоких колодцах всегда вкусна и прохладна, утоляет жажду и дает наслаждение. Но разлейте воду отдельных одиноких колодцев по всей выгоревшей пыльной степи — и в мелкое болото превратится живительная влага, не напитав, не утолив даже жажды потрескавшейся от засухи земли. Чем шире распространяется культура — тем более она плоска, скудна и немощна. И высокие романские башни монастырей, готический лес соборов и одинокие литературные вершины прошлого кажутся нам, в нашей иссохшей пустыне, чем-то совсем немислимым, мы удивляемся им — как они могли «состояться»?

А среднему человеку, наградившему нас, к слову сказать, уже в наши дни и фашизмом, и коммунизмом, и нацизмом, и движениями «человека улицы», — этому «среднему человеку» не нужно ничего:

«Кто же ему нужен? Ему для прогресса нужны агрономы... профессора, фабриканты, работники, механики и, наконец, художники и поэты... Прекрасно: понятно, что механик, агроном, ученый могут как сыр в масле кататься, обращая шар земной в одну скучную и шумную мастерскую... Но что делать поэту и художнику в этой мастерской?.. Они и без этого задыхаются больше и больше в современности. Не лучше ли сказать, что и они вовсе не нужны, что без этой роскоши человечество может благополучно прозябать». ⁴⁸⁾

И поэта заставляют петь практически нужные оды среднему человеку, художнику заказывают лозунги, портреты и оформление ресторанов и газет... А наука? Образование и науку придется сдерживать, ибо наука, пути сообщения, все убыстряющийся темп жизни и промышленности, всеобщее образование — все это бессмысленное уторопление жизни к смерти, вся эта суетолока — грозят самой физической жизни человечества. «Слишком шумно становится в мире!» — жаловался Достоевский. А Леонтьев спрашивал:

«Разве не может случиться, что именно дальнейший ход цивилизации приведет к тому, что наука государственная, философская, психология и политико-социальная практика признают необходимым поддерживать преданмеренно наибольшую неравномерность знания в обществе? Я полагаю, судя по разрушительному ходу современной истории, что именно высший разум принужден будет выступить, наконец, почти против всего того, что так популярно теперь, т. е. против равенства и свободы (другими словами, против смещения сословий, конечно), против всеобщей грамотности и против демократизация познаний. Вероятно даже против злоупотребления машинами и против разных прикладных изобретений, «балующихся», так сказать, весьма

⁴⁷⁾ «Литературное наследство», т. 22-24, Москва, 1935, стр. 436.

⁴⁸⁾ «Средний европеец, как идеал и орудие всемирного разрушения». Собр. соч., т. 6, стр. 6—7.

опасно со страшными и таинственными силами природы». ⁴⁹⁾ В другом месте: «Господство средних людей, несомненно оживляя на короткое время устаревшие общества, приводит, однако, очень скоро эти общества к гибели государственной и культурной. Это господство, усиливая кратковременную социальную динамику, нарушает очень скоро все условия, благоприятные социальной статике». ⁵⁰⁾

Уже в самом начале нашего века Христиансен издевался над идеей всеобщего образования: если образованность перестанет быть привилегией, — кто же станет к ней стремиться? А демократизация науки и искусства приводит к такому катастрофическому падению их уровня, что заставляет задуматься над вопросом — не следует ли вернуться к индивидуальному ученичеству Средних веков и Возрождения? Следует ли говорить о том, что машина уже съела личность, а некоторые изыскания сейчас являются строгой тайной государства, боящегося губительных последствий ряда открытий, и не только в области атомной физики. . . Но, главное, либеральный мещанин является всегда только предтечей социализма-коммунизма. Буржуазная демократия — только увертюра к коммунистической опере.

«Социально-политические опыты ближайшего грядущего (которые, по всем вероятностям, неотвратимы) будут, конечно, первым и важнейшим камнем преткновения для человеческого ума на ложном пути искания общего блага и гармонии. Социализм (т. е. глубокий и отчасти насильственный экономический и бытовой переворот) теперь, видимо, неотвратим, по крайней мере, для некоторой части человечества. Но, не говоря уже о том, сколько страданий и обид его воцарение может причинить побежденным (т. е. представителям либерально-мещанской цивилизации), сами победители, как бы прочно и хорошо ни устроились, очень скоро поймут, что им далеко до благоденствия и покоя. И это, как дважды два четыре, вот почему: эти грядущие победители устроятся или свободнее, либеральнее нас, или, напротив того, законы и порядки их будут несравненно стеснительнее наших, строже, даже страшнее. В последнем случае жизнь этих новых людей должна быть гораздо тяжелее, болезненнее жизни хороших добросовестных монахов в строгих монастырях. . . А эта жизнь для знакомого с ней очень тяжела (хотя имеет, разумеется, и свои, совсем особые, утешения); постоянный тонкий страх, постоянное неумолимое давление совести, устава и воли начальствующих. . . Но у афонского киновиата есть одна твердая и ясная утешительная мысль, есть спасительная нить, выводящая его из лабиринта ежеминутной тонкой борьбы: загробное блаженство. Будет ли эта мысль утешительна для людей предполагаемых экономических общезжитий, этого мы не знаем». ⁵¹⁾

Буржуазное общество своими идеями средневропейского инди-

⁴⁹⁾ «Средний европеец. . .», собр. соч., т. 6, стр. 13-14.

⁵⁰⁾ Собр. соч., том 7, стр. 536-537.

⁵¹⁾ «Наши новые христиане». 1880. Собр. соч., т. 8, стр. 190-191.

видуализма, всемирного мирного государства, отделения церкви от государства, всеобщего образования, идеями свободы, равенства и братства само готовит социалистическую революцию.

«Социализм со всеми его разветвлениями есть не что иное, как вполне законное по логике происхождения детище тех прогрессивно-эвдемонических идей, тех верований в благо земное от равенства и свободы, которые Франция объявила в 89 году и которые в других странах Европы распространились без гильотины и без больших народных восстаний весьма разнообразными путями... Идея свободы (свободы от чего? Для чего? И во имя чего?), сказано давно уже многими, есть лишь понятие чисто отрицательное и значит, что личность, или нация, состоящая из лиц же, или какой-нибудь класс людей должен встречать как можно меньше препятствий и ограничений со стороны Церкви, государства, общества и семьи на жизненном пути своем. Но во имя чего, для какого идеала дается и требуется эта свобода? Тут ответ один — для блага, для большего удобства и счастья на земле». ⁵²⁾

Но что же это такое, счастье масс на земле? Кто определит — что является благом для всех и каждого? И возможно ли такое всеобщее благо?

Социалисты — верующие. Они свято веруют в свой незамысловатый катехизис — в наступление окончательного, заключительного периода, земного рая. Социалисты полны «упований на окончательную мертвенную неподвижность всеобщего мира и благоденствия», ⁵³⁾ но ведь нельзя утолить жажду морской водой, и притязания всегда растут быстрее их удовлетворения. Да и можно ли остановить процесс жизни, процесс развития?

«Что такое окончательное слово на земле? Окончательное слово может быть одно: — Конец всему на земле! Прекращение истории и жизни... Иначе почему же и в каком смысле окончательное? Ведь неподвижным и неизменным не может же стать человечество ни умом, ни вкусами, ни волей?» ⁵⁴⁾

А потом, стремясь к свободе — без веры в Бога и в высшие духовные ценности, без веры в долг и обязанность человека к Пославшему его в мир, — коммунисты и социалисты неизбежно приходят к сугубому рабству, к новому расслоению общества на классы, даже на наследственные сословия, к деспотизму верховной власти. Без этого деспотического управления, без этих коммунистических сословных верхов коммунизм-социализм существовать не может: и тут действует тот же принцип аморфной материи (массы, народа) и организующей ее, «не дающей разбежаться», формы (строго со-

⁵²⁾ «Письма о восточных делах». Дополн. 1885. Собр. соч., т. 5, стр. 453.

⁵³⁾ «Племенная политика, как орудие всемирной революции». Собр. соч., т. 6, стр. 179.

⁵⁴⁾ «Епископ Никанор о вреде железных дорог»... 1885. Собр. соч., т. 7, стр. 483.

словная деспотия). Об этом говорил устами Шигалева Достоевский. Об этом свидетельствовал Леонтьев:

«Если же анархисты и либеральные коммунисты, стремясь к собственному идеалу крайнего равенства (который невозможен) своими собственными методами необузданной свободы личных посягательств, должны рядом антитез привести общества, имеющие еще жить и развиваться, к бóльшей неподвижности и весьма значительной неравноправности, то можно себе сказать вообще, что социализм, понятый как следует, есть не что иное, как новый феодализм, уже вовсе недалекого будущего, разумея при этом слово феодализм, конечно, не в тесном и специальном его значении романо-германского рыцарства и общественного строя... а в самом широком его смысле, т. е. в смысле глубокой (обособленности) классов и групп, в смысле разнобразной децентрализации и группировки социальных сил, объединенных в каком-нибудь центре духовном или государственном: в смысле нового закрепощения лиц другими лицами и учреждениями, подчинения одних общин другим общинам, несравненно сильнейшим, или чем-нибудь облагороженным (так, напр., как были подчинены у нас в старину рабочие селения монастырям)». ⁵⁵⁾

И Леонтьев называет социализм «реакционной организацией будущего».

Спасется ли Россия? Едва ли, — отвечает Леонтьев. Он не верит в природную стойкость русской семьи, ни в творческие силы русского народа. Славяне — аморфны по самой природе своей. Лишь сильная государственность и православие — византизм — могут поддержать, «подморозив», процесс эгалитарного прогресса, — замедлить приход всегда неизбежной смерти.

«Спасемся ли мы государственно и культурно? Заразится ли мы столь несокрушимой в духе своем китайской государственностью и могучим мистическим настроением Индии? Соединим ли мы эту китайскую государственность с индийской религиозностью, и подчиняя им европейский социализм, сумеем ли мы постепенно образовывать новые общественные прочные группы и расслоить общество на новые горизонтальные слои — или нет? Вот в чем дело! Если же нет, то мы поставлены в такое центральное положение именно только для того, чтобы окончательно смешавши всех и вся, написать последнее 'мене-тежел-фарес!' на здании всемирного государства... Окончить историю, погубив человечество; разлитием всемирного равенства и распространением всемирной свободы сделать жизнь человеческую на земном шаре уже совсем невозможной... Ибо ни новых диких племен, ни старых уснувших культурных миров тогда уже на земле не будет» ⁵⁶⁾

В статье «Над могилой Пазухина» (1891) еще более мрачные

⁵⁵⁾ «Средний европеец...». Собр. соч., т. 6, стр. 61, 62.

⁵⁶⁾ «Средний европеец...». Собр. соч., т. 6, стр. 47-48.

предчувствия одолевают Леонтьева. Уже не социальная гибель, а гибель духовная:

«Без строгих и стройных ограничений, без нового и твердого расслоения общества, без всех возможных настойчивых и неустанных попыток к восстановлению распатанного сословного строя нашего, — русское общество, и без того довольно эгалитарное по привычкам, помчится еще быстрее всякого другого по смертному пути всесмешения и — кто знает? — подобно евреям, не ожидавшим, что из недр их выйдет Учитель Новой Веры, и мы, неожиданно, лет через сто каких-нибудь, из наших государственных недр, сперва бессловных, а потом бесцерковных или уже слабо-церковных, — родим антихриста...»⁵⁷⁾

Исхода нет. Все предопределено, все детерминировано. Сама эстетика ушла целиком в эстетизм, в чисто пассивное «лакомствование». Сама литература развратила, само искусство растлило человечество. Красота ушла из жизни и истории на книжные полки, на подмостки театров, на музыкальную эстраду. А в жизни ее больше нет. По крайней мере в Европе. Сам Леонтьев бежит на Восток — там живет еще живая красота, красота жизни, эстетика истории. О литературе Леонтьев такого же мнения: нужна красивая жизнь, а не блестящая литература. Нужна эстетика жизни, а не эстетика отражений. А гипертрофия эстетизма ведет к расслаблению людей, к их обезволиванию: привыкнув к пассивному переживанию радостей и страданий, к их созерцанию на сцене, к чтению о них в книгах, люди утрачивают интерес к самой жизни.

«Около года тому назад я начал печатать... под заглавием: 'Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой', мои размышления о том, который из них должен быть для России дороже: сам творец или создание его гения, столь реальное и правдоподобное? Великий ли романист, или воин, энергический, образованный и твердый, видимо способный притом понести и тяжкую ношу государственного дела?.. В наше смутное время, и раздражительное, и малодушное, Вронские гораздо полезнее нам, чем великие романисты, и тем более, чем эти вечные 'искатели', вроде Левина, ничего ясного и твердого все-таки не находящие... О романистах я сказал так прямо: 'Без этих Толстых, т. е. без великих писателей-художников, можно и великому народу долго жить, а без Вронских мы не проживем и полувека'... Без них и писателей национальных не станет, ибо и сама нация скоро погибнет».⁵⁸⁾

Самоцельная, самодовлеющая, в себе самой усматривающая цель деятельность — игра, а не творчество (цель которого всегда лежит вне процесса самой деятельности), — это не только пассивное восприятие образов искусства. Эстетизируется сама религия. Представление о христианстве у Леонтьева достаточно жесткое. Не религия

⁵⁷⁾ Собр. соч., том 7, стр. 425.

⁵⁸⁾ «Анализ, стиль и веяние». 1891. Собр. соч., т. 8, стр. 219-220.

любви, а религия страха Божия, страха грядущего возмездия и жажды личного спасения. «Начало премудрости (т. е. настоящей веры) есть страх, а любовь — только плод. Нельзя считать плод корнем, а корень плодом».⁵⁹⁾ Но и религиозное сознание разлагается:

«В религии что-нибудь одно: или наивная простота, или романтическая интенсивность. Там, где утрачивается простота первобытная, необходима интенсивность романтических чувств; нужны страдания не простые, не грубые страдания, которые бывают везде, а страдания, которые ищут исхода лишь в идеальном мире и в идеальных чувствах».⁶⁰⁾

И сам Леонтьев думает оправдать как-то эту подмену суровой простоты религии «изящными воспоминаниями о семье и церкви», но борется, искренне и горячо, против церковного эстетизма, и кончает постригом. . .

Слабое место концепции Леонтьева хорошо подметил И. С. Аксаков: это — детерминизм, это — выключение всякой свободы выбора. В автобиографии «Моя литературная судьба» Леонтьев передает обрывок своего спора с Иваном Аксаковым:

«... — Потом, — продолжал Иван Сергеевич, — вы совершенно уничтожаете влияние лица, вы забываете свободную, личную деятельность человека... У вас процесс развития и вторичного упрощения есть процесс фаталистический, деспотический, неизбежный... Поэтому о чем же хлопотать? Вы — Иеремия, плачущий над развалинами... — А разве Иеремия не писал? — спросил я. Аксаков никак не ожидал этого соображения и замолк вдруг; он забыл, что Иеремия писал».⁶¹⁾

Ответ, конечно, остроумный. Но он не является ответом по существу. Ибо сам Леонтьев писал о полной и неотвратимой гибели: «Верно только одно... одно только несомненно, — это то, что все здешнее должно погибнуть! И потому на что эта лихорадочная забота о земном благе грядущих поколений?»⁶²⁾ Но если так, то и проповедь Леонтьева — только игра ума, самоцельная и ничего останавливать немогущая... Впрочем, остается одно утешение: заключающий размышления Леонтьева его «оптимистический пессимизм»:

«Итак, испытавши все возможное, даже и горечь социалистического устройства, передовое человечество должно будет неизбежно впасть в глубочайшее разочарование;... наука поэтому должна будет неизбежно принять тогда более разочарованный, пессимистический... характер. И вот где ее примирение с положительной религией, вот где ее творческий триумф: в сознании своего практического бессилия, в мужественном покаянии и смирении перед могуществом и правотою сердечной мистики и веры».⁶³⁾

⁵⁹⁾ «Наши новые христиане». Дополн. 1885. Собр. соч., т. 8, стр. 183.

⁶⁰⁾ «Русские, греки и югославяне». 1878. Собр. соч., т. 5, стр. 299.

⁶¹⁾ «Литературное наследство», т. 22—24, Москва, 1935, стр. 456.

⁶²⁾ «Наши новые христиане». Собр. соч., том 8, стр. 189.

⁶³⁾ То же, Собр. соч., том 8, стр. 191.

И еще одно внутреннее, душевное противоречие: критерий самой верховной оценки, самой высшей духовной силы — религия — наименее широк и наименее объемлющ. Самый широкий, самый объемлющий критерий — физика (онтология-феноменология) и эстетика — обречен гибели, да и нередко находится в противоречии с христианской практикой и даже догмой. Завершение одного из самых глубоких писем Леонтьева — его письма к В. В. Розанову от 13 августа 1891 года, — трагично:

«В заключение дерзну прибавить несколько 'безумных' моих афоризмов:

1) Если видимое разнообразие и ощущаемая интенсивность жизни (т. е. эстетика) суть признаки внутренней жизнеспособности человека, то уменьшение их должно быть признаком устарения человечества и его близкой смерти (на земле).

2) Более или менее удачная повсеместная проповедь христианства должна неизбежно и значительно уменьшить это разнообразие (прогресс же, столь враждебный христианству по основам, сильно вторит ему в этом по внешности, отчасти и поддельваясь под него).

3) Итак, и христианская проповедь, и прогресс европейский совокупными усилиями стремятся убить эстетику жизни на земле, т. е. самую жизнь.

И Церковь говорит: 'конец приблизится, когда Евангелие будет проповедано везде'.

Что же делать? Христианству мы должны помогать, даже и в ущерб любимой нами эстетике, из трансцендентального эгоизма, по страху загробного суда, для спасения наших собственных душ, но прогрессу мы должны, где можем, противиться, ибо он одинаково вредит и христианству, и эстетике». ⁶⁴⁾

Розанов сделает решительный шаг: он выберет эстетику жизни, жизни цветущей и плодоносящей, и отвернется не только от прогресса и литературности, но и от «Иисуса Сладчайшего» во имя «горьких плодов мира сего». Он отвергнет «Темный Лик» христианства. Он блестяще — по-своему — определит и эстетику Леонтьева:

«...Его 'эстетизм' был синонимичен, или, пожалуй, вытекал, или коренился на антисмертности, или, пожалуй на бессмертии красоты, прекрасного, прекрасных форм. В 'эстетику' он 'открывал форточку' из анатомического театра своих грустных до черноты политических и художественных наблюдений, соображений». ⁶⁵⁾

Сам Леонтьев тоже сделал выбор: он стал полумонахом при монастыре, а перед смертью постригся в монахи. Но смирился ли он? О, нет! До конца он сомневался, как мы видели, в правильности своего выбора.

⁶⁴⁾ «Русский Вестник», т. 285, 1903, стр. 418-419.

⁶⁵⁾ Там же, т. 284, 1903, стр. 637.

Есть неудачники, сыгравшие значительно бóльшую роль, чем благополучные литературные преуспеватели. Есть трагические крушения, которые предпочитаешь победам. Леонтьев шел смело до конца. Он не боялся ни крайних выводов, — а редко кто не боится выводов из своих собственных положений! — ни внутренних противоречий, ни отрицания дела всей своей жизни. Жизнь во всем ее многообразии не вместишь в узкие пределы любой системы. В каждой системе взглядов должна быть допущена искусственность, должна быть допущена внутренняя фальшь. Нужно отказаться от какой-то правды; чтобы построить законченную систему. Леонтьев не видит правды всецелой. Он — человек, одержимый всю жизнь одной идеей. Но он видит и все ее противоречия, он, христианин и ученик оптинских старцев, отказывается от единой мысли, которой посвятил всю свою жизнь. Отказывается не потому, что признает мысль свою ошибочной: о, нет! Он отказывается только от единоборства с Богом. Но горделиво добавляет, что он все-таки прав. . .

Есть много даровитых писателей и немало интересных мыслителей. Но не так много среди них по-настоящему и по-своему умных людей. Людей острой и своеобразной мысли. Ведь мысль — вещь едкая и обжигающая. И сколько мыслителей нашего «философского ренессанса» уклонялось от строгой логики, подменяя доказательство своих положений поэтическими образами и аналогиями. При всей художественной конкретности своего мышления Леонтьев ни разу не уклоняется от чисто логического доказательства своих положений. Он — эмпирик, естественник. У Леонтьева органическое отвращение ко всякой морали, как элементу социологии и историософии. Он, как никто другой, совлекает парчевые покровы общественных предрассуждений с голых остовов социальных постулатов: свободы, равенства братства, социального здравого смысла. Он заставляет серьезно пересмотреть заржавевшее оружие социальной морали. Он заставляет перетряхнуть побитую молью аргументацию либерализма и либерального национализма. Он многое предвидел, многое понял до конца.

Леонтьев звучит так современно, что при изложении его взглядов можно оркестровать его мысль слишком модернистски. Поэтому лучше всего послушать его собственный голос. И задача настоящей статьи была скромной: заставить с а м о г о Леонтьева рассказать об эстетике жизни и истории. Извлечь из его статей, книг, заметок, всегда почти написанных по поводу злободневных вопросов его времени то, что не является злободневным, то, что нас волнует сегодня и будет волновать завтра. Односторонний яркий ум, он до конца пошел за своей большой, но отнюдь не всецелой истиной. Но

в наш век — век сильно стершихся и на один лад сформованных «средних людей», — хорошо соприкоснуться хотя бы изредка с великим врагом и ненавистником среднего, шаблонного, обескультуренного машиной и бытом человека. С тем, кто видит вечную красоту и развитие мира и культуры — в их внутреннем богатстве, многообразии, в их сложности и многогранности. Средний человек обездушивает великую когда-то культуру Евразии. И жесткий холодный ум и горячий темперамент Леонтьева давно уже определили и место, и значение, и судьбу этого среднего европейца.

А как писатель, Леонтьев, стремившийся вырваться из рамки, обычной для всех русских литераторов:

Т	Г	О	Г	О	Л	Ь	Д
У							О
							С
Р							Т
							О
Г							Е
							В
Е							С
							К
Н							И
							И
Е							
В	Т	О	Л	С	Т	О	Й

хотевший «разбить и сломать эту рамку», желавший «хотя бы на время свергнуть иго Гоголевской школы, от которой и Лев Толстой освободиться не мог», — писатель Леонтьев не вполне успешно, преждевременно, но пытается разрешить те задачи, которые станут перед русской литературой наших дней. Разрушение привычных повествовательных форм путем превращения романа и повести в почти неприкрытый и совершенно обнаженный (в «Египетском голубе», например) дневник; сближение жанров высокой публицистики, очерка, повести, романа — с частно-эпистолярным; непривычная в то время манера чередования почти натуралистической научной прозы с вкрапленными в нее диалогами и небольшими жанровыми сценками — и откровенно личных переживаний. И все время стремление возможно полнее отвоплотиться — наряду с признанием невозможности такого отвоплощения. . .

Леонтьев — герой скорее нашего времени, чем своей эпохи. Но и в наше время он все еще — слишком чужак, слишком много «бьет стеклы», по выражению Толстого. Но он таков, и кто хочет полюбить его — тот должен полюбить его со всеми его грехами и взлетами, падениями и прозрениями.

Н. ОТРАДИН

Россия и объединенная Европа

ЗАМЕТКИ ПУБЛИЦИСТА

ПОДВОХИ ДИАМАТА

В хаотическом и трудно обозримом потоке происходящих в эти годы социальных и политических событий и перемен, в котором все бурлит и еще не имеет тверди, позволяющей с той или иной долей вероятности угадывать контуры будущего, отдельные процессы все же можно считать такими, которые это будущее определяют в первую очередь. Один из таких процессов — экономическое, а за ним и политическое объединение Западной Европы, начатое вскоре после окончания второй мировой войны.

Мы уже привыкли к быстрым темпам и нам может казаться, что процесс этот развивается слишком медленно, что он запаздывает и потому сомнительно, чтобы он мог стать одним из важных явлений в течении современной истории. Но это впечатление скорее всего обманчиво: то, что в объединении Западной Европы уже достигнуто, следует считать большим прогрессом, учитывая огромные трудности, стоящие перед задачей такого объединения. Если объединяющиеся страны достаточно однородны по своей культуре, цивилизации, общественно-политическому устройству, то века их раздельной жизни, за линиями государственных границ и таможенных барьеров, ограждавших национальные эгоизмы, возвели множество препятствий, которые могли казаться неодолимыми. Но они постепенно, хотя и с большим трудом, преодолеваются и от первых шагов, в виде Объединения угля и стали и созыва совещательных учреждений, до создания Общего рынка, пройден уже значительный путь, — пройдя его, объединение Западной Европы выросло в международный фактор, игнорировать который не приходится никому.

Какое же положение по отношению к объединению Западной Европы занимает наша страна? За ответом на этот вопрос надо обращаться к политике возглавления коммунистического блока, к его

реакции на совершающийся на наших глазах процесс западного объединения. Если проследить эту реакцию в течение ряда лет, то можно прийти к выводу, что до самого последнего времени коммунисты большого значения этому процессу не придавали. Само собой разумеется, они осуждали его, заявляя, как всегда, с большой горячностью, что под видом объединения «империалисты» стремятся лишь укрепить свой «агрессивный» блок, что это объединение — дело рук «поджигателей войны» и «реваншистов», или что оно — маневр «капиталистических монополий», в изменившихся условиях старающихся таким путем обеспечить себе получение «сверхприбылей». Но все это оставалось как бы только на поверхности и за этой стандартной фразеологией не чувствовалось главного: что коммунистическое возглавление придает объединению Западной Европы серьезное значение и серьезно обеспокоено им.

Объяснение этому надо искать, видимо, как в практике, так и в теории коммунизма. Хотя, казалось бы, коммунисты располагают огромными ресурсами, в действительности у них не так много сил и средств, чтобы они могли охватывать все важнейшие изменения в мире и оказывать на эти изменения существенное влияние. Слишком много сил отнимают у них и тяжелое внутреннее положение, и необходимость активности на отдельных участках «внешнего фронта», чтобы они могли уделять внимание всем участкам. Кроме того, сказалось, вероятно, и сознание, что реально помешать западному объединению они не в состоянии — и коммунисты ограничивались привычными словесными наскоками, что к попыткам помешать собственно объединению не относится и составляет лишь часть их обычной деятельности как по ревнивому утверждению неизменной верности своим идеям, так и по общим попыткам подрыва сил противной стороны.

Своеобразие коммунистического мышления тоже должно было играть свою роль и заставлять коммунистов относить объединение Западной Европы к второстепенным проблемам. Идея «объединения капиталистов» слишком противоречит их взглядам. Диалектический материализм, как известно, не знает возможности разрешения противоречий (они будут разрешены только в «царстве свободы», в коммунистическом обществе), их примирения, синтеза, т. е. возможности наступления состояний гармонии, подлинного мира, — это положение для коммунистов неприемлемо. Ленин, возможно, не спроста предпочитал термин «снятие противоречий»: для воинствующего коммуниста понятие разрешения противоречий исключается; «снятие» же содержит в себе привкус необходимости применения силы, насилия, с помощью которого и «снимаются противоречия» в ленинско-сталинском царстве.

Об этой особенности коммунистического учения писал Б. П. Вы-

пеславцев в своей работе «Философская нищета марксизма», — она и оказывает коммунистам плохую услугу. Подвела она их и в оценке объединения Западной Европы. Видя всюду прежде всего противоречия и не веря в возможность их согласования, коммунисты продолжали подчеркивать «неразрешимость противоречий в капиталистическом обществе» и предсказывали, что противоречия внутри Европейского экономического сообщества, затем между ним и Англией и другими странами Свободного рынка, как и противоречия между Европой и Америкой объединения западных стран не допустят. Эти пророчества, однако, не помешали Западной Европе прийти к созданию Общего рынка — и только после этого коммунистическое возглавление проявило явное беспокойство.

Образование Общего рынка вызвало у коммунистов растерянность. Хрущев, правда, заявил, что Общий рынок «не мешает ему спать», но это явно не так: одновременно он опять выступил с острыми обвинениями «империалистов», утверждая, что Общий рынок — это экономическая агрессия, что он служит лишь укреплению НАТО, «проискам неоколониалистов» и т. д. В то же время была поспешно созвана конференция европейских «стран социализма», с целью создания своего экономического объединения, хотя, казалось бы, вся экономика этих стран и без того находится в полном ведении коммунистического возглавления и тесно им координируется. И больше: осуждая и понося Общий рынок, Хрущев предложил созвать международную конференцию, для создания своего рода «мирового общего рынка», — обвиняя Запад во враждебных действиях, коммунисты вместе с тем хотели бы участвовать в этой же деятельности, расширив ее.

Эта непоследовательность и, видимо, незнание, что же следует им предпринять, показывают, что коммунисты очевидно только теперь отчетливо поняли, какую опасность представляет для них объединение Западной Европы, в возможность которого они не хотели верить. И опасность не военную, а в первую очередь экономическую: образование Общего рынка еще более затрудняет экономические связи «лагеря социализма» с западным миром. В сущности, оно ведет к усилению хозяйственной изоляции «лагеря социализма», тогда как лагерь этот находится в состоянии перманентного экономического кризиса и крайне нуждается даже не в сохранении, а в расширении связей своей постоянно хромающей экономикой с западной. И боясь усиления изоляции, коммунисты от угроз переходят к требованиям не ухудшать и без того тяжелого их положения, не лишать необходимых им выгод от экономических связей с Западом. При этом они, конечно, хотят полностью сохранить свои политические позиции, почему и предлагают расширить рамки объединения только так, чтобы коммунисты не были обойдены в распределении

благ, производимых отвергаемым ими «капиталистическим» хозяйством, и потому могли бы продолжать свою деятельность в прежнем объеме.

Все это не ново; с одной стороны, это та же попытка использовать «капиталистов», т. е. Запад, в своих собственных целях: пользуясь услугами западного производства, «бить капиталистов их собственным оружием». С другой стороны, расширение рамок экономического объединения, с участием в нем коммунистов, лишило бы его эффективности: войдя в такое объединение, коммунисты саботировали бы его деятельность, стараясь извлекать выгоду только для себя, как они делают это, например, в ООН.

На предложение коммунистов Запад, конечно, не пойдет, хотя экономические связи с «лагерем социализма» и будут сохранены: они нужны не только коммунистам, но в какой-то мере и Западу. Однако, образование Общего рынка еще более ограничит и затруднит эти связи, что вызовет еще большее ухудшение экономического положения в «лагере социализма». И что еще хуже: западное объединение означает усиление и политической, и культурной изоляции Советского Союза и его сателлитов, — как раз тогда, когда все более остро ощущается необходимость устранения между ними и Западом всякой изоляции. Но это естественное следствие политики, ответственность за которую некому нести, кроме как коммунистическому возглавлению.

РОЛЬ НАРОДОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Обвинения коммунистов по адресу Запада в том, что объединительные усилия последнего направлены против «лагеря социализма», были бы справедливы, если бы у Запада были несомненные агрессивные намерения против этого лагеря в целом или против Советского Союза. Но таких намерений нет; вместе с тем невозможно отрицать, что объединение Западной Европы имеет целью и усиление западной обороноспособности от угрозы коммунистической агрессии, от мысли о которой коммунисты не отказывались никогда. Не случайно первые шаги к объединению были сделаны после окончательного захвата коммунистами власти в Чехословакии (и после захвата ими власти в Китае), когда рассеялись иллюзии о возможности мирного сотрудничества со вчерашним союзником по оружию. Тогда и возникла мысль о необходимости объединения своих ресурсов, чтобы Западная Европа могла, для отражения коммунизма, не полагаться только на США.

Но усиление своей обороноспособности — одна из причин, толкающих Запад к объединению. Как часто бывает в истории, эта яв-

ная причина может заслонять от нас, современников, более глубокие, не зависящие от воли действующих в данный момент политиков или групп, стимулы, поводы, повелительно требующие объединения. Они — в необычайном развитии техники, в изменении общего положения в мире, как и в изменении общественных воззрений и настроений и т. д. Объединение Западной Европы — одно из следствий современного развития, создающего условия, которые заставляют искать новых для нашего времени политических, экономических, социальных решений. И то, что Запад находит их, может говорить только о большой его жизнеспособности.

Оставляя в стороне другие причины, обратимся к одной из особенностей современного развития, побуждающей к объединению. Она общеизвестна, но редко обсуждается в качестве повода к объединению, возможно, из опасения вызвать хотя бы и неосновательные подозрения у других народов. Население земного шара перевалило за три миллиарда человек. По данным ООН, увеличение населения в том же темпе приведет к тому, что всего лет через сорок, к 2000 году, на земле будет более шести миллиардов человек. При этом, в настоящее время больше половины населения ведет голодный и полуголодный образ жизни, — через сорок лет эта пропорция может остаться той же и голодных и полуголодных на земле будет уже около четырех миллиардов человек.

Перед этой перспективой, таящей в себе возможность непредставимого социального и политического хаоса, бледнеют все нынешние достижения, вроде полетов в космос, как и обещания благополучия в будущем коммунистическом обществе. Перед ней не просто меркнут, но теряют всякое значение теории, подобные теориям о классовой борьбе, рождающим представления, что все зло — от капитализма, к тому же времен Маркса или Ленина, тогда как от капитализма того времени остаются лишь скверные воспоминания. И если помнить, что на течение истории оказывают влияние не только прошлое и настоящее, но и будущее, то эта перспектива (а она — не отдаленное будущее, она возникает из происходящего в наши дни) не может не вызывать у народов европейской культуры глубокой тревоги и за свою судьбу, и за судьбу своей культуры, и за ближайшую судьбу других народов.

Рост населения в малоразвитых странах далеко опережает рост населения в странах индустриальных, обеспеченных. Голодное и полуголодное население Китая, Индии, Индонезии, других стран Азии, Африки, Южной Америки увеличивается численно гораздо быстрее, чем население Европы и Северной Америки. И в очень недалеком будущем население последних может оказаться не меньшинством (меньшинством оно является и теперь), а малым островком в море других народов, — которые из своего голодного и по-

луголодного состояния могут выйти только с энергичной и длительной помощью народов европейской культуры. Эта непреложная истина сама собой подсказывает необходимость соединения сил последних.

Объединение народов европейской культуры, в каких бы формах оно ни происходило, и их помощь экономически отсталым народам, не имеет ничего общего с целями извлечения материальных или узкополитических выгод, как и с благотворительностью. Эта грандиозная задача возвышается над соображениями повседневной политики; она — суровая необходимость и решение ее жизненно важно для всех. Для народов европейской культуры это по существу средство спасения, — в равной мере это спасение и для народов других культур.

Безотносительно от того, насколько действены в международной политике этические соображения, следует подчеркнуть, что на первых лежит огромная моральная ответственность за успешное решение этой задачи, созданной развитием, от которого мы не можем ни уйти, ни отгородиться. Ответственность вытекает из того, что в последние века развитие общемировой истории проходило под водительством народов европейской культуры и вызвало «заражение» других народов европейскими идеями и европейской цивилизацией.

Отсталые ныне технически и экономически народы века и тысячелетия жили обособленной жизнью, по своим представлениям, отличным от европейских, без тесной связи с европейцами. Но теперь они уже вкусили плодов европейской цивилизации — и отказываются от них желая не проявлять. Притягательная сила этой цивилизации оказалась неотразимой и как-либо остановить процесс «европеизации мира» невозможно. Мы видим, как народы других культур поспешно перенимают европейские учреждения, организацию общественной жизни, едва ли не во всем подражая вчерашним хозяевам мира.

Однако, это подражание остается больше внешним, это еще не подлинное усвоение все-таки чуждых народам других культур ценностей. И хотя европеизация мира началась не вчера, пока в сущности еще ни один народ (следует подчеркнуть счастливое исключение — народ японский) не воспринял европейского отношения к труду и не овладел европейскими методами производства. А без этого приобщение к европейской цивилизации не может принести тех плодов, которые позволили бы отсталым народам приблизиться к европейскому уровню жизни.

Задача эта не невыполнима: пример ряда отсталых стран показывает, что, с помощью Запада, они успешно работают над реорганизацией своего народного хозяйства и поэтому не дают оснований утверждать, что народы других культур не могут освоить евро-

пейских методов. Но другие страны (в особенности там, где заметно влияние коммунистов или где последние находятся у власти) таких успехов не имеют. Разрушая привычный экономический строй, позволявший им как-то справляться со своими нуждами, к новому, более производительному строю они еще не начинают переходить и только безмерно ухудшают свое положение.

Распространение европейских навыков среди хозяйственно отсталых народов сопряжено с огромными трудностями, практически оно под силу лишь соединенным усилиям стран европейской культуры. С этой точки зрения разделение последних на два враждующих лагеря можно рассматривать, как их попытку покончить самоубийством. И если война между ними, с применением ракетно-ядерного оружия, была бы «горячей» формой их самоубийства, то и нынешняя, «холодная» форма войны остается лишь замедленным способом самоубийства, за которым следует не «закат Европы», а, вернее всего, новое одичание человечества.

Отсталым странам нужна эффективная и разносторонняя помощь. Прежде всего им нужна собственная интеллигенция: агрономы, инженеры, учителя, врачи, администраторы и т. д. Но в таком учреждении, как московский «университет дружбы имени Лумумбы», их не подготовишь: это заведение готовит в первую очередь коммунистические кадры для отсталых стран, а не потребную им интеллигенцию. В высших учебных заведениях Запада учатся тысячи студентов из отсталых стран, но это еще капля в море.

В настоящее время неизменно происходит следующее: тотчас же по обретении независимости той или иной бывшей колониальной страной, ее новые руководители немедленно отправляются в Вашингтон, Лондон, Париж, Бонн или в Москву с просьбой (а иногда и с требованием) об оказании им экономической помощи. Помощь им действительно нужна: страна, находящаяся нередко чуть ли не на первобытном уровне развития, своими силами не может хотя бы начать выбираться из отсталого состояния. Помощь ей оказывается. Но в разделенном на два враждующих лагеря мире она, как правило, либо непосредственно связывается с политическими целями того или другого блока, либо все же остается в зависимости от этих целей. Это в одних случаях понижает эффективность помощи, а в других сводит ее к нулю.

Запад тратит большие средства на экономическую помощь отсталым странам; оказывает им помощь и коммунистический блок. Но до последнего времени она выливалась иногда в трагикомический фарс. Не так давно в западной прессе, например, сообщалось, что одной из африканских стран Советский Союз, в порядке экономической помощи, прислал... снегоочистители, хотя о снеге в этой экваториальной стране знают разве только по картинкам. В порту

другой такой же страны недавно возвышалась белая гора — из унитазов для уборных, щедро присланных тоже из Советского Союза, видимо, для установки в убогих негритянских хижинах. Может быть, то и другое было прислано по просьбе руководителей этих стран, жаждущих приобщиться к цивилизации и обзавестись приглянувшимися им диковинками, — но почему всякая просьба должна непременно уловлетворяться?

Западные страны тоже охотно выполняют не менее диковинные желания руководителей новых стран — и в бедных селениях центральной Африки, в непроходимых джунглях, появляются роскошные американские автомобили, в виде украшения и свидетельства могущества их новых владельцев: ездить на этих автомобилях нельзя, там не проедешь и на вездеходе. Вожди новых стран (тоже чаще всего из сочувствующих коммунистам) поспешили возвести величественные дворцы для правительственных учреждений и лично для себя; их министры появляются в западных столицах на рольс-ройсах, тогда как министры европейских правительств часто довольствуются автомобилями, доступными на Западе людям со средним заработком. Чиновники, члены парламентов некоторых новых стран получают оклады, значительно превышающие оклады членов парламентов западных стран. Все это — за счет экономической помощи, которая должна помочь отсталым странам преодолеть нищету своего населения.

Другая сторона медали: некоторые из недавно получивших независимость стран спешат индустриализироваться; индустриализация, пропагандируемая коммунистами, стала какой-то манией, овладевающей обычно «вождями», одержимыми стремлением к величию и ни с какими здравыми соображениями не считающимися. Так, в Египте построили сталелитейный завод, сырьем для которого поблизости нет и продукция которого будет стоить во много раз дороже, чем привезенная со стороны. Такая беспорядочная индустриализация, диктуемая не экономической необходимостью и задачей развития своего народного хозяйства, а политическим престижем, поглощает большие средства, остающиеся омертвленными. Это, однако, как и отмеченные выше явления, неизбежное следствие разделения европейских народов, оказывающих помощь отсталым странам, на два враждующих лагеря.

Но и там, где экономическая помощь приносит ощутимую пользу, она пока остается почти безрезультатной. Индия, например, некоторые другие страны Азии получают большую помощь уже не один год и достаточно успешно используют ее: они модернизируют свое сельское хозяйство, возводят промышленность и т. д. Это увеличивает их национальный доход, — но доход на душу населения не возрастает: прирост дохода съедается быстрым приростом населения

и положение его почти не меняется. Получается заколдованный круг, выйти из которого можно, видимо, только при усилении разносторонней помощи отсталым странам, при лучшей организации ее, для возможности быстрой интенсификации народного хозяйства этих стран. Но как достичь этого в условиях разделения на два враждующих блока?

Между тем перед задачей общей перестройки отношений в мире, и прежде всего отношений экономических, в условиях быстро совершающейся эволюции, политические распри между народами европейской культуры, как бы не были они остры — только своего рода «спор славян между собою». Эти распри, как и всякого рода конфликты внутри каждой страны, неизбежные, но преодолимые, не могут быть источником непримиримой вражды. И если они все-таки остаются источником такой вражды, то это только отчасти можно относить за счет непонимания задач времени среди западных или коммунистических политиков. Главным же образом здесь не непонимание, а одержимость, с которой коммунистическое возглавление настаивает на том, что только одно оно способно успешно решать все и всяческие проблемы в мире.

Коммунистические утверждения, что «западные империалисты» хотят установить свое господство над всем миром, могут вызывать разве лишь недоумение, если эти утверждения принимать всерьез. Западные «империалисты» чувствуют себя сейчас не менее неугодно, чем многие коммунисты; они ломают себе головы над поиском лучших решений современных задач, но отнюдь не над тем, как бы им захватить «господство над миром». Во всяком случае, Запад не приходится обвинять в одном: в том, что он не хотел бы работать вместе с Россией в деле реорганизации мира. Западные «империалисты» не мало старались добиться совместной работы даже с коммунистами, в истекшие после войны годы. Но они наталкиваются на категорический отказ коммунистического возглавления, смысл ответа которого всегда одинаков: «Только под нашим руководством».

НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ

В свете историософии Арнольда Тойнби, перестройка отношений в мире, необходимость основания их на новых принципах — это тот неумолимый вызов истории, на который мы должны дать ответ. Как справимся мы с этим вызовом, насколько справимся и справимся ли вообще?

Ответ уже есть, и как будто бы, он один для всех. Этот ответ — хартия Объединенных Наций, содержащая основные условия со-

временного построения общежития народов всего нашего мира. И как бы ни была несовершенна Организация Объединенных Наций, как бы не оказывалась она во многих случаях бессильной (опять-таки из-за разделения на два блока), значения ее это все же не может подрывать. Авторитет ООН признается всеми и ни одно государство не может отвергать основные документы ООН: в нынешних условиях они свидетельствуют о так чаемом единстве человечества и отражают ту самую его добрую волю, над которой могут издеваться насильники всех мастей, которую они могут узурпировать, но открыто отрицать которую не под силу даже им.

Но в действительности мы имеем два ответа. Один — ответ Запада, совпадающий с хартией ООН. Кроме этой хартии, других идей по современной организации мира Запад не имеет вообще. Поэтому как бы он временами не совлекался с прокладываемого хартией ООН пути, Западу некуда возвращаться, как на этот же путь.

Иначе у коммунистического блока. Его возглавление тоже не может игнорировать ООН и не признавать их основных документов, — но последние для него в действительности не обязательны и оно рассматривает их, только как вспомогательное средство для осуществления своих идей, своего ответа на вызов истории. Идеи свои коммунисты не скрывают, — таким образом получается, что мы имеем два ответа: западный, демократический, и ответ коммунистов, антидемократический.

Коммунистический ответ известен: «социальная революция», ликвидация «буржуазного строя», замена его «диктатурой пролетариата», т. е. диктатурой вождей компартии, и под их властью — переход к социализму и коммунизму. В этой столетней давности схеме детали могут претерпевать некоторые изменения, сущность же ее не меняется и неизменной остается ее отличительная черта: ее властный характер, резко выраженное стремление к господству, владычеству и нетерпимость ко всему, что не согласно с ним.

Это и определяет принципиальное различие западной и коммунистической практики. Западная политика, в том случае, если Запад не сталкивается с непосредственной угрозой своему существованию, носит характер предложений о совместной деятельности, она стремится согласовать имеющиеся или возникающие противоречия, — коммунистические «предложения» всегда ультимативны. Коммунисты отказываются от совместной деятельности (если не надеются извлечь из нее политических выгод для себя), они действуют сепаратно и они не предлагают, а требуют: отдайте нам власть и мы будем поступать так, как сами находим нужным («только под нашим руководством!»). Но это сейчас мало кого устраивает: господствующие во всем мире демократические настроения на первое место ставят вопрос не о власти, а о совместном существовании и о

совместной деятельности. И никакие тактические ухищрения и политические маневры не могут скрыть того, что у коммунистов ударение поставлено не там, где оно должно быть, — а это делает их ответ несостоятельным.

Несостоятельность коммунистических претензий на руководство процессом реорганизации отношений может быть особенно видна в области экономики, в частности, в вопросе хозяйственной перестройки отсталых стран. Выше уже говорилось, что страны европейской культуры, на двух полюсах которых находятся Россия и Соединенные Штаты Америки, силой исторического развития поставлены перед необходимостью играть в этом процессе наиболее активную роль. Обладая самой высокой производительностью, они еще долго будут главным промышленным арсеналом мира и заменить их некому. Причем, роль эта должна быть выполнена ими демократическим путем, в рамках хартии ООН, в соответствии с преобладающими общественными настроениями. Но коммунистический сепаратизм путает карты, он пытается сорвать эту роль, — тогда как опыт давно показал, что сами коммунисты справиться с ней не могут.

Задача ясна: странам европейской культуры необходимо помочь народам других культур развить свои производительные силы и подняться к уровню жизни первых. При этом задача должна выполняться так, чтобы уровень жизни в странах европейской культуры не был бы снижен, иначе получилась бы бессмыслица, означающая, что решение в действительности не найдено. Это мы и видим у коммунистов.

За сорок лет хозяйствования в России коммунисты добились только того, чтобы Россия не слишком отставала от Запада в своем промышленном развитии. Это единственная их заслуга, если это можно считать заслугой, в особенности учитывая, каких жертв стоила (и продолжает стоить) индустриализация по их методу. В сельском хозяйстве коммунисты не добились и этого и оно при них даже деградировало; время от времени коммунисты вынуждены ввозить в Советский Союз даже продовольствие. Удовлетворить в достаточной мере потребность населения в продуктах, как и в промышленных товарах, коммунисты с помощью своих методов хозяйствования не в состоянии. Сосредоточивая средства на определенных участках, они могут производить современное оружие, запускать спутников в космос и т. д., — эти достижения, служащие престижу и охране режима, оказываются для них более легким делом, чем снабжение своего населения товарами первой необходимости.*) Как же в таком случае могут они успешно участвовать в помощи развитию отсталых стран, если им не под силу обеспечить

*) В Москве ходит такой анекдот: «Советское правительство запустило много спутников и сельское хозяйство».

свое население? Опять за счет этого населения, за счет снижения уровня его жизни? Но это только доказывает неспособность коммунистов к удовлетворительному решению задачи. Запад между тем способен и вооружаться, и исследовать космическое пространство, и помогать отсталым странам, не снижая у себя уровня жизни, остающегося для коммунистов недостижимым.

За семнадцать лет их власти в ряде стран центральной и южной Европы, захваченных коммунистами после второй мировой войны, эти страны пришли в бедственное состояние. Если уровень жизни в Чехословакии или в советской зоне Германии до войны был одинаков с уровнем жизни в других западных странах, то при коммунистах он резко понизился. В «странах социализма» постоянно недостает и сельскохозяйственных, и промышленных товаров и нужда там неизбежна. Югославия и Польша в какой-то мере живут за счет американской помощи; советская зона Германии не раз пыталась получить помощь, в несколько миллиардов марок, от Западной Германии.

Пример Китая еще более нагляден: за двенадцать лет головокружительных «прыжков в социализм», коммунисты полностью развалили там народное хозяйство, в чем в конце концов вынуждены были признаться сами. Это однако не мешает им говорить, что строй их все-таки «самый передовой», которым они хотят осчастливить и другие народы.

Аналогичные утверждения советских коммунистов об их «самом передовом строе», о «самых передовых социалистических методах производства» и т. д. приведенными только-что фактами опровергаются начисто. Эти факты показывают, что коммунистическая организация народного хозяйства сравнения с западной не выдерживает и успешно содействовать решению задачи экономического развития отсталых стран не может. В этом, кстати, уже убедились многие руководители последних, что заставляет их менять ориентацию. Еще два-три года назад они охотно обращались за помощью к «странам социализма», — охота к этому однако у них постепенно пропадала: «лагерь социализма» часто не в состоянии им помочь и ограничивается обещаниями (коммунисты щедры только в поставке оружия отсталым странам, со своими «специалистами» в придачу). Но если коммунисты могут кормить обещаниями свое население, то отсталым странам обещаний недостаточно.

Хозяйственная несостоятельность коммунизма обусловлена, как известно, полным подчинением экономики у коммунистов политике, точнее — политическим интересам коммунистического возглавления: на первом плане у них всегда — вопросы не лучшей организации управления, народного хозяйства, общественной жизни и т. д., а лучшего сохранения и распространения своей власти. Совет-

ские коммунисты еще более или менее старательно прикрывают эту основную суть своей системы соображениями социальной справедливости, заботой о «благе народа» или «благе социалистической родины», — китайские коммунисты действуют откровеннее и фигурными листками пользуются не всегда.

Китай может служить самым убедительным примером пагубности специфической «помощи» коммунистических политиков остальным странам. Советские коммунисты энергично помогали китайским коммунистам захватить в Китае власть, установить там «демократическую диктатуру народа» (выражение Мао Цзе-дуна, в выдумке таких казуистических терминов далеко опередившего советских коммунистов) и начать «социалистическую реконструкцию». Все это стоило нашей стране огромных средств, отнятых у нее ради «мировой революции». Затем наступило охлаждение, вызванное якобы «идеологическими разногласиями», а в действительности стремлением китайских коммунистов освободиться от опеки возглавления КПСС, чтобы самим возглавить коммунистическое движение, по меньшей мере в Азии, Африке, отчасти в Южной Америке. Властный характер этого движения у китайских коммунистов проявился более явно, чем у коммунистов других стран.

Возглавление КПСС почти совсем прекратило помощь китайским коммунистам; отказ предоставить атомное оружие вызвал особенное раздражение последних. Но КПСС успела передать им атомный реактор (разумеется, для мирных целей), помогли им и в подготовке атомных специалистов — и сейчас ни для кого не секрет, что в Китае лихорадочно ведутся работы по изготовлению атомной бомбы. По мнению западных ученых, китайские коммунисты обладают всем необходимым для этого и через год, два атомная бомба будет у них в руках.

Бедственное положение населения в Китае известно всем; там голодают сотни миллионов человек, — коммунисты между тем заняты изготовлением атомной бомбы, что по средствам только богатым промышленно развитым странам. Зачем нужна им атомная бомба, они не скрывают; в одной из резолюций китайской компартии, например, говорится:

«После ядерной войны и потери миллионов жизней Народный Китай, благодаря своему географическому пространству и величине населения, останется великой державой, скорее всего, единственной в мире. Во всяком случае он будет обладать преимуществом перед СССР, который первым примет атомный удар Запада.»

Это высказывание исчерпывающе характеризует возглавление китайской компартии; оно показывает, кому так энергично помога-

ли советские коммунисты захватить в Китае власть. Заставляет оно задумываться и над тем, что «передовое учение марксизма-ленинизма» в восприятии коммунистов из народов других культур может преломляться еще более катастрофическим образом, о чем, вероятно, никогда не возникла мысль ни у Ленина, ни у его последователей, спешивших «через Пекин и Калькутту» поскорее прийти «в Париж и Лондон». До Лондона и Парижа, однако, и в наши дни коммунистам остается долгий путь, — избранное же ими направление свидетельствует о вопиющей безответственности вождей коммунизма, крепких, видимо, лишь задним умом. Нет сомнения, что теперь многие советские коммунисты, видя развитие дел в Китае, в душе признают, что помощь китайским коммунистам была преступной и что помогать надо было не им, а демократическому Китаю, который был бы занят своим мирным развитием, но не подготовкой к империалистическому возвышению.

Можно ли поэтому удивляться, что Запад вынужден отгораживаться от подобной коммунистической деятельности? Запад естественно боится пагубного для всех коммунистического влияния на экономическое и политическое состояние мира и должен принимать меры для нейтрализации этого влияния. В этой связи можно подчеркнуть, что, в частности из-за присущего еще Западу недостаточного понимания коммунистической деятельности, меры эти Запад обычно принимает неохотно и нередко запаздывает с ними; он прибегает к ним тогда, когда коммунисты вынуждают его к этому. Коммунистическое возглавление и рассчитывает на непонимание; однако, надежды его напрасны: как Запад ни неповоротлив, перед явной угрозой себе он действует с необходимой решительностью, так как желания к капитуляции у него нет.

Но отгорожение от коммунистической деятельности не означает, что Запад отгораживается и от «стран социализма», от их народов. Запад хотел бы с ними сотрудничать, больше того, он нуждается в таком сотрудничестве. Его объединение тоже не направлено против этих стран. Де Голль недавно говорил, что граница европейского объединения должна была бы проходить по Уралу, подчеркивая этим, что Запад не желает выключения России из Европы и хотел бы видеть ее в своем объединении. Потом в этом же духе высказался и Аденауэр.

Здесь, очевидно, следует внести поправку: восточная граница России лежит не на Урале, а на Тихом океане. Поэтому в той или иной форме объединение народов европейской культуры охватывало бы огромный массив от Тихого океана до Атлантического; включая за океаном Соединенные Штаты Америки и Канаду, оно распространялось бы почти на все северное полушарие. Такому объединению, конечно, была бы по плечу любая задача по лучшему

устроению мирового общежития народов, в соответствии с современными настроениями, запечатленными в основных документах Объединенных Наций.

Заклучим эти размышления вот чем: сто лет назад для поездки из Петербурга в Москву надо было несколько дней, — теперь для полета из Москвы в Нью-Йорк требуется несколько часов. О том, что происходило в «Новом свете», сто лет назад узнавали через несколько месяцев, — теперь мы узнаем через несколько минут. Жизнь в Китае, Индии, где-нибудь в центральной Африке тогда могла представляться лишь экзотикой и нам практически не было равно никакого дела до того, как там живут и как справляются со своими заботами. Теперь мы вынуждены не только знать, но и помогать народам там бороться с нищетой.

Само собой разумеется, что это заставляет смотреть не с тех колоколен, с которых смотрели сто и даже пятьдесят лет назад, когда примерно три четверти населения земли жило в колониальных или зависимых от Европы странах. Тогда колоколья Карла Маркса могла казаться головокружительно высокой, — теперь с нее не увидишь и того, что происходит рядом с тобой. Тогда могло казаться, что с нее открываются мировые горизонты, и в истинном освещении, — теперь эти горизонты сузились, а освещение померкло. И если коммунисты еще думают, что они действуют «в мировом масштабе», то в действительности, в другом времени и в других условиях, когда, в частности, колониальных народов на земле не остается и надо устанавливать новые отношения, коммунистическая деятельность и методы отвечают требованиям деятельности разве лишь в масштабах, скажем, Рязанской губернии, что, впрочем, тоже сомнительно. В другом времени и в других условиях, как показывает тот же пример Китая, деятельность эта не бесплодна: она неизмеримо множит плоды зла. И, несмотря на все пережитое, приходится думать, что нас может ждать еще горшее, — например, когда китайские коммунисты будут иметь в руках атомную бомбу и начнут с ее помощью шантажировать другие народы, еще изощреннее и brutальнее, чем коммунисты, более близкие нам.

И еще одно: со времени возникновения нашего государства мы жили в постоянном общении с Западом, часто враждебном, в стычках и войнах, но больше дружеском и деловом. Эти отношения прервались только во время монгольского нашествия, но после его ликвидации возобновились снова. И какова бы ни была наша «особенная статья», все лучшее, что мы имеем, наша культура, наша ци-

виллизация, возникли из одного с Западом источника и развивались в общении с ним. Европа — наш дом; когда мы шли по дороге с Западом, мы играли далеко не последнюю в мире положительную роль.

Сорок с лишним лет назад нас бросило куда-то в сторону и, как и при монгольском нашествии, нас замкнули в своем пространстве, чтобы мы варились в собственном соку. Из этого пространства коммунисты дотягиваются до Кубы, Южной Азии и других отдаленных мест, они залетают и в космос, — но это только партизанские набеги, опасные вылазки из вооруженного лагеря, в котором мы остаемся изолированными от других народов и в котором нам предлагают дружить лишь с такими сомнительными личностями, как Мао Цзе-дун, Фидель Кастро, Вальтер Ульбрихт и другие большие и малые диктаторы.

Из этого состояния, думается, невозможно увидеть другой выход, как прекращение искусственно созданной изоляции и возвращение в свой дом, чтобы мы могли жить общей жизнью со всеми народами европейской культуры. Это дало бы нам возможность быстро залечить свои раны, покончить с нуждой: производительные силы нашей страны огромны и при здоровом их развитии мы без особого напряжения сможем удовлетворять свои потребности и уделять блага другим, нуждающимся. Тогда мы сможем снова играть большую созидательную роль в общей деятельности, теперь уже по устройению мирового общежития народов, — и может быть, благодаря именно нашей «особенной стати», наш вклад в эту деятельность будет особенно ценным, таким, которого Западу недостает. Не напрасно на Западе многие проявляют сейчас повышенный, живой и доброжелательный интерес к России: Запад ждет от нее помощи, подкрепления своим силам. И только коммунизм заставляет его относиться к нам настороженно.

Переход от пагубного коммунистического сепаратизма к общей деятельности, к демократии, политической и хозяйственной, — другого выхода у России нет.

И. А. КУРГАНОВ

Социалистические государства и национал-коммунизм

I. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГОСУДАРСТВО ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

В основе коммунизма лежит классовая теория. Эта теория утверждает, что классы возникли на заре общественного развития в связи с возникновением частной собственности на средства производства. Частная собственность разделила общество на классы и, прежде всего, на два основных антагонистических класса — эксплуататоров и эксплуатируемых. В рабовладельческом обществе это были рабовладельцы и рабы, в феодальном обществе — феодалы и крестьяне, в капиталистическом обществе — буржуазия и пролетариат. Эксплоататоры всегда составляли меньшинство, а эксплуатируемые — огромное большинство населения. Чтобы держать в узде эксплуатируемое и, значит, недовольное большинство населения, необходим был аппарат политического принуждения и насилия. Таким аппаратом в руках эксплуататоров и стало государство. Следовательно, государство является политическим аппаратом экономического господствующего класса.

Экономически господствующим классом капиталистического общества является буржуазия. Буржуазное государство представляет собой аппарат подавления пролетариата. Но пролетариат борется за свое освобождение и в результате этой борьбы на смену капиталистическому обществу неизбежно приходит социалистическое общество. В социалистическом обществе частная собственность на средства производства ликвидируется, вместе с ней ликвидируются и классы. Государство, как аппарат классового подавления, оказывается не нужным; оно отмирает. Но это происходит не сразу. Между капиталистическим и социалистическим обществом неизбежен переходный период, в течение которого государство в руках пролетариата служит в качестве аппарата ликвидации буржуазных клас-

Глава из готовящейся к печати книги.

сов и строительства социализма, то есть бесклассового социалистического общества. С завершением строительства социализма государство отмирает окончательно. Такова теория.

Однако, всякая теория проверяется практикой. Практика СССР не подтвердила этой теории. В двадцатых и первой половине тридцатых годов классы в СССР были ликвидированы; было объявлено, что социализм в СССР построен и общество стало бесклассовым.

Но государство продолжало существовать и не только не было никаких признаков его отмирания, а наоборот, появились признаки резкого его усиления. Значит, теория не верна: либо государство не является классовым, либо социализм не является бесклассовым. Попробуем это выяснить.

Марксистская теория о государстве переходного периода является частью общей теории мировой революции. Маркс и Энгельс полагали, что мировая революция произойдет, как единовременный удар во всех или большинстве цивилизованных стран мира и после этого наступит переходный период от капитализма к социализму, в течение которого пролетарское государство ликвидирует остатки буржуазных классов и затем отомрет. Но Ленин, изучая дальнейшее развитие капитализма, пришел к заключению, что вследствие неравномерного развития экономики, коммунистическая революция произойдет сначала в немногих или даже в одной отдельно взятой стране и затем распространится на все страны мира. Действительно, коммунистическая революция произошла сначала только в России. Но революция в России, как в одной отдельно взятой стране, была лишь началом мировой революции.

«Мы никогда не скрывали, — говорил Ленин, — что наша революция только начало, что она приведет к победоносному концу только тогда, когда мы весь свет зажжем таким же огнем революции».

В связи с тем, что революция произошла не одновременно во всех цивилизованных странах, а в одной отдельно взятой стране, характер переходного периода оказался иным, чем предполагали Маркс и Энгельс.

Чтобы зажечь «весь свет» огнем коммунистической революции, партия должна была заставить население России работать не столько на национальные, сколько на интернациональные цели. В связи с этим возникло одно из основных противоречий коммунизма — противоречие между национальными интересами народа и интернациональными интересами партии, обусловившее необходимость государства и после построения социализма. Вследствие тех же причин переходный период растянулся на чрезвычайно длительный срок и охватил два неравных по времени и различных по характеру этапа. На первом этапе происходило движение от классового капиталистического общества к бесклассовому социалистическому

обществу и государство в руках партии имело еще классовую основу — оно «выкорчевывало» остатки буржуазных классов, стрсило социализм. Завершив строительство социализма, государство продолжало существовать, так как это был социализм только в одной отдельно взятой стране. Наступил второй этап — распространение социализма на другие страны, и с этой целью начато усиленное строительство военной промышленности. Но строительство именно военной промышленности требует от народа огромных жертв и естественно вызывает недовольство народа. Государство стало особенно необходимым как для подавления народа, так и для превентивной ликвидации всех, кто может возглавить нацию в борьбе против интернациональной политики партии. На этом этапе переходного периода сложились отношения новой эксплуатации и, значит, новых классов. Эксплуатирующим классом стала партия, превратившаяся в господствующий класс, а эксплуатируемой массой стал народ, превратившийся в угнетенный класс. Так как переходный период, теоретически говоря, должен продолжаться вплоть до победы и окончательного закрепления коммунизма во всем мире, то партия в течение нескольких поколений окончательно и прочно превратится в господствующий класс, привилегированный не только в экономической, но и во всех областях общественно-политической жизни. И поскольку классы добровольно с политической арены не уходят, постольку впредь до новой неизвестной нам революции коммунистическое общество останется классовым. Бесклассовым может быть только демократическое государство, демократическое не только в политической, но и в экономической области. Такого государства пока не существует, но ряд государств современного мира развивается на путях к нему. Такова действительность.

Что же в таком случае представляет собою СССР, как государство? В классовом отношении оно представляет собою диктатуру партии, а в национальном отношении — федерацию. Остановимся на этом несколько подробнее.

ГОСУДАРСТВО, КАК ДИКТАТУРА ПАРТИИ

В свое время Маркс и Энгельс полагали, что государство переходного периода будет диктатурой пролетариата. В «Критике готской программы» Маркс писал, например, что —

«Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата».

Маркс и Энгельс решительно подчеркивали, что захвативший политическую власть пролетариат не может просто овладеть буржу-

азным государством, он должен его сломать и на его месте построить новый государственный аппарат своей собственной диктатуры. Горячим сторонником диктатуры был и Ленин. Он говорил, что —

«Переход от капитализма к коммунизму, конечно, не может не дать громадного обилия и разнообразия политических форм, но сущность будет при этом неизбежно одна: диктатура пролетариата».

Учение о диктатуре пролетариата считалось основным положением марксизма. Всякое колебание в этом вопросе — преступный ревизионизм. В третьем томе МСЭ, вышедшем в 1959 году, специально подчеркивалось:

«Отрицание ревизионистами диктатуры пролетариата означает полный отказ от марксизма, разоружает народы стран социалистического лагеря перед лицом растущей военной мощи империалистических государств».

Тем не менее в новую, утвержденную 22 съездом, программу КПСС внесено следующее положение:

«Обеспечив полную и окончательную победу социализма... диктатура пролетариата выполнила свою историческую миссию и с точки зрения задач внутреннего развития перестала быть необходимой в СССР. Государство, которое возникло, как государство диктатуры пролетариата, превратилось на новом, современном этапе в общенародное государство».

Что же это значит? Это ровным счетом ничего не значит: пустая словесность. Никакой диктатуры пролетариата никогда не было. Была, есть и будет при коммунизме диктатура партии. Новая программа никакого изменения здесь не вносит и никакого значения не имеет. В свое время Бакунин в полемике с Марксом говорил, что никакой диктатуры пролетариата никогда не будет — «... государство будет ничем иным, как деспотическим господством над народными массами... начальников коммунистической партии». Жизнь полностью подтвердила предсказания Бакунина. Вскоре же после прихода коммунистов к власти практически обнаружилось, что новая власть представляет собою не диктатуру пролетариата, а диктатуру партии. И Ленин принужден был открыто заявить: «Когда нас упрекают в диктатуре партии, мы говорим: Да, диктатура одной партии! Мы на ней стоим и с этой почвы сойти не можем». Почему? Потому, разъяснял XII съезд партии, что —

«Диктатура рабочего класса не может быть обеспечена иначе, как в форме диктатуры его авангарда, т. е. коммунистической партии».

Жизнь показала и партия это подтвердила, что диктатура пролетариата — это, прежде всего, диктатура партии. Но это не все. Жизнь далее показала, что диктатура партии не может быть обеспечена, если партия не представляет собою железную когорту, организованную по военному образцу и слепо подчиняющуюся своему

руководству. Диктатура партии неизбежно сводится к диктатуре ее руководства. Но и это не все. Жизнь показала, наконец, что руководство партии не может осуществлять диктатуру, если оно не имеет единой воли, сосредоточенной в личности вождя. Вождь тоталитарной партии объективно и неизбежно становится единоличным диктатором. И никто иной, как Ленин, дал этому идеологическое обоснование. Ленин говорил:

«Советский социалистический демократизм единоличию и диктатуре несколько не противоречит; волю класса иногда осуществляет диктатор, который иногда один больше делает и часто более необходим».

Таким образом, коммунистическая власть является диктатурой партии, и не вообще партии, а ее вождя. Что же представляет собою эта диктатура? Ленин и это разъяснил:

«Научное понятие диктатуры означает не что иное, как ничем неограниченную, никаким законом, абсолютно никаким правилом не стесненную, непосредственно на насилии опирающуюся власть».

Значит, государство в СССР (в той его части, в какой оно является аппаратом подавления) представляет собою на насилии основанную диктатуру партии и ее первого секретаря.

ГОСУДАРСТВО, КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СССР представляет собою особый тип национальной федерации, в которой политическая власть принадлежит не нациям, а коммунистической партии, стремящейся к ликвидации всех наций и государств. Партия строит социализм, причем, говорит Ленин —

«Целью социализма является не только уничтожение раздробленности человечества на мелкие государства и всякой обособленности наций, не только сближение наций, но и слияние их», —
то есть ликвидация всех наций и построение единого мирового государства.

Так как революция в России была лишь началом мировой революции и Россия после революции стала плацдармом наступления мирового коммунизма, то СССР имеет уже не национальный, а интернациональный характер; он задуман, как новая государственная форма, способная по мере распространения коммунизма включать в свой состав все новые и новые нации и в конечном счете превратиться в единое объединение всего человечества. В соответствующем декрете об организации СССР было специально подчеркнуто, что такая форма построения государства является —

«... решительным шагом к постепенному объединению всех стран в одну мировую советскую социалистическую республику».

Значит, с точки зрения государственной формы, СССР — это не Россия, не русское национальное государство, а мировая республика.

лика, мировое интернациональное объединение, лишь начинающееся в России. Ленин, предложивший этот новый тип государства, с гордостью говорил:

«Мы создали советский тип государства, начали этим новую всемирно-историческую эпоху», —

то есть эпоху постепенного превращения существующих государств в советские социалистические республики и включения их в готовую государственную форму — СССР, как постепенно складывающуюся мировую федерацию, находящуюся под руководством интернациональной коммунистической партии — КПСС.

Процесс включения все новых и новых наций в состав СССР, процесс роста СССР, как мирового объединения, начался в тридцатых и сороковых годах перед и во время второй мировой войны. Напомним для иллюстрации некоторые факты.

1. По договору между Гитлером и Сталиным была, например, разделена Польша и, как говорит МСЭ, «5-я сессия Верховного Совета СССР 1-2 ноября 1939 удовлетворила просьбу народов Зап. Украины и Зап. Белоруссии о принятии их в Союз ССР». Западная Украина и Западная Белоруссия (без всякой, конечно, просьбы народа) были включены в состав национальных республик мировой федерации — СССР — и в орбиту интернациональной власти КПСС.

2. В июне 1940 года советские войска захватили Прибалтику. В июле было объявлено о преобразовании прибалтийских государств в Латвийскую, Эстонскую и Литовскую социалистические республики. В августе 1940 года эти республики были приняты в состав СССР. Таким образом прибалтийские государства были включены в состав мировой федерации и в орбиту интернациональной власти КПСС.

3. В ноябре 1939 года коммунисты напали на Финляндию и в конце концов «вынудили Финляндию к капитуляции». От Финляндии был отторгнут Карельский перешеек и г. Выборг. Карельская ССР была преобразована в Карело-Финскую республику. Таким образом часть Финляндии была включена в состав национальных республик мировой федерации и в орбиту интернациональной власти КПСС.

4. В июне 1940 года Румыния по требованию коммунистов передала Советскому Союзу Северную Буковину и Бессарабию. Северная Буковина и часть Бессарабии были включены в Украинскую ССР, а основная часть Бессарабии вошла в состав Молдавской АССР, которая 2 августа была преобразована в Молдавскую ССР. Таким образом и эти области были включены в состав национальных республик мировой федерации — СССР и в орбиту интернациональной власти КПСС.

5. В 1921 году Урянхайский край был преобразован в Тувинскую народную республику. И, как говорит МСЭ, «... при братской помощи Советского Союза, Тува стала на путь постепенного перехода от феодализма к социализму, минуя капитализм... 11 ноября 1944 Тува была принята в СССР». Таким образом и эта область была включена в состав национальных республик мировой федерации — СССР и в орбиту интернациональной власти КПСС.

На основе этих исторических примеров подчеркнем, что процесс расширения СССР происходил, как правило, в два этапа: сначала государство или область превращались в социалистическую республику данной нации, а затем эта республика включалась в состав СССР, как мировой федерации. Противоречие между национальными интересами народа и интернациональными интересами КПСС при этом не снималось, но оно вуалировалось национальной видимостью федерации и легко подавлялось террористическим аппаратом по существу единого монолитного государства, как внутрисоветское течение. Так до войны строился СССР, как мировая федерация, и так под сенью этой федерации распространялась интернациональная власть коммунизма. Положение однако изменилось после войны.

II. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ

ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

После войны вся восточная Европа, занятая советскими войсками, оказалась в руках СССР, то есть в руках КПСС. Партия немедленно приступила к первому этапу коммунизации занятых ею государств. На глазах невежественных тогда во всем, что относится к коммунизму, руководителей мировых демократий, КПСС шаг за шагом превратила все восточно-европейские государства в социалистические республики, возглавляемые своими агентами — местными коммунистами. Первый этап коммунизации был пройден без всяких помех со стороны Запада. Вслед за этим первым этапом должен был наступить (как это было до войны) второй этап — включение новых социалистических республик в состав СССР. Однако, после войны обстановка была иной и второй этап был существенно видоизменен. Все восточноевропейские государства (кроме прибалтийских государств) сохранили видимость независимых «народно-демократических» республик и образовали вместе с СССР социалистическую систему, представляющую собой особый коммунистический тип конфедерации.

Партия не решилась включить восточноевропейские страны в состав СССР по ряду причин, из которых мы отметим следующие:

В восточноевропейских государствах глубоко развито национальное самосознание и патриотическое чувство народа. И если первый этап коммунизации (превращение их государств в социалистические республики) восточноевропейские народы могли еще рассматривать, как свое внутреннее дело, якобы не затрагивающее их национального суверенитета, то второй этап коммунизации — включение восточноевропейских государств в состав СССР — несомненно вызвал бы опасное для коммунизма брожение, подавить которое ослабленному во время войны СССР было бы достаточно трудно.

Затем для партии первостепенное значение имеет не формальная, а реальная власть. Устроив в Восточной Европе коммунистические перевороты, партия такую реальную власть получила. Что касается формальной стороны дела, то будут ли восточноевропейские страны под названием социалистических республик входить непосредственно в состав СССР или они, сохраняя для Запада видимость своей самостоятельности, будут называться «народно-демократическими» республиками и входить в возглавляемую Советским Союзом социалистическую систему — это на данном этапе казалось вопросом второстепенным. Между тем этот второстепенный вопрос мог вызвать осложнения с Западом.

Политические руководители Запада, мыслящие не социальными, а государственными категориями, считали совершенные коммунистической партией перевороты в Восточной Европе формально внутренним делом соответствующих государств. Хотя эти перевороты имели первостепенное и решающее значение в судьбах не только Восточной Европы, но и всего мира, это значение не было понято и к переворотам Запад отнесся пассивно. Но если бы партия попыталась провести второй этап коммунизации, то есть включить восточноевропейские страны в состав СССР и формально лишить их государственной независимости, то в этом случае политические деятели Запада реагировали бы иначе.

Коммунисты, руководясь своей особой логикой, были убеждены, что Запад, покончив с фашизмом, постарается покончить и с коммунизмом и что после войны у Запада будет для этого самый благоприятный, вероятно, единственный в истории момент, когда он сможет покончить с коммунизмом почти без всяких усилий и без всяких жертв со своей стороны. Включение восточноевропейских стран в состав СССР Запад мог использовать, как повод для своего наступления, противостоять которому СССР тогда еще не мог, тем более, что США монопольно владели атомной бомбой.

Но США по отношению к СССР переживали тогда «прогрессивный паралич», они были парализованы «прогрессивными» просоветскими настроениями и воевать с СССР из-за Восточной Европы не могли, а без США не могли воевать и европейские союзники.

Что касается внутреннего брожения в восточноевропейских странах, то партия могла легко подавить его, так как оно не вызвало бы цепной реакции среди крайне уставших во время войны народов СССР и не получило бы никакой поддержки со стороны Запада (пример Венгрии). Тем не менее руководители партии решили не включать восточноевропейские страны в состав СССР, а идти обходным путем, путем организации социалистической системы. Значение этого решения оценит история. С точки зрения интересов коммунизма и его исторических судеб это решение было крайне рискованным, ибо одновременно с возникновением социалистической системы возникли и присущие ей противоречия, которые при умной политике Запада могли привести к поражению и гибели ортодоксального коммунизма. Как бы то ни было, решение было принято и социалистическая система стала фактом.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ НАЧАЛА В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

До войны коммунизм строился в форме мировой федерации — СССР, находящейся под властью мировой партии — КПСС. Все вновь коммунизированные страны включались в состав СССР и компартии этих стран ликвидировались, причем члены этих партий превращались в членов КПСС. В мире существовала одна партия, имевшая свое государство и, значит, свои неиссякаемые ресурсы для борьбы за мировую революцию — КПСС. Все прочие коммунистические партии были лишь местными отрядами мировой революции, существовавшими только для революционной борьбы и работавшими в основном на средства КПСС *). Все было совершенно ясно. Но после войны все это изменилось. Вместо мировой федерации — СССР — возникла мировая конфедерация в виде социалистической системы. И поскольку государства этой системы сохранили свою относительную самостоятельность, постольку существовавшие в них коммунистические партии также сохранили относительную самостоятельность. Они не были ликвидированы, члены этих партий не были превращены в членов КПСС, их партийные ор-

*) С национальной точки зрения, местные коммунистические партии совершали порой самые непонятные политические повороты, в виде, например, поворотов французской партии в 1934 году после декларации Лаваль-Сталин, или в 1939 году после договора Гитлер-Сталин. Но эти повороты были непонятны только с национальной точки зрения. С интернациональной точки зрения они были совершенно понятны, так как компартии на местах боролись не за интересы своего государства, а за интересы мирового коммунизма и боролись не разрозненными силами, а единым фронтом под общим командованием КПСС, как штаба мировой революции. Этот штаб проводил жестокую дисциплину в своей «армии» и иностранных коммунистов расстреливал так же легко, как и советских. Например, ЦК польской компартии был вызван в Москву и расстрелян в полном составе.

ганы не стали областными, районными комитетами КПСС. Но это значит, что наряду с КПСС, располагающей неиссякаемыми ресурсами своего государства, появились коммунистические партии Польши, Венгрии и т. д., ставшие во главе своих государств и также получившие свои собственные, хотя и менее значительные, но тоже неиссякаемые ресурсы. КПСС перестала быть единственной мировой партией, управляющей коммунизированными народами. Из мировой партии она превратилась в государственную партию наряду с другими государственными партиями социалистической системы. Партийная структура социалистической системы приобрела теперь следующий вид:

1. Коммунистическая партия Советского Союза — КПСС.

2. Коммунистические партии социалистических государств, получившие власть из рук КПСС: Болгария, Венгрия, Восточная Германия, Северный Вьетнам, Северная Корея, Польша, Румыния, Чехословакия, Монголия.

3. Коммунистические партии социалистических государств, завоевавшие власть самостоятельно, хотя и с помощью КПСС: Албания, Китай, Югославия.

Все эти партии в данное время господствуют над 14 государствами, охватывающими 1.079 миллионов человек, то есть 35,8% всего человечества. Создалась не только новая обстановка, но и такая обстановка, которая способствовала возникновению в социалистической системе новых настроений и новых, в частности, национальных противоречий. И это понятно.

После превращения стран Восточной Европы в социалистические республики и образования социалистической системы изменилось, прежде всего, положение самих коммунистов этих стран. Из агентов КПСС и подпольных революционеров они превратились в государственных руководителей, в новый господствующий класс. Теперь они должны были не только разрушать «буржуазный» строй и разбивать государственную машину, а укреплять «пролетарский» строй и совершенствовать свою государственную машину. Роль и функции их резко изменились, резко изменилось и их мышление, их психология. Многие стратегические проблемы коммунизма встали для них уже по новому.

По новому встала, например, проблема мировой революции. Из теоретической и интернациональной проблемы она превратилась для них в практическую и в какой-то мере национальную проблему. Чтобы бороться за мировую революцию, теперь надо укреплять свое государство, надо как-то решать и национальные проблемы.

По новому встала для них и сама национальная проблема. Из проблемы отживающей и контрреволюционной она превратилась в проблему актуальную и революционную. Чтобы бороться за миро-

вую революцию, надо использовать не только материальные, но и духовные ресурсы своего народа, надо поэтому учесть его историю, его культуру и те особенности, которые определяют его национальный характер. Надо, как говорил Ленин —

«...Исследовать, изучить, отыскать, угадать, схватить национально-особенное, национально-специфическое в конкретных подходах каждой страны к разрешению единой интернациональной задачи».

Национальное надо поставить на службу интернациональному. Но национальное в разных странах имеет свои особенности и поэтому движение к единой интернациональной цели в разных странах требует и разных стратегических путей. И Гомулка говорил, например, о Польше:

«Что касается польского народа, то, кроме других моментов, особенной чертой, сложившейся в ходе исторического развития, вследствие вековой неволи и чужеземного гнета, является особая чувствительность польского народа в вопросах независимости и суверенности страны».

Значит, стремясь к интернациональной цели, необходимо (чтобы удержаться у власти) вести хотя бы для видимости и борьбу за национальные цели, за независимость и суверенность своей страны. Интернациональное противоречиво переплелось с национальным.

По новому встала и проблема отношений со своим народом. Раньше понятие «народ» было чуждым коммунистическому сознанию. Народ был не однороден. В его состав входят антагонистические классы, и коммунисты говорили не о народе, а о классах. Но встав во главе социалистических государств, коммунисты впредь до деклассификации страны принуждены считаться со своим народом, то есть не только с рабочими, но и с крестьянами и с интеллигенцией и с другими группами населения, мыслящими не классовыми, а национальными категориями и стремящимися защищать не интернациональные, а национальные интересы. Интернациональное и здесь переплелось с национальным.

По новому встали и некоторые идеологические проблемы. Скажем, теория построения социализма в одной стране раньше имела тот смысл, что развитие и расширение коммунизма предполагалось в форме мировой федерации, как одной страны; существующий СССР был началом этой федерации, единственным оплотом мирового коммунизма. Для каждого иностранного коммуниста СССР был своим коммунистическим отечеством, а страна, в которой он жил, была чуждой буржуазной страной. Поэтому защита интересов СССР была главной и священной обязанностью каждого коммуниста каждой страны. Теперь построение социализма происходит уже в 14 странах и теория построения социализма в одной стране потеряла свой смысл. Теперь надо защищать интересы не одной страны — СССР, а всех стран социалистической системы, в том числе и ин-

тересы своей социалистической страны, которые очень часто не совпадают с интересами СССР. Интернациональное и здесь противоречиво переплелось с национальным.

Как видим, в конфедеративной системе социалистических государств сложилась новая обстановка, в которой национальное и интернациональное начала приобрели характер противоречия.

III. НАЦИОНАЛ-КОММУНИЗМ

ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАЦИОНАЛ-КОММУНИЗМА

Руководители КПСС рассматривали образование социалистической системы, как свой обходный маневр и долгое время находились во власти этой фикции, не учитывая, что с момента образования этой системы объективно, помимо их воли, сложилась новая обстановка, что отныне существует уже не федерация, а конфедерация, что существует не одно, а несколько государств коммунизма, что существует не один, а несколько аппаратов коммунистического террора, не один, а несколько аппаратов пропаганды, не один, а несколько коммунистических бюджетов и т. д. Не учитывая всех этих изменений, руководители КПСС начали управлять коммунистическими партиями внутри социалистической системы при помощи своего старого федеративного, в новой конфедеративной обстановке уже не пригодного аппарата и при помощи старых, в новой обстановке уже не пригодных методов и приемов. Скажем, в порядке «помощи» поначалу слабым коммунистическим партиям на местах руководители КПСС перебросили значительные кадры партийных работников из СССР, которые заняли ключевые позиции в правительственном, политическом, военном, пропагандном, экономическом и культурном аппарате восточноевропейских стран и начали проводить политику интернационально-коммунистического их преобразования по принципу Ленина:

«Пролетарский интернационал требует... подчинения интересов пролетарской борьбы в одной стране интересам этой борьбы во всемирном масштабе».

Проводя эту политику коммунистического подчинения и преобразования, руководители КПСС использовали опыт коммунизации России и во многих случаях проводили свою работу по русскому образцу. Еще в двадцатых годах Ленин говорил:

«Русский образец показывает всем странам кое-что и весьма существенное, из их неизбежного и недалекого будущего».

Разместив в Восточной Европе достаточное количество войск для подавления любого восстания в любой стране, руководители КПСС

приступили к принудительному превращению этого «будущего» в настоящее. В частности:

По политической линии руководители КПСС организовали мощный аппарат сыска и террора, а затем фактически упразднили все политические партии, ввели однопартийный государственный строй, ликвидировали (главным образом вывезли в СССР) значительную часть старых общественно-политических деятелей, национальной буржуазии и национальной интеллигенции.

По экономической линии руководители КПСС сначала реквизировали у «буржуазии» и отправили в СССР большое количество материальных ресурсов, национализировали основные средства производства, организовали «взаимовыгодную», то есть колониально-принудительную торговлю, в результате которой (что отмечается сейчас и в СССР) социалистические страны ежегодно теряли сотни миллионов на заниженных ценах своего экспорта в СССР и завышенных ценах своего импорта из СССР. Наконец, они приступили в последние годы к плановому объединению экономики социалистической системы и к постепенному лишению отдельных стран экономической самостоятельности.

По идеологической линии руководители КПСС приступили к внедрению марксизма-ленинизма, к борьбе с религией, к ликвидации национальных «пережитков» и регулированию всей национальной культуры.

Понятно, что это интернационально-принудительное преобразование вызвало протест национальных сил каждой страны, оказавший свое влияние на ряд коммунистических партий, открыто или скрыто перешедших поэтому с позиций интернационал-коммунизма на позиции национал-коммунизма.

Национал-коммунизм — не измена коммунизму, а особый путь к нему, учитывающий местные национальные условия и по-своему использующий национальные настроения народа в интернациональных целях партии.

Национал-коммунизм полагает, что развитие коммунизма путем принудительного «осчастливливания» извне, то есть принудительного насаждения коммунизма посторонними силами, является взаимно-опасной ошибкой. Об этом говорил в свое время и Энгельс:

«Победоносный пролетариат не может никакому чужому народу навязывать никакого осчастливливания, не подрывая этим своей собственной победы».

Поэтому в условиях социалистической системы отдельные, сохранившие видимость национальной независимости государства, должны, по мнению коммунистических партий, идти своим путем, который, сохраняя общее направление к коммунизму, приспосабливается к местным национальным особенностям каждой страны.

Первой страной социалистической системы, открыто вставшей в 1948 году на путь национал-коммунизма, была Югославия. Югославская коммунистическая партия, завоевавшая политическую власть самостоятельно и в процессе борьбы за власть выковавшая необходимые для управления страной кадры, имела предпосылки к переходу на позиции национал-коммунизма и смогла устоять на этих позициях. Руководители КПСС рассматривали поступок югославской партии, как предательство коммунизма и переход в ряды капиталистической агентуры. Не имея возможности ликвидировать югославскую независимость, они, по установившемуся в их практике ритуалу, объявили югославскую ересь «шпионажем» и превентивно расправились с руководителями других доступных им коммунистических партий, которые казались им недостаточно стойкими. В связи с этим в Большой Советской Энциклопедии была помещена следующая формулировка:

«...Империалистическим разведкам удалось внедрить свою агентуру в ряды некоторых зарубежных компартий и завербовать к себе на службу элементы, с враждебными целями присосавшиеся к рабочему движению. В частности, англоамериканские агенты — Тито, Ранкович и др. пробрались к руководству югославской компартии... Шпионская банда Тито создала целую систему агентурной разведки в ряде стран народной демократии... Однако благодаря прозорливости большевистской партии фашистская банда Тито была разоблачена. На судебных процессах над агентами титовцев — Райком-Бранковым в Венгрии и Костовым в Болгарии было установлено, что титовцы являются давнишними провокаторами и агентами империалистических стран».

Но эти «давнишние провокаторы», «присосавшаяся к рабочему движению» и «пробравшаяся» к руководству югославской компартии «шпионская банда Тито» удержалась у власти и национал-коммунизм сохранился.

Стремление народов к национальной независимости и под влиянием этого стремления готовность местных коммунистических партий перейти на позицию национал-коммунизма стали характерными для всех стран социалистической системы. Но все коммунистические партии этих стран (за исключением китайской и албанской) политическую власть получили из рук КПСС и не имели сил сопротивления. Они были подавлены внешней, непосредственно с ними соприкасающейся мощью СССР и скованы организованным КПСС аппаратом внутри страны. И только после 20 съезда КПСС, перешедшего под влиянием народов СССР на путь десталинизации, оживились эти ранее скованные национальные силы социалистической системы.

Страной, где оживление национальных сил проявилось доста-

точно ярко, была, прежде всего, Польша. Острое недовольство польского народа и открытое восстание рабочих в Познани (1956) свидетельствовали о стремлении поляков к национальной независимости. Тогда польская коммунистическая партия перестроилась и ее генеральному секретарю В. Гомулке, — современному Гапону — удалось ввести Польшу в оглобли социалистической системы.

23 октября 1956 года произошла народная революция в Венгрии. В едином порыве к свободе и национальной независимости восстали передовые деятели венгерской интеллигенции, венгерский рабочий класс и крестьянство. Венгерская коммунистическая партия сразу же рассыпалась, как картонный домик. Правительство возглавил Имрэ Надь, вставший на позиции национал-коммунизма и объявивший о выходе Венгрии из социалистической системы (из «варшавского договора»). Имрэ Надь вместе со всем венгерским народом обратился 4 ноября к свободному миру с призывом о помощи, которая оказана не была. По распоряжению возглавляемой Хрущевым КПСС, народная революция в Венгрии была раздавлена советскими танками.

Венгерская революция произвела огромное впечатление на коммунистические партии всего мира. Не только компартии социалистической системы, но и компартии свободного мира начали переоценку коммунистических ценностей. Эти, как говорит Сальвадор Мадарьяга —

«...Коммунистические партии, вынуждавшиеся на протяжении ряда лет становиться по указке из Москвы то на голову, то на ноги, должны были рано или поздно прийти к тому, что дальнейшее рабское обезьянничанье для них невыносимо».

Выход из создавшегося противоречия и из своего позорно-унизительного положения компартии видели только в национал-коммунизме.*)

Венгерская революция волею судьбы оказалась толчком в развитии национал-коммунизма. Журнал «Коммунист» подчеркивает, что —

«Идея национал-коммунизма стала особенно широко распространяться

*) Идея национал-коммунизма приобрела своих сторонников во всех коммунистических партиях. По сообщению газеты «Корьере делла сера» от 11 апреля 1962 г. на встрече журналистов с генеральным секретарем итальянской компартии П. Тольяти — этим, по определению журнала «Эпока», «иезуитом революции» — на вопрос журналиста Бартоли о цензуре в СССР, с которого итальянская компартия берет пример, Тольяти ответил: «Нашим примером в этой и во всех других областях развития демократии есть и будет только наша Конституция, которую мы сами выработали и которая является результатом истории нашего народа. Мы вдохновляемся ею, а не другими странами». Значит, итальянские коммунисты вдохновляются не международной солидарностью рабочего класса, а конституцией своей нации. Это тоже характерно для национал-коммунизма.

ревизионистами в период контрреволюционного мятежа в Венгрии осенью 1956 года. Этот мятеж ревизионисты... характеризовали, как наглядное проявление национал-коммунизма».

После венгерской революции в коммунистическом движении наметился разброд, усилившийся в 1957 году в связи с расхождением между КПСС и КПК и обострившийся в связи с процессом десталинизации, то есть процессом, показавшим многих коммунистических «королей» голыми. Первопричиной этого разброда было давление народов социалистической системы на свои коммунистические партии, давление бесшумное и незримое, но нарастающее и грозное. Национал-коммунизм в этих условиях оказался единственным способом спасения, укрепления и дальнейшего развития коммунизма. И под прикрытием интернациональной словесности, национал-коммунизм объективно стал политической основой восточноевропейских партий. Объективную неизбежность национал-коммунизма в конце концов поняли и руководители КПСС. *И поскольку они по государственной линии встали на путь конфедеративной социалистической системы, постольку они по партийной линии должны были встать на путь национал-коммунистической системы.* Это было не только логично, но и неизбежно. И это было сделано. Национал-коммунизм стал генеральной линией интернационального коммунистического движения.

ПЕРЕОРИЕНТИРОВКА КПСС НА НАЦИОНАЛ-КОММУНИЗМ

Национал-коммунизм в его первоначальных элементах возник в СССР еще во время войны, когда народ не хотел сражаться за коммунизм под лозунгом «за Сталина» и миллионами сдавался в плен. Уже тогда руководители КПСС принуждены были для спасения коммунизма обратиться к национальному чувству народа, к его патриотизму, религиозному чувству и историческим традициям, то есть принуждены были совершить определенную идеологическую и политическую переориентировку с интернационализма на национализм. После войны, вернее, после образования социалистической системы, руководители КПСС под давлением народов СССР принуждены были начать переориентировку и в экономической области. Это было неизбежно. Народы СССР живут в нищенском состоянии, они стремятся улучшить прежде всего свое положение, а не положение китайцев или албанцев, имеющих свои собственные государства, и они естественно выступают против вывоза товаров за границу в виде безвозмездной «братской» помощи вновь образованным социалистическим государствам. Таким образом и в экономической области начали играть некоторую роль национальные мотивы. Эта практическая переориентировка КПСС на национал-ком-

мунизм впервые нашла свое уже теоретическое обоснование на московском совещании коммунистических партий в 1957 году, когда за основу *политической* линии в социалистических странах была положена «теория общего и особенного», а затем на московском совещании 81 коммунистической партии в 1960 году, когда за основу *экономических* отношений в социалистической системе была принята «теория взаимовыгодной помощи». И, наконец, эта переориентировка КПСС на национал-коммунизм нашла свое выражение на 22 съезде КПСС, который объявил о построении коммунизма в национальных границах СССР, то есть не в интернациональном, а в национальном плане, не в социалистической системе, а в СССР, как в одной отдельно взятой стране.

Отныне каждая коммунистическая партия в системе социалистических государств строит социализм-коммунизм в своих национальных границах, своими силами, своими темпами, своими путями и вступает в период коммунизма в свои сроки. Строя социализм-коммунизм в рамках своего национального государства не на безвозмездную братскую помощь СССР, а на свои собственные ресурсы, каждая партия вместе с тем оказывает содействие совершению коммунистических революций во всех других странах по ленинскому принципу:

«Максимум осуществимого в одной стране для развития, поддержки, пробуждения революции во всех странах».

В соответствии с этими положениями национал-коммунизма новая программа КПСС, утвержденная 22 съездом, провозглашает:

а) По государственной линии — независимость и равноправие всех государств социалистической системы. «В социалистическом лагере или — что одно и то же — в мировом содружестве социалистических стран никто не имеет и не может иметь каких-то особых прав и привилегий».

б) По партийной линии — независимость и самостоятельность всех коммунистических партий социалистической системы. Программа КПСС подчеркивает: «Коммунистические партии независимы и вырабатывают политику, исходя из конкретных условий своих стран».

Понятно, что эта независимость и самостоятельность коммунистических партий и находящихся в их руках социалистических государств носит не фактический, а условный характер, такой же условный, какой носит независимость и самостоятельность хозрасчетных предприятий внутри СССР (скажем, самостоятельность Краматорского или Магнитогорского заводов). Но и эта пусть условная самостоятельность является очень существенным стратегическим фактором, знаменующим собой перемену путей движения к коммунизму, переход с прямого пути интернационал-коммунизма на об-

ходной путь национал-коммунизма, с пути единого интернационального государства на путь временно-обособленных национальных государств, которые лишь в перспективе сольются в единый СССР. На ближайший исторический период национал-коммунизм стал генеральной линией КПСС.

ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Система национально-обособленных государств, как промежуточного этапа на пути к коммунизму, имеет свои преимущества, так как она способствует ликвидации иждивенческих настроений и мобилизации внутренних ресурсов каждой страны. Но она имеет и свои недостатки, так как порождает между социалистическими странами национальные противоречия, которые в федеративном государстве успешно преодолеваются, в качестве внутренних противоречий, но которые в конфедеративной системе носят межгосударственный характер.

Национальные противоречия стали основной проблемой современного коммунизма не только потому, что они представляют собою почву, на которой развиваются все другие (экономические, политические и идеологические) противоречия, но и потому, что от того или иного разрешения национальных противоречий зависят исторические судьбы мирового коммунизма.

В настоящее время национальные противоречия разрешаются на основе теории «общего и особенного», то есть теории, считающей необходимым учитывать особенности коммунистического развития в каждой стране и общее направление в развитии коммунизма во всем мире. Эта теория нашла известное выражение в самом термине «национал-коммунизм». Первое слово этого термина говорит о национальных особенностях каждой страны, которые должны учитываться каждой коммунистической партией, а второе — об общей цели и общем направлении в борьбе всех коммунистических партий. Все коммунистические партии эту теорию признают целиком и споры или противоречия между ними сводятся лишь к тому, что считать главным и ведущим началом в коммунистической политике — общее или особенное. Коммунисты, считающие «общее» главным и ведущим началом коммунистической политики, относятся к группе догматиков (Мао). Тот, кто главным и ведущим началом в коммунистической политике считает «особенное» и кто пренебрегает «общим», относится к группе ревизионистов (Тито). Наконец, тот, кто стремится в коммунистической политике беспринципно использовать общее и особенное, относится к группе оппортунистов (Хрущев).

Догматики полагают, что на смену капиталистическому строю

должен прийти коммунистический строй во всем мире. Но этот строй не может прийти сам собой в порядке эволюционного автоматизма. Он может прийти только в результате революционной борьбы населения земного шара и жертв, которых эта борьба требует. Именно для организации революционной борьбы с капитализмом и созданы коммунистические партии. Именно в этом весь смысл их существования и все отличие их от других, «буржуазных» политических партий. Вне этого они, как коммунистические партии, не нужны. И если они хотят быть подлинно коммунистическими партиями, если они хотят выполнить свою историческую миссию «повивальной бабки» нового, коммунистического строя на земном шаре, они должны подчинить этому все имеющиеся в их распоряжении ресурсы и всю свою деятельность. Коммунизм по своему существу глобален, интернационален. Подлинный коммунизм не может быть построен в одной отдельно взятой стране. Это дешевая пропагандная фальшивка. Коммунизм может быть построен только как новый строй, новая «общественно-экономическая формация», охватывающая все население земного шара и поэтому способная существовать без национальных государств, без войн, без торговли и прочих характерных для старого строя особенностей. Интересам именно этого интернационального коммунизма и должны быть подчинены национальные и все другие интересы. Ленин говорил:

«Мы утверждаем, что интересы социализма, интересы мирового социализма выше интересов национальных, выше интересов государства».

Именно этим интересам безоговорочно и жертвенно должны быть подчинены национальные интересы. Полное подчинение национальных интересов интернациональным интересам — такова суть догматизма и интернационал-коммунизма.

Ревизионисты также полагают, что на смену капиталистическому строю должен прийти коммунистический строй и что коммунистический строй придет не в порядке эволюционного развития, а в порядке революционной борьбы. Но ревизионисты полагают, что борьба за коммунизм будет успешной только тогда, когда она учитывает меняющуюся в мире обстановку и способствует ускорению мировой революции. В противоположность тому, что говорил Маркс, история показала, что капитализм способен развиваться и развивается по пути подлинного демократизма не только в политической, но и в экономической области. В связи с этим в мире складывается новая обстановка и ускорение мировой революции приобретает для коммунизма судьбоносное значение. Ускорению революции способствует, однако, не процесс выравнивания внутри социалистической системы исторически сложившейся неравномерности в развитии отдельных стран (Китай, Чехословакия), а процесс дальнейшего усиления ударных сил коммунизма и ускоренного роста производи-

тельных сил каждой страны, ибо, говорит новая программа КПСС, «от вклада и усилий каждой страны зависят успехи всей мировой системы социализма» и, значит, успехи мировой революции вообще. Но успехи каждой страны возможны только при полном использовании ее особенностей и, прежде всего, национальных особенностей ее населения. Значит, в борьбе за победу коммунизма надо учитывать прежде всего «особенное», не теряя из виду, конечно, и общее.

Предположение Маркса, что коммунизм победит прежде всего в передовых странах Запада, оказалось ошибочным. Коммунизм мог захватить власть не в передовых, а в экономически отсталых странах. В связи с этим сроки мировой революции растягиваются на десятилетия. Удержать в течение этих сроков захваченную власть и заставить народ работать только во имя интернационального, то есть «общего» — невозможно. Удержать власть и заставить народ напряженно работать можно только во имя национального, то есть «особенного». Но поскольку власть находится в руках партии, результаты национального труда могут быть использованы и для интернациональных целей. Новая программа КПСС и говорит:

«Марксистско-ленинские партии... поэтому считают интернациональным долгом всемерное развитие производительных сил своей страны».

В целях интернационального надо прежде всего развивать национальное — такова суть ревизионизма и национал-коммунизма.

Опportunизм, в отличие от догматизма и ревизионизма, полагает, что для одних стран главным является общее, а для других стран — особенное; для одной и той же страны главным, в одно время, может быть общее, а в другое время — особенное; что в одной области общественной жизни главным может быть общее, а в другой — особенное; что для одного случая главным может быть общее, а для другого случая — особенное и т. д. Опportunизм не придерживается определенного принципа; он принципиально беспринципен.

КПСС в основной области, в области экономики, твердо стоит на национал-коммунистических позициях, считая главным «особенное» и отрицая принцип «общего», который требует безвозмездной помощи со стороны СССР другим социалистическим государствам и, значит, ведет к ослаблению позиций КПСС. Но в политической области КПСС допускает опportunистические отклонения, придерживаясь во многих случаях «общего», поскольку это «общее» обеспечивает для КПСС, как наиболее сильной партии, ведущее и господствующее положение, особенно в международной политике коммунизма.

Касаясь в заключение перспектив национал-коммунизма, от-

метим, прежде всего, что все коммунисты — и догматики, считающие главным «общее», и ревизионисты, считающие главным «особенное», и оппортунисты, считающие главным то, что в данном случае выгодно, — все они имеют одну цель — мировое господство коммунизма и, таким образом, все они являются интернационалистами, иначе они не были бы коммунистами. В этом их единство. Национальные противоречия возникли в связи с образованием конфедеративной системы социалистических государств и носят не идеологический, а стратегический характер. Идея одна: коммунизм, как новая интернациональная организация мира, должен сменить старую «организацию» националистического мира, со всеми ее недостатками. Не изжить эти недостатки эволюционным путем, а сменить всю систему революционным путем.

Но национализм нельзя «отменить» декретом. Национальные различия создавались веками; они вошли в плоть и кровь народа. И новая программа КПСС признает:

«...Стирание национальных различий, в особенности языковых различий, — значительно более длительный процесс, чем стирание классовых границ».

Признавая это, признавая необходимым пока считаться с национальными особенностями людей, коммунизм встал на путь использования этих национальных особенностей для их же преодоления и уничтожения.

Цель — интернационал-коммунизм, путь — национал-коммунизм. Национал-коммунизм используется не для укрепления национализма, а для борьбы с национализмом и укрепления интернационализма. Идя национал-коммунистическим путем, коммунисты будут —

«Вести непримиримую борьбу против проявлений пережитков всякого национализма и шовинизма, против тенденций к национальной ограниченности и исключительности, к идеализации прошлого и загушевыванию социальных противоречий в истории народов, против обычаев и нравов, мешающих коммунистическому строительству» —

то есть вести борьбу против национализма. В борьбе против национализма КПСС имеет огромный опыт внутри СССР, который подробно обрисовав в нашей книге «Нации СССР и русский вопрос» и который уже используется в социалистической системе.

Через национал-коммунизм к интернационал-коммунизму, через конфедерацию социалистических государств к коммунистической федерации в виде мирового СССР, охватывающего все человечество — такова генеральная линия современного коммунистического движения.

II. ШЕЛЕСТОВ

УСЕЧЕННАЯ ДИАЛЕКТИКА

ОБЗОР ЖУРНАЛА «ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ»

Мы можем мысленно извлекать из подвижной реальности неподвижные понятия, но из окостенелых понятий невозможно воссоздать подвижность реального.

Апри Бергсон

*Нет истины, где нет любви.
Александр Пушкин*

«Вопросы философии», пожалуй, единственный журнал в нашей стране, в котором отражается весь спектр мыслей, разрешаемых к высказыванию. Это понятно: диамат — не только философская доктрина, а учение о всей жизни в целом, о всех ее областях, как и о всех научных дисциплинах. Поэтому тематика журнала всегда была разнообразной, — разнообразие ее в последние годы еще более возросло в связи со снятием идеологического эмбарго с тех областей науки и философии, которые почему-то считались несовместимыми со всеобъемлющей широтой марксистско-ленинской диалектики, как бы парадоксально это ни звучало.

Дать полный обзор всего, что было напечатано в журнале за прошлый год, невозможно, да и скучно. В нем по-прежнему много пересказов старых, залежавшихся в сокровищницах диамата истин. Но есть и новые темы, есть и новый ракурс в разработке старых тем и дискуссий, тянущихся уже десятки лет.

Первый номер «Вопросов философии» интересен своим тематическим планом на 1962 год. В отделе «Марксистско-ленинская этика» было указано двадцать две темы, среди них такие неожиданные, как «О совести», «Проблема этических ценностей», «О смысле жизни и счастье». Это могло много обещать, в особенности упоминание о ценности. В Большой Советской Энциклопедии (том 60,

стр. 474) сказано кратко: «Ценность — см. стоимость», в «Кратком философском словаре» (1954 год) этого слова нет вообще. Поэтому, казалось бы, здесь намечалось некоторое движение воды.

Тоже можно сказать и об отделе, посвященном кибернетике. Этот термин есть уже в «Кратком философском словаре», где можно прочесть:

«Кибернетика — реакционная лженаука... По своему существу кибернетика направлена против материалистической диалектики... Кибернетика выражает одну из основных черт буржуазного мировоззрения — его бесчеловечность...»

Теперь философский журнал посвящает этой бесчеловечной науке тридцать одну статью, в том числе «Кибернетика и проблема теории познания», «Кибернетика и психология». По-видимому, совсем забыто, что еще недавно «эта механистическая метафизическая лженаука уживалась с идеализмом в философии, психологии, социологии», — теперь кибернетика легко уживается с диалектическим материализмом.

Много статей посвящено и современной физике, в особенности коренному вопросу марксистской диалектики — о материи, так болезненно мучающему марксистов-ленинцев уже полвека. Вернемся, однако, к вопросу о ценностях: это не мертвая материя, здесь выступает живой, деятельный человек, ставящий себе цели и оценивающий, к тому же появляющийся на страницах интересующего нас журнала первый раз.

Философской категории ценностей посвящена статья румынского академика К. И. Гулиана «Марксистская этика и проблема ценности» («Вопросы философии» № 1, 1962). Уже введение к статье обнаруживает, что же именно волнует автора в этом вопросе, — то, что Гартман назвал второй антиномией свободы (в отличие от первой, раскрытой Кантом), в которой сталкиваются автономия ценностей с автономией свободной личности.¹⁾ Гулиан излагает этот вопрос в такой до предела упрощенной форме:

«Система ценностей коммунистической морали — особый вопрос, требующий глубокого анализа. Но и без этого анализа очевидно, что принципы коллективизма, преданности коммунизму, социалистической родине, нового отношения к труду и др. являются первичными, основополагающими по сравнению с чертами характера (искренностью, смелостью и т. п.).»

Так автор раскрывает перед нами весь трагизм «антиномии двух автономий» в социалистическом обществе. Например: личность в преданности коммунизму может быть неискренней, но она должна

¹⁾ «Ценности притязают на полную детерминацию той самой личности, которая имеет ценность, лишь как недетерминированная ими вполне». Н. Гартман. «Этика», перевод В. П. Выхеславцева.

проявлять преданность ему, в силу идеальной детерминации. Ибо — «Ценности ненарушимы в своем идеальном бытии, — и ценности весьма нарушимы в реальных актах воли.»²⁾

Марксист-диалектик, конечно, не может сказать прямо, что искренность, как положительная ценность, должна обратиться в свою противоположность, если преданность коммунизму становится основополагающей, императивной, «первичной» ценностью. Между тем, мысль Гартмана о том, что иерархия ценностей не представляет собой гармонической системы, верна. Ценности могут вступать в конфликт, «ценности могут указывать в противоположные стороны». — как расходятся в разные стороны «верность коммунизму» и «искренность» в примере Гулиана. Больше того: ложная ценность, поставленная «во главу угла», искажает всю иерархию ценностей. Так, у академика Гулиана неискренность может стать положительной ценностью, и она ею становится неизбежно, поскольку преданность коммунизму, по его словам, приобретает «повелительное и практическое значение для сознания и поведения».

Можно, и вполне логично, предположить, что преданность коммунизму является ценностью только для коммуниста, убежденного в своих идеях, но ее нельзя ставить на вершину объективной иерархии ценностей, так как она обусловлена общественно-исторической необходимостью. Как бы предвидя это возражение, Гулиан утверждает:

«Ценности коммунистической морали отнюдь не являются исторически ответственными, мы не считаем, что за ними последуют другие, еще неизвестные ценности».

Значит, коммунистические ценности твердо установлены в своей иерархии. Но этим конфликт личности и императива ценности не устраняется. И он, подсознательно, все время беспокоит автора, подчеркивающего:

«Тот факт, что этические нормы выступают для нас, как обязательные, их императивный характер, отмеченный Кантом (что является его исторической заслугой), не умаляет их ценности.»³⁾ И дальше: «Этические ценности не могут быть поняты в их императивной функции без выявления диалектического соотношения между императивным и возможным, между ценностью и необходимостью, так как в противном случае этический императив может остаться тайной (sic!). Однако императив не мог бы существовать без существования возможности его осуществления».

Последняя мысль верна, — это и есть признание антиномии ценностей и свободы личности, — но автор не договаривает до конца. «Возможность осуществления» содержит два положения: идеальное

²⁾ Б. П. Вышеславцев, «Этика преображенного эроса».

³⁾ Автор не упоминает, что у Канта воля должна, но не принуждена подчиняться должному, этической норме.

(возможность) и реальное (осуществление — проявление свободы личности, свободы воли). Это та диалектика необходимого и возможного, которую блестяще показал Б. П. Вышеславцев:

«Ценности 'определяют направление', но не 'дают направления', они действуют, как компас, а не как руль. В этом сущность истинной детерминации должного: она не имеет сама по себе никакой реальной онтологической силы. Нужна такая сила, чтобы повернуть руль, чтобы дать направление после того, как удалось определить направление. Такая сила и есть свобода личности, свобода воли. Автономия компаса и автономия руля, — вот символ, выражающий нераздельную связь и неслиянную самостоятельность двух детерминаций» («Этика преображенного эроса»).

У марксиста-диалектика не хватает смелости довести диалектический конфликт до конца, он подавляет его «исторической необходимостью», от которой он сам только что отказался, заявив вначале, что коммунистическая мораль «отнюдь не является» исторически относительной. Для автора, по-видимому, очевидно, что, с появлением на арене истории пролетариата, история человечества кончилась. Он пишет:

«Этические ценности морали пролетариата стали императивами тогда, когда этого потребовала историческая необходимость, когда пролетариат появился на арене истории. . . Так называемые внутренние ценности, выбираемые моральным сознанием, всегда определяются исторической необходимостью».

Итак, свободная личность в осуществлении ценностей не участвует и сами ценности, естественно, становятся лишь надстройкой над экономическим базисом, что Гулиан и подтверждает:

«Экономическое строительство является основой построения социализма и вместе с тем новым способом (sic!) создания этих ценностей».

Иного выхода у диалектика-марксиста и не может быть. Ценности могут осуществляться только в силу присущей им необходимости:

«Этическое явление. . . необходимо включить в диалектическое единство и противоречие взаимообусловленных понятий ценности и необходимости».

Но где же здесь диалектическое противоречие? Ценность стала необходимостью и только. Выбор направления дается экономикой и руль поставлен всегда точно по указанию компаса. Человек исключен из этой квазидиалектической игры, императивная детерминация остается единственным обоснованием и ценности, и оценки.

«Вопросы философии» еще не раз возвращаются к категории ценностей и даже вспоминают о человеке в его конфликте с ценностями. Этот конфликт своих трагических вершин всегда достигает в вопросах морали и права. Но и здесь, оказывается, несовместимых противоречий нет: в самом лучшем из обществ существуют лишь «гармонические противоречия», все иные отнесены в грешный мир «буржуазного» общества. Н. А. Трофимов («О перспективах

развития морали и права в их взаимоотношении», «В. Ф.» № 5), говоря о «нормах коммунистической морали, идущей на смену праву», бездоказательно утверждает, что «в этом излишне искать противоречие». ⁴⁾ И действительно, противоречия не может быть, если верить другому автору, дающему поразительное определение самой коммунистической морали:

«Недаром Ленин называл здоровье трудящихся 'казенным имуществом'. Речь ведь идет о более эффективном использовании сил каждого человека, как строителя коммунизма. . . Это — своеобразное требование нашей коммунистической морали» (А. А. Фенкин — «Всестороннее развитие личности», «В. Ф.» № 3).

Следовательно, коммунистическая мораль есть лишь требование экономики, причем экономики, рассматривающей человека, как «казенное имущество». Трудно сказать, чего больше в этом высказывании: недомыслия или цинизма? Если в данном случае и уместно говорить о морали, то о морали только рабовладельческой.

И этим, конечно, диалектическое противоречие двух ценностей — морали и права, — не снимается. К нему возвращается К. А. Шварцман в статье о кризисе «буржуазной этической мысли» («В. Ф.» № 9). В виде иллюстрации к беспочвенности буржуазной этики, он разбирает пример, приведенный английским философом Джоном Муром:

«Сэр Сидней, умирая на поле боя, распорядился отдать принесенный ему стакан воды раненому солдату. Оценив этот поступок, как благо, Мур подчеркивает, что эта оценка не зависит от обстоятельств. . . При всех обстоятельствах, говорит он, оценка остается неизменной. . . Представим себе, что раненый солдат, которому отдали последний стакан воды, дезертировал с поля боя, где он должен был защищать свою страну от иноземных порабитителей. Это обстоятельство вносит серьезные поправки в оценку поступка сэра Сиднея».

Каковы эти поправки, Шварцман не говорит. Он не замечает столкновения двух систем ценностей — закона и блага, вернее, умалчивает о нем, хотя и ставит его перед нами во всей его трагической неразрешимости. Тут, как и всюду, диалектический материализм избегает диалектики, он не хочет, не смеет видеть ее. Шварцман пищет:

«Добро и долг являются теми основными этическими категориями, которые нельзя рассматривать независимо друг от друга». И определяет их зависимость: «Понятия добра и блага у строителей нового общества связаны с ре-

⁴⁾ Петражицкий подчеркивал противоречие права и нравственности. Право, по его определению, есть императивно-атрибутивная норма, т. е. норма, предоставляющая субъективные права и налагающая обязанности; мораль же есть императивная норма, только налагающая обязанности и не предоставляющая прав. Вышеславцев называл это отношение двух ценностей «воистину трагическим».

альной борьбой за укрепление и завершение коммунизма, с трудом на благо общества».

Здесь невольно вспомнишь и «казенное имущество», и строителей коммунизма, «эффективно используемых» во имя цели, — «трудящихся», но не «человеков». «Строительство коммунизма», как ценность, превышающая и закон, и благодать, есть высочайшая воля, снимающая диалектику жизненных противоречий, так ярко показанную на примере сэра Сиднея. Дается рассудочное, придуманное, недиалектическое решение, «обрывающее цепь мысли, идущей далее», как говорил Б. П. Вышеславцев.

Утвержденная система ценностей не терпит рядом с собой никакой другой, она несовместима с признанием суверенной ценности человеческой личности. Там, где речь идет о «казенном имуществе», нет места конфликту ценностей, конфликту жизненному, «развертывающемуся в истории и, быть может, повторяющемуся в жизни каждого из нас».⁵⁾

Советские философы делают вид, что жизненные противоречия им неизвестны; все идет прекрасно в нравственном вакууме, где нет живых людей, нет человеческих чувств и где живут лишь автоматы долга. Умирая в этом мире, сэр Сидней не уступит последнего стакана воды раненому солдату. Он умрет, не приняв решения, так как не успеет выяснить, не ранен ли солдат при попытке уйти с поля боя. Так диалектика мстит за попытку обойти, игнорировать конфликт — и конфликт вырастает в непереносимую трагедию.

«Повелительное и практическое значение ценностей для сознания и поведения», усугубленное еще выдвиганием ложной верховной ценности, может приводить, как мы видели, к искажению всех ступеней иерархии. Неискренность становится практически положи-

⁵⁾ «То обстоятельство, что антиномии свободы выражают собой жизненный трагизм, трагическую судьбу личностей и народов, — объясняет упорство, с каким защищаются и попеременно выдвигаются тезис и антитезис. Бесконечное число раз философские школы и отдельные мыслители в бесплодных спорах будут решать в ту или другую сторону антиномию долженствования. Одни, как Шестов и Ницше, будут утверждать абсолютную суверенность личности, стоящей 'по ту сторону добра и зла', будут защищать произвол и отрицать детерминацию, исходящую из принципа, воображая, что оттуда грозит потеря свободы; другие, вслед за Фихте, будут требовать полного отдания свободы и выбора, полной потери свободы в подчинении высшей воле, воображая, что свобода ведет к бесчинству. Те и другие правы и вместе с тем не правы. Настоячивое продолжение спора лучше всего доказывает точность и верность установленной антиномии свободы. Трагическая диалектика жизни заставляет личность, народ, эпоху по очереди выдвигать то автономию лица, то автономию принципа. Мы живем в эпоху, когда автономии личности угрожает наибольшая опасность от всяческих диктатур и тираний. Сейчас только та Церковь может вести за собой, которая дальше всего отстоит от инквизиции». Б. П. Вышеславцев, «Этика преображенного эроса».

тельной ценностью — и не только практической: она приобретает и идеальный аспект, поскольку способствует достижению высшей ценности — строительству коммунизма. Попробуем рассмотреть с этой точки зрения долголетнюю борьбу философов-материалистов с физиками. Отзвуки этой борьбы, иногда ясные, но большей частью смутные, приглушенные, прорываются на страницы журнала «Вопросы философии».

Многим нашим физикам нельзя отказать в смелости: даже в самые тяжелые времена они открыто излагали мысли, неприемлемые для правоверных диалектиков-марксистов. Но смелость эта, как правило, прикрывалась могучим щитом неискренней искренности, в иерархии ценностей оказывающейся выше смелости. Покойный президент Академии наук С. И. Вавилов в свое время упрекал физиков в том, что в своих научных трудах диалектическому материализму они отдают лишь дань вежливости:

«Не следует ограничиваться в книгах вводной главой философского характера, содержащей простую декларацию авторского кредо, нужно возможно теснее и по существу излагать материал с философской основой».

Но в какой степени можно добиться «тесной связи», если спор еще не закончен?

Корни этого спора уходят далеко в прошлое; наибольшего напряжения он достиг незадолго до смерти Сталина. В конце 1952 года вышел сборник статей под общим названием «Философские основы современной физики», — в предисловии к нему назначение сборника было указано с ясностью, не допускающей разнотолков. Сборник был —

«составлен из статей, которые должны способствовать борьбе за передовую физическую теорию, борьбе с пережитками капитализма в сознании советских физиков».

Пережитки в сознании физиков названы термином, который сегодня уже забыт: «эйнштейнианство». Что же такое «эйнштейнианство»? И. В. Кузнецов, авторитет в вопросах диамата, дал этому термину такое объяснение: вне отечества трудящихся наука —

«приводит не только к появлению значительных открытий, но и к появлению кучи отбросов, подлежащих к отправке в помещение для нечистот. К этим отбросам относятся и все эйнштейнианство...» И дальше: «То, что Эйнштейн и эйнштейнианцы выдают за физическую теорию, не может быть признано научной физической теорией».

Казалось бы, на этом можно было поставить точку и больше к Эйнштейну не возвращаться. Но не унимались физики; через два года вышел новый сборник под тем же названием, с материалами совещания физиков и философов, состоявшегося в Киеве. Сталина уже не было и отзывы философов о теориях Эйнштейна смягчи-

лись. Зато нападение на физиков обострилось: их обвиняли в семи смертных грехах идеалистической ереси:

Мандельштам — «сбрасывает со счетов материалистические воззрения классической физики на пространство и время и подлинно научными объявляет только воззрения Эйнштейна». Фок — «отрывает пространство и время от материи и ставит их над материей, превращая пространство и время в некое активное начало, обуславливающее свойства материи, движение материи. Такое понимание форм бытия неизбежно тянет нас далеко вспять к взглядам тех древних философов, которые...» и т. д.⁶⁾ Александров — «проводит взгляд, что законы физики есть, в конечном счете, нечто производное от пространственно-временных отношений, взятых обособленно от материального содержания». Кольман — «стал на ошибочный путь... отгораживания физической науки от марксистско-ленинской философии... Высказывания Кольмана сеют порочные представления, будто и сама научная философия (т. е. диалектический материализм) не должна применяться в ходе научного исследования, когда идет речь о выработке новых теоретических представлений».

Все эти более чем неприятные для ученых-физиков характеристики были высказаны тем же Кузнецовым. Свой разнос физиков, не изживших пережитков капитализма, он заключал следующим многозначительным примечанием:

«Некоторые наши философы и естествоиспытатели видят всю проблему в том, чтобы доказать, что диалектический материализм не противоречит данным современного естествознания... Диалектический материализм не есть нечто, требующее каждодневного подтверждения. Более ста лет прошло с тех пор, как возникла марксистская философия, и она достаточно подтверждена всеми данными естествознания...»

Дискуссия была перенесена на страницы «Вопросов философии», а к 1956 году признана «не плодотворной». Она постепенно заглохла — и только в последнем номере журнала за 1961 год появилась блестящая статья академика В. А. Фока на ту же «вечную» тему, о теории Эйнштейна, — «О роли принципов относительности и эквивалентности в теории Эйнштейна».

Статья посвящена критике этой теории; критика относится собственно к терминологии Эйнштейна, за которой, конечно, стоят основные его идеи. Фок находит, что понятия, которыми оперировал Эйнштейн при создании своей теории («относительность» и «эквивалентность»), не выражают полностью всего содержания его теории:

⁶⁾ Намек на учение Аристотеля о материи и форме. «Без противопоставления материи и формы невозможно то понятие развития материи, которое так дорого диамату. В этом смысле Аристотель стоит гораздо ближе к современной физике, чем материалисты в смысле Маркса, Энгельса и Ленина». Б. П. Выше-славцев, «Философская нищета марксизма».

«Новая теория, — писал он, — содержит обычно гораздо больше, чем простое приспособление старых идей и старых понятий к новым фактам».

Разбирая в конце статьи главные идеи, лежащие в основе общей теории относительности Эйнштейна, Фок пишет:

«Первой основной идеей этой теории является объединение пространства и времени в единое четырехмерное многообразие с индефинитной метрикой. Такое объединение связано с законом распространения действий, идущих с предельной скоростью, а тем самым и с причинно-следственной связью событий в пространстве и времени. (На эту сторону дела особенно обратил внимание ленинградский ученый А. Д. Александров)... Вторая основная идея теории состоит в допущении влияния физических процессов на метрику и в установлении на этой основе единства метрики и тяготения. Эти две идеи составляют сущность теории тяготения Эйнштейна, и их следует признать величайшими достижениями человеческого гения».

Так академик Фок вновь подтвердил свою точку зрения на теорию Эйнштейна, как бы возражая еще раз Кузнецову на его нападки во время киевского совещания философов и физиков.

«Из чего исходит Александров? — вопрошал тогда Кузнецов. — Он так же, как и Фок, полагает, что теория относительности есть 'физическая теория пространства и времени'... главной ее особенностью он считает установление 'универсальной связи' пространства и времени».

Академик Фок смело отстоял честь науки, назвав величайшим достижением человеческого гения то, что Кузнецов предназначил к отправке на свалку нечистот.

Этой статьей собственно и закончился 1961 год для «Вопросов философии», предвещая, казалось бы, продолжение дискуссии. Но в течение восьми месяцев журнал хранил молчание. И только в августе 1962 года («В. Ф.» № 8, статья Г. К. Конька «Логика развития понятия 'сила' в физике») мы вновь находим возвращение к идеям Эйнштейна, хотя без упоминания о нем. **Коньк пишет:**

«Понятие силы получает дальнейшее развитие и углубление своего содержания в общей теории относительности благодаря установлению единства и внутренней органической связи между переносом материи и движения и изменении геометрии, структуры пространственно-временного континуума. Здесь нельзя пройти мимо момента отрицания силы в релятивистской теории тяготения (читай — общей теории относительности Эйнштейна, П. Ш.), где гравитационные и инерционные силы оказываются феноменом, сущность которого заключается в кривизне пространства... Релятивистская теория тяготения... переходит к внутренним свойствам пространства-времени, к глубочайшему 'фону' материальных взаимодействий, определяющих структуру пространственно-временного континуума».

Это еще раз подтверждает высказывания академика Фока.

Можно было бы ожидать новых обвинений в скатывании к идеа-

листическим позициям и в «превращении пространства и времени в некое активное начало, обусловливающее свойства материи, движение материи». Но таких обвинений пока не последовало. Статья Кohnька, кстати, помещена не в дискуссионном отделе, следовательно можно предположить, что редакция журнала согласна с этими еретическими высказываниями, или что она, может быть, ждет более удобного момента для контратаки.

Момент был очень неудобным: в том же номере журнала появилась статья «Еще раз о союзе философов и естествоиспытателей», без подписи, хотя это не передовая статья и помещена она в середине журнала. (Передовая статья посвящена Всемирному конгрессу мира и таким образом как будто бы перекликается со статьей, призывающей к миру между философами и физиками). Начинается она со ссылки на Ленина, как и с жалоб на «натиск буржуазных идей» и призывает «сокрушить до конца идейных врагов научного, материалистического мировоззрения».

Фразеология статьи указывает на ее авторов: это сильные мира сего. Но написана она в сдержанном тоне; арбитром в споре философов с физиками призван Герцен — лицо нейтральное.

«Необходимо, предупреждал он (Герцен, П. Ш.), чтобы философия оставила грубые притязания на безусловную власть и на всегдашнюю непогрешимость. Ей по праву принадлежит центральное место в науке, которым она вполне может воспользоваться, когда перестанет требовать его».

Золотые слова! Добавим: если под философией понимать то, что понимал Герцен, сто двадцать лет тому назад. Увы, статья предписывает понимать под философией только одно: «материалистическую диалектику». Неподвижность идей этого учения должна вступить в союз с наукой, описывающей подвижную реальность. Предполагается создать союз, в котором сочетались бы «лед и пламя». Задача трудная, и авторы анонимной статьи в сущности сознаются в том, что она неразрешима.

Попытки решения, с помощью марксистско-ленинской диалектики, все же предпринимаются:

«Нельзя представить себе этот союз таким образом, что философия должна диктовать задачи и условия современному естествознанию, быть арбитром в решении конкретных вопросов науки. Нельзя дело представлять и так: частные (естественные) науки должны давать конкретный материал для философии, развиваясь независимо от нее, а философия может лишь впитывать в себя этот материал в его обобщенном виде, всегда отставая от развития естествознания».⁷⁾

⁷⁾ Экзистенциалист Ясперс с большим мужеством раскрывает диалектику отношений между философией и наукой: «Истина требует большего, чем дает нам наука. К истине следует идти и другим путем. Наука обращается к тому, что принудительно для каждого в рассудке; мысль об истине — к тому, что

Что же остается? А как всегда, когда марксистско-ленинские диалектики пытаются разрешить противоречия, их смазывание:

«Союз естествоиспытателей и философов имеет двуединую задачу: творчески разрабатывать общие проблемы научной философии и современного естествознания и одновременно с этим вести наступательную борьбу против буржуазного мировоззрения».

Противоречие растаяло, растворилось в задаче, присущей философии, отстаивающей свои позиции, но не свойственной истинной науке. Науке вменяются в обязанность не поиски истины, а борьба с неприемлемыми для диамата мировоззрениями, к тому же охарактеризованными неясно и ненаучно. Науке опять отводится служебная роль, она опять подчиняется диалектике:

«Чем глубже и полнее анализируются и философски обобщаются с позиций материалистической диалектики данные всех отраслей современного естествознания, тем сокрушительнее можно наносить удары по реакционному мировоззрению».

Таково первое и последнее слово, таков трюк марксистской диалектики. Завет Герцена остался втуне: диалектика, «с позиций которой философски обобщаются данные науки», сохраняет «безусловную власть и всегдашнюю непогрешимость», — иначе, очевидно, вовлечь науку в наступательную политическую борьбу невозможно.

В статье вместе с новым указанием на ведущую роль диамата в союзе между физиками и философами, упоминаются и ошибки руководства в прошлом. В будущем нужно, говорится в статье —

«предупреждать появление каких-либо тенденций, мешающих укреплению и росту союза, и в особенности чтобы в корне пресекать рецидивы тех ненормальных явлений (администрирование, грубые окрики, навешивание порочащих ярлыков и пр.), которыми характеризовался культ личности в области наук. А такие рецидивы нет-нет, да и дают себя знать в отдельных случаях».

Во всем виноваты, конечно, пережитки культа личности, отягчающие психику физиков. Пережиткам уделен абзац, который стоит привести полностью:

«К сожалению, последствия прежних ненормальных, можно сказать, даже болезненных явлений в отношениях между естественниками и философами, не так легко и быстро устраняются, как бы нам хотелось. В духовной сфере (а речь идет именно о ней) выправление допущенных ранее ошибок связа-

убедительно для человеческого существования в целом. Научная истина относительна в методах и исходных пунктах, но как таковая, она общеобязательна. Философская и богословская истина безусловна для тех, кто в ней живет, но в своих объективных высказываниях она многостороння и необщеобязательна. Истина, безусловная для того, кто ей следует, и тем самым дающая смысл и жизни, и исследованиям, не может существовать сама по себе, но развивается лишь в борьбе духовных сил». Речь на праздновании 500-летия Базельского университета. Перевод А. Неймирка.

но с очень сложными, не всегда явно обнаруживаемыми процессами, совершающимися в сознании людей. Более того, ошибки, допускавшиеся ранее в области философской работы, а также неизжитые до конца ее недостатки (например, в области подготовки философских кадров), порождают у некоторых наших естествоиспытателей неправильное отношение к самой философии. Остатки бывшего взаимного недоверия и неуважения затрудняют и осложняют выполнение ленинского завета».

Да, отношения между философами и учеными у нас на родине — мрачная трагедия. Мрачность ее усугубляется еще тем, что злой рок выступает под маской философа — всеведущего мудреца, давно обретшего истину. И извиняющийся тон речи этого мудреца не снимает с него вины, — а вина большая, вспомним хотя бы гибель Н. И. Вавилова, а имена других — «Ты, Господи, веши!» И то, что наука признана в этой статье пострадавшей стороной, не может сгладить горечи обид и возместить потерь, невозместимых ничем: потерь больших ученых, самоотверженных и мужественных искателей истины, за которую они «положили живот свой».

Но в статье о союзе естественников и философов нет упоминания об истине. Этот квазисоюз неравноправных партнеров создается для других целей, не имеющих ничего общего ни с подлинной философией, ни с подлинной наукой. И все же статья показательна. Показательна и своим тоном, и той расплывчатой аргументацией, которые невольно изобличают лицемерие, прикрывающееся неискренней искренностью. Это полупризнание вины, — полупризнание, от которого легко отказаться, которое ни к чему философов не обязывает. Во всяком случае, оно не обязывает философов и стоящую за ними силу пересмотреть установки «самой передовой в мире научной философии», сдвинуть с места «железные, неподвижные мозги» людей, называющих себя философами.

Если дискуссия по вопросам современной физики в «Вопросах философии» так и не возникла и еретические высказывания физиков остались без ответа, то по другому, более важному поводу спор все же возник. В течение полугода страницы журнала были представлены полемике с английским философом-позитивистом.

Профессора А. Д. Айера пригласили написать для журнала статью, и этот видный представитель английского неопозитивизма украсил первый номер «Вопросов философии» за 1962 год своей статьей «Философия и наука». Ей была предпослана заметка от редакции, в которой несколько объяснялось и оправдывалось это необычное начинание; в ней указывалось, что позитивист «как бы находится на распутье». Профессор Айер — «не будучи хорошо знакомым с диалектическим материализмом, разделяет массу предрассудков и предубеждений в отношении философии марксизма»; его

статья названа «первой попыткой автора более детально разобраться в некоторых проблемах диалектического материализма». Все же она признана полезной —

«и для советских философов, так как она наглядно покажет те теоретические сомнения и колебания, которые нередко овладевают философами капиталистических стран и затрудняют им путь к единственно научной философии».

«Коллеблющийся позитивист», однако, оказался не так уж плохо знаком с «единственно научной философией»: вольно или невольно, он задел главные нервные узлы диамата, высказав о них ясные и убийственные суждения. Сама статья Айера в целом не представляет большого интереса, она касается больше логики, чем философии и содержит давно известные мысли, вокруг которых вращается логический позитивизм. Но суждения автора об основных законах диалектического материализма заслуживают внимания, хотя и не своей новизной: новизны в них нет. Они заслуживают внимания из-за реакции, которая была вызвана ими в «Вопросах философии». Приведем только три примера:

1. Об отношении между философией и наукой Айер писал:

«Человек, не обладающий опытом применения научных теорий, едва ли может авторитетно их интерпретировать. Поэтому любые достижения, например, в области физики, должны исходить от самих физиков».

Это очень неприятное высказывание, перекликающееся с высказываниями физиков на упоминавшейся выше конференции в Киеве.

2. Законы диалектики в природе:

«Если любая форма взаимодействия сил считается их синтезом, то мы заходим в тупик, ибо что, собственно, исключает эта теория? Нам нечего с ней делать, потому что она не ставит никаких определенных требований к фактам. Что бы не произошло, она чувствует себя удовлетворенной. . . Когда эти принципы понимаются настолько широко, что их считают способными охватить все что угодно, они не могут выполнять никакой функции. Безграничная терпимость лишает их всякого содержания».

3. Переход количества в качество:

«Тот же недостаток точности присущ и идее зависимости качественных изменений от количественных. Традиционным примером для подтверждения этого положения является конденсация или испарение воды в результате изменения ее температуры. . . Процессы конденсации могут быть измерены (т. е. выражены количественно. П. Ш.), а изменения температуры могут быть представлены, как изменения качества, стоит только ввести необходимые предикаты. Неясно также, как этот пример может быть обобщен. Возможно, что за всем этим скрывается очень значительная идея, заключающаяся в том, что в конце концов вся наука может быть сведена к физике. Но этот вопрос остается открытым конкретно-научным вопросом».

Свою статью Айер закончил следующим замечанием:

«Работа философа носит также и критический характер, ибо даже самые основные наши понятия не являются священными, мы можем предложить способы их ревизии».

Журнал не мог оставить статью Айера без ответа. Ответ следует сразу за статьей и носит заглавие, обнаруживающее плохо скрытое раздражение: «Нет! Философия — это наука». Надо признать, ответ написан в очень сдержанном тоне, что делает честь его автору, тому же И. В. Кузнецову, так резко нападавшему в свое время на советских физиков. Ответ очень многословен, по размеру он в два раза превышает статью Айера, но ни одно из высказываний английского ученого (приведенных нами выше) в нем так и не удалось опровергнуть.

Не оставляет никакого сомнения, что ответ журнала адресован не Айеру, а советскому читателю, на которого, по долгой привычке, должны действовать не логические доводы, а священные заклинания диамата. К ним и прибегает автор ответа, говоря об отношении философии к науке: он приводит примеры той существенной помощи, которую оказали философы-марксисты естественным наукам. В первую голову, конечно, идут Энгельс и Ленин. Энгельсу ставится в заслугу «превосходный философский анализ» закона сохранения энергии, а Ленину — философская интерпретация электронной структуры атома.

Оба эти высказывания сегодня безнадежно устарели, стоит привести лишь такую цитату:

«Надо спросить, существуют ли электроны, эфир и так далее вне человеческого сознания, как объективная реальность, или нет? На этот вопрос естествоиспытатели так же без колебания должны будут ответить и отвечают постоянно да». (В. И. Ленин, «Материализм и эмпириокритицизм»).

Несмотря на ленинское «должны», современные ученые относительно эфира ответили категорическим «нет». В отношении «электронов и так далее» спор еще не закончен, но вряд ли он будет решен в пользу Ленина.

Не лучше обстоит дело и в отношении законов диалектики в природе. Возражая Айеру, журнал не может ответить на его требование подтвердить научными фактами действие этих «всеобъемлющих законов», раскрыть понятие «отрицание» в терминах хотя бы физических процессов. На этот вопрос журнал дал убийственный для диалектического материализма ответ:

«Пытаться детально конкретизировать определение характера противоречия на основе данных какой-либо специальной науки, значило бы лишить эти понятия всеобщности, которой они должны обладать по самой своей сущности».

Легко заметить, что такой странный способ возражения только подтверждает утверждение Айера о том, что «безграничная терпи-

мость» законов диалектики, способных охватывать все, что угодно, «лишает их всякого содержания» и ведет к тому, что «они не могут выполнять никакой функции».

Не менее неудачной в ответе оказалась и интерпретация перехода количественных изменений в качественные:

«В реальной обстановке 'количество' никогда не бывает бескачественной численной мерой. Это всегда количество 'чего-то' — возражает Айеру журнал. Таким образом количество оказывается числовым выражением качества же, символом, не всегда удобным для выражения определенного качественного состояния.

В порыве диалектического азарта, Кузнецов здесь почти дословно повторил Бергсона, говорившего, что количество, по определению элементарной арифметики, есть число именованное, то есть, количественное выражение объектов, обладающих качествами. Как не назвать подобное отречение от истинной веры пережитком капитализма в сознании философа-материалиста? Автор не замечает своей оплошности и, упрямо утверждая свою правоту, вновь повторяет, что и этот закон —

«Вырабатывает широкие понятия количества-качества, не связанные обязательно с каким-либо одним типом процессов (например, физических) и не детализируемые непременно в термины какой-либо специальной науки. Здесь дело обстоит так же, как и в случае понятия противоречия...»

Иначе говоря, оппонент признает, что и этот закон марксистской диалектики обнимает необъятное и не может, по выражению Айера, выполнять «никакой функции».

По-видимому, для материалистов-диалектиков стало ясно, что дискуссия с английским ученым не принесет добра. И в пятом-шестом номерах «Вопросов философии» появилась обширная статья Б. М. Кедрова, одного из редакторов журнала, которая, вероятно, должна была возместить неудачу дискуссии. Эта статья еще меньше обращена к Айеру, она нацелена только на своего читателя и аргументы ее полностью сведены к повторению заклинательных формул диамата. Это уже «разговор между своими».

Статья начинается с того, что профессор Айер ошибочно указывает «на предельную общность тех понятий и принципов, которыми оперирует философия в отличие от частных наук». В этом возражении Кедров не вполне точен: Айер указывал главным образом на чрезмерную общность законов диалектического материализма, а не философии вообще. Но об этом конкретном и щекотливом обстоятельстве Кедров упоминает лишь вскользь; он заходит издалека, от первобытного человека, который, наблюдая небесные явления, не мог понять их, ибо не знал законов природы.

Сообщив это ценное сведение, Кедров переходит к философии «в ее донаучной стадии». Следует длинное изложение, нечто вроде

конспекта популярного учебника истории наук; оно ведет нас, через Аристотеля, Кеплера, Ньютона, к такой мысли:

«Философское учение, которое имеет своим предметом подлинно объективные законы, должно считать безусловно научным. Таким учением является учение материалистической диалектики».

Но где же конкретные доказательства? Айер ведь утверждал, что законы материалистической диалектики «не несут никакой функции»? Кедров отвечает:

«Факты говорят об обратном: во всех без исключения случаях, когда предвидения общественно-исторических событий делались на основе материалистической диалектики и ее законов, они неизменно подтверждались с той же железной логикой, с какой в области естествознания подтверждались предвидения неизвестных еще вещей и явлений».

Приведен и сокрушительный факт, в конце статьи, по системе палочного удара:

«Например, когда гитлеровские полчища вторглись в нашу страну... советские люди, Коммунистическая партия, опираясь на марксистское учение, в том числе и на его диалектику, и применяя ее, как метод научного предвидения, к анализу сложившейся исторической ситуации, убежденно заявили в первые же дни войны, что, несмотря на временные успехи фашистской Германии, ее поражение неминуемо».

Это доказательство правоты диамата явно обращено только к советскому читателю. Ведь Айеру известны такие же предсказания, которые гораздо раньше были высказаны Черчилем, никогда никакого интереса к диамату не проявлявшим. Может быть, впрочем, Черчилль был стихийным материалистом-диалектиком?

Конец статьи Кедрова производит удручающее впечатление: он написан в тоне, недостойном маститого представителя марксистской философии. Достаточно привести одну фразу из целой связки подобных же фраз:

«Только тот, кто не боится поставить себя в смешное положение, отважится спорить без предварительного серьезного изучения по первоисточникам всего того, что касается предмета спора. Так это и случилось у Айера».

Чрезмерная раздражительность автора в какой-то мере простибельна: она вызвана статьей Айера не в «Вопросах философии», а другой, напечатанной в лондонском «Обсервере». Причем раздражение вызвало, вероятно, даже не содержание статьи, — в ней нет ничего нового, по сравнению с первой, напечатанной в «Вопросах философии», и написана она в очень сдержанном тоне, — раздражение должно было вызвать заглавие ее: «Прорыв диалектического занавеса».*) Об этом можно только пожалеть: дискуссия могла бы

*) Перевод статьи Айера печатается вслед за этой статьей. (Ред.)

быть интересной, если бы позволено было ее продолжать. Но в дискуссии, очевидно, вмешались посторонние силы: в передовой статье «Вопросов философии» (№6) есть сообщение, что она была «справедливо подвергнута критике в редакционной статье журнала 'Коммунист'». Айеру не позволили возразить своим оппонентам: последнее слово осталось за политиками.

Профессор Айер, беседовавший с нашими философами, нашел, что в диамате можно ожидать появления духа критицизма, оживления, движения воды. Оптимист может найти признаки этого движения в тетрадах журнала «Вопросы философии» за истекший год, — но, по нашему мнению, это может сделать только неисправимый оптимист. В качестве же попытки исправления его, приведем выписку из одной статьи журнала («В. Ф.» № 4, 1962, статья-доклад «XXXII съезд КПСС и задачи научной работы в области марксистско-ленинской философии»):

«В предшествующей теоретической работе наших философских кадров всесторонне развивался марксистский тезис о том, что общественное бытие определяет общественное сознание. Это было необходимо для борьбы против всяких форм проявления идеализма в общественной науке. И впредь в борьбе с идеалистическими течениями мы должны отстаивать это кардинальное положение марксистской философии. Однако в настоящее время перед нами со всей силой встает задача всестороннего исследования общественного и индивидуального сознания людей, духовного мира человека, проблема обратного воздействия общественного сознания на общественное бытие».

Комментарии к этому не нужны. Слова эти, сказанные с подкупающей искренностью, принадлежат главному редактору «Вопросов философии» академику М. Е. Митину, возглавляющему отряды советских философов и откровенно признающему, что для него объективно существуют две истины.

«Трижды пойманный во лжи должен по закону всю жизнь молчать, а тот, кто сказал правду, освобождается от тягот и налогов», — говорил Сенека. Митина можно освободить от тягот по поискам истины, налогами же, наверное, он и так не обременен.

А. Д. АЙЕР

Прорыв диалектического занавеса

Два месяца тому назад в «Вопросах философии», — ведущем философском журнале Советского Союза, соответствующем английскому журналу «Майнд», — была опубликована моя статья, озаглавленная «Философия и наука». В ней не было ничего чрезвычайного, в том смысле, что она не содержала в себе никаких новых значительных положений. Но в ней все же была сдержанная критика марксистской диалектики.

Я писал, что каковы бы ни были цели, которые преследуются сторонниками диалектического материализма, принципы его не могут рассматриваться в качестве научных законов. Я не утверждал, что они ложны; я лишь высказал мнение, что они выражены в форме, которая не допускает их опровержения, так как в эту форму невозможно вложить какое-либо эмпирическое содержание.

Моей статье предшествовало введение от редакции, в котором, в вежливой форме, было сказано, что я в сущности ничего не понимаю в диалектике, а за статьей следовал пространный ответ, — в нем категорически утверждалось, что философия этого типа, диалектика, все-таки наука. Интересно, однако, не то, что мою статью оспорили, а то, что она вообще могла быть напечатана. Насколько я знаю, это первый случай публикации в советском философском журнале статьи, содержащей критику ортодоксальных положений марксизма. Еще примечательнее то, что я, по предложению редакции «Вопросов философии», сам выбрал тему статьи.

После опубликования моей статьи, я получил приглашение от декана философского факультета Московского университета прочесть серию лекций. Опять-таки, по-моему, это был первый случай приглашения в советский университет, в качестве лектора, не со-

Статья проф. А. Д. Айера была напечатана в английской газете «Обсервер» в апреле 1962 г.

чувствующего марксизму философа. В последнее время установился довольно свободный обмен учеными, но он, до этого случая, на философию не распространялся, вероятно потому, что философия в СССР тесно связана с политикой и рассматривается, как средство обоснования советской политической системы.

То, что приглашение получил именно я, в большой мере можно объяснить случайностью. Три или четыре года назад, на одном из международных конгрессов, я встретился с группой советских философов. Мы убедились тогда, что, несмотря на расхождения в наших философских взглядах, беседовать мы все же можем. Главное же во всем этом — то, что советские философы решили познакомиться с мнением представителя западной философии, хотя имя его связано с позитивизмом, тогда как представители марксистской диалектики особенно упорно борются именно против этого направления философии.

Я прочел в СССР пять лекций: четыре в Москве и одну в Ленинграде. Было и несколько частных бесед с небольшой группой профессоров. Темы моих лекций — «Современная английская философия»; в этой лекции я дал обзор трудов Уиттгенштейна, Уисдома, Райля, Остина. Затем «Прагматизм», от Пирса до наших дней. «Понятие личности. Проблема души и тела», — в этой лекции я коснулся проблемы отношений сознания с физическим организмом человека, опираясь на теорию, выдвинутую Струсоном в его труде об индивидуумах. Наконец — «Истина», где я защищал один из вариантов семантической теории. Эту лекцию я повторил в Ленинграде.

В частных беседах основной темой была сущность философии вообще и взаимоотношение между философией и наукой.

На лекциях было много слушателей, большинство составляли студенты. Так как по-русски я не говорю, мне пришлось прибегать к помощи переводчика, который читал русский перевод лекции. После этого я отвечал на письменные вопросы слушателей. Если вопросы задавали студенты, то они часто были написаны по-английски. Вообще у меня сложилось впечатление, что студенты знают английский язык гораздо лучше, чем их профессора.

Участие профессоров в дискуссии состояло обычно в том, что двое или трое из них читали заранее подготовленный текст вопроса-резюме. Мои ответы часто вызывали новые их вопросы, но в общем было достигнуто соглашение, что последнее слово остается за мной. Эта сложная процедура приводила к тому, что мои выступления надолго затягивались, — например, моя лекция по вопросу психофизических отношений и дискуссия по ней продолжались более четырех часов. Вопросы задавались главным образом для того, чтобы развить то или иное положение, а не для опровержения

высказанного мною. Причем, вопросы слушателей относились к всевозможным областям философии и часто не имели почти ничего общего с темой лекции. Например, часто задавали вопросы из области этики — и тут я был поражен, как хорошо, оказывается, некоторые студенты были знакомы с новейшими работами современных английских философов. Тогда мне стало ясно, какое большое значение придают студенты именно этой области философии.

Тексты, которые, в ответ на мои выступления, читали профессора, касались гораздо ближе сути моих высказываний. Они носили и более полемический характер, хотя всегда были выдержаны в очень вежливом тоне. Здесь подчеркивались главным образом те положения, в которых мы расходились. У меня создалось впечатление, что профессора хотели доказать мне, — да и самим себе, — что наши расхождения не преодолимы. Дискуссия обычно разгоралась, если я оспаривал их взгляды, но не при оспаривании моих высказываний.

Вообще же я нашел, что философские позиции советских профессоров не столь окостенелы, как я предполагал. Само собой разумеется, что основные положения марксизма никто из них ставить под сомнение не осмеливается, но эти положения высказывались в такой широкой форме, что они давали большой простор для маневрирования. То, что процессы в природе диалектичны, что «природой управляют законы диалектики», это является в СССР аксиомой. Когда же я попросил привести пример действия этого диалектического закона, мне могли только сказать, что все в мире находится в состоянии непрерывного изменения. Я попросил дать более точное толкование этого общего положения, — однако все, чего я смог добиться, опять-таки сводилось к утверждению, что мы живем в мире, в котором постоянно происходят изменения. Короче говоря, все сводилось к трюизму, отрицать который могли бы разве только метафизики из числа одержимых.

В прошлом советские философы пытались укладывать научные теории в рамки, созданные а priori. Например, теорию относительности они отвергали только потому, что она будто бы противоречит диалектическому материализму. Физики ответили заявлением, что советские философы этим показали свое полное непонимание теории относительности. И философы принуждены были смириться. А так как престиж науки в СССР необычайно высок, то задача философии в конце концов свелась к тому, что она лишь подгоняет свои философские обоснования к последним научным теориям, — без того, чтобы научные теории перекраивались по мерке диалектического материализма.

Есть еще одно положение, не подлежащее дискуссии: истинность материализма. Но когда я попытался уяснить, что же понимают в

СССР под материализмом, то пришел к заключению, что это то, что на Западе обычно называют реализмом. Все сводится к тому, что физические объекты существуют независимо от нашего познания или восприятия. Отсюда вывод, что познание предмета не может быть сведено к чувственным данным о нем. Но ведь с этим сегодня согласится большинство английских философов.

Чего я в материализме не нашел, это утверждения о тождестве физических и психических процессов. Советские философы в этом вопросе не идут так далеко, как, например, профессор Райль, который пытался исключить дух из физического механизма человека. Дело дошло до того, что в одном возражении на мое толкование психофизической проблемы было заявлено, что мои взгляды в данном случае слишком материалистичны. Мои оппоненты находили, что я недооцениваю действительности духа.

Третья священная догма диалектического материализма — утверждение, что «сознание отражает бытие». Этот догмат опирается на авторитет Ленина. И здесь основной вопрос заключается в точном определении этого положения. В лекции об истине я старался показать следующее: если понятие «отражения» брать в его точном значении, т. е. как понятие, выражающее соответствие образа и строения мысли с образом и строением реальности, то эта теория не выдерживает критики. Если же «отражение» понимать в том смысле, что факты часто представляют собой то, что мы о них думаем, тогда теория эта правильна, — но в таком случае она не содержит в себе ничего значительного. И единственным возражением против второго толкования теории отражения может быть только то, что формулировка этой теории способна вводить в заблуждение.

В виде официального ответа на это было заявление, что я ничего в теории отражения не понял. Однако более или менее точного объяснения, что же надо понимать под отражением, я так и не получил. У меня все же возникло впечатление, что молодой частью аудитории моя аргументация была воспринята сочувственно. Надо сказать, что советская молодежь в общем более эластична и восприимчива к новым идеям, чем старшее поколение.

Приведенные выше примеры показывают самые уязвимые места у советских философов. Они так долго оперировали всеобъемлющими и неясными формулами, что техника точного анализа стала им непривычной. Тут они могли бы поучиться у своих профессоров формальной логики, которые остаются на высоте положения. Но как в СССР, так и у нас, исследователи формальной логики все больше приближаются к математикам и к философии относятся критически, считая, что ей недостает точности.

Я думаю, что советские философы отдадут себе отчет в своих недостатках, почему они и пригласили меня. Может быть, были у

них и другие мотивы: например, они хотели привлечь меня к «движению за мир». Но все же я больше склоняюсь к тому, что главное заключается в их чувстве изолированности и в желании выйти на более широкую философскую дорогу. Советские философы предлагали мне и впредь писать статьи для советских журналов и выражали желание писать для наших журналов и читать в наших университетах. Это, конечно, надо только приветствовать. Дух критцизма еще не вселился в советскую философию, но его незримое присутствие уже чувствуется.

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО П. Ш.

Г. КРУГОВОЙ

Пути русской мессианской идеи

В свое время на страницах «Мостов» были опубликованы две статьи советских авторов: «Соцреализм и цель» и «Голос из России»*), вызвавшие дискуссию в свободной русской прессе. Но с тех пор прошло больше двух лет и они были забыты в суете и суматохе событий, которыми столь богат наш быстротечный двадцатый век.

Между тем статьи эти заслуживают внимания не только потому, что они в какой-то мере отражают мысли двух поколений советской интеллигенции. Для них характерна одна общая и, думается, существенно национальная черта, хотя авторы находятся на разных политических полюсах, по разному смотрят в будущее, различно оценивают исторические пути России. Первый — представитель старшего уходящего поколения. По всей вероятности, это привилегированный и причастный диктатуре бюрократ от литературы. Он, по-видимому, потерял веру и в сияющие вершины коммунизма, и в великую цель Маркса-Энгельса-Ленина и стал скептиком, не испытывающим особой потребности покаяться и пожалеть о прошлом. В оправдание он все же приводит весьма характерный аргумент:

«Мы искали спасения не для себя, но для всего человечества. И, вместо сентиментальных вздохов, самосовершенствования, вместо празднеств ‚в пользу голодающих‘ и тому подобного, мы взяли за исправление Вселенной, следуя наилучшему образцу, какой когда-либо существовал, а именно — ослепительной цели, представшей перед нами.»

Второй не оправдывает прошлого. Коммунизм для него — подлая и коварная гидра, дракон, стремящийся пленить душу народа. Автор готов бороться с ним. Он не копается в прошлом, он устремлен в будущее, если даже его прогнозы не совсем уверенны. Он пишет:

*) См. вторую и четвертую книги «Мостов».

«Зная настроения русских людей во всех слоях общества, я думаю, что наше общество может эволюционировать... Может быть начнется постепенная европеизация в результате расширения туристических и культурных контактов. Я не знаю. Но может быть раньше, чем вы думаете, вы, на Западе, узрите Россию, несущую вам не страх, а свет.»

Именно этот пафос «спасения всего человечества», убеждение в том, что Россия, может быть, принесет «свет миру», и есть та общая психологическая черта, которая связывает обоих в остальном различных авторов. Черта эта знакома тем, кто интересовался творениями русской философской и общественно-политической мысли 19 и 20 веков. Она известна под именем «русского мессианизма».

Я отдаю себе отчет в непопулярности этой темы в кругах свободной русской интеллигенции. Отталкивание от нее психологически понятно. Слишком уж безответственно оперировали на Западе этим термином недруги России, усматривая в «русском мессианизме» главную движущую силу пресловутого «русского империализма».

Конечно, можно согласиться, что русскому крестьянину 19 века некогда было размышлять о вселенской миссии его страны. Но ощущение этой миссии несомненно пронизывает труды многих мыслителей, как западнического так и славянофильского направлений: эта идея нашла свое выражение и формулировку среди русской интеллигенции. Но ведь при всей оторванности значительной части интеллигенции от народных масс, в своем изначальном пафосе она, тем не менее, не могла не питаться глубинными соками коллективной психики, не могла не корениться в бессознательных глубинах «народной души»; вне этого она просто не могла быть русской интеллигенцией. А если так, то уяснение природы, возникновения и этапов развития идеи русского мессианизма приобретает насущное значение и для современности, как для понимания того, какие элементы мессианского мироощущения были использованы большевиками в прошлом, так и для попыток предугадывания возможных путей выражения этих тенденций в будущем.

Что же составляет существенные моменты мессианизма, как явления вообще? Укажем с самого начала, что мессианизм есть явление культурно-исторического порядка и в конечном счете уходит своими корнями в глубины религиозного переживания. Он очень часто отождествляет себя с сознанием национального и государственного величия. Но из этого совсем не следует, что чувство национальной гордости и даже сознание величия политической миссии в мире должно быть связано с мессианизмом. Императорский Рим со времен Октавиана Августа остро ощущал великую политическую миссию империи, принесшей мир и право эллинскому миру. И вместе с тем мессианизм был абсолютно чужд римскому духу.

Дело в том, что мессианизм не просто связан с ощущением лич-

ной или коллективной миссии вообще. Всякое политическое действие реализуется в истории. Но далеко не всякое ощущение миссии связывается с потребностью сознательной реализации самой истории, переживаемой, как процесс, в котором отдельным личностям и народам принадлежит роль творческого соучастия.

Но только из такого динамического восприятия истории и могла родиться и развиваться идея мессианизма. Мессианизм всегда историчен. Он живет и действует в реальном времени, имеющем начало и конечную сверхвременную цель, заключающую в себе смысл и завершение самой истории — «исполнение сроков».

Ни эллинская, ни индийская, ни ассиро-вавилонская, ни другие цивилизации древности не имели такого представления истории и фактически преодолевали эмпирическое время во времени мифическом, прибегая к древнему мифу о космическом круговороте, вечном повторении событий.

Однако историзм не единственная, хотя и существенная черта мессианизма. Убеждение в наличии осуществляющейся в истории цели предполагает осмысление последней, как единой и универсальной истины. Приобретение или познание такой универсальной истины может переживаться, как религиозное откровение или результат рационального познания, — как, например, думали в 19 веке с его безграничным научным оптимизмом, верой в прогресс и историческую миссию западной цивилизации. Но в любом случае подлинное и глубокое убеждение в обладании универсальной истиной может очень легко внушить убеждение в «избранности», как личной так и коллективной.

Отсюда мессианизм, как культурно-историческое явление, представляет собой органическое единство трех мировоззренческих элементов: 1) убеждения в обладании универсальной истиной, 2) чувства «избранности» и 3) острого ощущения ответственности за судьбы исторического процесса.

Если духовная установка древних восточных и средиземноморских культур оказалась неблагоприятной почвой для произрастания мессианских идей, то мессианизм явился одним из существенных элементов ветхозаветного иудаизма и, по преемственности (разумеется, с существенно новым содержанием), перешел в христианство, почему и стал достоянием как западной, так и русской культуры с их острым ощущением смысла истории.

*

Киевская Русь твердо верила в обладание абсолютной истиной. Этой истиной было христианское откровение в исторической форме византийского православия. Но русское православие не оказалось простой копией греческого. Богослужение и священные книги на понятном новообращаемым народам языке способствовали более органичному взаимопроникновению универсального содержа-

ния христианства и специфических особенностей восточнославянской духовной установки.

Этим в значительной степени объясняется оцерковленный характер русской культуры вплоть до раскола и реформ Петра, тогда как в Западной Европе секулярное течение в культуре забило живым ключом уже в рыцарских романах 12 века. Яркой иллюстрацией этому может служить сравнение двух замечательных памятников средневековых западной и русской литератур: «Тристан и Изольда» в Западной Европе и «Повесть о Петре и Февронии Муромских» в древней Руси.

Древнерусское христианство оказалось синтезом византийского православия и древнерусского восприятия целостной правды. Мы говорим здесь о характерном для путей русского духа синтезе правды-истины, как онтологической основе бытия, и правды-справедливости, как нравственной категории человеческой жизни. Уже в древних памятниках русского средневековья границы между истиной и правдой не ощущаются ясно. В «Повести о разорении Рязани Батыем» (конец 13 начало 14 вв.) оба понятия полностью отождествлены в термине «правда-истина», и уже навсегда определили духовную установку русского человека и его культуры, до сегодняшнего дня.

Подобное восприятие правды — отнюдь не следствие принятия христианства: оно предшествует последнему. Но строго говоря, его нельзя назвать и специфически русским. Целостное восприятие правды — психологический феномен, связанный с первичным ощущением органического всеединства мира и характерный для внутренней установки всех народов, особенно на ранней дорационалистической ступени развития.

В древней Руси целостное ощущение правды было связано с космическим мироощущением органического единства мира, выраженном в древнем культе Матери-сырой земли. Если признать былинку о Святогоре-богатыре древнейшим эпическим воспоминанием космического мироощущения, она может служить иллюстрацией к вышесказанному.

Интересно, что из логического анализа содержания правды, как сочетания человеческой жизни с основным принципом бытия, вытекают три главных направления религиозных и философских исканий: антропологии, этики и историософии. И эти три направления стали в России основными не только для религиозной, но и для секулярной мысли.

Но вот, например, индийская культура, с ее формально аналогичным восприятием целостной правды, оказалась совершенно безразличной к вопросу о смысле истории. Никакого историзма мы не находим и в древних славянских мифах, поскольку они сохранились и дошли до нас. Значит, дело заключается в сущности са-

мого принципа бытия, в согласии с которым и осуществляются истина, жизнь и путь человека.

Таким основным принципом бытия для древней Руси стал Христос, Бог-Слово и Бог-Любовь, и как центральное событие всемирной истории, и как обетование грядущего метаисторического преобразования мира. Евангельское учение и христианское богословие не только не противоречили древнему русскому ощущению правды, но и необыкновенно возвысили и обогатили его, дали ему новый смысл и, пользуясь современным термином, религиозно-персоналистическое содержание. Не лишив древнее переживание правды прежнего универсально-космического значения, христианство обогатило его интенсивным социальным и историко-мессианским звучанием.

В тесной связи с вышесказанным находится и элемент избранничества Руси в плане Божественного Провидения. Это убеждение не покидает русскую историческую мысль домонгольского периода даже перед лицом страшного испытания половецких вторжений.

«Да никто не дерзнет рещи яко ненавидимы богомь есмы! Да не будет. Кого бо тако Богъ любить, яко же ны възлюбил есть? Кого тако почель есть, яко же ны прославилъ есть и възнеслъ? Никого же! Им же паче ярость свою въздвиже на ны, яко паче всех почтени бывше, горее всех сдеяхом грехы. Якоже паче всех просвещъни бывше, Владычню волю ведуще, и презревше, в лепоту паче инех казними есмы. Се бо азъ грешный и много и часто Бога прогневаю, и часто согрешаю по вся дни.» (Повесть временных лет, под годом 1093).

Чрезвычайно важно при этом, что несомненное чувство избранничества Руси оказалось связанным не с идеей превосходства русских над другими народами, а, наоборот, как мы видим из приведенного текста, с глубоким чувством смирения и недостойности. Избрание Руси не заслуга, а незаслуженная благодать, возможная именно потому, что Бог есть прежде всего не Бог закона, а Бог любви.

Такая установка понятна. Русь была и не единственным и не первым народом, удостоенным света Божественной Истины. Больше того, она оказалась одной из последних стран, вошедших в семью христианских народов. Но как раз этот факт, призывая к смирению, не мог в то же время не вызывать сознания особого благоволения Бога к Руси.

Сознание избранничества усугублялось еще и тем, что принятие христианства Русью произошло в период расцвета военно-политической мощи Киевского государства. И тем не менее в этом избранничестве совершенно отсутствует элемент национальной исключительности.

И если мы имеем право говорить здесь о первом внятном осознания исторической миссии Руси, то нельзя не согласиться с мне-

нием Д. С. Лихачева, что миссия эта состояла не в утверждении господства и власти над другими странами, а в провозглашении принципиального равенства всех народов в распространении и осуществлении Истины Христа.

В этом смысле и культурно-историческое значение «Слова о законе и благодати» первого русского митрополита Илариона:

«Хвалит же похвальными гласы Римская страна Петра и Павла, ими же вероваша в Иисуса Христа, Сына Божия. Асия, и Ефес, и Патм — Иоанна Богослова, Индия — Фому, Египет — Марка: вся страны, и грады, и люди чтут и славят коегождо их учителя, иже научиша православной вере. Похвалим же и мы, по силе нашей, малыми похвалами великая и дивная сотворышаго нашего и учителя и наставника, великаго кагана нашея земля Владимира. . . Не в худе бо и в неведоме земли владычествоваша, но в Руской, яже ведома и слышима есть всеми концы земля».

И в этом же Слове формулируется основная установленная Христом цель истории — преобразование мира. Цель, ставшая содержанием всего последующего пути русской мессианской идеи.

Но есть еще одна характерная черта в мессианизме Киевской Руси: он не направлен на прославление и освящение главной институции власти — государства. Чуждо ему и освящение носителей государственной власти.

Исторический носитель правды — Русская земля. Но эта земля не есть прежде всего государство. Мы знаем, что государственное сознание древней Руси было не очень сильным. И если даже, как указывает Г. Вернадский, древний Киев более напоминал византийский Константинополь, чем столицы феодальных государств Западной Европы, следует подчеркнуть, что древняя Русь, не избегая зла княжеских междоусобиц, избежала погибельного искушения империей, жертвой которого пало первое Болгарское царство Бориса и Симеона.

Государство, империя — для христианского сознания понятия посторонние и потому ограничивающие, тогда как в слове «земля» для древнего русича звучали нотки традиционного универсализма. Это совсем не значит, что пафос Русской земли не заключал в себе элементов государственного сознания, но он выходил далеко за пределы последнего.

Поэтому-то владимирский епископ Симон мог писать примерно в 1224 году монаху Поликарпу, что «русский мир» состоит из двух сфер: горней области святых — граждан Царствия Небесного, и нижней, земной — граждан исторической Руси. Обе области вместе и составляют, по словам Симона, «русский мир».

*

Монгольское нашествие надолго поколебало убеждение в избранничестве Руси. Братоубийственные усобицы князей, умножение не-

правды не могли не навлечь гнева Божия. Называя себя христианской, Русь на деле не следовала евангельской истине и потому навлекла на себя страшное наказание. В этом смысл проповедей владимирского епископа Серапиона (1274), правил митрополита Кирилла (1274).

Но если политическое унижение Руси в глазах современников было справедливым возмездием за нравственное падение и пренебрежение «божественными правилами», приобщавшими Русь к вышнему миру, то последовавшее в 14-15 вв. возвышение и укрепление собираемой Москвой Руси не могло не вызвать в оцерковленном сознании русского общества убеждения в особой милости Божьей. Вместе с этим возрождается идея избранности, а отсюда и миссии Московской Руси. Но в новой исторической обстановке идея избранничества и миссии Руси трактуется иначе, чем это имело место в домонгольский период.

И в Киевский период убеждение в избранничестве Руси усугублялось сознанием политической мощи. Но тогда Русь вошла последней в неразделенную расколом 1054 года семью христианских народов. Это призывало к скромности, и убеждение в избранности уравнивалось религиозным сознанием ее, как незаслуженной благодати. Религиозный мессианизм выражал себя в утверждении равенства народов.

В 15-16 вв. обстановка коренным образом отличалась от положения в 10-11 вв. В течении четырех столетий Запад лежал погрязшим в «латинской ереси», и даже сама византийская церковь изменила вере, подписав в 1439 году флорентийскую унию. Наказание за измену последовало в 1453 году: Константинополь был взят турками. К тому же политическому унижению Византии противопоставлялось политическое возвышение Московской Руси, окончательное свержение татарского ига и присоединение богатого Новгорода. Понятно поэтому, что при таких условиях убеждение в избранности воспринималось, не как незаслуженная благодать, а как заслуженная награда за непоколебимую верность православному церковному благочестию.

Естественно, что всякое утверждение равенства народов не могло не казаться в глазах современников нелепым, неблагочестивым и безбожным, а провозглашение исключительности и превосходства Руси над другими народами признавалось единственно правильным толкованием сокровенного смысла исторических событий.

Следует учесть и другое чрезвычайно важное обстоятельство. Киевская Русь не была централизованным государством, она представляла собой федерацию независимых княжеств, скрепленных неустойчивым принципом родового старшинства князей. Поэтому тогда не могло быть благоприятных условий для формулировки

мессианской идеи в политических понятиях государственной миссии.

Московская Русь — государство с ярко выраженным самодержавным принципом, роднившим ее не с древним Киевом, а с имперской Византией. Уже с 15 века московские князья ощущали *царское* достоинство своей власти; брак Ивана III с Софьей Палеолог в 1472 году естественно еще усилил сознание священного характера самодержавной власти царя. А так как философия истории того времени мыслилась в церковных категориях, по учению пророка Даниила о мессианской смене царств, то естественно, что в мессианской идее могло произойти смещение удара миссии религиозно-нравственной и церковной на миссию государственно-политическую, освященную церковью.

Идея эта не русская, а византийская. Принесена была она на Русь болгарскими церковниками, бежавшими в Москву после разгрома второго Болгарского царства турками в 1393 году, и здесь приняла форму идеологии Москвы-Третьего Рима.

Было бы, конечно, чрезмерным упрощением видеть в этой идеологии формулировку политических вождедений московских великих князей, творение «извечного» московского империализма. «Повесть о новгородском белом клобуке» возникла в Новгороде, а Филофей был иноком псковского монастыря. Идеология эта церковная, а не государственная.

Политически Москва больше руководилась сознанием роли второго Киева, чем третьего Рима, хотя как раз на последнюю роль ее усиленно подбивала европейская дипломатия, с целью создания антитурецкой коалиции. Во все время существования Московского царства его внешняя политика определялась преимущественно практическими целями воссоединения растерянных под ударами монголов и Литвы частей русской земли, а не романтическими идеями воссоздания Восточной Римской Империи под скипетром русского царя. Правда, теоретически русские цари не отказывались от миссии освобождения покоренных турками православных народов. Об этом свидетельствует пасхальное обращение царя Алексея Михайловича к греческим купцам в 1656 году. Но эта миссия, к чести «тишайшего» царя, воспринималась им именно как религиозно-нравственный долг, а не как коварное прикрытие империалистических поползновений.

Отрицательное значение идеологии Третьего Рима лежит поэтому не столько в государственно-политическом, сколько в культурно-историческом плане. И здесь следует сказать, что перенесение этой византийской идеи на русскую почву и ее соединение с возникшим прежде чувством религиозной и национальной исключительности имело самые трагические последствия как для даль-

нейшей истории Московской Руси, так и для развития самой мессиянской идеи.

Концепция «Москва-Третий Рим» способствовала противоестественному самовозвеличиванию поместной русской церкви, присвоившей себе авторитет церкви вселенской. В 1551 году Стоглавый собор провозгласил превосходство русской формы православия над всеми остальными православными церквями. Это привело не только к горделивой самоизоляции Руси и русской культуры от остального христианского мира, но и осудило их на духовное бесплодие и окостенение в абсолютизированных формах церковной обрядности.

Далее — учением о священности самодержавной власти идея Третьего Рима фактически санкционировала деспотизм московских царей. И никакие теоретические оговорки такого апологета самодержавия, как Иосиф Волоцкий, практически не могли повлиять на ход событий, что и показало царствование Ивана IV.

Идея Москвы-Третьего Рима ускорила окончательную ликвидацию независимости русской церкви от светской власти, подготовив тем самым ее послепетровский паралич.

Таким образом идея Москвы-Третьего Рима раскрывает свою византийскую природу. Русская церковь киевского периода сумела в значительной степени отстоять свою свободу от посягательств светской власти и свой непререкаемый религиозно-нравственный авторитет. Убеждение в превосходстве духовно-нравственного авторитета церкви над светской властью было свойственно не только первым московским митрополитам: оно сохранилось до конца 15 века даже у апологетов идеологии Третьего Рима. Еще в «Повести о новгородском белом клобуке», где впервые проводится мессиянская идея, что «на третьем же Риме, еже есть на Русской земли, благодать Святаго Духа воссия» и что «вся христианская приидут во едино царство Русское, православия ради», отстаивается мысль о превосходстве духовного авторитета церкви над царским венцом.

Можно только гадать, какими путями пошло бы развитие русской мессиянской идеи, если бы русская церковь сохранила свою независимость и узкий московский партикуляризм нашел в себе силы возвратиться к христианскому универсализму Киева. Этого не случилось. Древнее универсальное представление о «Русской земле» было подавлено византийским идеалом священного царства. На соборе 1667 года, низложившем патриарха Никона, «Повесть о белом клобуке» была осуждена, как писание «лживо и неправо», а греческий митрополит Паисий Лигарид, опираясь на авторитет византийской традиции, провозгласил:

«Царь имеет власть управлять патриархом и всеми священниками, ибо не может быть двух глав в одном самодержавном государстве, но царская власть должна быть верховной».

Все это не могло не отразиться на развитии русской мессианской идеи. Мы видели, как и почему концепция Илариона о равенстве христианских народов погасла в горделивом сознании Московской Руси. Но в ней затемнилась и его эсхатологическая концепция о приближении «века жизни нетленной» — идея приближения преображения мира.

Мессианизм Москвы — не динамическое и теургическое приближение Царства Божьей Правды, конечного преобразования мира, а статическое утверждение «священного» государства византийского типа. Отсюда мессианская ответственность за историю покоится в Москве не на каждом отдельном христианине, а на священной личности царя. Такое восприятие мессианской идеи не могло создать благоприятной почвы для развития сознания личной свободы и личной ответственности, в нем не могла развиться личность. Не в этой ли слабости личностного начала в Московском царстве лежат причины того «безумного молчания» общества в годы, предшествовавшие страшному Смутному времени, на которое жалуется Авраамий Палицын?

Московское царство оказалось не в состоянии осуществить Правду, извечный идеал русского мессианизма. Идея Третьего Рима оказалась религиозно-эсхатологической утопией. Политически эта утопия рухнула в Смутное время и современник и участник событий Авраам Палицын оплакивает не просто падение «царствующего града Москвы», но и гибель «Нового Рима».*) В последний раз культурно-историческая проблематика идеи Третьего Рима была поставлена расколом, и окончательный вердикт оказался отрицательным. На идеологию Москвы-Третьего Рима раскол, после долгих сомнений и в пламени срубов, в котором задохнулась гневная речь Авва-

*) «Кто не восплачется и не возрыдает и теплых слез источники не излиет, аще есть и каменосердечен и жестокосерд, о велицем сем царствующем граде, иже прежде бысть велик и превысок, непобедим же и прекрасен, и всем преплюбезен во очю зрящим его? И благочестивыми и великими царьми царствуем и обладаем бе. И не токмо крепкими и высокими стенами, но и многими крепкими оруженосцы и храбрыми ратоборцы и премудрыми мужи огражден сый. Паче же святыми церквами и многоцелебными мощми святых цвещае, и молитвами их от вся содержащаго укрепляем, растяше и возвышашеся и от многих государств поклоняем, богатством же и славою и многонародным множеством и превеликим пространством, не токмо в России, но и во многих ближних и дальних государствах прославляем и удивляем бысть царствующий сей град Москва, паче же реку Новый Рим. И како толик предивен бысть, во един час падеся, огнем и мечем потреблен бысть. И сбытхся на нас слово премудрого Соломона реченное «Злодеяние и беззаконие опровержет престолы сильных». Во истину благий совет, правда же и любовь все созидает и воедино совокупляет, неправда же и созданная вся и созидаема разоряет и сокрушает.» «Сказание Авраама Палицына». АН ССР, М.-Л. 1955, стр. 211-12.

кума, ответил изумительной старообрядческой легендой о граде Китеже.

В конце 17 века вместе с бессмертным градом Китежем на дно приволжского озера опустилась идея Святой Руси в ее древнерусском понимании. Но вместе с тем легенда о граде Китеже есть преодоление идеологии Москвы-Третьего Рима. Град Китеж — не апофеоз исторического «священного царства» московских государей, а апофеоз *исторического преображения*, эпическое торжество Святой Руси, жившей в сердце народа. Недаром поэтому действие сказания совершается в 13 веке на закате овечьего ореолом былинной славы Киева. Фанатичный и нетерпимый раскол, сам того не сознавая, вновь подхватывает идею Илариона, никогда не прекращавшую жить в бессознательных тайниках народной души.

Вместе с расколом исторически умерло средневековье. Русь стояла на распутии, и вот тогда пришел Петр. Под его мощной рукой Россия стала на путь европеизации, но звон китежских колоколов не переставал тревожить и вдохновлять философские интуиции и историософский пафос религиозных и секулярных мыслителей, от 19 века и до нынешнего дня.

*

Царствование и реформы Петра знаменуют конец Московского царства, конец древнерусской оцерковленной культуры. При этом петербургский период характеризуется не только необыкновенным расцветом секуляризованной культуры, зародыши которой появились уже в царствование Алексея Михайловича, но и тем, что продолжительное и глубокое увлечение западноевропейской культурой сочетается в нем с острой критикой последней и поисками своих самобытных путей в общем для всего человечества историческом процессе. Именно в этот период кристаллизуются и формулируются положения нового мессианского сознания.

Сознание это свойственно и западническому-народническому и славянофильско-почвенническому направлениям, хотя на Западе принято приписывать мессианские тенденции почти исключительно славянофильскому и позднему религиозно-философскому направлениям. Эта точка зрения может быть объяснена тем, что именно в среде славянофилов (если не считать «беспартийного» кн. Одоевского и западника Герцена) была дана особенно острая критика западноевропейской культуры и особенно акцентировалась историческая миссия России. Между тем как раз эта отрицательно-критическая сторона составляет наименее оригинальную и самостоятельную часть русской мессианской идеи 19 века.

Основные элементы культурно-исторической и социальной критики западноевропейского общества, переживавшего с конца 18 и в первую половину 19 века период социальных потрясений, в изоби-

лии почерпывались из писаний западных же авторов. Не следует также забывать, что 19 век на Западе отмечен не только острой критикой социальных отношений, но и бурным ростом как культурного (миссия западной цивилизации в незападном мире), так и социально-политического (идеи социализма и коммунизма) мессианского сознания.

«Классически»-славянофильская аргументация в пользу особой христианской миссии России почти целиком содержится в философии истории Гегеля, разумеется, в применении к Германии. Историческая схема развития западной цивилизации у Киреевского базируется на исторической концепции французского историка Гизо, а в ее мессианской части использует некоторые замечания Фихте и Гегеля. Не следует поэтому смешивать в принципе не всегда оригинальную критику Запада русскими мыслителями с положительным содержанием, которое они вкладывали в идею мессианизма.

Что же существенно для русской мессианской идеи 19 века? Укажем с самого начала, что формирование сознания русского образованного общества в 18 и 19 вв. не совершалось путем простого заимствования образцов современной ему западноевропейской жизни и культуры. Как и в предыдущие периоды русской истории, новая эпоха характеризуется растущей военно-политической мощью вышедшей на мировую арену Российской империи. И как в свое время восточное христианство, так теперь идеи и достижения Запада воспринимаются и переосмысливаются в свете традиционного русского переживания целостной правды.

Выше отмечалось, что из анализа определения целостной правды вытекают три главных направления русских духовных исканий: антропологии, этики и историософии. В области антропологии доминирует тема «нового человека» (в религиозном или секулярном толковании), в области этики — тема сострадания и милосердия, в области историософии — тема ответственности за исторические судьбы собственного народа и, в универсальном масштабе, за судьбы всего человечества. Эти три темы органически связаны в мировоззрении, центром и абсолютной истиной которого был Бог-Любовь, Иисус Христос. Они неизменно стояли в центре внимания и Киевской, и Московской Руси, хотя в разные периоды происходило смещение акцентировки в сторону того или иного из указанных аспектов целостного переживания правды. Так, в идеологии Московского царства теме человека уделяется значительно меньше места и акцентировка исторической ответственности смещается на священную личность царя-самодержца.

Эти же три основные темы органически вошли и в религиозное и секулярное мышление петербургского периода, что не только свидетельствует о культурно-исторической преемственности и су-

щественно христианских истоках сознания, но и вносит психологически религиозную струю в совсем нерелигиозные и даже воинственно-атеистические направления русской общественно-политической мысли 19-20 вв.

Уже в 18 веке можно отметить доминирование трех вышеуказанных тем. Нет ничего удивительного, что темы «нового человека», сострадания и нравственной ответственности определяют писания русских масонов, этих религиозных западников, подготовивших проблемы русского славянофильства. Но и у Радищева, противника масонского мистицизма и духовного отца русского революционно-западничества, этим темам отвсдится преобладающее место.

«Новый человек» Радищева — человек нового общества, в котором равенство людей основано на безусловном естественном праве и осуществленной правде. И провозглашение нового человека грядущего совершенного общества становится одной из руководящих идей русского мессианского сознания 18-19 вв.

Новый человек несет ответственность за преобразование мира, — будь это цельный человек в соборном православии славянофилов или Достоевского, довольно плоский разумный эгоист у нигилистов и Чернышевского или критическая личность и «герой» народников. Но если мы постараемся определить побуждающий стимул русского сознания этого периода, то должны будем отметить характерную черту, которая отличает русскую культурно-историческую традицию от западной, во все периоды. Это не традиция права, столь характерная для западной культуры, а нравственный пафос сострадания и милосердия.

Даже когда Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву», пользуясь западными идеями просвещения, постоянно апеллирует к естественному праву, в действительности им руководят не правовые соображения, а глубокое чувство сострадания к угнетенному и страдающему ближнему. При этом Радищев «сострадает» не только закрепощенному и бесправному крестьянину или жертве административного произвола: в равной мере его нравственный протест направлен и против торговли черными рабами и порабощения негров в Америке. В сущности уже в секулярной мысли Радищева чувство нравственной ответственности содержит зародыш идеи, столь сильной в русской мысли 19 века: идеи нравственной ответственности за судьбы всего человечества.

Это новое чувство вселенской ответственности гораздо ближе мироощущению Киевской Руси, чем Московской. В нем почти совершенно отсутствует этатизм, прославление государства и его миссии. Миссия России — миссия примера, а не экспансии. Это одна из характернейших черт петербургского периода. Поэтому и мессианское

чувство, столь значительное у религиозных мыслителей, свободно от аспирации идеи Москвы-Третьего Рима.

Но, разумеется, между мышлением Киева и Петербурга имелось весьма важное различие. Для древнерусского христианина чувство ответственности состояло прежде всего в чувстве *нравственно-личной ответственности* за спасение собственной души, что, разумеется, включало в себя заповедь активной любви к ближнему и вместе с тем входило в общую схему мессианского эсхатологизма. «Социальный вопрос» в современном понимании в средневековом сознании не существовал. Для сознания же 19 века характерна прежде всего *ответственность нравственно-социальная*: ответственность за спасение всего человечества. Отсюда, если основным нравственным стимулом чувства ответственности, как и в прошлые века, остается сострадание (в секулярной мысли его можно проследить от Радищева до русского демократического народничества), то теперь это чувство оказывается под знаком социальности и переживается, как ответственность за реализацию социальной правды.

Подобная установка определяет не только секулярную, но и религиозно-философскую мысль. Это действительно для западника Чаадаева, — и в равной мере для славянофилов, поскольку их концепция «соборности» органически связана с концепцией «общинности». Социальная тема неотделима от творчества Соловьева, Достоевского, Бердяева. Разумеется, здесь тема социальной правды не самодовлеющая, а служебна. Как личное самосовершенствование, так и социальный прогресс сами по себе служат осуществлению на земле высшей Божьей Правды, завершению вселенского богочеловеческого процесса, т. е. конечному преобразованию мира, установлению Царства Божия на земле. Тем самым русская религиозно-философская мысль 19-20 вв. оказывается грандиозным развитием идей, выдвинутых в 11 веке, на заре русской культуры. Но в свете сказанного и пафос социального преобразования мира в русских радикальных общественно-политических течениях 19 века выявляет себя, как секулярный суррогат христианской идеи преобразования. Так русская мессианская идея 19-20 вв. переживается преимущественно, как сознание социальной миссии России в истории. Поэтому и избранность русского народа трактуется, либо как призвание России явить миру осуществленный идеал всечеловеческого братства во Христе, либо как призвание русского народа осуществить социальную справедливость — свою особую форму русского социализма.

*

Вместе с тем в сознании части радикальной русской интеллигенции 19 века происходили глубокие психологические сдвиги, кото-

рые нельзя не отметить, стремясь понять дальнейшие пути русской мессианской идеи.

В религиозном мировоззрении Киева и Москвы, как и в религиозно-философской мысли 19 века, чувство сострадания культивировалось наравне с чувством активного личного милосердия. Однако, угасание религиозного сознания в среде радикальной интеллигенции, вытеснение темы личности темой социальной (с безусловным подчинением первой последней), привело в конце концов не только к психологическому явлению сострадания без милосердия (что заметно уже у Чернышевского), но и к утрате сознания автономной ценности личности. Личность из цели превращается в политическое средство, что мы и видим в 60-70 гг. в организации «Молодая Россия», в группах Нечаева и Ткачева, этих первых зловещих предвестников большевизма не только как социально-политического, но и как культурно-исторического явления.

То, что абсолютизация идеи социальности должна неизбежно привести к жестокому порабощению человека, прекрасно понимали Герцен и демократические народники — Лавров, Михайловский. Зловещие тучи на горизонте России с пророческой тревогой заметил Достоевский. Его предчувствия оправдались: ленинизм представляет собой сплав нечаевского фанатизма социальной революции, политического аморализма и циничной неразборчивости в средствах с революционной теорией Маркса. И собственно с Лениным в содержание русской мессианской идеи впервые входит агрессивный элемент идеологической и политической экспансии, неизвестный ни религиозно-философским, ни народническим течениям 19 века, ни даже мессианизму Москвы-Третьего Рима.

Это дает нам право задать вопрос: является ли мессианская идея большевизма продуктом развития русской мессианской идеи? Или, иначе — в какой мере правда «марксизма-ленинизма» совместима с традиционным русским переживанием правды?

Нельзя отрицать, что проповедь революционного марксизма в России его фанатичными последователями воспринималась не просто, как проповедь философского или социально-экономического учения, доступного критике и ревизии, а как провозглашение высшей правды. Коммунизм переживался ими, как мессианская цель окончательного преобразования мира, как псевдорелигиозная идея спасения человечества.

«Учение Маркса всеильно, потому что оно верно», — писал Ленин. Это убеждение во всемогуществе правды — глубоко русская черта и она коренится фактически в религиозных пластах психики. Даже тогда, когда место Бога занимает принцип марксистской диалектики. И можно легко обнаружить, на какие элементы в марксизме могло отозваться русское мессианское сознание.

Действительно, анализ социального содержания правды коммунизма легко обнаруживает две главные темы русского переживания правды. Это — тема «нового человека» (в данном контексте — человека коммунистического общества) и тема мессианской ответственности за построение царства социальной справедливости, равенства и братства (в данном контексте — коммунизма).

Можно поэтому понять, принимая к тому же во внимание доминирование социальной темы в сознании русской интеллигенции, почему Ленину удалось сколотить небольшую, но фанатически целеустремленную революционную партию и, сыграв на стремлении народа к социальной правде и воспользовавшись исторической обстановкой 1917 года, захватить власть и установить диктатуру. При известном стечении обстоятельств коммунизм мог показаться какой-то части взбудораженного войной и распропагандированного в окопах народа чаемой века русской правдой.

Но если присмотреться ближе к составным элементам коммунистического восприятия правды, мы заметим отсутствие в нем одного из элементов в русском переживании правды. При том самого существенного в русской духовной установке и культурно-исторической традиции: элемента сострадания. Коммунистический мессианизм утверждает и реализует себя, как предельная акцентуация исторической ответственности за построение совершенного общества, преобразование мира и воспитание нового человека — при полном подавлении в сознании чувства сострадания и милосердия.

Выше упоминалось о феномене сострадания без милосердия, который привел к крайним формам русского якобинства. В большевизме, с его абсолютизацией классовой борьбы, вытравление «надклассового» и «общечеловеческого» сострадания становится первоочередной идеологической-воспитательной задачей, а средством преодоления чувства сострадания является ненависть. Ненависть в коммунистическом мышлении становится творческой движущей силой истории, — это возвышение классовой ненависти в ранг положительного идеологического принципа и противопоставляет правду коммунизма всему традиционному русскому переживанию правды с его бескомпромиссным онтологическим принципом любви, единственно подлинно очеловечивающим и преобразующим жизнь человека. Тем самым большевизм разоблачает себя, не как культурно-историческое завершение традиционного русского искания правды, а как его идеологический псевдорелигиозный суррогат, найденный воинственно-атеистической частью революционной интеллигенции.

Подчеркивая это, мы совсем не хотим сказать, что большевизм не занимает места в истории мессианских исканий в России. Поскольку в мессианском сознании радикальной интеллигенции 19 века идея «социальности» («Социальность или смерть» — Белинский) заняла место единственной и абсолютной ценности и конеч-

ной цели, постольку мы имеем право, в известном смысле, считать большевизм высшей формой русского революционного секуляризма, логическим завершением процесса абсолютизации социальной идеи.

Важно, однако, в данном случае то, что, используя русское стремление к правде, мессианизм большевизма вдохновляется идеями, чуждыми духу русской культуры. Конечно, существует точка зрения, усматривающая корни большевизма в неизжитой русским сознанием психологии Московского царства. В таком толковании антихристианский мессианизм III Интернационала оказывался метаморфозой псевдохристианского мессианизма Москвы-Третьего Рима.

Вряд ли можно согласиться с подобным толкованием. Культурно-исторически обе идеологии, допускающие поверхностные аналогии, руководятся диаметрально противоположными мировоззренческими предпосылками. Первая --- продукт византийской христианской культуры. Продукт весьма неудачный. Представляя несчастливый компромисс христианства с римским языческим взглядом на императора, как на Pontifex Maximus, он недопустимо смешивал христианское различие между «божьим» и «цесаревым». Вторая --- детище западноевропейской философии 19 века, продукт напряженных поисков обезбоженным мессианским сознанием псевдорелигиозного суррогата целостного мировоззрения в «научно-философском» материалистическом облачении.

Важно, однако, что чужеродная идеология Москвы-Третьего Рима оказалась не в состоянии, именно в силу наличного в ней христианского содержания, надолго совлечь русскую мессианскую традицию с ее культурно-исторического пути. Когда Третий Рим уступил место граду Китежу, русская религиозно-философская и частично секулярная мысль петербургского периода вернулись на путь универсализма, к идее всечеловечества и равенства на основе признания автономной ценности человека.

Культурно Московский период был шагом назад в развитии русской мессианской идеи. Но исторически, борясь за культурное, национальное и государственное существование, Москва сумела заложить фундамент для Петербурга, передав последнему высокий принцип *служения*, унаследованный лучшими представителями русской интеллигенции. В Москве имело место отклонение, но не разрыв с общей русской культурно-исторической традицией. Без Киева не было бы Москвы, как без обоих не было бы Петербурга.

Всего этого нельзя сказать о большевизме. Конечно, и в нем есть пафос правды, но эта правда, затрагивающая народные чувства лишь поверхностно, спекулятивно, коренится в чуждой духовной стихии. Истоки коммунистического мессианизма уходят не в духовную почву древних Киева и Москвы, а в почву атеистического марк-

систского мессианизма, выросшего в атмосфере философских и социальных исканий Западной Европы 19 века. И как всякий материализм, возведенный в абсолютный принцип жизни и понимания природы человека, коммунизм принципиально антигуманистичен.

На поверку коммунизм оказывается не завершением и высшей реализацией русской мессианской идеи, а разрушительным и разлагающим паразитом на теле культурно-исторической традиции России. По существу коммунизм полагает начало совершенно новой культурно-исторической традиции, строящейся на чуждом русскому духу принципе. Но этот принцип по существу творчески бесплоден. В духовной атмосфере большевизма не может быть места гению Достоевского, Толстого, Чехова с их высоким пафосом человечности. Коммунисты научились строить ракеты, но за сорок три года своей власти коммунизм не создал ничего, что можно было бы сравнить с вкладом России в мировую культуру в любые сорок лет 19 века, включая годы николаевской реакции.

Коммунизм сумел создать только гигантскую полурабовладельческую империю, лживо выдаваемую за царство социальной справедливости. И он не сумел обеспечить самого главного, без чего человеческая жизнь теряет высший смысл своего существования: творческой, гражданской и политической свободы человека.

*

Мы попытались проследить пути русской мессианской идеи в истории. Разумеется, трудно говорить о мессианизме Киева, поскольку у нас нет точных формулировок мессианской идеи на заре русской христианской культуры. Поэтому если мы говорим о зачатках русского мессианизма в древнерусской культуре Киева, то только потому, что уже Киев знает тему исторического избранничества, тему христианских любви и сострадания, призванных преобразить мир, и тему нравственной ответственности за приближение Царства Божия. Иначе говоря, все те положения, которые стали движущим стимулом и источником мессианских настроений в последующие периоды русской истории. Вместе с тем мы отметили, что духовная установка киевского периода определяется пафосом подлинного христианского гуманизма и универсализма.

Религиозно-националистический мессианизм Московского царства оказался тупиком. Но если мессианизм Москвы-Третьего Рима явился результатом затемнения, но не вытеснения первоначальной христианской идеи, болезнью «не к смерти», преодоленной персоналистически-гуманистической и христианской мыслью 19 века, то большевизм оказался в конечном счете исторически и политически антинародной и античеловеческой диктатурой, а культурно-исторически — радикальным отрывом от русской духовной традиции и глубочайшим извращением самой мессианской идеи.

Урок, преподанный Россией Западу, оказался не уроком, как следует жить человечеству, а как нельзя строить свою жизнь. Не Россия, как ожидали многие русские мыслители 19 века, а Запад сумел найти разрешение самых наболевших социальных вопросов, ликвидации нищеты и классового бесправия — и без расстрелов, концлагерей, без подавления гражданских и политических свобод, в рамках политической демократии. Из сказанного совсем не следует, что Запад разрешил эти вопросы повсеместно и что они разрешены окончательно и идеально. Окончательных и идеальных решений вообще не бывает, хотя бы потому, что жизнь развивается не по идеологическим шаблонам, придуманным вождями и партиями, а во всем органическом единстве сложнейших человеческих и общественных отношений. Поэтому все самые удачные решения насущных проблем в нормально развивающемся обществе оказываются по существу не реализацией идеального, а наиболее возможным приближением к лучшему. Но это значит, что Запад, при всех своих недостатках, заключает в себе гораздо больше возможностей для успешного разрешения возникающих социально-политических проблем, чем закостеневшая в прокрустовом ложе марксистской идеологии коммунистическая империя. Социально-политические системы Запада оказываются и более жизнеспособными, и более прогрессивными исторически, именно потому, что в них принцип политической демократии сочетается с укоренившейся традицией уважения к гражданским и политическим правам и личной свободе гражданина. Этой культурно-исторической традиции Запада России следует поучиться; благородный русский нравственный пафос правды должен быть дополнен высоким пафосом права.

Разумеется, угроза коммунистической экспансии по-прежнему сильна. Коммунистический мессианиззм, опираясь на громадные материальные и технические ресурсы и играя на страстях бывших колониальных и полуколониальных народов, стал смертельной угрозой свободе и культуре всего человечества. Вместе с тем нельзя и упускать из вида, что при всех своих успехах на некоторых участках внешней политики, коммунизм внутренне нестоек. Коммунизм может обманывать и, как болотные огни, временно увлекать за собой людей. Но придя к власти, он не может не загнивать идейно.

Есть достаточно признаков того, что в самой России и в других поработанных коммунистами странах происходят поиски путей внутреннего освобождения и идейного раскрепощения от пут тоталитарной коммунистической лжеправды. Не в последней степени о них свидетельствуют упомянутые в начале очерка статьи.

Поэтому, когда анонимный автор утверждает, что советское «общество может эволюционировать», совсем не беспредметно желание предугадать, какой же «свет» может Россия принести миру. Это тем более важно, что возможное возникновение новых мессианских на-

строений, как и во все предыдущие периоды русской истории, совпадает с ростом военно-политической мощи России. При таких условиях новый «свет», новая «правда» могут оказаться великим благодеянием, — или же, наоборот, великим несчастьем.

К какой же правде может прийти новое поколение в России? Уже в силу того, что коммунистическая диктатура ревниво отгораживает советское общество от проникновения живых идей извне и пресекает подлинные культурные контакты, искания правды в России неизбежно происходят вслепую и ощупью. Это существенно отличает петербургский период от советского и значительно затрудняет и процесс исканий, и формулировку новых настроений. Поэтому чрезвычайно важно, что новое поколение сможет почерпнуть из богатейшего религиозно-философского и гуманистического наследия России. Конечно, здесь нужен большой дар отделять зерно от плевел, и традиция Белинского и Чернышевского здесь менее всего плодотворна.

Культура будущей России останется во всяком случае на продолжительное время культурой секулярной и из наследия 19 века молодая Россия, противопоставляя себя антинародной диктатуре, может вынести благородный пафос служения народу, что очень хорошо, и в то же время абсолютизацию народа, как исторического целого и национального организма, что очень плохо. Потому, что абсолютизация народа неизбежно ведет не к свободе, не к народоправству, а к тоталитарному и, как показала современная история, к империалистическому национализму. Такая абсолютизация оказалась бы ухудшенным секулярным изданием мессианизма Москвы-Третьего Рима и новым трагическим тупиком.

Народ может быть принят и оправдан, как одна из сверхличных ценностей и объект служения, только при условии признания обществом безусловной автономной ценности человека, его личных прав и свобод. Человек не может быть средством. Он сам цель. Не человек существует для государства, а государство для человека и оно оправдывается последним.

Служение обществу и стремление к социальной справедливости, столь сильные в русской мессианской идее 19 века, должны быть восполнены служением человеку, ревнивой защитой неприкосновенности его личного достоинства и его творческой свободы. Петербургский период русской культуры завещал потомству не только острое чувство справедливости, но и бескомпромиссную защиту личности. Свобода человека и защита ее от посягательств с любой стороны, включая общество, составляет основное содержание жизни и творчества русских гуманистов Герцена, Лаврова, Михайловского, которых никто не может упрекнуть в забвении борьбы за социальную справедливость и волю народа. Высокое нравственное

правосознание существенно для русского либерализма 19-20 вв., не понятого русским обществом и оклеветанного большевиками.

Конечно, нужно отметить, что русский секулярный гуманизм не смог создать целостного мировоззренческого синтеза правды, о котором писал Михайловский. Произошло это отнюдь не потому, что в силу своего классового сознания он не смог принять «научную» истину Маркса и Энгельса. И Герцен отрицал коммунизм именно за его тоталитарную сущность.

Ответ лежит совсем в другой плоскости. Переживание целостной правды — существенно религиозно-психологический феномен, и оно, как и понятия свободы и неприкосновенного достоинства человека, не выводимо из данных естественных наук и рациональной философии, как верили в эпоху просвещения и почти весь 19 век. Представления о свободе, достоинстве и естественных правах человека — не результат трудов философов, а духовное наследие христианства в западноевропейской и русской культурах.

Думается поэтому, что русская религиозно-философская мысль 19-20 вв., персоналистическая традиция Достоевского и Бердяева окажется более плодотворной как для углубления переживания целостной правды, так и для переосмысления содержания мессианской идеи. Это не будет означать очерковления нового русского сознания, но может быть более глубокою его христианизацию.

До того времени придется многое переосмыслить и переоценить, много потрудиться и многому поучиться. А пока еще не пришли сроки сказать России ожидавшееся Достоевским мессианское слово о всеобщем примирении, равенстве народов и всечеловеческом братстве, было бы достаточно, если бы послекоммунистическая Россия (надеемся, что она будет), учтя весь свой большой и трагический опыт, стала бы обычным правовым демократическим государством, в котором слово «человек» зазвучало бы по-настоящему, в жизни, а не на сцене, «гордо». Гордо и в то же время смиренно. В этом может быть и заключается высший смысл русской мессианской идеи.

Н. ПОЛТОРАЦКИЙ

„Вехи“ и русская интеллигенция

Ранней весной 1909 года в Москве вышла книга, которой суждено было — и надо полагать, суждено будет — сыграть значительную роль в интеллектуальной истории России. Книга сразу же вызвала живой отклик во всех слоях русской интеллигенции. Память об этой книге и теперь, много десятилетий спустя, жива и вне России и в Советском Союзе, — в Советском Союзе о ней вспоминают теперь даже чаще, чем за границей. Речь идет о сборнике «Вехи».

СБОРНИК «ВЕХИ»

«Вехи», сборник статей о русской интеллигенции, были порождены первой русской революцией 1905-1906 гг., явившейся «все-народным испытанием» тех ценностей, которые русская общественная мысль блюла более полувека, как высшую святыню. Поражение революции — и поражение в ней радикальной интеллигенции — вызвало потребность в основательном пересмотре духовных основ традиционного интеллигентского мировоззрения, принимавшихся прежде слепо на веру. В интересах понимаемого таким образом общего дела, в «Вехах» объединились семь авторов: Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, М. О. Гершензон, А. С. Изгоев, Б. А. Кистяковский, П. Б. Струве и С. Л. Франк. Все это были уже хорошо известные к тому времени в России люди, создавшие себе определенное имя в публицистике, политике, философии или науке, а некоторые из них и во всех этих областях одновременно.

Статьи в «Вехах» должны были с разных сторон исследовать психологию и идеологию русской интеллигенции: ее отношение к

Настоящая статья является частью более обширной работы, предпринятой автором при поддержке Американского философского общества (American Philosophical Society). Научный аппарат статьи здесь опущен.

философии (Бердяев), религии (Булгаков), творческой личности (Гершензон), профессиональной подготовке (Изгоев), праву (Кистяковский), государству (Струве), и морали (Франк).

В «Мостах» (№ 3, 1959) была помещена в свое время очень ценная статья Н. О-ва о «Вехах». Ограничимся тут поэтому изложением лишь некоторых из наиболее существенных наблюдений и выводов авторов «Вех».

Николай Бердяев противопоставлял интеллигенцию в общенациональном, общесторическом смысле этого слова интеллигенции в традиционно-русском смысле, т. е. кружковой интеллигенции. У последней он отмечал слабость теоретических философских интересов, низкий уровень философской культуры, склонность оценивать философские учения (и культурное творчество вообще) по критериям политическим и утилитарным, а не с точки зрения их абсолютной ценности. Все эти недостатки объясняются не дефектами интеллекта, а направлением воли: «интересы перераспределения и уравнивания в сознании и чувствах русской интеллигенции всегда доминировали над интересами производства и творчества». Принималась лишь та философия, которая санкционировала социальные — и социалистические — идеалы, благоприятствовала борьбе с самодержавием, служила благу и интересам крестьянства или пролетариата. Всякая иная философия отвергалась заранее. Субъективная интеллигентская правда была дороже объективной философской истины.

Сергей Булгаков писал, что русская интеллигенция восприняла от западноевропейского просветительства его атеизм и человекобожество, почувствовала себя единственной носительницей света и образованности в России и «стала по отношению к русской истории и современности в позицию героического вызова и героической борьбы». Неотъемлемой чертой этого героизма был максимализм целей и средств, а наиболее законченным типом героического максималиста стал революционный студент, образ которого сменил в сознании общества идеал христианского святого, подвижника. Несмотря на некоторое внешнее сходство, между интеллигентским героизмом и христианским подвижничеством (герой в христианстве — подвижник) нет никакого, даже подпочвенного, соприкосновения. Поскольку простой русский народ обладает еще светом Христовым, он — при всей своей неграмотности — просвещеннее своей интеллигенции, которая почти поголовно стала атеистической.

М. Гершензон отмечал глубокий раскол между волей интеллигента, его подлинным «я», и его сознанием, которое еще с XVIII века привыкло к «праздному обжорству истиной», всевозможными истинами, нужными и ненужными. Отрыв сознания от волевой, творческой личности был более всего вызван деспотической вла-

стью общественности и политики. Русская интеллигенция не только психически раздвоена, т. е. бессильна, она к тому же изолирована от народа, душа которого качественно другая. Народ не понимает своей интеллигенции и ненавидит ее. А потому, писал Гершензон, — «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, бояться его мы должны пуще всех казней властей и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной».

А. С. Изгоев писал, что русская молодежь получает свое воспитание не в семье и не у педагогов или профессоров, а в своей товарищеской среде, которая уводит молодежь в подполье, делает ее отщепенцами. В отличие от западноевропейской молодежи, русская студенческая молодежь (а студенчество есть «квинтэссенция русской интеллигенции») учится мало и плохо. Основной ее движущий идеал — идеал смерти, основной критерий — критерий левизны. Этот идеал завораживает ум и парализует совесть молодежи; построить на нем жизнь невозможно. Недостаточная работоспособность, отсутствие подлинной любви к своей профессии и революционное верхоглядство привели к тому, что в Государственной думе «огромное большинство депутатов, за исключением трех-четырёх десятков кадет и октябристов, не обнаружили знаний, с которыми можно было бы приступить к управлению и переустройству России».

В. Кистяковский указывал на слабость индивидуальной и социальной дисциплины у русских интеллигентов и объяснял это отсутствием прочного правосознания. Сознание интеллигенции «никогда не было охвачено всецело идеями прав личности и правового государства», неизбежно основанного, как и всякая общественная организация, на компромиссе. Позиция, занимаемая в вопросах права такими вождями русской социал-демократии, как Плеханов и в особенности Ленин, делает «понятным, почему Россия до сих пор еще управляется при помощи чрезвычайной охраны и военного положения».

Петр Струве, выделяя «интеллигенцию» из «образованного класса» вообще, писал, что в ходе исторического развития содержание интеллигенции, как идейно-политической силы, менялось, в то время как форма ее оставалась неизменной. Со времени репешции западноевропейского атеистического социализма, идейной формой русской интеллигенции является безрелигиозное отщепенство от государства и враждебность к нему. В этом отщепенстве — ключ к пониманию революции 1905 и последующих годов. И по существу, и формально, революция должна была завершиться актом 17 октября 1905 года, ибо этот акт знаменовал собой «принципиальное коренное преобразование сложившегося веками политического

стройка России». Вместо этого интеллигенция, отрицавшая воспитание и самовоспитание в политике и ставившая на их место возбуждение, продолжала прививать радикализм своих идей к радикализму народных инстинктов, appetитов и ненавистей. Это неизбежно вело к разнузданию и деморализации.

С. Франк видел основную антиномию нравственного и культурного мировоззрения русской интеллигенции в противоречивом сочетании начал нигилизма и морализма. «Нигилизм интеллигенции ведет ее к утилитаризму, заставляет ее видеть в удовлетворении материальных интересов единственное подлинно нужное и реальное дело; морализм же влечет ее к отказу от удовлетворения потребностей, к упрощению жизни, к аскетическому отрицанию богатства», в прямом и в метафизическом смысле этого слова. Франк определяет классического русского интеллигента, как «*воинствующего монаха нигилистической религии земного благополучия*». Это непроизводительный культурный тип, и он уже обнаружил свое полное бесплодие и бессилие перед реальными силами жизни, равно как и нравственную гнилость некоторых своих корней. Перед интеллигенцией стоит, поэтому, задача окончательного «пересмотра старых ценностей и творческого овладения новыми».

Таковы некоторые из основных положений «Вех». Как же реагировала на них русская интеллигенция?

РЕАКЦИЯ НА «ВЕХИ»

«Вехи» вышли во второй половине марта 1909 года. Интерес, проявленный к ним в самых различных кругах русской интеллигенции — не только в Москве и Петербурге, но и в провинции, не только в России, но и за границей, в рядах политической эмиграции того времени — был таков, что в короткий срок потребовалось выпустить еще четыре издания. Второе издание вышло в мае того же года, третье в июле, четвертое в сентябре, пятое в начале (видимо, в феврале) следующего, 1910 года.

Реакция на «Вехи» приняла три основных формы: публичных собраний, статей в газетах и журналах и выпуска специальных сборников.

1. Из публичных собраний, докладов, рефератов и бесед, имевших место в 1909 году, следует упомянуть о следующих:

— 14 апреля в Москве состоялась «оживленная беседа» (по выражению сотрудника газеты «Русские Ведомости») на заседании исторической учебной комиссии О. Р. Т. З — Общества распространения технических знаний. В беседе приняли участие С. П. Мельгунов, В. П. Потемкин, П. Г. Дауге, гр. П. М. Толстой, В. И. Пичета,

К. Н. Левин, А. А. Титов, В. М. Турбин. По окончании беседы собрание даже вынесло общую резолюцию о «Вехах».

— 19 апреля в Москве состоялся реферат Штамма, сопровождавшийся прениями.

— 21 апреля в Петербурге состоялось «очень многолюдное» (по словам корреспондента газеты «Речь») собрание Религиозно-философского общества. Докладчиками выступали Д. В. Филосов и Д. С. Мережковский. После перерыва были прения, в которых приняли участие Струве, свящ. Аггеев, Франк, Неведомский и Столпнер.

— 22 мая в Петербурге имело место собрание Литературного общества, на котором с большим докладом о «Вехах» выступил И. М. Бикерман.

— 1 ноября (после летнего перерыва) в Петербурге в Женском клубе состоялось многолюдное собрание, на котором большой доклад прочел Н. А. Гредескул. После него выступал также Ф. И. Родичев.

— 13 ноября в Париже с большим рефератом о «Вехах» выступал В. И. Ленин.

Известно также о выступлениях еще трех крупных лиц того времени: о докладе другого лидера русских социал-демократов Л. Мартова (в Швейцарии); о публичной лекции известного писателя П. Боборыкина; о специальной поездке по России выступавшего перед большими аудиториями лидера кадетской партии и члена Государственной думы историка П. Н. Миллюкова.

2. Другой формой реакции на «Вехи» были статьи в газетах и журналах того времени. К сожалению, в настоящих условиях полную библиографию «Вех» было бы очень трудно составить. (Автор этой статьи работал в вашигтонской Библиотеке конгресса, в нью-йоркской Публичной библиотеке, в библиотеке Колумбийского университета и в библиотеке Св.-Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке. В этих библиотеках можно найти все главные русские дореволюционные журналы, но русские газеты за эти именные годы, 1909-1910, представлены очень неполно).

К счастью, в приложении к четвертому изданию «Вех» была дана «Библиография 'Вех'», в которой перечислены статьи и заметки, появившиеся в русской периодической печати за первые полгода после выхода «Вех». Библиография эта — неполная даже для своего времени, но и приведенного в ней достаточно, чтобы заключить, что отклик на «Вехи» в газетах и журналах был поистине огромный. В первые месяцы после выхода в свет «Вех» на них реагировало около семидесяти газет и журналов — около сорока газет и журналов Петербурга и Москвы и около тридцати провинциальных

изданий. Общее количество статей и заметок (не считая продолжений или серий статей), учтенных в «Библиографии 'Вех'», приближается к ста шестидесяти. При очень скромном подсчете, можно считать, что всего откликов на «Вехи» в 1909-1910 гг. было много более двухсот.

3. Третьей формой публичной реакции на «Вехи» было издание специальных сборников статей. Всего в связи с «Вехами» в 1909-1910 гг. было издано шесть сборников статей: три непосредственно и полностью в ответ на «Вехи» в целом, один — по поводу главным образом одного из затронутых «Вехами» вопросов, один — частично в ответ на «Вехи», и один — в связи со всей совокупностью вопросов, поднятых «Вехами».

Первым появился, в том же 1909 году, сборник *«В защиту интеллигенции»*. В нем приняли участие одиннадцать авторов: К. Арсеньев, И. Бикерман, П. Боборыкин, Вл. Боцяновский, Н. Валентинов, Н. Геккер, И. Игнатов, Ник. Иорданский, Д. Левин, Ф. Мускатблит и Григ. Петров. Политически, состав участников сборника был, таким образом, весьма пестрый, с преобладанием социал-демократов, но с участием и либералов.

Другим сборником, вышедшим из левых кругов, был сборник *«Вехи как знамение времени»*, содержавший восемь статей: Н. Авксентьева, И. Брусиловского, Я. Вечева, Ю. Гарденина, Н. Ракитникова, М. Ратнера, Л. Шишко и В. Юрьева. Это был сборник социалистов-революционеров.

В третьем сборнике, *«Интеллигенция в России»*, были представлены кадетские круги. В нем объединились восемь авторов: К. Арсеньев, Н. Гредезкул, М. Ковалевский, П. Милюков, Д. Овсяннико-Куликовский, И. Петрункевич, М. Славинский и М. Туган-Барановский.

Четвертый сборник, *«По Вехам...»*, носил подзаголовок: «Сборник статей об интеллигенции и национальном лице» и, в соответствии с этим, был посвящен главным образом одному из вопросов, занимавших некоторых авторов «Вех», фактически — еврейскому вопросу. В сборник была включена тридцать одна статья двадцати одного автора; авторы эти принадлежали к самым различным идейно-политическим лагерям.

Пятый сборник, *«Из истории новейшей русской литературы»*, состоял из статей четырех авторов-большевиков: В. Базарова, П. Орловского, В. Фриче и В. Шулятикова. Формально, он был посвящен вопросам литературы, но из четырех статей две — статья Фриче частично, а статья Базарова полностью — выходят за рамки, очерченные названием сборника. Статья Базарова носит подзаголовок: «От критического марксизма к 'Вехам'» и является прямым откликом на «Вехи».

Шестой сборник, «Куда мы идем?», формального отношения к «Вехам» тоже, казалось бы, не имел. Однако, теснейшая внутренняя его связь с «Вехами» и с полемикой, порожденной «Вехами», никакого сомнения не вызывает. Сборник имеет подзаголовок: «Настоящее и будущее русской интеллигенции, литературы, театра и искусства. . .». В «Предисловии» к сборнику прямо указывается, что причина его возникновения — «небывалая разногласица» в русском обществе, «свидетельствующая о небывалом кризисе русской общественной мысли», и тревога за «грядущие судьбы русской интеллигенции и ее духовной жизни». Сборник этот составлен из статей и ответов на анкету редакции сорока лиц, в политическом отношении весьма разнородных, но с преобладанием либералов.

Таким образом, единственным идейно-политическим лагерем русской интеллигенции, не откликнувшимся на «Вехи» специальным сборником статей, был лагерь правых. Все остальные — социалисты-революционеры, большевики, меньшевики (в сотрудничестве с некоторыми радикалами и либералами), кадеты — сочли необходимым посвятить «Вехам» особые сборники статей.

Впечатление, произведенное «Вехами» на русскую интеллигенцию, было определено почти в одинаковых выражениях такими далеко по своим взглядам отстоящими друг от друга авторами, как большевик Базаров, народный социалист Мельгунов и кадет Франк. В. Базаров признавал, что «Вехи» произвели «значительную сенсацию». С. П. Мельгунов, спустя всего каких-нибудь три недели после выхода «Вех», отмечал «огромную сенсацию, произведенную сборником». С. Л. Франк писал впоследствии, что «„Вехи“ имели шумный сенсационный успех — они были главной литературно-общественной сенсацией 1909 г.»

«Вехи» действительно были огромной *сенсацией* и стали на время даже настольной книгой русской интеллигенции. Но это была, по определению того же Мельгунова, настольная книга в кавычках. И успех «Вех» был, по словам Франка, «по существу успехом *скандала*».

Все решительно упомянутые здесь собрания, беседы, рефераты и доклады, все сборники статей и подавляющее большинство статей в газетах и журналах того времени, были устроены, произнесены или написаны с критических, а то и резко враждебных по отношению к «Вехам» позиций.

Сравнительно немногочисленные положительные отклики на «Вехи» появились из среды сотрудников редактировавшегося П. Б. Струве журнала «Русская Мысль» и мирнообновленческого журнала братьев князей Трубецких «Московский Еженедельник»; полуправительственной газеты «Новое Время»; символистского журнала «Весы» (единственная статья там о «Вехах» была написана Ан-

дрем Бельим); газеты «Московские Ведомости»; петербургской газеты «Слово», и некоторых других, менее значительных, печатных органов. Однако, эти положительные отзывы буквально тонули в общем хоре критических и враждебных откликах на «Вехи»: печать того времени была преимущественно оппозиционная, по отношению не только к власти, но и к любому идейному или общественному течению, которое могло быть заподозрено в неблагоприятном отношении к традиционной интеллигентской психологии и мировоззрению.

Наиболее бескомпромиссным нападкам «Вехи» подверглись, естественно, со стороны радикальной социалистической интеллигенции: эсеров, меньшевиков и особенно большевиков. Вождь большевиков Ленин (поддерживаемый Каменевым, ближайшим его тогдашним соратником) многократно громил «Вехи», «веховцев» (или «вехистов») и «веховство», и продолжал заниматься этим делом вплоть до 1914 года, когда на первый план, в связи с войной, выступили уже иные проблемы и темы. Отмечая универсальность «Вех» (Ленин писал, что «Вехи» дают в сжатом виде «целую энциклопедию по вопросам философии, религии, политики, публицистики, оценки всего освободительного движения и всей истории демократии»), Ленин, как и полагается, интересовался исключительно политической стороной вопроса. Для него «Вехи» были «энциклопедией либерального ренегатства», они означали разрыв либерализма и кадетства с антиправительственным движением и выражали самую суть тогдашнего кадетства и октябризма, т. е. «контрреволюционной буржуазии». То обстоятельство, что (несмотря на принадлежность авторов «Вех» к кадетской партии) подавляющее большинство кадетов-политиков и публицистов, включая и вождя партии Миллюкова, резко выступило против «Вех», Ленина ничуть не смущало: вся публичная полемика с «Вехами» и публичное отречение от них были для него «одно сплошное лицемерие».

Обвиняя либералов — и кадет в особенности — в лицемерии, Ленин был, конечно, очень далек от истины (кстати, стоит, как исторический курьез и для характеристики лицемерной природы самого Ленина и диктаторского большевизма в целом, отметить, что Ленин нападал на «Вехи», защищая демократию, в интересах демократии!). И вообще его предельно-упрощенческий и исключительно политический, притом сугубо классовый пролетарский, подход не принимал во внимание самого главного, что было в «Вехах».

Однако не только радикальные и революционные, а и либеральные и прогрессивные круги русской интеллигенции отнеслись к «Вехам» отрицательно. Почти все, что «Вехи» критиковали, упорно защищалось; почти все, что они предлагали в качестве положи-

тельной программы, отвергалось.*) В этом почти единодушном отпоре, которым русский либерализм встретил «Вехи», было огромное, трагическое по своим историческим последствиям, недоразумение.

Это вплотную подводит нас к вопросу о месте и значении «Вех» в истории русской мысли и русского общества.

МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ «ВЕХ»

Исторически, русская интеллигенция была порождена Петровской реформой начала XVIII века, широко открывшей доступ в Россию различным, сменявшим одно другое, западноевропейским влияниям. При всем общем положительном значении Петровской реформы, одним из ее отрицательных последствий был отрыв образованного класса от народных масс, продолжавших жить своей прежней верой и придерживаться прежних взглядов и привычек.

Провозвестником будущей русской интеллигенции был, в конце XVIII века, Радищев, душа которого «страданиями человечества уязвлена стала» и который «почувствовал, что возможно всякому соучастником быть во благодетельстве себе подобных». Настоящим же родоначальником интеллигенции в специфически русском смысле слова, т. е. кружковой и радикальной интеллигенции, в отличие от интеллигенции, как образованного класса вообще, стал в 40-х годах XIX века Белинский, с его атеистически-социалистическим радикальным западничеством.

Как определенная социально-духовная и мировоззренческая группа, все более отрывающаяся от народной традиции и от государства и все более становящаяся, по выражению Булгакова, в позу героического вызова по отношению к русской истории и современности, интеллигенция оформилась после освобождения крестьян в 1861 году, в тесной связи с возникновением нового общественного слоя — разночинцев. Выразителями и властителями дум этой идейно радикальной и социально разночинной интеллигенции стали: в 60-х годах XIX века — Чернышевский и Писарев, в 70-х и 80-х — Лавров и Михайловский, в 90-х и 900-х — Бельтов-Плеханов.

Однако, наряду с этой линией идейного и общественного развития, приведшей в конечном итоге к победе революции и большевизма, в России в XIX веке была и другая линия. Интеллигенция в широком общенациональном смысле слова только частично совпа-

*) Эта статья посвящена преимущественно вопросу об объеме и характере реакции на «Вехи». К вопросу о ее содержании я надеюсь еще специально вернуться.

дала с кружковой и радикальной интеллигенцией. Крупнейшие русские писатели — Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой — не были интеллигентами в кружковом смысле этого слова. Русская мысль, представленная во второй четверти XIX века Хомяковым и Киреевским, а в последней четверти Чичериным, Константином Леонтьевым и в особенности Соловьевым, ничего общего не имела с мировоззрением кружковой интеллигенции.

В конце XIX века реакция против позитивизма и утилитаризма, материализма и атеизма, радикализма, народничества и марксизма захватила довольно значительные круги творческой русской интеллигенции. Стали нарождаться новые литературные и эстетические, идейные и общественные течения. От марксизма отделилась группа критически настроенных мыслителей — П. Б. Струве, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк и другие, — перешедших от критического марксизма сперва к идеализму, а затем и к религиозному мировоззрению и к русской интеллектуальной традиции, установленной Хомяковым, Достоевским и Соловьевым. Первым шагом на этом пути был сборник «Проблемы идеализма» (1902 г.). Вторым — интересующий нас здесь сборник «Вехи» (1909 г.). Начало XX века стало периодом вторичного расцвета русской поэзии и прозы — серебряным веком русской поэзии; расцвета русского искусства — живописи, театра, балета, музыки; возрождения русской литературно-критической, научной и религиозно-философской мысли. За этим периодом русской жизни уже справедливо упрочилось имя культурного ренессанса начала XX века.

В политическом отношении это также была во многом замечательная эпоха. В кратчайший срок был осуществлен ряд крупнейших реформ: была введена конституция и созвана Государственная дума, проведена столыпинская аграрная реформа, приступлено к проведению всеобщего образования, были восстановлены и улучшены судебные уставы, земские учреждения были распространены на губернии, где их раньше не было, существенно улучшено было рабочее законодательство и т. д. Отмечая в «Новом журнале» эти реформы, и ряд других, намеченных к осуществлению, проф. Н. С. Тимашев называет их второй серией великих реформ, по аналогии с реформами первой эпохи великих реформ 60-х и 70-х годов прошлого века.

«Вехи» были органической частью и русского культурного ренессанса и второй эпохи великих реформ.

Уже в «Проблемах идеализма» их авторы выдвигали, против господствовавшего тогда позитивизма и материализма, идею необходимости «религиозно-метафизических основ мировоззрения». «Вехи» (основное ядро их участников было то же, что и в «Проблемах идеализма») продолжали и углубляли эту линию, но шли еще даль-

ше. В них, как мы видели, содержалась также «резкая принципиальная критика революционно-максималистских устремлений русской радикальной интеллигенции» (С. Л. Франк) и указывался выход из того психологического и идеологического тупика, в который завело интеллигенцию ее историческое развитие.

При всех, иногда существенных, расхождениях между собою, авторы «Вех» были единомысленны в пределах одной общей для них платформы. В предисловии к «Вехам» указывалось, что та традиционная идеология интеллигенции, которая исходит из безусловного примата общественных форм, авторам «Вех» представляется внутренне ошибочной и практически бесплодной. Этой идеологии участники «Вех» противопоставляли свою идейную платформу, исходящую из признания *«теоретического и практического первенства духовной жизни над внешними формами бытия»*, в том смысле, что внутренняя жизнь личности есть единственная творческая сила человеческого бытия и что она, а не самодовлеющие начала политического порядка, является единственно прочным базисом для всякого общественного строительства».

Таким образом, основная задача «Вех» была одновременно и критической и — со стороны положительной — духовно-реформаторской. На духовных основах этого намечавшегося нового мировоззрения могла быть воздвигнута и новая политическая идеология, и новая политическая практика. В отличие от старого, революционного, это новое мировоззрение оформлялось, как принципиально эволюционное. Указывались, главным образом у двух авторов, которые в этой группе были более других политиками и политическими публицистами, у Струве и у Изгоева, и те реальные политические основания, которые заставляли предпочитать эволюционный путь революционному. Главным основанием был акт 17 октября 1905 года, который означал отказ от исторически сложившегося самодержавия и переводил Россию на рельсы конституционного, парламентского, в лице Государственной думы, развития.

В условиях русского культурного ренессанса и второй серии великих реформ, «веховство» (этот термин, так же как и термин «веховцы» или «вехисты», был пущен в оборот противниками «Вех») могло стать господствующим духовно-идейным и общественно-политическим течением русской интеллигенции, подобно тому, как в 60-х годах прошлого века господствующим течением был «революционный демократизм», в 70-х и 80-х народничество, в 90-х и 900-х марксизм. Трагизм новейшей русской истории заключается в том, что ни духовные основы нового мировоззрения, намечавшегося «Вехами», ни те политические выводы, которые не были в центре внимания «Вех», но естественно из них напрашивались, не стали мировоззрением и выводами русского либерализма и, прежде всего,

русского кадетизма — главной политической силы того времени, которая в союзе с властью могла повести Россию, и тем самым, как это теперь ясно, значительную часть мира по пути эволюционного, а не революционного развития.

В силу человеческих заблуждений (главное из них, как отмечал Струве, — убеждение, что опасность свободе и порядку грозит справа, в то время как на самом деле она грозила более всего слева) и неблагоприятного стечения исторических обстоятельств (главное из них — наступившая вскоре и чрезвычайно затянувшаяся изнурительная и неудачная война), победило не «веховство», а ленинский большевизм, который и безраздельно господствует в России, идеологически и общественно-политически, до настоящего времени.

Однако, та линия идейного и общественного развития, в которой «Вехи» были определенным этапом (с одной стороны итогом, с другой началом), не умерла. После победы большевиков главные участники «Вех» выпустили в 1918 году новый замечательный сборник статей «Из глубины», на этот раз о русской революции 1917 года. Идейное творчество Струве, Бердяева, Булгакова, Франка и их единомышленников продолжалось и достигло нового расцвета в 20-х, 30-х и 40-х годах в эмиграции.

В то же самое время в России большевики и при Ленине, и при Сталине сами постоянно напоминали новой советской интеллигенции о существовании этой иной, не революционно-демократической и не социалистически-атеистической, идейной и общественной традиции. А после смерти Сталина, в 1955 году, советским идеологическим работникам была поставлена даже прямая задача: не просто отвергать, но и опровергать «веховцев» и их последователей. Теперь в Советском Союзе не выходит почти ни одной статьи, брошюры, книги, учебника, справочника, словаря или энциклопедии (включая и пятитомную «философскую энциклопедию»), в которых, — если только они касаются вопросов русской интеллектуальной и социальной истории, — не обличались бы так или иначе «Вехи», «веховцы» или «веховство».

По удельному весу участников «Вех», по глубине, значительности и актуальности поставленных ими проблем, по немедленности, объему и остроте реакции на «Вехи» и по составу участников выступлений против «Вех», по впечатлению, произведенному «Вехами» на некружковую русскую интеллигенцию и сказавшемуся на отрицательном отношении широких кругов интеллигенции к захвату власти большевиками в октябре 1917 года, по продолжающейся уже более полувека полемике вокруг «Вех», — по всем этим приз-

накам и обстоятельствам «Вехи» следует признать одним из самых значительных эпизодов и этапов в истории русской мысли и русского общества.

«Вехи» принадлежат уже истории. Но история «Вех» не кончена. Она еще долго будет продолжаться. Ибо теперь, после и в свете революции 1917 года и власти большевизма, «Вехи» еще более актуальны, чем они были в свете революции 1905 года и связанного с нею духовного и идейного кризиса тогдашней русской интеллигенции.

Н. ОСИПОВ

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

К 150-ЛЕТИЮ

То ли судьба, то ли русская блажь потребовали, чтобы Россия в конце XVIII века дебютировала в странной роли освободительницы Европы. Делу освобождения были принесены неисчислимые жертвы. Не щадили ни усилий, ни материальных средств. Главное же, не щадили драгоценной русской крови. Никакие гиперболы не могут дать понятия о щедрости, с какой она проливалась.

Суворов начал Аддой, Требией и Нови, а кончил Сен-Готардом. Александр I выступил против Наполеона ради спасения Австрии, не вспоминая австрийского предательства, чуть не погубившего Суворова. Такие воспоминания почитались дурным тоном и грехом против политической мудрости.

С военной стороны дело было проиграно прежде всего благодаря австрийцам, а затем — Александру. Кутузов был главнокомандующим только номинальным. Русские блеснули Шенграбеном, а затем взойшло знаменитое солнце Аустерлица, и остатки русской армии поспешили убраться восвояси.

Затем последовала потсдамская клятва: Александр I клялся, что русская армия ляжет костями за Пруссию, а Фридрих-Вильгельм изъявил согласие принять эту клятву. Наполеон действовал с особенной решительностью. Эпоха Фридриха Великого умерла под Иеной и Ауэрштедтом, а Фридрих-Вильгельм оказался королем без территории.

Во исполнение клятвы последовали Пултуск и Прейсиш-Эйлау; они внесли некоторое уточнение в представления Наполеона о русском противнике. Под Фридландом русские силы были окончательно разбиты.

После эффектного свидания двух императоров на плоту, на середине Немана, заключен был тильзитский мир, самый гнилой мир в новой истории Европы.

Наполеон торжествовал, но и великодушничал. «Из уважения

к его величеству императору всероссийскому» согласился не стирать Пруссию с лица земли. Но континентальную блокаду навязал Александру, как неумолимое обязательство.

Вместе с тем Наполеон подверг Александра особому утонченному унижению: Александр должен был принять из рук победителя кусок прусской территории, а позднее и австрийской. Карамзин мог бы напомнить Александру слова летописи: «Злее зла честь татарская». Французская честь оказалась ничуть не добрее татарской.

Наполеон, провозглашенный в России с церковного амвона антихристом, теперь был лишен этого высокого ранга и превратился в легитимного и дружественного монарха.

Мир стал трещать сразу же после его подписания. Россия начала разоряться ради прекрасных глаз Наполеона — и не хотела разоряться. Чтобы поправить дела, монархи съехались в Эрфурте. Обмены любезностями перемежались ссорами. Александр подарил Наполеону соболью шубу, которая позднее защищала его от русской зимы. Наполеон выходил из себя (не из-за шубы), бросил на землю собственную шляпу и в ярости топтал ее ногами. На Александра эта сцена не произвела никакого впечатления.

Стало ясно: война неизбежна. Обе стороны стали к ней готовиться. Наполеон делал это хорошо, русские плохо.

В июне 1812 года Наполеон с «двудесятью языками» вторгся в Россию. Энтузиазма в великой армии было немного. Роль энтузиастов была предоставлена полякам. Они воображали, что сражаются за восстановление Польши. На самом деле они были только пушечным мясом Наполеона, который с обычным своим цинизмом использовал польское легкомыслие. Он ничего не потерял, для поляков он остался кумиром, и Товянский еще будет снимать шляпу, проходя мимо «чугунной куклы с пасмурным челом, с руками сжатыми крестом».

Наполеона в России встретила страшная грязь (пятая стихия, по его слову) и страшная жара. Во внимание к этому обстоятельству русским солдатам разрешено было в походе расстегивать два верхних крючка на воротнике мундира. Солдаты великой армии изнемогали от жары. Они не думали о том, что им предстоит еще знакомство с русской зимой и, таким образом, возможность изучить амплитуду годовых колебаний температуры в стране, которую они намеревались завоевать.

Об Александре не без яда говорит поэт:

Когда на нас в азарте
Стотысячную рать
Надвинул Бонапарте,
Он начал отступать.

Это не может быть поставлено в вину Александру. Ничего другого не оставалось делать. Можно было только отступать.

Это была совсем особенная война. Раньше Россия шла навстречу противнику на чужой земле. Теперь она отступала перед ним на своей собственной. И война воспринималась народом по-иному. Раньше воевала армия, а народ оставался пассивен, и только женские слезы и причитания, да панихиды по «на поле брани за веру, царя и отечество живот свой положившим», были тоненькой ниточкой, связывавшей народное сознание с чуждыми именами Аустерлица и Фридланда. Теперь не то. «Война теперь не обыкновенная, а национальная, — писал Багратион, — и надо поддержать честь свою и всю славу манифестов и приказов данных».

Отступление вглубь России и оставление Москвы не было «тактикой», рассчитанным военным приемом, а горькой необходимостью. Единственным ресурсом России были ее огромные пространства. Они и спасли Россию. Восемьсот километров коммуникаций даже для наполеоновского гения было чересчур. Русские дали, а не морозы погубили Наполеона. Роль морозов всегда тенденциозно преувеличивалась людьми, которые не видят ничего в истории России, кроме бесконечной цепи счастливых случайностей. Им можно ответить словами Суворова: «Сегодня счастье, завтра счастье, всегда счастье. Помилуй Бог, дайте же сколько-нибудь уменья». Это очень верное замечание; впрочем на Березине уменья было проявлено совершенно недостаточно.

Главнокомандующим русской армии был Барклай де Толли. Как полководец, он не хватал с неба слишком больших звезд. Но он был очень толковым военным. Возложенную на него задачу он был способен выполнить ничуть не хуже любого среднего генерала, вероятно, лучше. У него не было никакого плана, он просто отступал, удивляя Наполеона блистательными арьергардными боями. Ему не оставалось больше ничего делать. Его тактика была продиктована необходимостью.

Отступление от Немана до Витебска и Смоленска и дальше в Московскую губернию вызвало крайнее неудовольствие в обществе и ропот в армии. Доколе отступать? Неужели до Москвы? Как это изумительно выражено у Лермонтова:

Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы, на зимние квартиры?
Не смеют что ли командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»

Предметом всеобщего недоверия, раздражения, вражды, ненави-

сти стал Барклай. Солдаты, не влюбя «звук чуждый» его имени, начали подозревать его в измене. Неинтеллигентный и чересчур импульсивный Багратион не стеснялся в нападках на главнокомандующего. Моральное мужество и сознание долга Барклая были таковы, что он намеревался отступить на восток неопределенно долго. «До Москвы?» — раздавались ехидные голоса. Да, он готов был отступить до Москвы, а если нужно и дальше. Не о лаврах он думал. Он не сомневался в победе, но знал, что дожидаться ее придется долго.

В сущности проблема, перед которой стоял Барклай, была психологической. Можно ли отступить до Москвы? Можно ли бой за столицу принять под стенами Москвы? Что Москву можно оставить без боя, об этом просто не думали, это не вменялось в русское сознание. И Барклай с горечью думал о том, что Россия недостаточно велика, или что столица России не находится на Урале.

В споре Барклая с Россией по вопросу о генеральном сражении победила Россия, но прав был Барклай. И он спокойно оставил пост главнокомандующего и отступил в тень. Его верность России не поколебалась, но он с большой горечью переживал неблагодарность отечества. Недаром под Бородиным заметили, что он ищет смерти.

К Барклаю, выражаясь на современном жаргоне, пришла «посмертная реабилитация». Зрелый Пушкин перед ним преклонился и воздал ему должное:

О люди! Жалкий род, достойный слез и смеха,
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто среди вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и умиленье.

Вообще говоря, Барклай был на высоте своего положения. Но он не мог лететь на тех крыльях доверия народного, которые составляли нравственную силу Кутузова. И он мог бы допустить роковую ошибку: принять сражение под стенами Москвы в надежде на помощь золотых маковок сорока сороков. Верный инстинкт предостерег Кутузова от этой ошибки.

Заменить Барклая мог только один человек. Не Багратион: у того не было других качеств, кроме героизма, и других настроений, кроме отчаяния. Он пошел бы — вернее бросился бы — на отчаянный риск генерального сражения и погубил бы армию, а с нею Россию. Других кандидатов не было; были почтенные имена, генералы, которые умели умирать со славою, но не им было тягаться с Наполеоном.

Оставалось одно имя... единственное: Кутузов.

Кутузова крепко не любил Александр I и за то, что старый генерал был блестящим царедворцем, — тип людей, которых император не жаловал; отчасти же по ассоциации с неприятными личными воспоминаниями. Жозеф де Местр, посланник сардинского короля, отличный наблюдатель, оставил драгоценное свидетельство о тех днях, когда Кутузов был призван к спасению отечества:

«Глаза всех в столице обращались на генерала Кутузова, которого общественное мнение хотело видеть главнокомандующим. Кутузов — человек, по крайней мере, семидесяти лет, толстый и тяжелый. Впрочем полный ума и хитрый до нельзя; он — придворный по существу: вещь хорошая на его месте, но которая ему мешала иногда в том положении, которое он занимает. Государь... не очень его доллюбливал; может быть слишком искусная вкрадчивость генерала не нравилась, ибо Государь таков».

О физическом состоянии Кутузова де Местр сообщает: «Он плохо видит, с трудом сидит верхом, засыпает и т. д.». Словом — развалина. Это была одна из причин, по которой в придворных сферах в Кутузове и не ожидали и не хотели видеть кандидата в главнокомандующие. Впрочем, они скоро изменили свое мнение, на то они и придворные сферы.

«Его Императорское Величество, — пишет де Местр, — вручил главное командование Кутузову ко всеобщему удовольствию, ибо, надо сознаться, несмотря на его физические недостатки, не видно лучшего. Неделю назад я слышал, как говорили: что вы хотите делать со слепым генералом? После выбора я сделал возражение относительно зрения тому же лицу и оно ответило: Господи, он достаточно видит».

Впрочем, сам Кутузов вовсе не стремился играть какую-нибудь роль. Он был стар, опытен, инстинкт честолюбия потерял над ним былую власть. Вероятно, в те дни его молитва была: «Господи, да минует меня чапа сия». И когда ответственность, которой ему хотелось избежать, легла на его уже согбенные плечи, он почувствовал себя жертвой. Но уклоняться не стал и, перекрестившись, крихтя и охая принялся за дело и нашел в себе достаточно сил, чтобы похоронить в русских снегах великую армию.

Он не слишком торопился выехать в действующую армию. Пришлось его понукать. Наконец, он тронулся в путь. Поток восторгов и благословений следовал за ним.

Армия воспрянула духом. «Вот приехал Кутузов бить французов». И Кутузов шел навстречу солдатским настроениям. «С такими молодцами разве можно отступать?» Правда, тут же приказал отступать. Но это было последнее отступление, последние переходы перед Бородиным.

Задача, которая стояла перед Кутузовым, казалась неразрешимой. Отступить нельзя. Т. е. нельзя психологически, а здравый

смысл, наоборот, требовал отступления, как единственного правильного тактически поведения. Но русскому народу было не до здравого смысла. Сражаться? Но тут возникал труднейший вопрос: где? Под стенами Москвы?

Это могло показаться самым правильным. Москва за плечами — это такой нравственный стимул, лучше которого не мог желать полководец. Но в то, что этот стимул может все превозмочь, Кутузов не верил. Под Москвой русские могут победить (сомнительно), но могут и потерпеть поражение. Французы, ворвавшиеся в Москву на плечах русских солдат — это такой шок, которого Россия не переживет.

Отдать Москву без боя? Этого армия не выдержит, последствия могут быть ужасны. Остается одно: дать сражение где-нибудь под Царевым Займищем, под Бородиным. Этим будет взорван проклятый психологический комплекс, этот солдатский психоз, эта воля к бою во что бы то ни стало. Парадокс, который редко встречается в истории: полководцу приходилось не пробуждать в солдатах волю к борьбе, а сдерживать ее и, наконец, капитулировать перед нею в наиболее, по возможности, благоприятных условиях.

Только бы сохранить армию. После битвы она станет мягким воском в руках полководца. А там, в крайнем случае, можно будет отдать Москву. С потерей Москвы не потеряна Россия и т. д.

Трудно сказать: додумал ли Кутузов эти мысли до конца перед Бородиным или они были додуманы в Филях.

Кто победил на Бородинском поле? Вот вопрос, который не имеет смысла для русского человека. Правильно поставленный вопрос звучит так: в чем значение, в чем смысл Бородина?

В том, что Бородино, не будучи победой, стало вернейшим залогом грядущей неизбежной победы над «галлами и с ними двадцатью языками», сомнения быть не может.

Страстное желание схватиться с врагом было удовлетворено. Устояли. Почувствовали, что тягаться с французами очень даже можно. Почувствовали, что и на врага произвели должное впечатление.

Изведал враг в тот день не мало,
Что значит русский бой удалый
Наш рукопашный бой.

Теперь Кутузов мог спокойно приказать армии отступать. Это была перерожденная армия. Ни следа подавленности, полная уверенность в собственных силах. А дальше воля Божия, да Кутузова.

Оставление Москвы было неизбежно. Только после Бородина оно стало возможным. Только после Бородина солдаты могли от-

дать Москву без боя и проходить по улицам столицы со спокойной уверенностью: «Мы вернемся».

Лермонтов в своем изумительном стихотворении не говорит ни о победе, ни о поражении, он говорит только о беспредельном самоотвержении русских. Лермонтов очень верно почувствовал пафос бородинского боя. Это был пафос обороны, столь свойственный русской истории. Псков, Смоленск, Троице-Сергиева Лавра, теперь к этому блестящему созвездию присоединилось Бородино; позже засияют звезды Севастополя, Шипки, Порт-Артура.

После Бородина оставление Москвы приобрело осмысленный и оправданный характер жертвы, необходимой для будущей победы. Лермонтов устами старика солдата выразил настроение армии: «Не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы». Это — не фатализм, а принятие неизбежной и благодатной жертвы. На бородинском поле родилось то настроение героического оптимизма, которое больше не покидало армию. Вот Москву уже покинули, армия отступает и рядом с ней толпы населения, покинувшие Москву. Это не были беженцы и их настроение не было паникой, — это была демонстрация единения армии и страны. И это чувствовали обе стороны. Солдат, шагавший в строю рядом с Якушкиным (будущим декабристом), нашел слова для наилучшего выражения охватившего Россию чувства: «Вот и слава Богу: вся Россия в поход пошла».

В Москве Наполеон тешился фикцией победы. Недолго ему пришлось тешиться.

*

Наполеон широко разбросал французские кости по белу свету:

...спят усачи-гренадеры
В равнине, где Эльба шумит,
Под снегом холодной России,
Под знойным песком пирамид.

Посев этот был особенно обильным в России. И над прахом героев Витебска, Смоленска, Красного, Бородина, Тарутина, Малоярославца затеяли скучный спор: что было причиной неудачи Наполеона — русское оружие или низкая температура русской зимы.

Следует различать между поражением и истреблением. Наполеон признал свое поражение в тот теплый погожий день, когда он, после троекратного предложения мирных переговоров, не получив ответа, оставил сожженную Москву, чтобы двигаться со своей великой армией не к Гималаям, а к Висле. Впрочем, русская победа нашла для себя и военное выражение в двухдневной битве при Малоярославце. Наполеон хотел прорваться на Калужскую дорогу, чтобы отступить по неопустошенной еще земле, где были

бы возможны фуражировки, где можно было бы найти пищу для отощавших уже солдат и корм для одров, в которых превратился конский состав французской армии. Наполеон предпочитал отступать не на свои магазины в Смоленске, Витебске, Вильне, а, махнув рукой на интендантство, идти по стране без магазинов, но не превратившейся в выжженную пустыню. Этот шаг был признанием полного поражения. Задачей Наполеона было не наступление и даже не удержание определенной территории. Наполеон хотел одного: унести ноги из России как можно скорее.

Морозы наступили, когда армия Наполеона и без них превратилась в сброд племен, наречий, состояний. Русский мороз нанес Наполеону самый страшный удар не своим слишком ранним пришествием, а своим опозданием. Березина, к которой пришел Наполеон с массой вооруженных людей, еще заслуживающей названия армии, еще не замерзла, следовательно говорить об «ужасных» русских морозах не приходилось. И это-то было самое страшное. Переход через реку по льду не представил бы затруднения. Переход через спешно наводимые мосты превратился в катастрофу, которая не оказалась полной только благодаря ошибкам, в которых обвиняли, по-видимому, без достаточных оснований, Чичагова. Русская природа помогла русской армии, но не холодом, а его отсутствием.

Сразу после переправы ударили уже настоящие морозы и река издевательски стала. Наполеон, уже потерпевший окончательное поражение, ибо остатки его армии превратились в орду, должен был пройти еще через одно испытание. Теперь началась бессиловая борьба с морозом, который делал свое дело истребления с беспощадной методичностью. Спасти эти десятки тысяч замерзающих людей было возможно. Стоило Наполеону покинуть их со своей старой гвардии, а прочей толпе приказать положить оружие. Но подобная человеколюбивая идея не пришла Наполеону в голову. В Вильно Наполеон сам подвел итог своему предприятию: «Армии больше не существует».

*

Поход 1813 года был продолжением кампании 1812 года. Александру I нужно было много энергии для того, чтобы приступить к освобождению Европы от ига Наполеона. Прежде всего, освобождаемые, по слову Ключевского, упорно не желали освобождаться. Таурогенская конвенция сдвинула дело с мертвой точки. Но Александру приходилось еще считаться с сопротивлением своих подданных.

Поход 1813 года с точки зрения русских интересов сурово осуждали и современники и потомки: Шишков и Кутузов, В. О. Ключев-

ский и вел. кн. Николай Михайлович. Отчасти здесь сказывались и неприятные воспоминания о непопулярных походах 1805-1807 годов и та психология оборонительной войны, которая очень свойственна русским. «Охотник сунулся в нашу берлогу, мы переломали ему кости: чего еще желать?»

Идея освобождения Европы находила очень мало сочувствия в широких кругах русского общества и офицерства. Недаром возникла легенда, в которой русским людям мерещилась действительность. Кутузов скончался в Бунцлау 13 апреля 1813 года. До самого конца он продолжал ворчать, с неодобрением взирая на затея Александра. И вот, когда старый фельдмаршал лежал на смертном одре, император будто бы пришел к нему проститься и спросил его: «Простишь ли ты меня, Михаил Илларионович?» (т. е. за поход). «И-то вас, государь, прощаю; вот Россия простит ли» — был ответ.

Как бы то ни было, «Европы вольность, честь и мир» были куплены русской кровью. Другими словами: предпосылка для развития Европы в XIX веке была обеспечена Россией. Расположения Европы мы этим не заслужили. И это в порядке вещей: за добро человечество более склонно платить ненавистью, чем благодарностью. Мы расточали наши услуги Европе, не останавливаясь перед величайшими жертвами, расходовали деньги — и какие! — и не щадили крови («Уложили пропасть народу» — скажет Ключевский), а в награду получили ненависть и долго пребывали в недоумении.

Маленькое отступление по поводу благодарности Европы. Мы ведь спасли ее еще раз в 1849 году и на этот раз от беды худшей, чем Наполеон. В Европе была революция, ее логика, которая одна у всех революций, и К. Маркс. Он хорошо знал, чего хотел. Он уже провозгласил идею диктатуры пролетариата и ему ясна была его тактика: свергать одно революционное правительство за другим, опираясь на глупую оппозицию, пока, наконец, власть не перейдет в руки коммунистов. Разгром венгерской армии и ее капитуляция были жестоким ударом по марксизму. Русские генералы этого, разумеется не подозревали, но Маркс понял это отлично. До тех пор он только презирал русских, как славянское быдло. Теперь родилась в его сердце жгучая ненависть к России.

*

Наполеон предлагал России выгодный мир. Он взывал к пониманию русскими своих интересов. Аргументы Наполеона были неотразимы. Но они не произвели никакого впечатления на Александра. Александр мыслил «масштабами континента» и меньше всего хотел думать о русских интересах. Вот когда были заложены

ны основы политики Нессельроде: когда никакого Нессельроде еще не было.

Священный союз — дон-кихотская идея Александра. Политику Священного союза впоследствии с великим усердием проводил русский канцлер, граф Нессельроде. Практически эта политика означала — плыть в фарватере Австрии и служить австрийским интересам. За свое усердие Нессельроде подвергся жестоким нападкам. Эти нападки несправедливы. Политика Нессельроде была противна русским интересам, но *это была русская политика*. Не Нессельроде ее выдумал, он ее только честно проводил. За Священный союз ответствен император Александр I. Он мог бы стать гегемоном Европы (я оставляю в стороне вопрос, нужно ли это было России), — он предпочел удовольствоваться ролью сателлита Австрии. Николай I, человек с исключительно развитым инстинктом лояльности, продолжал политику Священного союза, хотя и сомневался в ее смысле. Верность принципам Священного союза привела нас к Крымской войне.

Замечательно: после того, как Австрия взорвала Священный союз, в России еще жила вера в его благое значение. Александр II, разговаривая с Андраши, указал на свои ордена: Георгия Победоносца, Марии Терезии и „Pour le merite“ и сказал: «Вот моя политика». Настроение, выразившееся в этих словах, было не чем иным, как повторением присяги на верность принципам Священного союза и обращением к тени Нессельроде.

Священный союз — это детская вера России в возможность внесения в политику начал христианской этики. Это смешная вера, но и величественное явление. Попытка кончилась, как и следовало ожидать, неудачей, но она была сделана. И без этой попытки, высмеянной Меттернихом, история Европы была бы беднее.

К тому же, как никак, постановления Венского конгресса продержались сто лет, претерпев некоторый ущерб от Наполеона III. Франция вообще не свойственно играть конструктивную роль. Но Россия эту роль выполнила не без блеска и с честью.

*

Венский конгресс вовсе не был «торжеством реакции». Он был принятием «правды революции», к которой особенно холодной оставалась Англия и горячим сторонником которой был император Александр. Он заставил Бурбонов помириться с этой правдой, принудив их дать Франции хартию и сам пытался ей следовать в Польше. Но он был смущен ее двусмысленностью, которая восторжествовала в уродливой форме.

Россия признала правду Европы. Следовало думать, что Евро-

па признает правду России. Пушкин связал эти надежды с именем великого представителя нового Запада — Наполеона:

Хвала! Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

*

Что же, в конце концов, нам принесла Отечественная война с ее кровавым эпилогом на Эльбе, Рейне и Сене?

Мы стали более европейцами, чем прежде. Денис Давыдов усиленно кокетничал своим казачеством перед парижскими дамами, что было особенно пикантно, благодаря его безупречному французскому выговору. Картина эта, немножко смешная, символична. Казак чувствует себя дома в мире французской культуры, но от своего казачества ничуть не отрекается. Он чувствует, что в этом казачестве (=русскости) есть нетленное начало, которое драгоценно и которое следует сохранить.

Глубокий смысл столкновения России с Наполеоном: Россия вошла в Европу окончательно и поправила безнадежно запутавшиеся европейские дела. Отечественная война потребовала величайшего напряжения национальных сил. Следствием были — законная гордость и повышенный тон национального самосознания. Себя отстояли и Европу, дрожавшую перед тираном, спасли.

Было над чем поразмыслить. И совершенно естественным ответом на пережитое было пробуждение национальной мысли. Вопросы свободы, народности, национальной чести властно приковывали к себе внимание и требовали разрешения. Бросились к изучению отечественной истории, Карамзин оказался очень нужен, но недостаточен. Были жгучие современные вопросы, ответов на которые было тщетно искать у Карамзина. Политика Александра с его военными поселениями, Фотием, Аракчеевым, Магницким воспринималась, как дерзкий вызов деспотизма. Глубоко возмущало демонстративное презрение Александра к русским, его публичное заявление на смотре в Вертю, что победой над Наполеоном он обязан иностранцам. Дарование полякам конституции, в которой было отказано русским, воспринималось, как оскорбление национально-го чувства. Во внутренней политике Александра видели запрещение России развиваться. Возникли тайные общества. Будущие декабристы считали очередной и главной задачей освобождение крестьян и им казалось, что это просто неизбежное следствие Отечественной войны. Иначе — напрасно пролита кровь под Бородиным. Но освобождение крестьян означало бы возникновение новой России, совсем новой, аналогий которой нельзя было найти у Ка-

рамзина. Отсюда ощущение, что Россия входит в Европу, в общий западным и русским людям девятнадцатый век. Проблемы этого века общие у них и у нас; Россия и Европа — члены единого тела. Отсюда интерес, совсем не ученический, к европейской политической мысли. Бенжамен Констан и Дести дю Трасси делаются настольными книгами.

За европейскую литературу брались не как в XVIII веке, искали в ней не острых и пряных новинок, не развлечения, а проблем, общих Европе и России. По верному замечанию Н. С. Арсеньева, русские почувствовали себя более русскими, чем прежде, и более европейцами, чем прежде. И в этом, конечно, главный смысл страшного опыта Отечественной войны. Ощутили свое кровное единство с Европой, чего вовсе не было в XVIII веке, несмотря на усиленную европеизацию. Не менее остро ощутили свою русскую особенность и то, что понята она может быть только в свете всеевропейского единства. Старой беспомощности и растерянности как не бывало. В Западе перестали видеть диковинку. В нем обрели сокровище, близкое и родное собственной душе. И вместе с тем Запад оказался оселком, на котором стала оттачиваться самостоятельность русской мысли. Так родилось серьезное не слепоподражательное русское западничество, и славянофильство, которое было в сущности разновидностью западничества.

Это отлично понял Н. С. Арсеньев, в очень интересной и значительной книге которого «Из русской культурной и творческой традиции» поставлен и вопрос о значении Отечественной войны:

«...целые поколения, особенно то, которое созрело непосредственно после 1812 года, — поколение Пушкина, славянофилов, их друзей и современников. потрясенное до глубины души событиями наполеоновской эпохи и оплодотворенное ими в своем национальном чувстве — были призваны на своих плечах вынести эту работу: осуществление в самих себе этого синтеза и проложение ему русла в жизни русского общества. В этом роль событий 1812 года огромна, не поддается никакому учету и является ключом к тому необычайному избытку творческой энергии и духовного подъема, пробудившемуся вслед за годами освободительных войн в России. Примерами такого синтеза являются все действительно духовно значительные люди того времени».

Отечественная война — это не только подвиг, который явился источником законной национальной гордости. И это не только возможность русской устроительной деятельности в Европе, которая поставила порядок — и очень прочный, — на место бестолочи и неразберихи. Это — огромной силы духовный толчок, который пробудил дремлющие духовные силы России.

*

Отечественная война никак не вмещается в схемы Н. А. Бердяева. Ни Барклай, ни Кутузов, ни прочие генералы, сам Александр

И наконец, ни малейшего влечения ни к каким безднам не обнаружили. Они проявили много благоразумия, не слишком много военного таланта, очень много умеренности в преследовании русских интересов и большую дозу великодушия к побежденному врагу. Все это бесконечно далеко от представлений Бердяева о русском характере.

Две черты русского национального характера проявились во время пребывания русских войск во Франции с большой наглядностью. Первая: офицеры оккупационного корпуса, которым командовал граф Воронцов, задолжали населению миллион франков, а платить было нечем. Вторая: граф Воронцов, не моргнув глазом, заплатил миллион из собственных средств.

Русский оккупационный корпус оставил по себе во Франции наилучшие воспоминания.

Л. ЗАНДЕР

О Ф. А. Степуне и о некоторых его книгах

I

С Федором Августовичем Степуном меня связывает не только долголетняя дружба и сотрудничество, но и некоторая общность судьбы. Оба мы, окончив наше учение в России, поехали для дальнейшего усовершенствования в Германию (и оба — в тот же незабвенный Гейдельберг), потом, по возвращении, оба не нашли себе места в официальной академической среде и были принуждены идти «своим путем» (который в конечном итоге привел нас обоих к академическим кафедрам). Это позволяет мне сделать некоторые выводы и сравнения, выходящие из пределов личных биографий и принадлежащих к факторам «культурно-историческим», как их называл наш общий учитель Виндельбанд.

В своем устремлении в Германию мы были не одиноки. И о. Сергий Булгаков, и Б. П. Вышеславцев, и С. Л. Франк и многие другие шли этим путем, по разному его оценивая и по разному воспринимая то, что нам предлагала немецкая академическая жизнь. Но основной импульс был у нас один, и на нем следует остановиться.

О людях нашего стиля ядовито и несправедливо писал В. Ф. Эрн:

«чтобы попасть в Афины, необходимо 'перелететь'

... на крыльях лебединых

Двойную грань пространства и веков...¹⁾

Это далекое и трудное путешествие (некоторым философам) казалось, очевидно, 'несовременным'. 'Крыльям' они предпочли билеты II класса, 'двойной грани' — русско-немецкую границу, античным Афинам — современные: Фрейбург, Гейдельберг, Марбург, Вюрцбург и прочие университетские города несвященной Германской империи. Запасись там философскими товарами са-

¹⁾ Стих Вл. Соловьева.

мой последней выделки, они приехали в Россию и тут, окруженные варварством, почувствовали себя носителями высшей культуры...» и т. д.²⁾

Если отбросить журнальный тон этих слов, то по существу они являются не только упреком и осуждением, но и ставят перед нами (даже теперь, по прошествии полустолетия) серьезную проблему. Как могли мы просмотреть, что подлинной страной философии, мудрости, Логоса является Россия? Как могли мы первородству христианской мудрости Востока предпочесть рационализм бесплодной немецкой науки? Как могли мы — искатели подлинной философии — подменить православие неокантианством? Об этом хорошо пишет о. Г. Флоровский:

«Психология философов становится у нас в те годы религиозной. И даже русское неокантианство имело тогда своеобразный смысл. Гносеологическая критика оказывается как бы методом духовной жизни, — и именно методом жизни, а не только мысли. И такие книги, как 'Предмет знания' Г. Риккорта или 'Логика' Г. Когена, не читались ли тогда именно в качестве практических руководств для личных упражнений, точно аскетические трактаты?»³⁾

Да. Федор Августович вероятно подтвердит, что в Гейдельберг мы ехали с психологией паломников: что мы искали не просто знания (или, упаси Боже, дипломов), а мудрости. И я сейчас помню, с каким благоговением я подал Виндельбанду второй (систематический) том его «Прелюдий», прося написать мне несколько слов поучения. Увы, он меня жестоко разочаровал. «Что же мне написать вам?» — спросил он; потом надарापал что-то и вернул мне книгу. Поблагодарив его, я вышел и открыл томик, думая найти в нем некое откровение, но на первой странице стояло только: «В. Виндельбанд. Гейдельберг. 1913...» Но это мелочь, только отсутствие воображения у большого ученого. А его лекции, которые открывали перед нами бесконечные перспективы, переносили нас вглубь веков, знакомили — да, лично знакомили — с Гераклитом и Платоном, с Джордано Бруно и с Декартом; его семинары, в которых он ясно понимал не только то, о чем мы говорили, но и то, о чем мы хотели, но не умели говорить и что мы должны были бы сказать, навсегда останутся в нашей благодарной памяти. . .

Что же влекло нас в этот мир? Наука и только наука — отвечает современник Ф. А. Степуна, подвизавшийся не в Гейдельберге, а в Марбурге:

«Если ходячая философия говорит о том, что думает тот или другой писатель, а ходячая психология — о том, как думает средний человек; если формальная логика учит, как надо думать в булочной, чтобы не обсчитаться сдачей, то Марбургскую школу интересовало, как думает наука в ее двадцати-

²⁾ В. Эрн. «Борьба за Логос» (Москва, 1911), стр. 73 и след.

³⁾ Пути русского богословия. Париж, 1937, стр. 485.

пятивековом непрекращающемся авторстве, у горячих начал и исходов мировых открытий. В таком как бы авторизованном самой историей расположении, философия вновь молодеда и умнела до неузнаваемости, превращаясь из проблематической дисциплины в исконную дисциплину о проблемах, каковой ей и подобает быть»⁴).

Но вот: перечитывая воспоминания Пастернака о Марбурге и воспоминания Ф. А. Степуна о Гейдельберге, ясно видишь различие этих двух знаменитых школ. Марбург (Коген, Наторп) весь захвачен пафосом чистой науки; к жизни (к «психологизму») он скорее равнодушен: критика *чистого* разума, критика *чистой* воли, критика *чистого* чувства...⁵) «Жизнь есть

метафизическая связь трансцендентальных предпосылок...

они — не жизнь, а тень суждений»

(так характеризовал марбургскую философию Андрей Белый⁶); или «никто, мыслящий о ничто» — по словам о. С. Булгакова. В Гейдельберге — совсем иное; конечно, это тоже неокантианство; но все оно обращено к жизненным ценностям, к воле к их созданию, к творчеству — в конечном итоге — к культуре. В этом последнем понятии — разгадка всего. Думая о нашем прошлом, спрашивая себя, что влекло нас в Германию, чем пленяла нас Европа, мы неизменно приходим к тому же ответу: своей культурой. Эрн упрекал нас в том, что мы духовную культуру Востока подменили технической цивилизацией Запада; о. Сергей Булгаков писал:

«Пришла новая волна упоения миром... первая встреча с Западом, и первые ее восторги: 'культурность', комфорт, социал-демократия...»

Мне думается, что дело здесь не в «комфорте». Читая воспоминания о Гейдельбергской жизни Ф. А. (равными им по красочности являются только строки «Охранной грамоты» Пастернака), вспоминая собственную жизнь, видишь, что ни о каком особенном комфорте здесь речи нет. Жизнь в студенческой среде в Германии вероятно была даже проще, беднее, чем жизнь нашего круга людей в дореволюционной России. И все же прав был Достоевский, когда писал:

«Святая Русь страна деревянная, нищая и... опасная, страна тщеславных нищих в высших слоях своих, а в огромном большинстве живет в избушках на курьих ножках»⁷).

Но этой русской безотрадности мы противопоставили отнюдь не «каменное строение» Европы, в которой еще есть на что опереться

⁴) Б. Пастернак. Охранная грамота, стр. 90 в томе Чеховского издательства «Опальные повести».

⁵) Заглавия книг Г. Когена.

⁶) Сборник «Урна», стр. 66.

⁷) Бесы, том II, глава VI.

(там же), а идею культуры, понятой как достоинство человеческой личности, как благоустройство жизни, как свободу и инициативу творчества — все начала, господствовавшие, как нам казалось, в жизни Европы. . . Я думаю, что притягательная сила культуры, как духовного и материального устройства жизни, была сильна и у Достоевского (который вообще по отношению к Европе был несправедлив и пристрастен, знал ее к тому же поверхностно) : как он описывает жизнь в Эмсе, восхищаясь трудовой дисциплиной девушек, подающих больным минеральную воду, и немецкой прислуги, работающей так, «как у нас не работают»!

«Здесь каждый принял свое состояние так, как оно есть, и на этом успокоился, не завидуя и не подозревая, по-видимому, еще ничего — по крайней мере в огромнейшем большинстве. Но труд, все-таки, прельщает, труд установившийся, веками сложившийся, с обозначившимся методом, с приемами, достигающимися каждому чуть не со дня рождения, а потому каждый умеет подойти к своему делу и овладеть им вполне».⁸⁾

А все очарование Версилова не является ли результатом его «европеизма», как «единственного европейца» среди ограниченных национализмом враждующих народов? . . . Может быть лучшим определением того, что нас влекло в Германию и чему мы ехали туда учиться, будет любимое слово Достоевского, которое он употребляет в совершенно ином контексте: *благообразие* жизни. А сюда входит и трудовой принцип, и дисциплина воли, и известный интеллектуальный уровень, и общие условия жизни, и все вообще, чем нас пленила и пленяет Европа, несмотря на все разочарования в ней, о которых так глубоко и остро писали и Герцен, и Леонтьев, и Толстой и которые так больно ударили и по нашей психологии и продолжают нас бить, начиная с 1914 года и по наши дни. . .

В этой нашей устремленности к культуре был однако один большой пробел, вернее односторонность. Европа являлась нам в своем немецком аспекте; Германия была для нас не только представительницей Европы, но едва ли не заслоняла собою другие лики Европы — французский, английский, итальянский, испанский — не менее значительные, чем германский. Эта абберация была очень распространенной; как на пример ее укажем на описку такого глубокого ума, как о. Сергия (тогда профессора Сергея Николаевича) Булгакова. В своем предисловии к «Свету Невечернему» он пишет: «С тех пор, как Петр прорубил свое окно в Германию. . .» (sic!) и далее сетует на «засидие» Германии над русской душой. И правда — все мы ехали учиться в Германию, все мы увлекались неокантианством; и никто не думал и даже не знал имен Леона Блуа, Шарля Пегги, Маритэна. . .

Но для чего пишу я об этом, говоря о Ф. А. Степуне? Для того,

⁸⁾ Дневник писателя за 1876 г., стр. 330, 332.

чтобы показать его философское становление и определить (насколько это возможно) духовный генезис его личности и деятельности. А в структуре его души и творчества европейская и в частности германская традиция имеют огромное значение и можно сказать определяют собой его духовный лик. Он — европеец в лучшем смысле этого слова, он — представитель западной культуры, западного трудолюбия, западной честности и ответственности, и эта печать лежит на всем, что он делал, говорил и писал. С полным правом он может повторить слова Достоевского: «Мы во всяком случае и прежде всего джентельмены»⁹⁾.

Однако эта «апология от культуры» (понятой при этом в качестве духовной силы и идеального устремления) не является ответом на упрек В. Ф. Эрна: «просмотрели Россию, не поняли, не увидели ее святости, которая в существе своем культурнее всякой культуры...» Но здесь имеются смягчающие обстоятельства. О культурности православия легко говорить теперь, когда о. Сергей Булгаков, о. Павел Флоренский и вся славная плеяда русских философов «серебряного века» уже прошла «трудный путь от православия к современности и обратно»¹⁰⁾. Но ведь тогда этого не было! Тогда только редкие голоса (Гоголь, Федор Бухарев, Достоевский) говорили о том, что потом получило наименование «Православной культуры». Это словосочетание казалось еще столь неожиданным и странным, что даже в 1923 году берлинский издатель сборника «Православие и культура» (задуманного о. Василием, тогда профессором В. В. Зеньковским) ездил по разным «экспертам», спрашиваясь, можно ли ставить рядом эти два слова. А когда в 1928 году мне пришлось читать доклад о «Православной культуре» на одном международном съезде, то один видный греческий богослов иронически спрашивал меня: «Что же, вы будете говорить нам о православных локомотивах и православных автомобилях? Культура может быть только одна — общечеловеческая; и православию до нее дела нет...» Мне пришлось объяснить ему, что культура и техника две вещи разные, что культура есть система ценностей (а не просто знаний и навыков), что если нельзя говорить о православных автомобилях, то можно говорить о православном отношении к автомобилям и к той духовной свистопляске, которая видит смысл жизни в быстроте движения и в преодолении пространства¹¹⁾.

⁹⁾ Преступление и наказание, стр. 579.

¹⁰⁾ Слово о. С. Булгакова в предисловии к «Свету Невечернему».

¹¹⁾ Ср. по этому поводу проповедь арх. Никанора (Бровковича) «О вреде железных дорог, пара и вообще об опасностях слишком быстрого движения жизни», произнесенной им в 1885 году при открытии Одесского вокзала. О ней пишет Константин Леонтьев («Восток, Россия и славянство», том II. Москва, 1885, стр. 387), цитируя Православное обозрение, октябрь 1884, что является явной ошибкой, так как само событие помечено 1885 годом.

Этим дело не исчерпывается: в нашем историческом отрезке православие и культура находятся не только в состоянии «развода», но часто рассматриваются, как начала друг с другом несовместимые и друг другу враждебные. И на этом фронте идет ожесточенная и разнообразная борьба: церковники поносят культуру (имея главным образом в виду ее представителей — интеллигенцию), «интеллигенты» отвечают обличениями церковной действительности в дикости и непросвещенности. И только небольшая группа «церковной интеллигенции» — людей, для которых понятия *культы* и *культуры* принадлежат к одному корню не только филологически, но и жизненно — ведет борьбу не отрицательную, а положительную, не разрушительную, а созидательную, отстаивая единство веры и знания, Церкви и всех областей культуры и утверждая всеобъемлющую полноту христианской жизни. . . Но борьба эта — упорная и жестокая, и коренится она не в фактических данных, а в духовных установках: в недоверии, в предвзятости, в подозрительности и т. п. И ведется она с переменным успехом в разные периоды и на разных участках фронта. В годы нашей молодости возможности «встречи» только намечались (удача и прекращение «религиозно-философских собраний»); но те, кто верил в возможность не только «народного» (вернее «простонародного») православия, все же не могли не применить к себе стиха Мережковского:

Дерзновенны наши речи,
но на смерть обречены
слишком ранние предтечи
слишком медленной весны. . .

В связи с этим можно ли удивляться тому, что в жажде «культуры» мы обращались туда, где нам ее давали «в готовом виде»; в Церкви, которая ее создала и в каком-то смысле хранила, ее надо было «открывать», расчищая древние фрески и иконы, угадывая в крюках красоту старинных распевов, вычитывая в творениях отцов ответы на вопросы социальной жизни, отыскивая в богослужебных текстах истины гносеологии, этики, космологии. В то время эта работа только начиналась; но надо признаться, что и сейчас она является для нас более «проектом» и «планом», чем расчищенной картиной или открытым в земле дворцом. . . В нашем увлечении западной культурой мы были жертвами той исторической трагедии, вследствие которой «Пушкин не знал Св. Серафима, а Св. Серафим не знал Пушкина».¹²⁾

Но будучи «жертвами», мы оказались и «водоразделом». Ибо на культурно-неокантианских, нейтрально-благожелательных позициях удержались очень немногие. Путь большинства из нас определил-

¹²⁾ Слова о. Сергия Булгакова.

ся к христианству и в этом мы видим «не наше, не смутные мерцания настроений, не 'имагинацию', но голос истории — преобладающую силу Церкви».¹³⁾ Однако сила эта проникла и проработала наше сознание не одинаково, и это определило различие типов русской религиозно-философской мысли. Почти все мыслители этой школы, или, вернее, этого направления — православные, в смысле их фактической принадлежности к Церкви. Но что касается их мысли, то некоторые из них целиком вдохновлялись православным вероучением, другие обращались к великим христианским мыслителям вне зависимости от их вероисповедания; некоторые чувствовали себя ответственными перед церковным сознанием, другие ощущали себя «свободными теософами» (выражение Н. А. Бердяева). Были, наконец, и такие, которые вполне отождествили себя с церковным сознанием и говорили, учили и обличали от имени Церкви. . .

Ф. А. Степун принадлежит к средней группе. Он убежденный христианин; он принадлежит к православной Церкви, но православие является для него одной из форм вселенского христианства. С некоторым приближением можно сказать, что православие является для него — «вероисповеданием», а не «Церковью». А Церковь — шире вероисповедания. В этом смысле он остается верным заветам Вл. Соловьева, который всегда боролся против провинциализма «греко-российства» и в своем искании вселенского христианства предвосхитил современные движения экуменизма. Можно поэтому сказать, что Ф. А. является христианином «убежденным», а не «бытовым»; и это обстоятельство имеет в его творчестве очень большое значение. Ибо он внес в свое христианское мирозерцание ту честность мысли и ту бескомпромиссность нравственной воли, которые так сильны в кантианстве всех оттенков. И это придает его писаниям и словам совершенно особую силу и значительность: слова у него не расходятся с делом; и компромиссов (которые часто шокируют нас в «бытовом исповедничестве») он не допускает. Христианство для него — не система теоретических истин и не институт Церкви, а жизнь, существование (слово это не передает характера термина *Existenz*, каковым он пользуется, противопоставляя безбожие христианству).

В этом смысле о нем можно сказать, что он не забыл и не изменил ничему *доброму*, чему его учили в Гейдельберге, но вознес все это на высшую ступень религиозного сознания, соединив восточное вдохновение с западной принципиальностью и показав на примере, по каким путям может плодотворно идти экуменический синтез.

Мы уже упоминали о его верности заветам Вл. Соловьева. Боль-

¹³⁾ о. С. Булгаков. В Аия Софии (в «Русской мысли», 1923, VI-VIII, перепечатано в Автобиографических заметках. Париж, 1946, стр. 102).

шой портрет последнего висит в его рабочем кабинете. Для меня каждая встреча с проникновенными глазами этого «рыцаря-монаха»¹⁴⁾ является подлинным переживанием. Ведь все мы в молодости увлекались Соловьевым, «шли за ним»¹⁵⁾. И у всех нас висел этот портрет. . . Но затем увлечения молодости прошли, и многое в Соловьеве подверглось преодолению, переработке, изменению. Но первая философская любовь осталась в душе, как благоуханное воспоминание о первых восторгах мысли, о первых взлетах души в горный мир созерцаний. И вот, входя в комнату Ф. А. и видя знакомые черты Соловьева и слыша голос самого хозяина, верного свидетеля этих прошедших годов, молодеешь, просветляешься и чувствуешь, что твоя душа снова раскрыта для философии, снова жаждет мудрости Слова, забывая обо всех разочарованиях долгой жизни. И не в этом ли тайна вечной молодости самого Ф. А., над идеализмом которого как будто не властно время — ибо знания и опыт не убили в нем юношеского энтузиазма, которым он стихийно заражает каждого, кого встречает на своем жизненном пути.

II

Для людей нашего поколения определяющей школой жизни была война. Ф. А. Степун не только пережил ее в качестве офицера-артиллериста, участвовавшего и в боях, и в отступлениях, и в вынужденном лежании в лазарете, но и осознал весь ее трагизм с точки зрения личной судьбы отдельного человека, культурного одичания целых народов и, наконец, метафизически — как страшного явления жизни, своего рода рока, перед которым человеческая мысль изнемогает и остается в недоумении и растерянности. Все это нашло место в его небольшой книжечке, скромно озаглавленной «Из писем прапорщика-артиллериста», прекрасно написанной и чрезвычайно богатой по своему содержанию. Книжку эту можно бегло прочитать, но ее можно и изучать, ибо в ней содержится не только художественные описания фактов (а картины, рисуемые автором, остаются в памяти навсегда), но целая философия — жизненная проверка всего, что Ф. А. передумал и перечитал в годы своего «учения». И поскольку война означала вечное передвижение с места на место и от одной человеческой души к другой, можно сказать, что эта книжка содержит в себе рассказ о годах странствий

¹⁴⁾ Так озаглавил свою статью о Соловьеве А. Блок (в сборнике изд. Путь, посвященном Вл. Соловьеву).

¹⁵⁾ Заключительные слова статьи о Вл. Соловьеве С. Н. Булгакова в сборнике «От марксизма к идеализму» (СПБ, 1903).

(Wanderjahre), сменивших годы учения (Lehrjahre) современного нам Вильгельма Мейстера...

Три указанных плана, которые мы различаем в этой книге, соответствуют трем началам, о которых нам говорил наш учитель Виндельбанд: лично — биографическому, национально — культурно-историческому, и «прагматически» — вневременному и философскому. Первый касается жизни и судьбы самого Ф. А.; о них более подробно и систематически рассказано в его воспоминаниях. Но целый ряд замечаний о том, что он испытывал на войне, представляет собой огромный психологический интерес. Приведем два примера:

Во Львове, в нарядном ресторане, в котором «мы топтали голубые ковры грязными походными сапогами», сосед по столу —

«Вынимая изо рта прекрасную сигару изредка взглядывал на нас и на лице его сказывалось чувство безусловного превосходства над нами. Я посмотрел на себя в зеркало и почувствовал, что он прав: на меня смотрел краснорожий микроцефал с тупым выражением большой физической усталости в глазах — и больше ничего. Конечно, война громадная вещь, громадная проблема, громадное переживание — но эта проблема до поры до времени мною куда-то складывается. Я же сейчас туп, глух, глуп и замкнут. Душа лежит в груди свернувшись ежом: извне неуязвимая, внутри снулая».

И сейчас же (то есть меньше чем через месяц, следуя датировке писем):

«Шрапнели продолжали рваться вокруг нас. Основное настроение этой минуты — безусловная и наивная радость. До чего противоречиво существо человека! Решительно можно сказать, что себя самого человеку никогда не понять. Бой — который я отрицал всем сердцем, всем разумом и всем существом своим, меня радует и веселит, веселит настолько, что впадая в несколько преувеличенный и ложный тон, я не без основания мог бы воскликнуть, что бой для мужа, все равно что бал для юноши. Хотя, конечно, надо заметить, что наш первый бой был вряд ли одним из тех боев, что составляют и сущность и ужас войны...»

Эта неожиданность и непонятность собственных реакций на происходящее становится понемногу основной установкой Ф. А. по отношению к той реальности, которую можно воспринимать и передавать, но о которой нельзя «философствовать».

«Хуже всего (пишет он) ужаснейшая ложь нашей идеологии. 'Отечественная война', 'Война за освобождение угнетенных народностей', 'Война за культуру и свободу', 'Война и св. София', 'От Канта к Круппу'¹⁶⁾ — все это отвратительно тем, что из всего этого смотрят на мир не живые, взволнованные

¹⁶⁾ Серия докладов и лекций на тему «Война и культура» (изд. Сытина, Москва, 1915); кн. Т. Н. Трубецкой — Национальный вопрос. Константинополь и св. София; его же — Смысл войны (изд. Путь, М., 1914); от Канта к Круппу — статья В. Ф. Эрнэ (в сборнике его статей Меч и крест, М., 1915) и т. д. . .

чувством и мыслью пытливые человеческие глаза, а какие-то слепые бельма публицистической неточности и философского доктринерства. . .»

И он приводит ряд отвратительных примеров того, что он сам видел на войне и что непосредственно производимым впечатлением способен опровергнуть все аргументы, пытающиеся философски понять и осмыслить происходящее.

Но в одном он не прав: его гнев (справедливый по существу) ставляет его сплеча осуждать всех, кто вообще думает о войне, может быть ошибаясь в ее современной оценке, но безусловно честно стремясь проникнуть в глубь времени и выяснить основные линии человеческой истории. Если держаться только фактов (которые нудят нас к благоговейному молчанию), то теряет смысл всякая историософия, а следовательно и принципиальная политика. С большим блеском и острой иронией описывает он заседание Московского религиозно-философского общества. Под условными буквами N, X, Y и т. п. мы легко узнаем и докладчика — С. Н. Булгакова, и других корифеев Московской школы — Е. Н. Трубецкого, В. Ф. Эр-на и других.

«Мое появление на костылях вызвало по отношению ко мне громадный приток ярко выраженных симпатий, но. . . видел бы ты, как быстро эта прибойная волна отхлынула от меня, как только выяснилось, что я не ранен, а выброшен из саней. Мне кажется, что если бы я умер от моей ноги, мне все равно не простили бы такой ненарядной смерти. . . Прения по докладу затянулись далеко за полночь и мне было на этот раз определенно тяжело и неприятно их слушать. Все время перед глазами стояло озеро Бабит и бурые болота боевых участков под Ригой. Куда-то проходили цепи серых сибирских стрелков, все время в ушах трещали пулеметы, раскатывались орудийные выстрелы, стонали раненые — и не ладно врывались во все это на все лады произносимые слова о святой Софии. . . Несколько дней спустя после доклада я был у X и застал там профессора референта. Говорили почти все время на темы реферата. Много, что в публичном заседании меня определенно корбило, производило в уютной и одухотворенной квартире поэта гораздо более приятное впечатление.

В этот вечер я узнал между прочим главную причину нашей войны с немцами. По словам Y она заключается в том, что Лютер отверг культ Богоматери, на что, конечно, нельзя возражать указанием, что половина Германии католична; X же видит причину в том, что Гретхен не замолила греха Фауста. Наши сибиряки кончают таким образом молитву Гретхен и спасают душу Фауста. Я знаю, что обо всем рассказываю тебе несколько односторонне, и заранее соглашаюсь, что в формуле X есть и своя глубина, и своя красота, и своя историко-философская правда. Но все же мне сейчас глубоко чужд такой метод мышления. Реальность войны, реальность вещей и существей так властно стоит передо мной в последнее время, что я решительно отказываюсь рассматривать войну, как дополнительную молитву Гретхен. Все это полно бле-

стоящей талантливости и субъективной виртуозности, но все это не то пред лицом суровой, трагической действительности. Гадает X «по звездам», но иной раз я боюсь, что все его ослепительные формулы в конце концов лишь прожекторы, заливающие искусственным светом сложно отточенные грани его изощренной личности». ¹⁷⁾

Мы привели эту длинную цитату и стихотворение В. Иванова потому, что они чрезвычайно характерны для того положительного влияния, которое имела война на душу русских мыслящих людей. Она знаменовала собой обращение от переутонченной «отвлеченной грезы» к «реализму действительной жизни» (выражение Достоевского). Об этой бесполезности жизни, превращенной в систему символов и проблем, с большой болью и горечью писал еще Блок (в 1908):

«Все эти образованные и обозленные интеллигенты, поседевшие в спорах о Христе, их супруги и свояченицы в приличных кофточках, многдумные философы и лоснящиеся от самодовольства попы знают, что за дверями стоят нищие духом, которым нужны дела. Вместо дел — уродливое мельканье слов... А на улице — ветер, проститутки мерзнут, люди голодают, их вешают; а в стране — «реакция»; а в России жить трудно, холодно, мерзко. Да хоть бы все эти болтуны в лоск исхудали от своих исканий, никому в свете, кроме 'утонченных натур' ненужных — ничего в России бы не убавилось и не прибавилось!..» («Религиозные искания» и народ).

Все это характеризует эпоху и проблематику, в которых жил и к которым был причастен Ф. А. И большой его заслугой, доказательством «огнеупорности» его души является то, что во всей этой безобразной «разваливающейся людской каше» (Блок, там же), он не потерял ни чувства реальности, ни здравых оценок и вместе с тем не изменил «кормчим звездам» религии, смысла, красоты. . . А ведь

¹⁷⁾ Характеристика, данная «любимому поэту X», самый стиль его мышления и, наконец, взятые в кавычки слова «по звездам» раскрывают псевдоним: речь очевидно идет о Вячеславе Иванове, «Вячеславе Великолепном», авторе книги «По звездам» (СПБ, 1909). Но ведь и В. Иванову была знакома тоска по реальности:

Своеобразный русский ум, —
Как пламень русский ум опасен:
Так он неудержим, так ясен,
Так весел он — и так угрюм.
Подобно стрелке неуклонной,
Он видит полюс в зыбь и муть;
Он в жизнь от грезы отвлеченной
Пугливой воле кажет путь.
Как чрез туманы взор орлиный
Проследживает прах долины,
Он здраво мыслит о земле,
В мистической купаясь мгле. . .

(Кормчие звезды, стр. 77).

в синтезе этих двух начал, вернее, устремлений — смысл и современной проблематики, трагедия современного человечества, двоящегося между абстрактным искусством и практическим строительством и накоплением. С полным правом можно повторить в наше время карикатурные слова Степана Трофимовича Верховенского:

«Знаете ли вы... что без науки можно прожить человечеству, без хлеба можно, без одной только красоты невозможно, ибо совсем нечего будет делать на свете! Вся тайна тут, вся история тут! Сама наука не простоят минуты без красоты — обратится в хамство, гвоздя не выдумаете!.. Не уступлю!» (Бесы, том II, часть III, главы I/III).

Мечта и красота получили в жизни и творчестве Ф. А. особую и специальную форму в его любви к театру (См. его книги «Основные проблемы театра» и «Жизнь и творчество»). О силе этой любви к иному говорят некоторые страницы и военных воспоминаний. Так — Новый год на войне, в австрийской деревне:

«О маске, мечте и соблазне была сегодня моя новогодняя речь. Когда я ес говорил, мою душу заметала метель, в снежном тумане пронеслась тройка, сквозь прорезы маски на меня смотрели чьи-то давно мне знакомые, где-то за пределами жизни виданные мною глаза¹⁸⁾. Звон глухих бубенцов сливался со звоном бокалов, а над всем этим миром лилась странная сладостная тревожная песнь. Было бесконечно грустно и бесконечно весело, ошеломляло и удивляло то, что удивительна вовсе не война, а эта вечная мелодия Нового года, и в душе восходила радость, что мир крови и лжи отступил перед миром великой и безбрежной лирической стихии...»

Но такая победа в поэзии возможна только в редкие минуты затишья. А в остальном: война — это

«Ночь, дождь, глина, мокрые ноги, горячий затылок, лихорадочная бредовая тоска о прошедшем и сладкая мечта о грядущем, проклятие безответного повиновения и проклятие безответственного приказания, развратная ругань, 'мордобитие' перед атакой, отчаянный страх смерти, боль, крики, ненависть, одинокое умирание, помешательство, самоубийство, исступление неразрешимых вопрошаний: почему, зачем, во имя чего? А кругом гул снарядов, адские озарения красным огнем... Война есть безумие, смерть и разрушение, потому она может быть действительно понята лишь окончательно разрушенным душевно и телесно — сумасшедшим и мертвецом. Все же, что можем сказать о ней мы, оставшиеся в живых и в здравом уме, если и не абсолютно неверно, то глубоко недостаточно».

¹⁸⁾ Это — стихи Блока: «Вот счастье мое на тройке в серебристый дым унесено, летит на тройке, потонуло — в снегу времен, в дали веков»; и — «А под маской было звездно, улыбалась чья-то повесть, короталась тихо ночь».

Этим смиренным признанием границ человеческого слова и человеческого суждения о грозной и таинственной реальности заканчивается книга.

III

В 1947 году под заглавием «Прошедшее и непреходящее»¹⁹⁾ вышли (по-немецки) три тома воспоминаний Ф. А. Степуна. Впоследствии эта замечательная книга появилась и по-русски под заглавием «Бывшее и несбывшееся» (в Чеховском издательстве, в Нью-Йорке, т. I и II). Написанная в виде воспоминаний, она далеко выходит за пределы простого повествования и является исключительным по своей яркости монументом, отражающим целую эпоху русской жизни.

Сначала два слова о ее форме. Ф. А. любит противопоставлять два понятия: «глаза» и «точки зрения». (Он озаглавил так одну из своих статей, об этом же он говорит и во II томе на стр. 123, а мы слышали это противоположение и в его устной беседе). Его книга является лучшим объяснением того, что он хочет этим сказать: когда смотришь на жизнь с какой-либо «точки зрения», то видишь не самую действительность, а только то, что в ней хочешь видеть; в результате возникает картина, которую можно назвать стилизацией, препаратом. Если же начнешь на ту же жизнь смотреть «глазами» (но для этого надо их иметь), то она предстанет во всей своей подлинности, конкретности, непосредственности и оригинальности. И тогда центр интереса перемещается в то, что видишь. . . Этим даром «живого глаза» Ф. А. обладает в высшей степени. Он видит то, чего другой бы не увидел, мимо чего прошел бы не заметив (в этом отношении его дар можно сравнить с единственным даром В. В. Розанова). Поэтому все, о чем он пишет — живет; все в его описании — ярко, увлекательно, интересно; все приковывает внимание, возбуждает симпатию, запоминается, как собственное переживание. Прочитав книгу, во-первых, жалеешь, что кончил чтение, а во-вторых, — что не сможешь снова прочесть ее в первый раз. . .

Искусство это, однако, объясняется не только способностью «видеть». Для того, чтобы приобщить к этому «видению» читателя, надо еще уметь рассказать о виденном; и здесь сказывается другой — словесный — дар автора: он — замечательный стилист. Несколькоми словами, двумя-тремя чертами он рисует портрет, живописует пейзаж, рассказывает событие и притом так, что читатель чувствует себя не зрителем, не слушателем, а участником той жизни, о кото-

¹⁹⁾ „Vergangenes und Unvergängliches“. Bd. I, II, III. bei J. Kösel-Verlag München, 1947–1950.

рой идет речь. Поэтому воспоминания Ф. А. Степуна читаются с неослабным интересом: взяв книгу в руки, не выпускаешь ее, пока не прочтешь до конца. . . Все это относится к форме; но не менее значительно и содержание. Оно охватывает целое полу столетие русской жизни, причем описывается очень различная среда: жизнь Ф. А. Степуна была очень богата впечатлениями. Сначала мы видим русскую деревню и фабрику (которой управлял отец автора); затем — детство и школьные годы в Москве; военная среда в провинции (отбывание воинской повинности — своего рода русский Sturm und Drang). Потом годы учения в Гейдельберге, быт русского революционного студенчества на фоне благоустроенной буржуазной Германии. Возвращение в Россию, лекционные поездки в отдельные города (даже в Туркестан и на Кавказ), жизнь обеих столиц до 1914 года; первая мировая война. . . Второй том посвящен революции (две главы: февраль и октябрь), политической работе в армии и в центре, затем — жизнь во взбаламученной деревне, и наконец — в эмиграции. В трактовке этого богатого материала сказывается широкий духовный диапазон автора. Все три плана жизни: лично-биографический, культурно-исторический и вне временно-философский находят в воспоминаниях Ф. А. свое место.

1) Воспоминания являются первым долгом автобиографией. Ф. А. пишет откровенно и порою даже страстно. Его повествование столь непосредственно и интимно, что близким становится не только он сам, но и те, о ком он с такой любовью пишет: его мать, его жена, его братья, его юношеские увлечения. При этом он не боится признаваться в своих ошибках, делится своими сомнениями, но нет в нем и ложной (почти что всегда неискренней) скромности: он говорит о себе, как о «я», а не как о каком-то постороннем «он».

2) Описать по настоящему «канунную» Москву, значит написать историю русской культуры, говорит Ф. А. (I, 255). Но книга его и есть очерк русской культуры и при этом такой яркий и полный, что мы по нему ощущаем самую плоть русской жизни. И хотя книга Ф. А. Степуна не претендует быть исследованием, а только «материалом для будущего историка» (стр. 8), лучшего «введения» в историю русской культуры конца XIX и начала XX вв. я не знаю.

3) Сам Ф. А. Степун писал свою книгу не только как историк: он хотел быть в ней и социологом, и психологом, и философом. Поэтому в ней много рассуждений, диагнозов и прогнозов русской жизни — всегда интересных, будящих мысль, волнующих чувство, но часто спорных. Книга Ф. А. Степуна легко может стать отправной точкой для интересного спора; мы и находим таковой в 46 книжке «Нового журнала», в статье М. М. Карповича «Комментарии», в конце которой он говорит:

«Я вижу, что моему несогласию с Ф. А. С. я уделю непропорционально

много места; думаю, впрочем, что это почти неизбежно: о согласии можно просто заявить, несогласие же приходится обосновывать. К тому же воспоминания Ф. А. С. так задевают за живое и поднимают столько 'самых важных вопросов', что спорить с ним очень интересно и для спорящего очень полезно» (стр. 237).

Вполне присоединяясь к этим словам, я хотел бы указать и на иную возможность восприятия «спорных» мыслей автора. Эта возможность прекрасно формулирована в словах Шарля Пегги:

«Настоящие философы знают, что они стоят не друг против друга, а рядом друг с другом — оба рядом — перед одной и той же действительностью, всегда более таинственной и непостижимой (чем их мысли)... Поэтому речь идет совсем не о том, чтобы 'убедить противника' (в 'убедить' всегда звучит 'победить'). Будем лучше искать не ту мысль, с которой мы согласны, а ту, которая более глубока или более внимательна или — еще лучше — более благородна, строга и свободна. В особенности же будем стремиться оставаться верными жизни: это выше всего...»

Переводя эти мысли на язык Ф. А. Степуна, можно сказать, что становясь на путь спора, мы неизбежно начинаем говорить о «точках зрения» и переносим центр тяжести на наше убеждение. Если же мы встанем на путь объективного познания (и любования) и, оставив на время наши оценки, будем только смотреть (глазами!), то мысль другого предстанет нам не как объективная истина, но как некий образ созерцания и понимания, который имеет свое значение и смысл, даже если мы с ним не согласны. Следуя этому пути, я воздержусь здесь от спора с Ф. А. по вопросу, который меня особенно сильно задевает (о возможности христианской философии); обсуждение его могло бы стать темой особой статьи или даже целой книги (подобной работе Roger Mehl'я — *La situation du philosophe*), но тогда мне бы пришлось говорить о самой вере и о философии, а не о взгляде Ф. А. Степуна...

Спорность философских положений в книге Ф. А. не позволяет мне отнести их к третьему Виндельбандовскому плану — вневременно-философскому. В своих мыслях Ф. А. остается сыном своего времени и его диагнозы принадлежат поэтому к плану культурно-историческому. Но есть в его книге и «вечное», то, что останется и чему можно будет у него учиться и тогда, когда все исторические оценки и перспективы в корне изменятся. Это — его отношение к людям и к событиям, которое я считаю глубоко христианским — не по сознательному убеждению, не по волевой направленности, а по самому его существу, по его природе.

«Есть дурной и хороший глаз» — писал Блок. Глаза Ф. А. не только дальнозорки и остры — они хороши, потому что они умеют видеть доброе — даже там, где его как будто нет. В его характеристиках самых разнообразных людей мы почти не встречаем осуж-

дения. Это не сентиментальное благодушие: он умеет говорить очень острые слова (ср., например, его характеристики М. М. Филоненко, II, 149, или военного министра генерала Верховского, II, 182). Но характеристика никогда не становится под его пером осуждением и в большинстве случаев он пишет о том добром, что он в человеке увидел. В этом сказывается его огромная доброжелательность и его человечность. Он любит людей, любит жизнь, а любить можно только то, что прекрасно и добро; но для этого нужно его видеть; и в этом ясновидении добра он достигает порой подлинного пафоса. Возьмите его характеристику страшных лет голода и террора, когда, по его словам, «сердце каждого человека билось не в собственной груди, а в холодной руке невидимого чекиста» (II, 203). Вот как он описывает духовную сущность пережитого:

«Не только верующим, но и неверующим становилась понятной молитва о хлебе насущном, так как вся Россия, за исключением большевистской головки, ела свой ломоть черного хлеба, как вынутую просфору, боясь обронить хоть крошку на пол. Тепло, простор, уют исчезли из наших квартир, но в новых, часто убогих убежищах, глубже ощущалось счастье иметь свой собственный угол, крышу над головой. Маленькие железные печурки, по прозвищу 'буржуйки', вокруг которых постоянно торчали холод и голод, благодарно и первобытно ощущались почти что священными очагами жизни. По всей линии разрушающейся цивилизации новый советский быт почти вплотную придвигался к бытию. Становясь необычным, все привычное своеобразно преобразжалось и тем преобразжало нашу жизнь... Всем нам становилось по-новому ясно, что есть любовь, дружба. чем поэт отличается от версификатора, подлинный философ от профессора философии, герой от позера и коренной русский человек от случайного по Руси прохожего...

Жизнь на 'вершинах' становилась биологической необходимостью... Без веры в свой долг, в свою звезду, в свою судьбу, в Бога нельзя было трястись в тифозном вагоне за хлебом для стариков и детей, нельзя было быть уверенным, что близкий человек не предаст тебя на допросе и что ты сам скорее умрешь, чем предашь его. Так всякий час, всякий взор, всякий жест наполнялись предельной серьезностью и первоначальным значением» (II, 204-205).

Эту способность видеть добро в людях, в событиях, в природе — вопреки всему, что его скрывает и затемняет — я считаю самой ценной и непреходящей чертой в творчестве Ф. А. Степуна. Благодаря ей книга его приобретает огромную духовную назидательность — в буквальном смысле этого ответственного слова: она помогает нам созидать наш дух, сохранять в нем образ Божий, обуреваемый соблазнами, которые несет с собой наше страшное время.

И книга его, которая не претендует быть ни трактатом по аскетике, ни проповедью христианства, на самом деле является жизненным свидетельством того, что «Свет во тьме светит и тьма не объяла его» (Иоан. I, 5).

IV

Христианин, ученый, художник, политический деятель, борец за правду — все эти стихии Ф. А. Степуна слиты воедино в его книге о большевизме и христианской жизни²⁰). К сожалению, книга эта вышла только по-немецки, и только несколько ее глав были напечатаны в русских повременных изданиях.²¹) Это обстоятельство заставляет нас дать русскому читателю не краткую рецензию, а более подробное изложение ее содержания, чтобы ознакомить его с высказанными в ней мыслями Ф. А.

На первый взгляд кажется, что его книга состоит из независимых один от другого этюдов. Более вдумчивое отношение к ней показывает однако единство замысла и внутреннюю связь затронутых автором вопросов. Это единство в значительной мере определяется самочувствием и самосознанием автора: 1) как русского европейца, 2) как христианина, 3) как ответственного за свои слова и выводы ученого.

Чрезвычайно важным является то обстоятельство, что Ф. А. Степун — общепризнанный авторитет в немецкой науке; это придает его «русскому европеизму» совершенно особую значительность и убедительность. Однако автор прекрасно знает и о тех предубеждениях, с которыми ему придется бороться. Он пишет:

«Если кто-нибудь позволит себе высказать предположение, что все культурные связи Советской России являются искусственными маневрами, входящими в состав общего стратегического плана, и отнюдь не означают отказа от идейного миссионерства, то его сейчас же объявят сторонником русского мифотворчества до-большевистской эпохи, и отношение к нему будет полупочтительным, полунасмешливым» (стр. 10).

Имея это в виду, он спрашивает себя сам: возможно ли для русского («каждый русский чувствует себя в каком-то смысле виновным в русской трагедии», пишет он) объективное отношение к большевизму? И отвечает: да, возможно, если относиться к предмету своего изучения с должным вниманием и объективностью. Последнее автором безусловно выполнено: в этом главная ценность его книги. Это, однако, не все: обычная, общепринятая социологическая научность зиждется, обыкновенно, на внешних фактах, на статистике и учете; автор видит дальше и учитывает то, что лежит позади явлений: психологию, убеждения, верования. Он враг научного релятивизма и противопоставляет афоризму Зиммеля о том, что «истина не является относительной только потому, что она сама говорит об отношениях», евангельское — «познаете истину и исти-

²⁰) Der Bolschewismus und die christliche Existenz. Kösel-Verlag. München 1959, S. 297.

²¹) В «Новом журнале», в «Мостах», в «Гранях».

на делает вас свободными». Поэтому и человек для него — не феномен (экономический, психологический, социологический и, даже, религиозный), а образ Божий, как бы затемнен и искажен он не был. . . Эти мысли лежат в основании двух первых глав книги: «Социологическая объективность и христианское бытие» и «Борьба либеральной и тоталитарной демократий за понятие свободы».

Следующие две главы, «Немецкая романтика и философия истории славянофилов» и «Россия между Европой и Азией», ставят вопрос о том, какому миру, европейскому или азиатскому, принадлежит Россия. Вопрос этот имеет свою историю; чрезвычайно интересными являются исторические справки о тех западных недоброжелателях России, которые стремились оттеснить ее в Азию; среди последних: французский историк Анри Мартэн (1810-1883) и современный мыслитель и общественный деятель Анри Массис, которого автор сближает с Моррассо (из-за его нетерпимого католицизма) и с Муссолини (по признаку фанатического национализма). Их мысли находят себе своеобразное продолжение и развитие в писаниях евразийцев, во главе с кн. Н. Трубецким.

«Разница между французами и русскими только в том, что русские мыслители особенно высоко ценят именно те характерные черты России, которые являются наиболее неприемлемыми для французов» (стр. 83).

Анализ этих точек зрения является для автора тем трамплином, отталкиваясь от которого он обосновывает свою точку зрения русского европейца. Россия принадлежит к Европе; Византия, которая оформила духовный лик России, не только принадлежит к тому же миру, что и западное латинство, но, более того, лежит в основе последнего. Татарские влияния, как бы глубоки они ни были, являются в русской истории эпизодами; об этом говорит вся русская культура, об этом громко свидетельствуют творения таких русских гениев, которые по справедливости могут считаться полномочными представителями России: Гоголя, Достоевского, Вл. Соловьева.

Эти же мысли автора являются предметом двух следующих глав: «Духовный лик и стиль русской культуры» и «Москва — Третий Рим».

Характерной чертой России, в отличие от Западной Европы, автор считает отсутствие в русской жизни и мысли строгих очертаний и твердых форм (это однако не является, по его мнению, недостатком, но придает русской культуре особенный характер). Отсутствие отточенных линий отмечается автором всюду: в русской природе (которую лучше всего определить словами «даль зовет»; описанию русской природы посвящены удивительные по своей художественности страницы); в крестьянском хозяйстве, не знавшем до столыпинской реформы земельной собственности, то есть точных границ «своего» участка; в жизни церкви, в которой личное влияние стар-

цев было всегда значительнее канонических определений церковной власти; в русской мысли, для которой «мысль изреченная есть ложь». . . Этот стих Тютчева развернут автором в более дифференцированную формулу Киреевского:

«До тех пор, пока мысль остается ясной и способной быть выраженной словами, она еще не может определить собою душу и волю. Только когда она углубляется до невыразимости, может она считаться зрелой и действительной». . .²²⁾

Эта черта внешней неоформленности придает всей русской жизни особую глубину и полет и объясняет очень многое в русском характере и культуре. И если *дух* этой культуры, под влиянием большевизма, претерпевает глубокие изменения, то *стиль* ее остается неизменным. Вследствие этого лик России двоятся и одновременно вызывает и большие надежды, и страх, и опасения за ее будущее (стр. 138).

«Москва — Третий Рим»: эта тема, волновавшая русское общество с конца 15 века, еще в большей степени волнует сейчас западную науку и мысль.²³⁾ Изучение и разрешение этой проблемы таким мыслителем, как Ф. А. Степун, является поэтому особенно важным. Ему глубоко чужда та —

«натуралистически-мифологическая терминология, которая полагает, что большевизм есть псевдоморфоza русской религиозности. . . я предпочитаю говорить об этой теме, придавая ей этически-религиозный смысл и определять большевизм, как грехопадение русской идеи» (стр. 145).

Но проблема «Третьего Рима» этим не снимается и автор показывает, как она возникла и как развивалась и раскрывалась на протяжении духовной и политической истории последних веков. С точки зрения государственной, его внимание привлекают идеологии Иоанна Грозного и Петра Великого, как в чертах их сходства, так и в различиях; с духовной стороны его особенно интересует борьба свв. Иосифа Волоцкого и Нила Сорского. Он признает факт своеобразного цезарепапизма Петровского периода —

«мумифицирования церкви, которое способствовало развитию антигегельстических демонических сил в псевдоцеркви, иерархически и авторитарно построенной большевистской партии, которая первоначально ощущала свое при-

²²⁾ То обстоятельство, что эта философская установка отнюдь не является своеобразным «русским чудачеством», но выражает собою определенный духовный тип, явствует из сравнения ее с некоторыми представителями современной французской мысли, принадлежащими антиинтеллектуалистической традиции Бергсона; в особенности см. Ш. Пегу, Ж. Онимюса.

²³⁾ Ср. (немецкие) работы Х. Шедера (Москва — Третий Рим); де Фрис (Москва — Третий Рим); Х. Ранер (От первого до третьего Рима); Э. Саркисьянц (Россия и восточный мессианиззм); И. Бохатец (Идеология империализма и философия жизни Достоевского).

звание и свою программу не только как политическую теорию, но и как благо-
вестие о спасении» (стр. 155).

Условия, в которые было поставлено русское христианство, по-
вели, с одной стороны, к его внемирности, а с другой — к его ду-
ховному углублению. И это равнодушие церкви к системе «субъек-
тивных публичных прав» (термин Еллинека) дало ей силу и воз-
можность перенести страшное гонение со стороны атеистического
государства.

В заключение этой главы автор анализирует современное поло-
жение церкви в Советской Ростии, основанное на парадоксальном
признании церковью безбожной власти с одной стороны, и на предо-
ставлении церкви какой-то, пусть ущербленной, возможности су-
ществования в социалистическом государстве. Однако идеал Третье-
го Рима не покидает, по его мнению, церковного сознания и в этом
его трагическом положении. Основываясь на некоторых высказыва-
ниях представителей Московской патриархии, он полагает, что
Московский патриарх и в настоящее время лелеет мечту о возглав-
лении и руководстве всем христианским миром. Это положение ка-
жется нам более чем спорным, ибо, основываясь на высказываниях,
подобных тем, которые автор цитирует, можно было бы воскресить
идею не только третьего, но и второго Рима, поскольку православие
греков также претендует не только на абсолютную истинность, но
и на руководящую роль в христианстве; двуглавый орел является
в Греции и в настоящее время наиболее распространенным симво-
лом национально-религиозного самосознания, а король и сейчас но-
сит византийский титул Базилевса. . .

Еще более неприемлемым представляется нам сближение совре-
менной мечты о Третьем Риме с идеями Константина Леонтьева
(стр. 179). Сходство здесь чисто кажущееся и внешнее: по содержа-
нию — отрицание Запада (хотя индустриализация России является,
наоборот, ее дурной европеизацией); по методу — сильная и ни пе-
ред чем не останавливающаяся власть. Но Леонтьев мыслил от-
нюдь не формально: ему нужна была не сильная власть вообще, а
власть православного монарха, может быть даже непременно рус-
ского православного монарха: «К чему нам Россия не самодержав-
ная и не православная» писал он. А последним критерием в оценке
жизненных явлений у него, во все периоды его жизни, была красо-
та, может быть даже красивость, какой в высшей степени лишена
серая будничная жизнь современной России. И если уж ставить во-
прос, «с кем» был бы Леонтьев в наши дни, то, несмотря на всю лю-
бовь к нему, мы должны предположить, что он, вероятнее всего,
оказался бы в рядах зарубежной церкви, и притом среди наиболее
острых и пессимистических ее представителей, начисто отрицаю-
щих все настоящее и живущих ожиданием конца истории. . . Это,

конечно, нисколько не противоречит предположению автора, что Московский патриарх может в своих мыслях и высказываниях вдохновляться гением Леонтьева.

Две главы книги, «Пролетарская революция и революционный орден русской интеллигенции» и «Пророческий анализ Достоевского русской революции», посвящены идейному анализу исторических корней большевизма. Автор ставит вопрос о том, кто является подлинным субъектом русской революции, кто ее взлелеял и осуществил. И отвечает: русская интеллигенция, понятая как своеобразный боевой орден, имеющий свою идеологию, свою мораль и свою организацию. Принятая в коммунистических кругах теория о марксистском характере русской революции, т. е. о том, что она явилась восстанием пролетариата против буржуазии, является по мнению автора отчасти мифом, отчасти подделкой фактов. Он доказывает это не только ссылкой на то, что в России не было ни пролетариата, ни настоящей буржуазии, но и путем анализа социологических диагнозов России, принадлежащих создателям русского марксизма — Плеханова и (раннего) Ленина. Для того, чтобы революция соответствовала требованиям марксизма, пролетариат нужно было создать, и Ленин —

«железной рукой заставил крестьян войти в колхозы, в которых они перестали быть крестьянами, но не стали пролетариями, превратившись в крепостных самодержавно управляемого государственного хозяйства» (стр. 87).

Основной социологической проблемой русской революции был скачок из средневековой патриархальной монархии в индустриализированный технический социализм, минуя неизбежный, по Марксу, период дифференциации и борьбы классов и развития политического сознания у пролетариата. Революция явилась поэтому результатом не диалектики истории и экономической закономерности, а, скорее, насилем над естественным развитием России, осуществленным фанатической волей революционной интеллигенции. Определяя последнюю, автор следует Анненкову, который говорил:

«Все мы образуем боевой орден, который не имеет написанного статута, но знает всех своих членов, разбросанных по всей России, и борется, не приходящий никем, против государственного порядка; одни его ненавидят, другие его страшно любят».

Анализу природы этого ордена посвящены интереснейшие и поучительнейшие страницы книги; они раскрывают его культурно-политическое кредо (Европа и Свобода, борьба с самодержавием, вера в революцию), его моральный характер (абстрактная идейность и беспредельная жертвенность), его тактику (характеристика террора народовольцев, столь отличного от большевистского террора); в заключение автор дает яркую характеристику идеологов и вождей ордена: Ткачева, Нечаева, Бакунина.

Контуры революции расширяются и она предстоит нам, как огромная, страшная разрушительная сила — скорее псевдоцерковь, чем партия, скорее миф, чем программа. Результатом этого анализа является убедительное (мы бы сказали, даже научно доказанное) опровержение постоянно встречаемого в западной литературе и науке убеждения, что большевизм является, в сущности, продолжением царского режима; что церковь и при царях была подчинена государству и что то же осталось и при большевизме; что монархия была империалистичной и что коммунисты продолжают ее политику; что свободы в России никогда не было и т. д. и т. д. и что, следовательно, все осталось по старому. Подобное воззрение (ему на Западе посвящены целые тома) автор считает «безответственно слепым». Он говорит:

«Монархия жила наследием христианской истины; она ее, правда, постоянно нарушала и искажала; поэтому справедливо обвинять монархию в тяжелых грехах и возлагать на нее частичную ответственность за появление большевизма. Но именно эти обвинения монархии являются свидетельством о ее укорененности в духе христианства. Ибо видеть и сознавать греховность можно только при условии веры в истину» (стр. 220).

В связи с этим понятно, что современная советская интеллигенция имеет мало общего с прежним интеллигентским орденом. Прежние интеллигенты были «профессионалами идеологических построений и явными дилетантами в практической жизни. Представители советской интеллигенции большей частью только 'спецы'». Это противоположение двух стилей национальной элиты ставит целый ряд проблем, которые автор не разрешает, высказывая только одно общее пожелание: «Старая интеллигенция должна воскреснуть, но в новом облике». Это продолжает мысль Достоевского, который своего любимого героя Алешу Карамазова (о нем автор упоминает, заканчивая эту главу) неизменно мыслил и называл «будущим деятелем».

Следующая, предпоследняя, глава иллюстрирует анализ сущности большевизма примерами героев «Бесов» Достоевского. Автор справедливо считает этот гениальный роман наиболее глубоким объяснением русской трагедии. Достоевский мыслил образами, но все его герои воплощают идеи, и в этом отношении «Бесы» являются не только изображением русской действительности, но и диалектикой таких идей, как свобода, справедливость, власть, за которыми ясно чувствуется сознаваемая и несознаваемая сущность всякой жизни и всякой мысли — отношение человека к Богу, без Которого и вне Которого ему остается только одно: покончить с собой. . .

Из предшествующего изложения видно, как много тем и вопросов затронуто в книге Ф. А. Степуна. Еще более удивительным является богатство приведенных в ней данных. В книге немного стра-

ниц, а впечатление, оставляемое ею — как от большого исследования не только по истории русской культуры, но и по философии культуры вообще. Не удивительно поэтому, что внутренняя диалектика мысли привела автора к последней главе, озаглавленной «Псевдовера большевизма и малодушие западного христианства». С большим мужеством, делая соответствующие оговорки, автор показывает психологическое превосходство новой псевдорелигии, — ложной в своем содержании, но фанатически убежденной в своей истинности и жизненности, — над половинчатостью и неуверенностью современного культурного, утонченного, но усталого христианства. Особенно опасными представляются ему те течения, которые разрывают веру во Христа и веру в Церковь и стремятся или к бесцерковному христианству (он цитирует К. Ясперса) или же принимают церковь, как этически культурное установление, но не верят в живого и воскресшего Христа. . .

Перед лицом нового варварства, которое несет с собой большевизм, пред лицом обесчеловечивания человека и отрицанием тех основных начал европейской культуры, которые, — пусть в искаженном виде, — все же являются наследием христианства, автор ставит вопрос о тех принципах, держась за которые можно ожидать нового расцвета вечных истин. К ним он причисляет начала личности, свободы и права. Но он провозглашает их не в той абстрактно-обезличенной форме, каковую они получили в современном демократическом истолковании, а с глубиной и силой, которые придаются им христианским пониманием жизни. И этим исповеданием религиозной веры, воплощаемой в конкретных формах социального мышления, объясняется тот оптимизм, который дает автору возможность, — вопреки всем пессимистическим данным, изобилующим в его книге, — закончить ее оптимистическим аккордом:

«Истина всегда побеждает. Но форма этой победы зависит от человека. Эта форма приобретает положительный характер, когда люди верят в истину и стремятся к ее осуществлению. Она становится отрицательной, если люди слепо и упорно с нею борются. В этом последнем случае истина побеждает тем, что разрушает и уничтожает то, что ей враждебно противостоит. Эта трагическая форма победы истины, по-видимому, от нас недалеко».

ЛЕВ ШЕСТОВ

ПЛАТОН

Мне приходилось до сих пор говорить о Сократе и о Платоне, как об одном лице. Иначе это невозможно. Трудно отделить, где кончается дело Сократа и начинается дело Платона. Но я считаю, что ввиду задачи настоящей работы в этом особой беды нет. Если они и не тождественны, то дополняют друг друга. Теперь же я могу перейти к одному Платону. Нелегкую задачу оставил ему в наследство Сократ, не только своим учением, но и своей жизнью и особенно смертью. Трудность была двоякого характера. Злой человек не может повредить добру, учил Сократ. Раз так — значит главная задача человека в жизни быть добрым и хорошим. И, так как с другой стороны безумно ставить себе недостижимую задачу, стало быть нужно признать, что человек, во-первых, знает очень определенно, что такое добро в этой жизни, во-вторых, если захочет, может выполнить предъявляемые ему добром требования, т. е. быть хорошим.

Нужно тут же отметить, что все вышедшие из Сократа школы (главным образом я имею в виду циников и стоиков), исходили из этого предположения. Больше того, даже средневековые схоластики не могли никогда освободиться от этого принципа. Знаменитый спор блаженного Августина с Пелагием, который возбудил, и до сих пор возбуждает, столько волнений и розни среди католических учителей, в сущности прошел бесследно. Платон утверждал, что загробный судья никогда не откажет в воздаянии в ином мире φιλοσόφου τὰ αὐτοῦ πράγματα (Горгий, 526, с)⁵⁾. И еще: душа спастись может только в этом мире. Если она здесь не спасется, там уже поздно будет. Так впоследствии и Фома, и другие доказывали, что *facienti quod in se est deus infallibiter dat gratiam*.⁶⁾

Куда вы не заглянете, с какой системой морали и философии не ознакомитесь, вы неизбежно столкнетесь с тем положением, что

Окончание. См. девятую книгу «Мостов».

⁵⁾ Философу, который занимался своим, свойственным ему делом.

⁶⁾ Тому, кто делает, что может, Бог непременно даст благодать.

смысл и главная задача нашей жизни состоит в том, чтобы осуществить в пределах наших сил определенную нравственную задачу. Даже Спиноза, который, как известно, в противоположность Платону отверг идею возмездия за добро и зло, который утверждал, что Богу совершенно чуждо *ratio bonitatis*, даже Спиноза смотрел на жизненную задачу человека именно с точки зрения осуществления ясного идеала добра. У Спинозы даже, пожалуй, эта сторона внутренне проявляется с особенной рельефностью — только по странному капризу судьбы во вне она получила наиболее скупое выражение. Я лично могу указать только одно место у Спинозы, в котором он совсем сбрасывает тяжелые доспехи философа, считающего себя призванным принимать водительство чистого разума и повиноваться только логике. Может быть, именно в силу особенного внутреннего напряжения всего его существа, он так боялся обнажаться. Даже наедине с собой он никогда не снимал с себя оружия. Кажется, он даже спал — если только этот человек вообще когда-нибудь спал — в доспехах. В глубине души его жило неистребимое убеждение, что если он сам не защитит себя, то никто за него не вступится, а Анит и Мелит не дремлют. Послушайте его рассказ из „*Tractatus de intellectus emendatione*“ (вступление):

„*Videbam enim me in summo versari periculo, et me cogi remedium, quamvis incertum, summis viribus quaerere; veluti aeger lethali morbo laborans, qui ubi mortem certam praevidet, ni adhibeatur remedium, illud ipsum, quamvis incertum, summis viribus cogitur quaerere, nempe in eo tota ejus spes sita*“⁷⁾.

В таком положении был Спиноза, по его собственным словам. Где было искать помощи, *remedium*? Обыкновенные средства, излюбленные толпой, ему ничего не обещали:

„*illa autem omnia, quae vulgus sequitur non tantum nullum conferunt remedium ad nostrum esse conservandum, sed etiam id impediunt et frequenter sunt causa ineritus eorum, qui ea possident, et semper causa ineritus eorum, qui ab iis possidentur*“. (Spinoza. *Tract. de intellectus emendatione, Introductio, стр. 9*)⁸⁾.

При таких обстоятельствах Спиноза и поставил свой вопрос: чего следует человеку добиваться — изменчивых и преходящих благ жизни или чего-либо прочного и неизменного? Исход его рассуждений был таков: блага жизни изменчивы, это несомненно. Притом несомненно тоже, что одним они даются, другим нет. То же, что он

⁷⁾ «Я действительно видел себя подвергнутым самой большой опасности и принужденным искать всеми моими силами помощь, хотя бы не достаточную; также, как больной, пораженный смертельной болезнью, предвидящий верную смерть, если он не прибегнет к помощи врача, принужден искать ее всеми силами, хотя бы эта помощь была сомнительна, потому что на нее вся его надежда».

⁸⁾ «А цели, которые преследует толпа, не только не дают средств для сохранения нашей сущности, но мешают, будучи часто причиной гибели тех, которые под их властью».

поставил себе, как цель жизни, может быть тоже недостижимо, но если оно достижимо, — то оно имеет одно огромное преимущество перед желаниями и стремлениями толпы: оно неизменно.

„Sed amor erga rem aeternam et infinitam sola laetitia pascit animum, ipsque omnis tristitiae est expers quod valde est desiderandum, totisque viribus quaerendum“ (Спиноза, I b., стр. 11)⁹).

Вот в кратких, но очень выразительных словах история Спинозовских исканий и находжений. Он пришел к философии не затем, чтобы позабавиться или развлечься, не затем, чтобы образовать свой ум, научиться легко и интересно разговаривать и поражать собеседников обилием разнообразных и разносторонних сведений. Большинству современных ученых философов это покажется почти невероятным, до такой степени философия стала специальностью и дисциплиной наряду со всякими другими специальностями — химией и т. д. Но Спиноза пришел к философии не как к науке, а как к роднику новой жизни, как к источнику мертвой и живой воды. „Summis viribus“ (всеми силами) искал он средства спасения от неминуемой гибели. И — сейчас для нас это самое главное — он был убежден, что только собственными силами он может спастись.

При всей противоположности системы Спинозы и Платона, эта черта у них общая. Оба они убеждены в том, что спастись человек может собственными своими силами и что, стало быть, ему самому и приходится находить этот путь к спасению.

Вы видите, сколько уже накопилось предпосылок, из которых складывается гранитный фундамент для будущих великих философских систем. Не знаю, замечает ли читатель, что каждая предпосылка является вместе с тем и ограничением. Можно спастись только своими силами — для Сократа и Платона и Спинозы это является источником величайших надежд. Это же является условием возможности философии, как учения, обнимающего собой все бытие. Ибо так может утверждать только тот, кто вместе с тем полагает, что человеческий разум может проникнуть во все тайны жизни. Иначе всем этим утверждениям можно с одинаковым правом противопоставить и противоположные. Может быть мы знаем путь к спасению, а может и нет. Может быть мы и умеем отличать добро от зла, а может и не умеем. Может космос — порядок — обязателен и для людей и для богов, а может быть высшая жизнь осуществляется в акосмии. И, наконец, *φιλοσόφου τὰ αὐτὰ πράξαντος* (Горгий, 526, с)¹⁰ может быть нечего совсем ждать, как нечего ждать и обыкновенному смертному, ухлопавшему жизнь свою на мелкие корыстные дела.

⁹) «Любовь вечной и бесконечной вещи питает душу одной лишь радостью, она же свободна от всякой печали, чего надо сильно желать и к чему надо из всех сил стремиться».

¹⁰) Философу, который занимается только свойственным ему делом.

Я уже не говорю о том, что спор между Калликлом и Сократом допускает третье решение, о котором спорщики и не вспомнили. Лучше испытать несправедливость или быть несправедливым? И то, и другое, в серьезных, конечно, случаях, очень плохо. Ужасно было бы, если бы Сократ убивал невинных людей, но ужасно тоже, что убили невинного Сократа. Сам Сократ, отвечая на поставленный вопрос, намекает на то, что и он, собственно, так думает. Он говорит: если бы в моей власти было, я бы предпочел совсем не становиться перед такой дилеммой, но раз нужно выбирать — я предпочитаю терпеть обиду, чем быть обидчиком. И я думаю, что Платон мучительно вспоминал жизнь Сократа даже через много лет. Но положение было такое, что раз первая предпосылка была принята, раз было решено, что человек может спастись только собственными силами, пришлось принять уже и все остальные предпосылки. Пришлось строить крепость, в которой можно было бы отсиживаться от нападений Мелита и Анита, т. е. от всех случайностей эмпирической жизни.

Но ведь крепость, хотя и защищает, она вместе с тем и лишает свободы. В крепости человек — как в тюрьме, как в плену. Но когда спасаются, об этом не думают. Ценят прежде всего и выше всего неприступную твердыню. Единственная надежная защита, которую мог придумать Платон — это было сознание своего нравственного превосходства над толпой, сознание своей нравственной безупречности. Уже даже мало быть просто нравственным человеком — честным, правдивым, мужественным, справедливым, бескорыстным. Нужно сознавать себя таковым. Нужно отчетливо знать, что значит быть хорошим и нужно также отчетливо сознавать, что ты этому хорошему причастен, ибо только это средство и защищает от нападений злых, располагающих физической силой — мечом, огнем, ядами и т. д. Платон прямо и говорит, что можно себя признать неумелым врачом или кормчим, но никто не признает себя нехорошим человеком.

После Платона постановка вопроса о сущности морали сохранилась в главных философских системах неизменной. Всех, кто говорил о нравственности, притягивала и манила установленная Платоном возможность приобщения уже здесь на земле к высшему благу. Недаром Ницше говорил, что мораль была сиреной, привлекавшей сладким пением всех философов. Ибо что может быть слаще уверенности в своих преимуществах перед другими людьми. Сократ причастен к добру и знает это. И я, и всякий, кто того захочет, может подобно Сократу приобщиться к добру, и это великое таинство, и сила его простирается за пределы земного существования, она вообще беспредельна. Мы, слабые, ограниченные люди, постигли великую тайну — разве мы не равны богам. И разве то наше свойство, благодаря которому мы проникли в эту тайну, не божественно?

Это свойство — давно уже пора произнести слово — есть наш разум. Для разума нет пределов — можно сомневаться в чем угодно, нельзя только заподозрить права разума. Величайшее несчастье, говорит Платон, сделаться мизологом, как бывают мизантропы. И Платон по-видимому прав, вознося разум на трон. Ведь это разум и постиг космос и отстоял от надвигавшейся акосмии, ведь разум дал нам уверенность в наших силах, в наших преимуществах перед другими; ведь разум спас Сократа от Анита и Мелита. Ему ли не воздать высших почестей?

•

Припомним, однако, и раньше сказанное. Платон утверждал, что философствовать значит упражняться в смерти и умирать. Платон же учил, что идеи суть трансцендентные сущности, что наша видимая жизнь есть тень от реальной, действительной жизни. Наконец, он же утверждал, что источником нашего высшего познания являются эрос и мания, т. е. что увидеть духовным оком «идеи» — тоже действительную жизнь, дано только тем, кто находится в состоянии безумия или экстаза.

Все эти утверждения его, как мы уже говорили, не сохранились в философской науке, как признанные истины. Они остаются только в философских музеях, как любопытные образцы смелой, но распущенной фантазии. Я уже не говорю об учении Платона о загробном существовании и об ожидающем человека возмездии на справедливом суде богов. Что для Платона все эти утверждения являлись существенным элементом его философии — этого, кроме Натропа, мне кажется, никто не отрицал и не станет отрицать. Достаточно прочесть «Горгия» и «Федона», чтобы убедиться, насколько серьезно относился Платон к своему учению о загробной жизни. Он подробнейшим образом рассказывает о том, что ждет душу после смерти. В одном только Натроп прав: «доказать» всю эту фантастику Платону никогда не удавалось, и если считать, что существенными в философской системе являются лишь те положения, которые снабжены доказательствами, то Платона, конечно, придется очень сильно урезать.

Не меньше придется урезать его, если критерием ценности философского взгляда считать его историческую роль. Фантастика Платона была отвергнута историей и, как принято говорить, будущего не имела. Но я полагаю, что оба эти критические приема ничего нам дать не могут, — и могут только отнять, и очень многое. Платона надо брать целиком, с его трезвостью и его опьянением. И большой еще вопрос, когда мы больше выиграем: когда будем пользоваться критериями или когда пойдем наугад. Пусть Аристотель раскритиковал учение об идеях, пусть Натроп перекроил их на современный лад — мы должны задать себе вопрос: не удалось ли Плато-

ну 2500 лет тому назад, в припадке философского вдохновения, увидеть то, что удастся редким людям только мельком, в счастливые минуты душевного подъема?

Критика Аристотеля и его преемников исходит из предположения, — которое, правда, разделял и Платон, которое он сам, вслед за Сократом, ввел и развил, — что есть ясно сознанные законы разума, им же по праву принадлежит высший контроль за всеми человеческими суждениями. Нельзя и нет надобности отрицать, что Аристотель мог разбить Платона, ссылаясь на Платона же. Но вывод отсюда будет вовсе не тот, который обыкновенно принято делать. Нужно самый вопрос поставить иначе. Несомненно, что есть какой-то странный парадокс в смещении противоположных элементов в философии Платона для всех тех, которые находят, что философия должна быть наукой, т. е. системой положений, логически между собой связанных. Но для таких людей не только философия, но и вся жизнь парадокс, беспорядок, который допускается только потому, что их разуму положены пределы. Такие люди просто решают вопрос: прозрение, сделанное в минуту вдохновения, не должно иметь никаких преимуществ перед обыкновенными умозаключениями. Даже наоборот, оно требует особенно тщательной проверки всех своих притязаний. Эрос и мания, по их мнению, самые опасные спутники философии. Разве можно верить влюбленным? Они же сами, когда увлечение проходит, дивятся своим безумствам. Разве влюбленному не кажется, что его возлюбленная прекраснее и лучше всех в мире? И разве, когда время охладит его пыл, он не убеждается вместе со всеми, что она самая обыкновенная женщина? Но что еще хуже, разве даже собственный опыт научает человека осторожнее относиться к внушениям Эроса? Мы знаем, что вторая, третья и даже у иных десятая любовь так же обманывает, как первая. Вспомните, как хорошо об этом говорит Шопенгауэр в «Метафизике любви». У него выходит, что специальная задача Эроса — обманывать людей; Шопенгауэру доставляет особенное наслаждение изображать это в своем роде действительно необыкновенное искусство маленького бога или демона. Природе нужно, чтобы Иван и Марья дали ей нового человека, и она их до того ослепляет, что Ивану кажется Марья воплощением всего, что может быть самым лучшим в жизни, и наоборот; и скромные слабые люди, до сих пор ничем не выдававшиеся перед другими, делаются героями. Попробуйте поставить преграду между влюбленными, они все сметут. Но проходит время, природа своего добивается, новый человек существует, хотя еще в утробе матери, и Эрос тушит свои волшебные огни, и Марья с Иваном сами не понимают своего прошлого воодушевления. При обыкновенном, дневном освещении, она видит в нем постылого, рядового человека, он в ней — скучную, ординарную женщину. Обман открывается, разум вступает в свои права.

Так, именно так рисует Шопенгауэр любовь, так ее в общем понимают все люди. Никто не сомневается, что Иван ложно судил о Марье, а Марья об Иване тогда, когда они видели друг друга в неестественном свете лучей Эроса, и что они оценили друг друга правильно, когда предстали в обычном ровном освещении. И «доказательство» тому — в первом случае их суждения расходились с общими суждениями, во втором — сошлись. А ведь правильность суждений предполагает их общеобязательность. То, что истинно, может и должно быть представлено и принято всегда и всеми, как истинное. Особенность и главное отличие разума именно в том, что он, и только он, является источником непререкаемых, постоянных истин. И все, что ему противоположно, что ему противоречит, что не от него, является источников лжи и заблуждений. Как лампада бледнеет перед восходящим солнцем, так гаснут лучи эроса перед светом истинного, всегда себе равного, разума.

Так говорит Шопенгауэр, так говорит Трубецкой, так говорят все, так научили людей говорить и думать Сократ и Платон. И эта манера смотреть на жизнь до того срослась с душой человека, что никому, по-видимому, и на минуту не приходит в голову, что тут может быть заблуждение, что допустимо другое решение вопроса, что Иван и Марья как раз тогда были правы, когда видели друг в друге то, чего никто другой не видел в них, чего они и сами в себе, ни до, ни после торжественного момента, не видели, что Эрос не обманывал их, а показывал им только новую, недоступную разуму действительность, которая от них потом скрылась навсегда, как только Эрос погасил свои огни.

Если это правда, то может быть и правда то, что рассказывал Платон о своих идеях. «Реальный», всем и всегда видимый и доступный Иван и «реальная» Марья действительно обычные и неинтересные люди. Они едят, пьют, бранятся и устраивают свои мелкие дела. Но этот Иван есть только тень настоящего Ивана и Марья только тень Марьи. Чтобы увидеть истинных людей, слабым и грубым намеком на которых является наша обыкновенная действительность, нужны не «метод» и логика, не нивелирующий разум. И метод, и логика, и разум — все это средства, скрывающие от нас действительность. Нужен подъем души, нужна именно способность избавиться от метода, от всякого контроля, налагаемого на нас «логикой». Нужен порыв, восхищение. Когда Диоген сказал Платону: льва я вижу, но львиности я не вижу, Платон ему ответил: у тебя есть глаз, чтобы видеть льва, но нет органа, чтобы видеть львиность.

В этом ответе есть и неправда, для Платона и для всех нас очень характерная. Чтобы увидеть льва, точно нужен глаз, особый орган, но чтобы увидеть идею льва, львиность, уже не нужен орган. Тут вообще нельзя говорить об условиях такого видения, ибо условия видения, т. е. совпадения определенных обстоятельств, необходи-

мых для того, чтобы возможно было то или иное явление, допустимы только до тех пор, пока мы говорим об эмпирическом мире, о том мире, где хозяевами и господами положения являются те Аниты и Мелиты, в борьбе с которыми Платону пришлось напрягать всю свою изобретательность. Они потому и сильны, они потому и побеждают, что признали эти условия, применились к ним и использовали их. Для них идеи Ивана и Марьи нет. Для них существуют только осязательные Иван и Марья, грязные, оборванные, грубые. Они потому так и уверены в себе, что совсем и не чувствуют призраков. Они и не знают, что могут существовать сократовские демоны, удерживающие человека от поступков, несомненно для него полезных. Инстинкт посредственности подсказывает им, что всякая связь с невидимым и таинственным влечет за собой эмпирическую гибель. Они и выдумали, что нельзя безнаказанно пренебрегать здравым смыслом. Инстинкт посредственности есть прежде всего так воспетый в последнее время инстинкт самосохранения. И Платону не следовало бы говорить об органе восприятия идей — ибо такого органа не было не только у Диогена, но и у самого Платона. Но тут сказалась особенность душевного склада человека или, если хотите, особенность положения человека в мире.

Займствуя образ из элементарной физики, мы можем сказать, что две силы владеют нами: центробежная и центростремительная. С одной стороны, все мы задаемся целью устроиться в видимом мире. Только то хорошо, только то и ценно, что способствует нашему устройству. Все наши душевные способности мы напрягаем к достижению этой цели. Мы делаем больше: не давая себе отчета, инстинктивно почти, в нас происходит «естественный», сказал бы ученый человек, подбор свойств и особенностей душевных. Те свойства, которые способствуют центростремительному направлению, мы культивируем в себе и беспощадно, насколько это в наших силах, истребляем свойства противоположные, мешающие так или иначе осуществлению этой задачи.

То, что относится к свойствам, относится и к нашим идеям и верованиям. Этим, может быть, объясняется то поразительное явление, что, несмотря на очевидность, огромное большинство людей даже не подозревает, что их ждет смерть и живут так, как будто им суждено вечно существовать на земле, так что наступление смертного часа для всех, даже для стариков, всегда является в какой-то мере неожиданным, как и страшным. Вся их жизнь была направлена на созидание, и вдруг такое нелепое, бессмысленное разрушение, так своевольное, капризно, вне связи со всем предыдущим наступающее. Помните у Толстого в «Смерти Ивана Ильича»? Он еще в гимназии проходил силлогизм: все люди смертны, Сократ — человек, стало быть Сократ смертен. Но то был Сократ, которому, очевидно, и полагалось подходить под силлогизм, Ивану Ильичу полагалось и по-

лагается другое. Ему полагается идти по служебной лестнице, а не умирать. И то, что говорил Иван Ильич, сказали бы многие, почти все люди — только не у всех есть такое умение рассказать себя, каким Толстой снабдил Ивана Ильича.

Но, с другой стороны, есть еще одна сила — центробежная. В противоположность первой, ее почти никто не чувствует и не знает и ее все трепещут и боятся. Но она делает свое страшное дело со спокойствием и безразличием, которые люди называют неумолимостью. Подобно тому, как организм наш в начале жизни растет, крепнет и развивается, а затем постепенно начинает идти на убыль, ссыхается, разлагается, так и в душе бессознательно и против ее воли начинается страшная на вид работа упадка, разрушения и гниения. Сам человек постепенно подкапывается под то, над сооружением чего он так долго и неустанно трудился. Ему самому, если только он замечает, каким безобразным делом он занят, становится жутко, как бывает жутко пред приближением безумия. Он знает, что делает не то, что нужно, но то, что нужно, уже не имеет прежней власти над ним. И подобно тому, как птицы или белки, загипнотизированные змеей, с отчаянным криком, но ничем извне, по-видимому, не побуждаемые, бросаются в пасть чудовищу, так и человек идет навстречу смерти, отрываемый от родного и привычного места загадочной и таинственной волей.

Несомненно, обе силы владеют человеком. Несомненно и то, что все люди умеют видеть, сознавать и — главное — одобрять только силу центростремительную. В нашей жизни происходят часто такие потрясения, после которых раньше прочная, крепко сбитая связь времен расшатывается. Нет над ними единого, застилающего бесконечность голубого купола: на нем появились трещины и сквозь них открывается нечто новое, так непохожее на прежде виденное, что мы не можем даже решиться сказать, к какой категории отнести его — к категории существующего или несуществующего. Точно ли мы видим это, или нам только кажется, что мы видим. И, чтобы убедиться в том, что мы не бредим и не галлюцинируем, мы пытаемся это новое вдвинуть в те же рамки, в которых мы привыкли различать старое. Нам кажется, что мы прибавим ему прав на существование, если мы докажем его, если мы свяжем с нашей прежней действительностью, если мы проверим его теми методами, которые научили нас прежде отличать истину от заблуждения, сон от яви. И еще: лукавое человеческое сердце надеется, что таким способом можно будет изменить направление действующей силы — не самим уйти из привычной среды, а привлечь вновь открывшееся к центру, заставить его служить привычным, старым целям.

Мы уже говорили о том, какое впечатление произвела на Платона смерть Сократа. Мы уже говорили о сдвиге его души. Но роль и значение философии Платона может быть понята только, если мы

не забудем об указанных двух силах. Безудержно влекло философа к окраинам жизни. Он видел, несомненно видел, что есть какая-то иная жизнь, новая, великая, непохожая на нашу, — но ему этого было мало. Он хотел новое привлечь на службу, на потребу старому. Философствовать значит упражняться в смерти и умирать. Правда, великая правда! Пока смерть не появится на горизонте человека, он в философии еще младенец. Только великие потрясения открывают человеку последнюю тайну. Но зачем искать в видимом мире з а л о г а, о б е с п е ч е н и я будущего существования? Зачем думать, что в этом мире за нашу краткую, быстротекущую жизнь мы так много успеваем узнать, что уже можем и богам диктовать законы? Платон хочет думать, что мы не только приготавливаемся к умиранию, к смерти, т. е. не только идем навстречу новому неизвестному. Ему нужна уверенность, что это новое известно. И он говорит о нем с той определенностью, с какой Сократ приучил своих учеников и собеседников говорить об обыкновенных житейских делах. Он сам все приготавливает для будущей жизни, словно опасаясь, что если богам будет оставлена хоть малейшая доля свободы, они погубят все его дело. Вспомните, с какой настойчивостью он предлагает во второй книге «Государства» вытравить из «Илиады» все те стихи, в которых Гомер говорит о том, что боги по усмотрению являются распределителями благ и скорбей между людьми. «Первый закон наш и наше первое правило о богах будет состоять в том, что мы обяжем признать наших граждан, словесно или в их сочинениях, что Бог не есть творец всего, что он есть только творец доброго». (Государство, книга 2-я; 380 с). Смысл этого принципа станет еще яснее, если мы сопоставим с ним соответствующие места из «Федона» о последнем суде над человеческими душами. Тот, кто будет судить там, будет руководствоваться принципами и законами, выработанными нами здесь. Архелай и другие тираны попадут в преисподнюю, те же, которые успели в этой жизни очистить свою душу философией, найдут себе приют на островах блаженных.

И, что бы ни говорил Натроп, это убеждение есть краеугольный камень философии Платона; оно было ему дорого и близко и в ранней молодости, и в зрелом возрасте, и в старости. Справедливость одна и на небе и на земле. И, главное, мы на земле это знаем: и то, в чем справедливость, в чем добро, и то, что добро, как высший закон, управляет всем, равно властно и над людьми и над богами.

•

Мне кажется, что теперь мы уже достаточно выяснили и с т о ч н и к и философии Платона. Нас теперь менее всего удивляет то странное на первый взгляд, что она вся представляется сотканной из столь непримиримых противоречий. Если бы даже Пла-

тон ничего не слышал про диалектику, если бы он не заявлял так торжественно, что величайшее преступление утверждать, что ты знаешь что-нибудь, когда ты не знаешь, если бы он не требовал, чтобы всякое знание брало бы для себя образцом математику, — словом, если бы он отказался от одного из своих источников познания, то и тогда для противоречий оказалось бы достаточное поприще. Ибо если допустить, что Эрос может водить человека, то где же порука в том, что этот загадочный демон всегда будет водить человека по одним путям? А мы знаем, что и Сократ, гораздо более, по преданию, сдержанный и осмотрительный, чем Платон, часто безропотно покорялся внушениям своего демона, — т. е., значит, вопреки собственной теории, совсем как презираемые им поэты, принимал решения, не умея дать себе отчета в том, что определило его выбор в решении. Иными словами, если не установить раз навсегда, что боги, полубоги и люди руководствуются одними и теми же побуждениями, если, наоборот, допустить, что мы, люди, не только не в состоянии проникнуть в тайные помыслы богов, но даже не можем судить о законах их мышления, о логике богов, — а ведь второе суждение имеет за собой все шансы вероятности, — то как можем мы рассчитывать на то, что получаемые нами свыше суждения не будут противоречивыми?! Что с философами не повторится то, что происходит с влюбленными, и что они, по внушению богов, станут не покоряться истине, а властвовать над ней, не стесняясь раньше установленными законами — хотя бы и законом противоречия.

Я тут же должен сказать, что платоновское учение об идеях, даже если и не сличать его с положительной частью его философии, менее всего отличается единством. По существующему обычаю, каждый из читателей Платона составил себе суждение о том, что собственно разумел Платон под идеей, но никто не может доказать, что его суждение единственно правильное. И самое верное, по-моему, было бы открыто признать, что и сам Платон никогда не мог определенно сказать, что он разумел под идеями. Он мгновениями что-то видел — это почти несомненно. К чему-то стремился и от чего-то бежал — это уже просто несомненно. Но обладало ли это что-то постоянством, которое давало бы возможность найти для него ясные и отчетливые предикаты, это большой вопрос. Я прекрасно сознаю, что высказывая такое суждение, я иду вразрез как с традиционными представлениями о Платоне, так и с многочисленными объяснениями самого Платона. Платон хотел убедить нас, и большинство его читателей убедилось в том, что для него идея и понятие синонимы. Что его в «идее» привлекало именно то, что Сократа привлекало в общем понятии — т. е. как раз постоянство, неизменность. Все течет, все появляется и исчезает, порождается и гибнет, все неустойчиво, тленно, мимолетно, но в потоке переходящего, в вечном

разнообразии чувственного, незыблемо стоит доступное только разуму Общее.

Что Платон так говорил и что те, кто так воспринимают учение его об идеях, имеют на своей стороне все формальные основания — против этого я спорить не стану. Но что для Платона идеи не были общими понятиями — это для меня так же несомненно. И может быть, если бы Платону не суждено было так долго жить, если бы центростремительная сила не была так властна над ним, мы бы услышали от него многое такое об идеях, что он унес с собой в могилу. Для меня начало VII книги «Государства» — рассказ о пещере — представляется наиболее удачным местом из всех тех, в которых Платон изображает свои идеи. Но если это так, то отождествление его идей с общими понятиями лишено всякого основания. Ведь тогда наоборот — тогда та истинная жизнь, бледным и серым отражением которой является наше земное существование, должна представляться не более отвлеченной, а более конкретной. Другие же диалоги Платона часто, в самом деле, как будто совершенно не озабочены этой «реальностью». Наоборот, у Платона наблюдается страх перед конкретностью, точно будто под каждым кустом, под каждой травкой притаились кровожадные Аниты и Мелиты. И он топчет все конкретное до тех пор, пока не остаются чистые отвлеченные понятия, ничего не скрывающие, насквозь прозрачные, «очищенные» геометрические фигуры, даже просто числа.

Только тогда, когда им доведена до конца эта страшная разрушительная работа, с его лица сходит тяжелая озабоченность. Он может довериться только линиям и числам, только они уже ничего не таят в себе, уже никак не вырвутся из положенного им закона, только они не обманут, не предадут. Все, что есть в мире, поэтому должно быть уподоблено числам и фигурам: все науки должны быть построены по образцу и подобию математики. И это говорит Платон, в душе которого жили эрос и мания, Платон, всегда надевавшийся и мечтавший о высшей, прекраснейшей жизни! Вместо музыки — гармонии и мелодии — соотношение колебаний звуков, выражающихся в соответственной пропорциональности цифр. Вместо природы — законы ускорения и тяготения, которые тоже могут быть сведены к цифрам. Но так представить себе Платона, значит вынуть из него душу, все равно, как вынимает душу из природы и музыки тот, кто выражает ее — хотя схематически и верно — математическими формулами. И сколько бы цитат из Платона вы не приводили, вы все-таки не убедите — если хотите, даже самих себя, — что для него идеи и общие понятия тождественны.

И все же диалектике Платона суждено было сыграть колоссальную роль в истории человеческой мысли, особенно в истории философии. Как это ни странно, — а может быть это и не странно, кто

разберет, что странно, что не странно в этом мире! — люди из всей философии Платона приняли только его диалектику. Τοῖς δὲ πολλοῖς ἀπιστίαν παρέχει.¹¹⁾ Никто не поверил Платону, когда он вдохновенно рассказывал свои пророческие сны. Но все ухватились за те его рассуждения, в которых он убеждал людей ничему не верить без основания, требовать доказательства всех утверждений. Это всем показалось понятным, возможным и, главное, желанным.

Анит, Мелит и все те афиняне, которые осуждали Сократа, были возмущены не трезвостью великого мудреца. Может быть как раз эта черта Сократа встречала наиболее сочувствия. От Сократа отталкивала его загадочность, таинственность. Чуткие греки догадались, что из яйца мудрости Сократа, рано или поздно, должны вылупиться змееныши, будущие циники и стоики, и еще Бог знает, какие юродивые, в самом деле опасные и для отстоявшейся веками народной религии, и для прочного государства. Не метод отыскания истины — метод Сократа (это показало ближайшее будущее) был как раз тем, что больше всего нужно было человечеству, — пугало то, как применял свой метод Сократ. Уже хотя бы то, что Сократ шел со своим методом равно к царям, знаменитым государственным людям, к прославленным философам, а вместе с тем — к ремесленникам и рабам. И говорил со всеми одним и тем же тоном неуважения. Ни государственные мужи, ни философы, ни поэты, ни рабы, ни плотники — никто ничего не знает, все одинаково ничтожны и равно презренны. И чем выше стоит человек на общественной лестнице, тем меньше уважения он заслуживает. Первых не только нужно сравнивать с последними, но поставить их за последними.

Разве метод Сократа предполагает сам по себе такое отношение к сложившимся, вековым обычаям? Метод ничего не предрешил, но в груди Сократа жило глубокое презрение, — не будем допытываться, откуда оно взялось, — к историческим формам жизни и к большинству тех людей, с которыми его сталкивала судьба, и он не пропускал случая, чтобы так или иначе не показать этого. Сущность же метода ничего не предопределяла — и лучшим доказательством тому могут служить школы, вышедшие из Сократа. И циники, и стоики, и Платон, и Аристотель — все это птенцы сократовского гнезда. Если это еще кажется неубедительным, я приведу два примера применения сократовского метода, которые покажут совершенно ясно, сколько произвола еще оставляет мыслителю принятый им метод.

Эпиктет рассуждает: тебе сообщили, что умер незнакомый человек. Услышав это, ты говоришь: тут ничего особенного нет. По существующим законам природы, раз человек заболел неизлечимой болезнью, ему полагается умереть. Но вот тебе сообщили, что умер твой сын. Ты в отчаянии. Ничего тебе не мило, тебе кажется, что

¹¹⁾ Толпа не верующа (Федон 69 е).

все люди должны разделить твою скорбь. Но не правильнее было бы, если бы ты по поводу смерти своего сына вспомнил то, что ты говорил, когда узнал о смерти постороннего человека: по неизбежным законам природы и т. д. Вот истинная философия.

Так рассуждает Эпиктет. И его рассуждение кажется поразительным по своей последовательности. Но можно, с меньшей последовательностью, повернуть его. Можно сказать: умер твой сын и ты в отчаянии. Теперь умер посторонний человек и ты спокоен. Почему? Вспомни, как убивался ты о своем сыне и прими так же близко к сердцу горе незнакомого тебе отца. Вот истинная философия.

Оба рассуждения построены по одному методу и одинаково логически правильны. Результаты же прямо противоположные.

Теперь еще пример. Говоря о человеческих страстях, Марк Аврелий чуть ли не в каждом из своих афоризмов с истинно сократовской настойчивостью повторяет, что безумно ценить и бесполезно отдаваться радостям жизни, ибо все они кончаются одним: и удачника и неудачника ждет смерть. Указание на бренность всего существующего всегда вводит в наши рассуждения неотразимый элемент убедительности. Но нужно не забывать, что этот элемент принадлежит к числу тех, которые можно, по желанию, вызвать и даже не очень замысловатыми заклинаниями. А убрать, отогнать его, раз он вызван — уже не в воле человека. Правда, тот, кто помнит о смерти, презирает радости жизни. Но сохранит ли он уважение к тем идеалам, о которых так много говорит Марк Аврелий? Как остановить разрушительное действие этого всемогущего духа? Ведь не только радости и горести преходящи. Все, что от человека, рано или поздно погрузится в пучину забвения. Забудутся пиры, оргии и злодейства Нерона, память о Марке Аврелии не будет жить вечно. И сейчас, и за все то долгое время, что протекло после смерти философа на троне, много ли знало человечество о его мыслях и делах? Ученые читают его сочинения и спорят о значении того или иного его изречения, но мир, все люди, так же мало вспоминают о нем, как и о его безобразных предшественниках на римском престоле. Время губит равно и доброе и злое. И аргументация Марка Аврелия одинаково опасна и для эпикурейцев и для стоиков. Там, где властвует смерть, права разума кончаются. Хуже: задача разума в том и состоит, по видимому, чтобы подвести человека к области, подвластной смерти и ее законам, точнее — ее беззаконию. Мне кажется, и Марк Аврелий и все другие философы отлично это знали — и если все-таки не говорили этого, то единственно в расчете, совершенно верном, на то, что не всякому дано оценить и понять ее всеразрушающее действие. Люди воспринимают только то, что им демонстрируют *ad oculos*.¹²⁾

¹²⁾ На глаза.

Философы молчаливо условились пользоваться упоминанием о смерти только для определенных целей. И обычай стал законом. Но не даром еще Ренан указывал на то, что все размышления Марка Аврелия проникнуты глубокой грустью. Он чувствовал, что его аргументация разрушает гораздо больше, чем ему нужно было. Если впереди уничтожающая смерть — то и тех, кто будет жить сообразно природе, и тех, кто будет жить несообразно природе, ждет одна общая участь. Смерть равно оправдывает и безумие и разум, и у философа нет средств, чтобы оберечь от нее последний и отдать ей в жертву первое. И если все-таки они возводят на престол разум, то это с их стороны есть несомненный акт произвола: *sic volo, sic jubeo — sit pro ratione voluntas.*¹³⁾

И, может быть, это такая же неразгаданная тайна философии, как и та, о которой говорит в «Федоне» Платон. Никто не знает, что философия есть упражнение в умирании, никто не знает, что источником философии является произвол. Нужно сказать больше. Даже сам Платон этого не знал, если под знанием разуметь то, что обыкновенно принято под этим словом разуметь со времени Сократа — т. е. ясное и отчетливое, выраженное в понятии, убеждение. Немецкий мистик 17 столетия, малообразованный Якоб Беме позволил себе, — один, кажется, среди всех писавших на эти темы, — сказать, что он сам понимает им написанное только в те минуты, когда Бог простирает над ним свою десницу. Когда же он отнимает ее — самому философу кажутся бессмысленными те слова, которые он сам раньше написал, как разлюбившему Ивану кажется бессмысленным все то, что он говорил о Марье, как поэту, выражаясь языком Пушкина, пока его не призывает Аполлон к священной жертве, забавы суетного света кажутся полным и исчерпывающим выражением всего, что может дать жизнь. И Сократ, и Платон, и Беме, и Пушкин могли быть ничтожнейшими среди ничтожнейших людей мира — пока Аполлон не звал их к своей священной жертве, и они это мучительно знали.

Оттого-то они так настойчиво искали твердых принципов и начал. Оттого-то Пушкин утверждал, что возвышающий нас обман дороже низких истин. И — это самое главное — все они хотели, чтобы этот обман был похож на низкую истину, т. е. чтобы он казался всем столь же прочным, постоянным и несомненным. И они готовы были на какие угодно ухищрения и жертвы, только бы представить свой обман в виде истины. Они его урезывали и уродовали подчас: им нужно было его иметь у себя всегда наготове, как другие люди имеют наготове низкие истины. Смерть и произвол равно всем страшны — даже Платону.

И никакая «наука» с ними справиться не в силах. Задача науки

¹³⁾ Так хочу, так приказываю, да первенствует воля над разумом.

— отделяться от тайн и загадок. Это понял и это осуществил Аристотель. Он взял у своих гениальных предшественников все то, что в их философии было несомненным и прочным, и устранил все проблематическое. Он заглушил тоску неудовлетворенности и спел величайший гимн торжествующему, уверенному в себе знанию.

Переписка С. Л. Франка с Вяч. Ивановым

ПУБЛИКАЦИЯ В. С. ФРАНКА

В 1947 году лондонское издательство Харвил Пресс договорилось с моим отцом, философом Семеном Людвиговичем Франком (1877-1950), о публикации антологии русской религиозной и философской мысли в первой половине нашего века. Семен Людвигович, сам один из руководящих деятелей эпохи возрождения русской идеалистической и религиозной философии, с увлечением взялся за работу. Книга должна была состоять из избранных отрывков, которым были бы предпосланы характеристики отдельных мыслителей и краткие биографические и библиографические справки. Антология эта, из-за разногласий с издательством, так и не увидела света.

Само собой разумеется, что в число авторов С. Л. Франк включил «патриарха русской поэзии XX века» (как он его называл), Вячеслава Ивановича Иванова (1866-1949), который, в преклонном возрасте 81 года, жил в Риме. Он обратился к нему с просьбой рекомендовать какое-нибудь из его произведений для задуманной антологии. Вяч. Иванов тотчас же откликнулся и прислал оттиск своей статьи „Anima“ («Душа»), появившейся в немецком журнале „Sonata“ (т. V, вып. 4, 1934-35).

К сожалению, как первое письмо С. Л. Франка, так и ответ на него Вяч. Иванова затерялись. Но и предлагаемые ниже два письма С. Л. Франка и письмо Вяч. Иванова, в которых завязывается полемика о значении церкви, в частности церкви католической (верным сыном которой был Вяч. Иванов), для духовной судьбы человечества, представляют собой значительный интерес.

В своей характеристике Вяч. Иванова С. Л. Франк писал:

«По изысканной утонченности мысли, по насыщенности ее всем наследием европейской культуры и, в частности, по своей связи с античностью, В. Иванов — явление исключительное в русской литературе и мысли. Его поэзия и проза одинаково полны глубоких и сложных мыс-

лей, выраженных часто иератическим, но всегда чеканным языком и требуют больших усилий мысли для понимания. В своих первых двух сборниках статей эстетического и религиозного содержания он выступил сторонником синкретической религиозности, объемлющей античную религию и христианство; религиозный смысл своей символической поэзии он сам определяет, как путь a realibus ad realiora.¹⁾ Сначала он склонялся к славянофильским тенденциям; в религиозно-общественном смысле одно время возглавлял эфемерное течение «мистического анархизма» (самодержавие личного духа и «не-приятие» мира). В написанной в 1921 г. вместе с М. О. Гершензоном «Переписке из двух углов» защищал против своего оппонента религиозную ценность богатства и многообразия духовной культуры. Дальнейшее развитие привело его ко все большей религиозной умудренности. Он пишет мало, скуп на слова, но каждое его слово, прозаическое и поэтическое, есть плод одновременно и поэтической и религиозной интуиции. В настоящее время, по возрасту и заслугам, он может почитаться патриархом русской поэзии и религиозной мысли XX-го века.

В публикуемых письмах опущено несколько фраз личного характера, старая орфография заменена новой.

1. С. Л. ФРАНК — В. И. ИВАНОВУ

46, Corringham Rd.,
London N. W. 11

7 мая 1947

Дорогой Вячеслав Иванович,

От души благодарю Вас за присылку Вашего вдохновенного «исповедания». Я прочел его не только с величайшим интересом, но и с большим волнением. С Вашим основным устремлением я совершенно согласен и иду сам по этому же пути (как мне приходилось уже высказать это в печати). Есть только немного, что мешает мне дойти по нему до того конца, до которого дошли Вы. Я не могу уверовать в абсолютную, верховную ценность церкви, как эмпирически объединенного и нормированного целого, и вынужден думать, что она не исчерпывает собой *corpus mysticum*²⁾ (даже в его качестве, как земной *ecclesia militans*³⁾), а есть лишь его стержень (мне известны тонкие ходы католической мысли, идущие навстречу этому сомнению, но они все же не удовлетворяют меня). И потому я по чистой совести, из учения католической церкви не могу признать только Ватиканский догмат.⁴⁾ Выражаясь на языке зем-

¹⁾ От подлинного к еще более подлинному (лат.)

²⁾ Мистическое тело (Христово) (лат.) — богословское определение церкви.

³⁾ Воинствующая церковь (лат.). По богословской системе Фомы Аквинского церковь слагается из трех частей: церкви воинствующей или борющейся — на земле; церкви страждущей — душ, проходящих болезненный процесс очищения в Чистилище, и церкви торжествующей — душ на небесах.

⁴⁾ Догмат, принятый на Ватиканском соборе в 1870 г., о непогрешимости или, точнее, безошибочности папы в вопросах содержания веры.

ных оценок: я вижу в католической церкви главный и сильнейший оплот против духовной смуты, но прибавляю к этому: хорошо, однако, и то, что вокруг нее, за ее пределами, есть необъятный ею круг христианских душ. — Воссоединению Востока и Запада я всецело сочувствую; но чтобы оно стало подлинным, нужно, чтобы и Запад сознал свою ущербность в отделении от Востока с такой же остротой и напряженностью, с какой Соловьев и Вы (и я тоже) чувствуете это в отношении Востока. Некоторые признаки этого сознания уже видимы. Все это я говорю не для того, чтобы подчеркнуть, в чем я расхожусь с Вами, а, напротив, чтобы показать Вам, как я близок к Вам в основном.

Я испытываю эту неожиданную, случайную новую встречу с Вами на склоне наших лет, как настоящий подарок Божий. Чем более я вчитываюсь в Ваш этюд, которым Вы позволили украсить редактируемый мною сборник, тем более я им восхищаюсь. Я вижу в нем поистине классическое философское описание существа мистического опыта.

Чтобы вернуться к деловой стороне нашей встречи. Я не могу затруднять Вас обильными вопросами о Вашей биографии: почти все в ней я знаю и по личным воспоминаниям, и по компетентной книге Святотолк-Мирского: *Contemporary Russian Literature*. Не откажите, однако, ответить мне, хотя бы совсем коротко, на один вопрос: когда и где Вы профессорствовали в Италии за последние 20 лет? Отсутствие этого сведения было бы пробелом в моей заметке, посвященной «патриарху русской поэзии 20-ого века».

С любовью обнимаю Вас.

Ваш С. Франк

2. В. И. ИВАНОВ — С. Л. ФРАНКУ

Рим, 18 мая 1947 г.

Дорогой Семен Людвигович,

благодарю Вас за оба Ваши письма (от 19 апр. и 9 мая): перечитывая их, опять и опять испытываю глубокую радость. Ваше одобрение моих размышлений о Душе мне высоко ценно: вижу в нем как-бы свидетельство, подтверждающее в некоторой мере мои темные догадки. Столь братской близости на столь далеких путях духа, как та, которую возвестило мне Ваше второе письмо, я не чаял; в этом позднем чудесном соприкосновении наших душ вижу и я «подарок Божий». И захотелось мне, первым делом, сообщить Вам стихотворение, написанное в январе 1944 года и рисующее обстановку моей религиозной жизни: описание моей приходской церкви на Малом Авентине, внутри Аврелиановых стен. Эта древняя церковь в конце VI века была отдана папою Григорием Великим сиропалестинским монахам, выходцам из лавр Савы Освященного (кстати, сегодня у нас его праздник с крестным ходом). (Прибавлю в пояснение, что православный, присоединяющийся к

Римской Церкви, обязан оставаться верным восточному обряду, и ему только разрешается исповедоваться и причащаться в латинских церквях; поэтому мой приход в строгом смысле этого слова — церковь св. Антония Великого — при русской Духовной академии, Коллегиуму Руссикум, где по русски совершается богослужение, в большие праздники с архиереем, и Верую поется без слов «и Сына».)⁵⁾ Из таких мест Рима многовековая жизнь Церкви невольно представляется длинным, длинным шествием вроде крестного хода, в истоке которого доселе идут первосвидетели Христовы. Трудно любящему Христа не примкнуть к этому шествию верных. Много темного деялось на пути его, но оно не прекращается и неповрежденно хранит веру. Поздние византийцы выступили из истонного соборного хода, но (в противоположность позднейшим протестантам, разбредшимся со своими библиями по сторонам) пошли рядом, тем же по существу, но отдельным крестным ходом. Не могу понять, как Вы можете видеть в описанном шествии только «эмпирически объединенный и нормированный» коллектив. Не могу понять и того, почему «хорошо и то, что вокруг нее (католической церкви), за ее пределами, есть и не объятый ею круг христианских душ». Кто же, однако, эти счастливы? Ужели заблудившиеся в дебрях «свободного исследования» протестанты? Или православные подданные Василия Темного (нашего Генриха VIII)⁶⁾, Петра Великого и Сталина? Или старокатолики, последователи Деллингера⁷⁾, умолявшего Пия IX не раскалывать Церкви провозглашением папской безошибочности в соборных решениях? Но Церковь не раскололась оттого, что на соборе отвергнут был парламентский принцип подсчета голосов и утверждено древнейшее предание римского арбитра. К тому же само папство ограничило свою догматическую инициативу определением верований, издавна укоренившихся в предании. Пример тому — чудный догмат о непорочном зачатии, утверждающий, что рай на земле доныне есть для прозревших, как это проповедовал старец Зосима, и как уверяли меня

⁵⁾ В православном тексте Символа веры говорится, что Святой Дух исходит «от Отца», в католическом тексте — «от Отца и Сына». По особому распоряжению папского престола католикам восточного обряда разрешается опускать слова «и Сына» в их богослужениях.

⁶⁾ Василий Василевич Темный, Великий князь московский с 1425 по 1462 г. При нем был положен конец зависимости русской церкви от константинопольского патриарха, и русская православная церковь стала церковью национальной. Митрополит московский, грек Исидор, подписавший флорентийскую унию с Римом, вынужден был бежать из Москвы, после чего собор русских епископов, без согласия Вселенского патриарха, нарек в 1448 г. рязанского архиепископа Иону митрополитом московским. — Генрих VIII, король Англии с 1509 по 1547 г., провозгласил независимость английской церкви от Рима и тем самым положил начало зависимой от государства англиканской церкви.

⁷⁾ И. фон Деллингер, глава т. н. «старокатоликов», группы духовенства и мирян, отколовшихся от Рима после провозглашения Ватиканского догмата.

с удивительной силой поэтического слова неграмотные имяславцы, спасающиеся в Кавказских дебрях. Что касается здешнего отношения к Востоку, то уже Лев XIII⁸⁾ провозгласил восточное литургическое предание превосходнейшим в сравнении с латинским, и я лично, работая в институтах, подчиненных Конгрегации по делам Восточной Церкви, имею перед глазами трогательные примеры (не говорю уже о славянах) итальянцев, немцев, французов, бельгийцев, англичан, испанцев, выучивающихся русскому языку и принимающих восточный обряд (который для священников исключает возможность служить по латинскому обряду) из любви к России, как будущей — они твердо на это надеются — восточной половине вселенской Церкви. Опрямное большинство католического клира, правда, не имеют никакого понятия о русском православии; но папы (как я лично убедился в этом не без глубокого волнения, беседуя с покойным Пием XI) и наиболее просвещенные круги духовенства ни о чем так не ревнуют, как о воссоединении церквей. В Восточном Институте, где я был и доныне считаюсь профессором церковно-славянского языка, и в Руссикуме, где я преподавал, сначала в их аудиториях, а потом у себя на дому, историю русской литературы, пишутся и защищаются докторские диссертации о Соловьеве, Бердяеве⁹⁾, Булгакове¹⁰⁾, Карсавине¹¹⁾; там и Ваше имя хорошо известно и произносится с глубоким уважением. Показательно, что это изучение направляется не только на богословские и философские доктрины, но стремится проникнуть в мистическое богочувствование православных и в религиозную психологию народа (было мне любопытно, например, читать с нерусскими студентами народные «духовные стихи»). Сознает ли католичество свою «ущербность» в сравнении с Востоком? Латинство, разумеется, знает, что оно только часть, а не целое; католичество же не имеет ни основания, ни права признавать себя ущербным, ибо оно говорит свое Да всему положительному на Востоке и включает в свою полноту весь Восток. Напротив, религиозно-чувствительные русские не могут не сознавать своей церковной ущербности, поскольку отмечают духовные сокровища Запада и его святых и видят православие низведенным стараниями государственной власти на уровень церкви национальной.

28-ого мая.

Обстоятельства, деспотически прерывающие на каждом шагу мою текущую работу, мое сочинительство, вызвали к сожалению перерыв

⁸⁾ Папа римский с 1878 по 1903 г.

⁹⁾ Николай Александрович Бердяев (1874-1948), философ и религиозный мыслитель.

¹⁰⁾ Отец Сергей (в миру Сергей Николаевич) Булгаков (1871-1947), в молодости экономист, во второй половине жизни православный богослов.

¹¹⁾ Лев Платонович Карсавин (1882-1952). философ и историк, был вывезен советскими властями из Ковно и погиб в одном из исправительно-трудовых лагерей.

и этого письма, которого Вы в деловом порядке ждете. Продолжаю, на чем остановился.

Да, должно признать, что греки, вопреки голосу всех святых отцов, забыли слова: «Ты Петр»¹²⁾, и сошли с церковной магистрали, и что католическая Церковь состоит из двух половин: латинской церкви и греческой¹³⁾, которая невелика количественно, но необходима духовно, потому что, упреждая ход истории, уже осуществляет полноту Церкви вселенской. Зачастую правятся в римских базиликах восточные служения, и только тактические, глубоко обдуманые и правильные соображения препятствуют папе отслужить восточную литургию в облачении восточного патриарха. Ваша радость на вносящих просто анахронизм: в старину латинство обезличило бы Россию, как оно исказило душу Польши, но теперь католичество не значит латинство. Сообщу Вам кстати и другое мое стихотворение, написанное через три недели после первого, 2-го февраля, в день Сретенья (la Chandeleur), — стихотворение также из поэтического Дневника, который я в тот год вел, полусерьезное, полущутливое, о моем любовании на латинцев (все не католические страны, по моему, как-то печальны) и о моем братаньи с латинцами. Прибавлю еще, в дополнение к вышесказанному о моей преподавательской работе, что время от времени приходится мне переводить на церковно-славянский язык какой-нибудь латинский текст, и я же составил (главным образом по Решу) объяснительные примечания и введения к русскому переводу (перепечатанному с синодального издания) Деяний и Посланий Апостольских и Иоаннова Откровения. В заключение беседы о католичестве замечу, что западное созерцание Церкви во всей полноте и славе раскрывает содержание слов апостольского символа: *Communio Sanctorum*.¹⁴⁾

3-ее июня

Опять досадный перерыв. И пора, наконец, ответить на Ваши делового порядка вопросы. Прежде всего о месте и времени моего рождения и моей семье. Моя поэма «Младенчество» (СПБ. 1918) отвечает на этот вопрос подробно и живописно. Родился я 16/28 февраля 1866 года, в Москве, в домике моих родителей у Зоологического Сада, в обстановке культурной и среднебуржуазной. Отец мой, шестидесятник и атеист до последних недель жизни, был по профессии землемером, а потом, после долгого перерыва служебной деятельности, чиновником московской Контрольной Палаты, в чине титулярного советника. Умер он, когда

¹²⁾ Слова Христа: «Ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь мою» (Матф., 16, 18), толкуются католическими богословами, как божественный мандат, утверждающий главенство Римского престола (первым епископом которого был по преданию апостол Петр) в христианском мире.

¹³⁾ Т. е., католических церквей восточного обряда.

¹⁴⁾ Сообщество Святых (лат.).

мне было пять лет, и всею формацией я обязан моей матери, внучке священника и дочери сенатского чиновника, по фамилии Преображенской, женщине большого ума, широких духовных интересов и пламенной религиозности. Окончив курс Первой московской гимназии с золотой медалью, я поступил на филологический факультет Университета, где тотчас получил премию за древние языки и снискал благосклонность Павла Гавриловича Виноградова¹⁵⁾, который руководил моими занятиями и в мои берлинские студенческие годы. Ибо с третьего курса я, жевившись, поехал учиться в Берлин, где после блужданий в пределах средневековой и византийской истории сосредоточился, по совету Виноградова, на филологии и на древней истории в семинариях Моммзена¹⁶⁾ и Оттона Гиршфельда: Виноградов предназначал меня к филологической кафедре. После девяти семестров в Берлине я отправился готовить свою латинскую диссертацию для Моммзена (напечатанную впоследствии в Записках Петербургского Археологического Общ.) сначала в Париж, а потом в Рим, где прожил, занимаясь археологией, до 1895-го года; потом, обманув ожидания Виноградова, жил я в Париже, в Женеве, в Афинах, а с конца 1904 года основался в Петербурге, где между прочим (1910—1912) преподавал историю греческой литературы на Раевских Женских Курсах. После годовой отлучки во Францию и в Рим начался мой московский период, но революция 17-го года застала меня в Сочи. При большевиках приходилось мне читать в Москве в разных учреждениях немало курсов по истории литературы и театра и по поэтике. В 1920 году, не выпущенный на волю, хоть имя мое и стояло на очереди заграничных командировок, поехал я на Кавказ с фиктивным командировкой дать отчет об университетском преподавании на Северном Кавказе и самовольно явился в Баку. А там был независимый от Москвы университет с хорошим профессорским составом (отмечу с любовью Маковельского), ибо туда тянулись профессора, не желавшие под разнообразными наименованиями дисциплин преподавать единый и единоспасающий марксизм и исторический материализм. Там мне дали тотчас кафедру классической филологии, там нашел я энтузиастических русоких студентов (только книг у нас было маловато), там я напечатал свою книгу «Дионис и прадионисийство» и, защитив ее перед факультетом, получил от него диплом на звание доктора. Книгу эту перевело на немецкий язык издательство Бенно Швабе в Базеле и прислало перевод на одобрение мне вместе с авансом за будущее издание книги согласно подписанному договору; но перевод требовал тщательной правки, а текст ряда изменений и дополнений, и

¹⁵⁾ Павел Гаврилович Виноградов (1854-1925), до 1902 г. профессор всеобщей истории Московского университета, с 1903 г. до своей смерти профессор средневековой английской истории Оксфордского университета.

¹⁶⁾ Теодор Моммзен (1817-1903), знаменитый немецкий историк древнего мира.

за эту кропотливую работу я испытываю терпение негодующего издательства уже немало лет. Менее благоприятную судьбу имел мой другой большой труд — перевод трагедий Эсхила, сделанный для издательства Сабашниковых, но перехваченный советским Госиздатом, который, — быть может оттого, что я уехал за границу, — похоронил его в своих недрах. Вы спрашиваете, какие книги вышли в свет после 20-го года. Кроме упомянутой монографии о Дионисе, в 1930 г. по немецки «Русская идея» (у Мор-Зибек, Тюбинген) и «Достоевский» (там же, в 1932 г.); поэма «Человек» (Париж, Дом Книги, 1939 г.); итал. стихотворный перевод той же поэмы (Милан, 1946 г., изд. Бокка); трагедия «Тантал» в удивительном по совершенству поэтическом переводе на немецкий язык Генри Гейзелера (изд. Карла Рауха в Дессау-Лейпциг, 1940); наконец, моя с Гершензоном¹⁷⁾ «Переписка из Двух Углов» вышла в Петербурге в 1921 г., перепечатана в Берлине в 1922 г., появилась на немецком языке в журнале Die Kreatur за 1926 г. и с 1931 г. отдельными изданиями во французском, итальянском и испанском переводах. Такая скудость отчасти возмещается рядом серьезных статей в *Corona*, *Hochland*, *Vigile*, *Accademia Petrarquesca d'Arezzo*, *Enciclopedia Italiana* (Treccani) и в *Современных Записках*. В 1933 г. миланский «Конвенто» посвятил специальный четвертый выпуск моей литературной деятельности.

Оказавшись в 1924 г. с дочерью и сыном в Риме, я не знал, куда деться и был счастлив, получив, вследствие хлопот Ф. Ф. Зелинского¹⁸⁾, от Каирского университета предложение занять кафедру истории римской литературы. Начались переговоры об условиях (прямо сказочных) и времени приезда; я принялся упражняться в английском языке, но когда в египетском посольстве было обнаружено, что я проживаю по советскому паспорту, моя сказка из тысячи и одной ночи рассеялась маревом: тамошнее министерство немедленно пресекло затеи наивных гуманистов. Более терпимую к моему советскому подданству, несмотря на фашизм профессуры, явилась Павия, где я получил место проф. новых языков и литератур в университетском Колледжио Борромео, старинном, роскошном и даровом общежитии для наиболее успешных студентов всех факультетов, и вместе лекторство русского языка в Университете. С осени 1926 г. до летних вакаций 1934 г. я жил там, в дивном здании XVI-ого века, но сокращение бюджетов повело за собой упразднение отдельной профессуры в Колледжио. В Риме я, наконец, развязался с большевиками, приняв итальянское подданство; но приглашение во Флорентийский университет не было утверждено министерством, потому что мне было-де уже под 70 лет — предельный воз-

¹⁷⁾ Михаил Осипович Гершензон (1869-1925), историк литературы и литературный критик.

¹⁸⁾ Фаддей Францевич Зелинский (1859-1944), историк древнего мира. В эмиграции преподавал в Варшавском университете.

раст, — а на самом деле потому, что я не был записан в фашистскую партию. О своем профессоре в Pontificio Istituto Orientale и в Pontificium Collegium Russicum я уже говорил. Вот Вам на стольких страницах избыточный материал для заметки строк в двадцать пегита. Думаю, что пересылка мне на просмотр перевода статьи Вас очень задержала бы и потому прошу Вас самому внимательно последить за его философской точностью.

Хотелось бы знать, дорогой Семен Людвигович, как и с кем Вы живете и над чем работаете. . .

А помните ли Вы, как в Силламягах ¹⁹⁾ мы играли в городки с покойным Гершензоном и с Петрушевским? ²⁰⁾ Что с Петром Бернгардовичем? ²¹⁾

Еще благодарю и обнимаю с любовью.

Ваш Вячеслав Иванов.

В стенах, ограде римской славы,
На Авентине, мой приход —
Базилика игумна Савы,
Что Освященным Русь зовет.

Пришел с пустынных плоскогорий
Сонм Саваитов, Сириан,
С причастной Чашей для мирян;
Им церковь дал святой Григорий.

Сень подпирают кораблей
Из капищ взятые колонны;
Узорочьем цветных камней
По мрамору пестрят амвоны.

В апсиде — агнцы. . . Мил убор
Твоих, о Рим, святилиц дряхлых:
Как бы меж кипарисов чахлых,
Он чрез века уводит взор

Тропой прямой, тропую тесной,
Пройденной родом христиан, —

¹⁹⁾ Силламяги, Силламяе — дачный поселок в Эстонской губернии, на берегу Финского залива, в 15 км. от Нарвы (ныне город в Эстонской ССР). Вяч. Иванов вспоминает о лете 1911 или 1912 г.

²⁰⁾ Дмитрий Моисеевич Петрушевский (1853-1942), историк-медиевист.

²¹⁾ Петр Бернгардович Струве (1870-1944), политический деятель, экономист и историк, близкий друг С. Л. Франка.

И все в дали тропы чудесной
Идут Петр, Яков, Иоанн.

8 января 1944.

В. И.

Милы сретенские свечи
И Христы-младенцы в святки;
Дух лаванды в ночь Предтечи,
В праздник Агнии ягнятки;

Благодатной ожерелья —
Нежных АВЕ розы-четки;
В среду заговин, с похмелья,
На главах золы щепотки. . .

Где бормочут по-латыни,
Как-то верится беспечней,
Чем в скитах родной святыни, —
Первобытной, человечней.

Здесь креста поднять на плечи
Так покорно не умеют,
Как пред Богом наши свечи
На востоке пламенют.

Здесь не Чаша литургии
Всех зовет в триклиний неба:
С неба дар Евхаристии
Сходит в мир под видом хлеба.

Пред святыней инославной
Сердце гордое смирилось,
Церкви целой, полнославной
Предвареньем озарилось. . .

То не гул волны хвальнской, —
Слышу гам: «Попал ты в лапы
Лестной ереси латынской,
В невода святого папы».

2-7 февраля 1944.

В. И.

London, N. W. 11
46, Corringham Rd.

17 июня 1947

Дорогой Вячеслав Иванович!

Спешу ответить на только что полученное мною Ваше большое письмо, которым вы очень порадовали меня. Прежде всего спасибо за биографические данные — кое-чего я совсем не знал, другое знал не вполне точно. Они пришли в последний момент — я уже написал заметку о Вас и дал переводить (к концу месяца я должен представить издательству всю рукопись сборника); теперь я хочу внести в нее исправления и дополнения.

Меня глубоко тронули усердие и обстоятельность, с которыми Вы стараетесь переубедить меня в моих — в общем, весьма умеренных — «ересях». То, что Вы пишете о принципиальном отношении Рима к православию, мне хорошо известно... Мне не хочется заниматься бесполезным — особенно в нашем возрасте — спором. Позвольте мне только коротко уточнить — просто к Вашему сведению — мою принципиальную позицию. Широта духа Рима в отношении Востока дает, конечно, большое удовлетворение, как свидетельство присутствия вселенского начала (я охотно признаю: в гораздо большей мере, чем у большинства православных). Я совсем не «православист» (пользуясь остроумным термином покойного о. Сергия Булгакова); мои сомнения — другого рода. Чем более я размышляю и о религиозной проблематике по существу, и о трагической судьбе европейского духа, тем более укрепляюсь в убеждении, что духовная смута, начавшаяся с ренессанса и реформации, порождена в последнем счете односторонностью, с которой христианское откровение было выражено в традиционной церковной догматике, именно тем, что идея богосыновства человека — основа всяческого «гуманизма» — была все же как-то заслонена отчасти ветхозаветным сознанием «тварности» («горшка в руках горшечника»), отчасти античным сознанием подчиненности человека космосу (только в христианской мистике — востока и запада одинаково — хранилось иное, более полное восприятие богочеловечности человека). Все заблуждения нового времени суть — искаженные бунтом против традиции, отрывом от исконного предания — выражения более глубокого осознания «богосыновства» человека. В духовной истории западного мира был краткий миг, когда в лоне самой церкви намечалось было течение «христианского гуманизма»; наиболее полное выражение оно получило в богословско-философской системе правверного католика, кардинала Николая Кузанского²²) одного из величай-

²²) Николай Кузанский (Nicolaus Cusanus) (1401-1464).

ших, доселе неочтенных мыслителей и для меня — моего главного наставника (наряду с ним напомним еще только имя Эразма²³). Если бы этому течению суждено было восторжествовать, человечество было бы избавлено от многих роковых заблуждений — и от безрелигиозного просветительского гуманизма, и от ницшеанского и марксистского богоборчества. Этому не суждено было быть, и теперь человечество безнадежно расколото на христиан-традиционалистов и безбожников, уповающих на осуществление царства Божия силами человека, как простого потомка обезьяны (и эта последняя вера практически властвует над миром). На Ваш вопрос: в чем я вижу пользу существования свободных христианских душ за пределами церкви? отвечаю: в том, что они — единственный сохранившийся мост между церковью и безбожниками и в этом смысле суть как бы призванные миссионеры в отношении последних. Церковь — католическая церковь — в принципе подлинно кафолична, т. е. универсальна; но христианское откровение, незримо разлитое в душах, все же в некотором смысле еще более универсально, чем исторически сложившийся духовный облик церкви. Отсюда я делаю практический вывод в отношении папской непогрешимости. Признаю его практическую полезность: в *ecclesia militans*, как во всякой армии, должен быть верховный главнокомандующий; но если и рядовой солдат, исполняя приказ, сохраняет за собой право личного мнения, то — тем более — это право неотъемлемо от христианина. По образцу правоверного католика Паскаля²⁴) я поэтому сохраняю за собой право «от суда папы апеллировать к суду Христа». Опираюсь и на больший авторитет: «надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искуснейшие» (I Кор. 11, 19). Мне как-то кажется, что такая установка должна найти некий тайный отклик у такого насыщенного многообразием духовной культуры человека, как Вы.

Но довольно. Отвечаю кратко на Ваши вопросы о личных обстоятельствах моей жизни и об общих знакомых. 1922-37 г. я жил в Берлине, где был между прочим доцентом университета по истории русской мысли, годы войны провел во Франции, скрываясь от немецкой оккупационной армии, ибо — в силу моего не-арийства — мне грозила депортация и смерть в газовой камере. С 1945 г. соединился с моими детьми (у меня их четверо), которые по разным обстоятельствам, уже раньше переселились в Англию. Живу с женой (Вы, может быть, ее вспомните по Силламягам — она шлет Вам сердечный привет) в доме моей дочери... Последние мои работы: «Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии» (Париж, 1937). По английски: «С нами Бог» («God with

²³) Эразм Роттердамский (1466-1536), богослов и ученый эпохи гуманизма.

²⁴) Блез Паскаль (1623-1662), французский математик и богослов. Цитируемая фраза была сказана Паскалем в 1657 г. в его полемике против представителей иезуитского ордена.

us²⁵⁾ — опыт некого, философски оформленного исповедания веры. Написал и надеюсь вскоре опубликовать тоже по английски «Свет во тьме» — опыт христианской социальной философии²⁶⁾. Сейчас готовлю книгу, в которой хочу подвести последний итог моих философских достижений²⁶⁾.

П. Б. Струве скончался внезапно в феврале 1944 года — можно сказать, на посту: накануне смерти провел целый день в *Bibliothèque Nationale*, работая над большим трудом по истории России²⁷⁾. Через три месяца в июне скончался от удара о. С. Булгаков. С ним я сохранил до самой его смерти дружеские отношения (не разделяя его богословских идей). Сохранил дружеское общение и с Н. А. Бердяевым, хотя пути наши разошлись весьма далеко.²⁸⁾ Только что его видал — он приезжал, чтобы участвовать в возведении его в степень почетного доктора кэмбриджского университета.

Сердечно обнимаю Вас.

Ваш С. Франк

Сердечно благодарю Вас и за Ваши — как всегда прекрасные — и такие трогательные стихотворения, которые доставили мне большое эстетическое наслаждение.

²⁵⁾ Книга «Свет во тьме» (Париж, 1949), на английском языке не появилась.

²⁶⁾ «Реальность и человек» — издана посмертно в Париже в 1956 г.

²⁷⁾ Неоконченная книга П. Б. Струве, «Социальная и экономическая история России», вышла в Париже в 1952 г. посмертным изданием.

²⁸⁾ Расхождение это было вызвано тем, что в последние годы своей жизни Н. А. Бердяев, под влиянием событий военного времени, стал более благожелательно относиться к советскому строю.

В. ЗУБОВ

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ИСКУССТВ

СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ (II)

Все началось с пьяного дела, в котором пишущий эти строки не участвовал. В один из последних годов прошлого столетия в Лейпцигском университете слушал лекции по истории искусства и другим наукам Михаил Николаевич Семенов, племянник известного географа Петра Петровича Семенова-Тянь-Шанского. Отец его был профессором гидрологии и на своей гидрологии разорился. Скончавшись, он оставил наследство в таком состоянии, что Петр Петрович, бывший опекуном его сына, счел разумным от наследства отказаться, так как долгов было больше наличности.

Михаил Николаевич с крайне ограниченными средствами оказался в Лейпциге, побывав до этого не то в Петербургском, не то в Московском университете на естественном факультете, что уже на одном из первых экзаменов кончилось неудачей. Спутался он в Лейпциге с какой-то русской студенткой, и случилось так, что оба они несколько дней почти ничего не ели. Голод не тетка — и они решились на отчаянное средство: пошли в один из лучших ресторанов, наелись, напились, а потом сидели, пока ресторан стал пустеть, и обсуждали, что же теперь будет, пожалуй, бить станут.

За столиком рядом сидел длинноволосый юноша. Скромно и застенчиво он обратился к ним по-русски, не может ли он их выволнить; у него не совсем в порядке печень, и он скопил немного денег, чтобы ехать лечиться в Карлсбад. «Ах, милый человек, сам Бог вас нам послал!» — вскрикнул Семенов, обнимая юношу. После этого началось многодневное пьянство, подробности которого, как непечатные, к сожалению, приходится опустить.

Конечно, карлсбадские сбережения юноши испарились, леченья не последовало, но зато он, работавший в меховом деле, был перетащен в университет и стал историком искусства. А был он Трифоном Георгиевичем Трапезниковым, тоже сыном разорившего-

ся отца, но племянником известного крупного московского меховщика Сорокоумовского, кажется того, что на свечке жег в присутствии жены сторублевые бумажки, чтобы отучить ее от скупости. Этот дядя послал Трапезникова в Лейпциг для изучения мехового дела. Известно, что русские меха посылались в сыром виде для обработки в Германию, а затем возвращались в Россию. Главным центром этого дела был Лейпциг и там улица Plöck. Вот на этом-то Plöck'e и подвизался Трапезников. Под длинными волосами была совершенно незаметна необычайная форма его головы, — она отпечатлевалась на аппарате шляпного магазина при примерке. До пяти лет он ничего не говорил, только хлопал глазами, линии на его руках были, как желтые веревочки, словом уже физически — существо незаурядное, психически, как увидим, тоже.

До Института истории искусства еще далеко, мы к нему будем приближаться постепенно. На двадцатом году жизни (в 1904 г.) я сдал экзамен на аттестат зрелости: лучше поздно, чем никогда. В гимназию я никогда не ходил, хотя и числился учеником 2-й Спб. гимназии, что на Казанской улице. Учился дома и каждую весну сдавал переходные экзамены. К молодому оболтусу ходила целая орава учителей, и мне было, конечно, труднее, чем школьникам: во-первых, знать урок надо было всегда, во-вторых и подбор учителей был высокого калибра. Тем не менее я глубоко благодарен матери за эту систему. И моей сибаритской натуре было приятнее не бегать ежедневно в школу по морозу, и толку было больше. Только вот математику лучшим учителям так и не удалось втемяшить в мою башку.

Осенью 1904 года я поступил в Петербургский университет на филологический факультет. Мой молодой энтузиазм на первой же лекции получил холодный душ. Профессор Шляпкин просто не явился на лекцию, и мы его зря прождали два часа. Вскоре начались студенческие забастовки, актывый зал превратился в арену для политических митингов, некоторых правых профессоров пытались оскорблять действием, например, Александра Ивановича Введенского. Я на это смотрел до осени 1905 года, когда в один прекрасный вечер мне позвонил по телефону мой товарищ Володя Олив и сказал, что он через несколько дней едет в Гейдельбергский университет. Не долго думая, я ответил: «Ну, и я поеду». Нас для начала собралось четверо: Влад. Серг. Олив, Мих. Мих. Охотников, Серг. Львов. Бертенсон, сын лейб-медика, и я, позже прибавились другие. О немецких университетах и их жизни мы имели весьма малое понятие и первый семестр вели себя, как дикари.

Я намеревался изучать историю. Приехав, взял расписание лекций и с удивлением увидел, что ординарный профессор, а не какой-нибудь там приват-доцент, читает историю искусства. Никогда не представлял я себе, что это серьезная наука, как и другие.

Я, правда, читал несколько книжек по искусству, бывал в музеях, но никогда не предполагал, что это «всерьез». Набрал я себе, следуя русским представлениям о многопредметной университетской программе, целых одиннадцать курсов. Тут была и философия, которую читал знаменитый Виндельбанд (еще более знаменитый Кунно Фишер был еще жив, но по старости не читал), была и история, и французская и немецкая литература, и индология и еще кое-что, а что именно, не припомню, и, наконец, история искусства. Ее читал Henry Thode, как оказалось — знаменитость. Я слушал, смотрел проекции (он в этот семестр читал раннее немецкое искусство), хлопал ушами и понимал, что невежество мое безгранично.

На лекциях Тоде и Виндельбанда я встретился с Трифоном Георгиевичем Трапезниковым, успевшим к тому времени из Лейпцига перебраться в Гейдельберг. Ну, конечно, как русский, хотя и москвич, он был принят в нашу теплую компанию. Ему было уже 27 лет; человек он был немного другого стиля, чем мы, «белоподкладочники»: мистик, философ, культурнее и образованнее нас, и с тем особенным отпечатком, который дает бедность. Я с ним сблизился больше других, и его влиянию я обязан, что остановился на истории искусства, как на своем главном предмете. Весной 1906 года мы с ним поехали в Италию, на которую я стал смотреть несколько иными глазами, чем раньше, когда бывал там туристом.

Больше всего времени мы провели во Флоренции. Трапезников тогда писал докторскую диссертацию о портретах семьи Медичи, кончая Лаврентием Великолепным, и, благодаря ему, я погрузился в XV век. Во Флоренции был, и сейчас еще есть, немецкий Институт истории искусств, состоящий главным образом из богатой библиотеки по итальянскому искусству, в которой могли работать ученые и студенты и где спорадически устраивались доклады. Директором тогда был весьма застенчивый старичок профессор Брокгауз. Когда к нему приходил немецкий студент, — они тоже часто застенчивы, — оба смотрели друг на друга, как фаянсовые собаки и молчали.

По поводу этого института Трапезников рассказал мне о мысли Семенова, что хорошо бы в России создать нечто подобное. Это засело в моей голове. Прошло два года; я успел покинуть Гейдельберг, где пробыл всего два семестра: преподавание Тоде меня не удовлетворяло. Я переключался в Берлинский университет, где в то время историю искусства читал швейцарец Heinrich Wölfflin, ученый совсем другого стиля, чем Тоде. Если тот был слишком легковесен, то тут я скоро понял, что для этого уровня я еще далеко не подготовлен. После двух семестров, я на летний семестр 1908 года перебрался в Лейпциг в надежде найти там то, чего мне не доставало, т. е. фактических знаний. Там преподавал профессор August Schmarzow. Увы! — я и в нем не нашел того, что мне было нужно; это

был патологический тип, страдавший манией преследования, и хотя бывший в ранние годы хорошим ученым, как преподаватель никудышный. Зато по археологии я обрел прекрасного учителя в лице профессора Studnicka. В Лейпциге я пробыл всего один семестр.

Этим летом наездом из Лейпцига я посетил Трапезникова, — он все еще был в Гейдельберге, — и тут впервые встретился с Семеновым, который случайно находился здесь. Со времен лейпцигских походов он успел остепениться, женился на Анне Александровне Поляковой, сестре Сергея Александровича, редактора журнала «Весы» и владельца издательства «Скорпион», объединившего вокруг себя все, что тогда было в Москве передового в литературе и искусстве. (Это настолько известно, что не требует пояснений с моей стороны). Семенов к этому времени выпустил перевод сочинений Пшибышевского и все собирался писать что-то свое и так до старости и не написал, кроме воспоминаний, часть которых пропала, а часть печаталась лет десять с лишним тому назад в «Русской мысли», а затем вышла в Риме, в 1950 году, на итальянском языке под заглавием „Vasco e Sirene“. Среди пропавших частей были воспоминания о Дягилеве, с которым он одно время работал.

В Гейдельберге в то время он находился с супругой и тремя малолетними дочками. Мы разговорились о его мысли создать в России институт по образцу флорентинского и я предложил ему сделать это когда-нибудь вместе. Это было часом духовного рождения Института, но до практического осуществления должно было пройти еще не мало времени: у меня тогда были другие заботы.

Зиму 1908-09 года я провел во Флоренции, где писал свою первую докторскую диссертацию, из которой ничего не вышло, о фресках Вазари в Палаццо Веккьо, а к весне отправился в университет в Галле, где, наконец, нашел настоящего своего учителя профессора Адольфа Goldschmidt'a, у которого я впоследствии, в 1913 году, и сдал докторский экзамен, но уже в Берлине, куда его перевели и куда я за ним последовал.

Еще раньше мы с Семеновым и Трапезниковым стали готовить Институт. Делалось это так: я ассигновал некую сумму на составление библиотеки; мы с Семеновым засели в Берлине, а Трапезникова посадили в Лейпциге, как в самом крупном центре книжной торговли. Семенов, причастный к издательству «Скорпион», везде имел книгопродавческую скидку. Мы вошли в сношения с большими немецкими книжными фирмами, просматривали антикварные каталоги и закупали, закупали, закупали. Кроме того, я в Берлине покупал диапозитивы для проекций, заказал два проекционных фонаря, а в Страсбурге новейшую тогда модель библиотечных полок. Все это было сделано в течении лета 1910 года и ящики отправлены в Петербург.

При составлении библиотеки нами руководили следующие сооб-

ражения. В Петербурге литература по истории искусства была сосредоточена, во-первых, в «Музее древностей» университета (гордое и устаревшее название), в котором наш крупный византолог Дмитрий Власевич Айналов читал без помощи проекционного фонаря, показывая изображения из книжек сидевшим вокруг стола студентам. Старые издания, в особенности по византологии, были хорошо представлены, новейших же книг по западноевропейскому искусству почти не было. Во-вторых, существовала библиотека Эрмитажа, но она была доступна только хранителям, да и там не было систематического пополнения текущими изданиями; наконец, — Публичная библиотека, где новые приобретения по этой части были более или менее случайными. Поэтому главное внимание мы направляли на новые труды по западному искусству; в дальнейшем наша библиотека еженедельно пополнялась всем выходящим за границей. Приобретены были полные комплекты всех крупных журналов, немецких, французских, итальянских и английских. Для начала, осенью 1910 года, было более трех тысяч томов; когда я в 1925 году покидал Россию, их было свыше пятидесяти тысяч.

Несмотря на мои просьбы, Трапезников в Петербург не поехал. Я имел несчастье свести его с Рудольфом Штейнером, тогда теософом, впоследствии антропософом, которым я короткое время увлекался. Я-то скоро его покинул, а бедный Трапезников у него застрял, отправился с ним в Швейцарию, в Дорнах, где строился антропософский храм, и кажется почувствовал себя пророком. Словом, свихнулся человек. Когда, после октябрьской революции, Штейнер, не разобрав, в чем дело, сначала приветствовал большевиков. Трапезников приехал в Москву и стал помощником Наталии Ивановны Троцкой, заведовавшей музейным отделом. Скоро, однако, Штейнер одумался и объявил большевиков исчадьем ада, но для Трапезникова было уже поздно. Я видел его в последний раз в Москве в 1922 году. У него была тяжелая сердечная болезнь; он получил разрешение на заграничную поездку для лечения и там скончался около 1925 года.

Семенов, который годами жил в Италии, приехал в Петербург и мы с ним начали устройство библиотеки, но скоро тоска по Италии и петербургский климат заставили его меня покинуть, — я остался один с едва разобранными ящиками книг. Он навсегда остался в своем прекрасном далеке, поселился в Позитано на Салернском заливе и скончался в Неаполитанской больнице в 1952 году.

Вставал вопрос, где быть Институту. Сначала я предполагал нанять для него помещение, но то, что я находил, меня не удовлетворяло. Наконец моя мать посоветовала мне занять нижний этаж нашего семейного дома на Исаакиевской площади, против самых западных дверей собора. К помещениям, отведенным мною под Институт, примыкали мои личные апартаменты, которые с его ростом

постепенно стали сокращаться. Большая аудитория вмещала около ста слушателей, к ней с одной стороны примыкали читальный зал и книгохранилища, с другой мой кабинет. Помощниками мне, в организации библиотеки, были библиотекарь Екатерина Гвидовна Пенгу и приходивший из любви к делу милейший Валерьян Адольфович Чудовский, один из хранителей Публичной библиотеки, литературный критик и сотрудник журнала «Аполлон», а также Николай Эрнестович Радлов.

Не буду говорить об idiotских бюрократических трудностях, которые мне пришлось преодолеть, пока удалось оформить юридическое существование Института. Совался я в три министерства: Просвещения, казалось бы, в первую очередь компетентное, Двора — как владельца главных художественных хранилищ и Академии художеств, и Внутренних дел в лице градоначальства. Одно перебрасывало меня к другому, никто не желал принимать ответственности, которой по существу не было: я ничего не просил кроме официального штампа, ни денег, ни чинов. Под конец подумывал, не обратиться ли в Государственное коннозаводство.

Как сказано, Институт был задуман по примеру флорентинского, т. е. библиотека для пользования на месте и от времени до времени отдельные доклады. Но силой вещей выросло нечто совсем другое. Полтора года ушло на каталогизацию и установку всей библиотеки. Наконец 2 марта (по старому стилю) 1912 года я мог открыть Институт небольшим торжеством. Начало было сравнительно скромным, но разбег был взят и рост оказался сильнее, чем я предполагал и даже чем я желал. Этому были причиной надвигавшиеся политические события.

Первые месяцы библиотека, открытая с утра до вечера, пустовала. Друзья и коллеги просили книги на дом, что совершенно не соответствовало моим намерениям, но в те дни другой публики не было. Я осознал то, что раньше лишь подозревал: только путем систематических курсов, а не случайными докладами, можно было внести жизнь в новое учреждение. И я решил их организовать. Они представлялись мне в виде свободных курсов, без всякого принуждения, без экзаменов и дипломов; и они должны были быть бесплатными. Мне удалось собрать лучшие силы, которыми располагал Петербург. Несколько друзей приняли участие безвозмездно, остальные лекторы оплачивались мною. Я хотел дать пример бесплатного образования, которое считал обязанностью государства. Это позже было принято советским правительством, но впоследствии оставлено. Не знаю, как там дело обстоит сейчас.

В январе 1913 года мы начали с довольно полной программой. Успех и наплыв превзошли все наши ожидания. Желая составить себе представление об интеллектуальном уровне будущих слушателей, я принимал для короткой беседы всех, желавших записать-

ся. Рядом со студентами и пожилыми людьми, проявлявшими действительный интерес и желание к приобретению серьезных знаний, являлись люди общества, главным образом, дамочки, искавшие сенсаций и желавшие видеть на кафедре моего покойного друга барона Николая Николаевича Врангеля и меня. Сразу стало большой модой посещать «Зубовский институт». Мне пришлось на дни вперед выдавать порядковые номера на мои приемные часы. Я отклонял лиц, казавшихся мне совершенно непригодными, чувствуя, что следовало отстранить много большее число, чтобы освободить места для тех, которые этого больше заслуживали, но не хватало энергии. Приняв 300 слушателей, мне пришлось закрыть запись за отсутствием мест.

Чувствую долгом вспомнить здесь друзей, сплотившихся вокруг меня в этот первый год. Их всех уже нет. Вижу умную голову старого сатира, большого знатока и собирателя Павла Викторовича Деларова, к моему большому горю унесенного болезнью после трех необычайного блеска лекций о голландской живописи. Это был человек, которого можно назвать русским Раблэ XIX века, с той разницей, что он не оставил ни одной печатной строки. Беседа его искрилась остроумием, подчас едким, подчас скабрёзным, память его была необычайной, знал он наизусть почти все, что ему приходилось читать; знаток не только искусства, но и вина. Сколько драгоценных бутылок мы с ним осушили!

Старый барон Эрнест Карлович Липгарт, читавший об итальянском искусстве на французском языке, достойном века Людовика XIV, несмотря на балтийское происхождение. Художник, проведенный молодостью в Париже, женившийся там на своей французской натурщице к великому ужасу семьи, ставший около 1909 года одним из хранителей Эрмитажа. Человек старого закала с манерами *grand seigneur'a*. Молодой тогда археолог немецкой школы Оскар Фердинадович Вальдгауэр, казавшийся предназначенным для большой научной будущности и слишком рано умерший, истощенный лишениями революционных годов, — он читал по-немецки историю греческой скульптуры. Маститый профессор Петербургского университета Дмитрий Власьевич Айналов, крупнейший византолог, мой первый учитель во время короткого моего пребывания в университете, читал по своей специальности. Жизнерадостный, слегка елейный, Василий Тимофеевич Георгиевский, составивший себе славу тем, что открыл фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре, читал о русской иконописи, с неистощимым красноречием и тончайшим голоском. Владимир Яковлевич Курбатов говорил о русской архитектуре XVII и XIX веков; Джемс Альфредович Шмидт, хранитель Эрмитажа, прекрасный ученый, прошедший за несколько лет до меня через немецкие университеты, читал по фламанд-

ской живописи; директор французского Института в Петербурге Louis Réau — о французском искусстве.

Особый ряд лекций, относившихся не к изобразительному искусству, а к драматическому, об искусстве сценического движения, прочел бывший директор Императорских театров князь Сергей Михайлович Волконский; наконец, создатель истории русского искусства XVIII и XIX веков, барон Николай Николаевич Врангель, дорогой, незабвенный Кока, обаятельный циник, ученый без учености, значительный без значительности, саркастический и добрый, скептик и мистик, прекрасный оратор, но как бы с ноткой небрежности, обижавшей серьезных глупцов (для меня он был другом, какого встречаешь лишь раз в жизни; его смерть в 1915 году в Варшаве от болезни, схваченной на санитарной службе на фронте, создала для меня пустоту, которая не заполнилась в последующие вот уже скоро пятьдесят лет), — он в этом первом году читал о русской живописи XVIII века. Ко всем этим друзьям и сотрудникам обращается моя благодарная память о совместной работе и счастливых соединявших нас часах. Если позже, в тяжелые годы революции, когда нервы были напряжены и умы взбудоражены, у меня могли быть расхождения с одним или другим из них, то не это сохранилось в моей памяти, а лишь полные надежд первые шаги.

С этого времени Институт быстро развивался, несмотря на трудности первого года войны. Число преподавателей росло, библиотека пополнялась и работа хорошо шла. Я предвидел минуту, когда мое создание перерастет мои возможности, и понимал, что рано или поздно мне придется передать его в руки государства.

По прошествии нескольких лет Институт был признан юридически и преподаватели получили профессорское звание, но во всем остальном он пребывал моей личной собственностью. После февральской революции я получил от Временного правительства субсидию, которую оно так и не успело выплатить. После Октября все автоматически менялось: все состояния пошли на дым, дома были отчуждены. С другой стороны, в логике вещей было, чтобы эта революция, которая все обобществляла, поступила бы также и с моим Институтом. На этой логике я и построил свой план действий. Без всяких других формальностей я смотрел на себя, как на стоящее во главе Института должностное лицо нового правительства: я, так сказать, сам его у себя конфисковал. Я лично не видел, почему, если я работал с Временным правительством, я не могу работать с большевиками; с монархической точки зрения крамольниками были и те и другие; впрочем, монархистом я не был и поэтому чувствовал себя еще более свободным поступать так, как считал целесообразным *).

* В первом отрывке моих воспоминаний, о работе в Гатчинском дворце, напечатанном в «Новом журнале» (№ 61, сентябрь 1960, Нью-Йорк), я объяснил,

Положение, которое я себе создал в Комиссариате народного просвещения благодаря своей работе в Гатчинском дворце, и возможность во всякое время являться к Луначарскому, послужили мне и в отношении Института, а Институт, в свою очередь, служил мне предлогом оставаться хозяином в своем особняке. Я уже рассказывал, как, являясь с докладами к наркому, я завтракал за его столом и описал забавный беспорядок, царивший в этом «министерстве». В первые же дни, с помощью резинового штампа, я из клочка бумаги сфабриковал официальный документ, в котором было сказано, что именем Народного комиссара просвещения Институту истории искусств разрешается занять все здание по Исаакиевской площади № 5 и принять его в свое управление. Я не сомневался, что Луначарский эту бумажку подпишет; вопрос о том, имеет ли он право распоряжаться городскими зданиями, не имел значения. В ту минуту нарком был наркомом, резиновый штамп был резиновым штампом, и все, сколько их было, друг друга стоили. И если Институт в какой-то своей части существует и по сей день и находится в том же здании, то права его на это после сорока четырех лет все еще основаны на изготовленной мною бумажке.

За завтраком я дал ее Луначарскому подписать, а вернувшись домой, написал своему же управляющему официальное письмо за исходящим номером, что по приказу наркома просвещения я отчуждаю дом от прежних владельцев и поручаю ему дальнейшее управление, зачисляя его в состав служащих Института. К сожалению, я не смог долго сохранить его на этом посту, он был настолько растерян при новых обстоятельствах, что творил одни глупости и скоро стал мне обузой вместо помощи. Важно было то, что у меня в делах хранилось адресованное ему письмо, служившее доказательством совершенной реквизиции.

К счастью, я имел рядом с собой превосходнейшего начальника штаба, профессора Владимира Николаевича Ракинта, ученого секретаря Института с 1914 года. Он оставался со мной до 1922 года,

почему музейные работники, в том числе и я, не присоединились к забастовке чиновников прочих министерств. К сожалению, из-за сокращений, произведенных без моего ведома, картина пребывания в Гатчине Керенского в отрывке получила иную окраску, чем в моем первоначальном тексте (полный текст моих записок, на французском языке, хранится в Архиве русской и восточноевропейской истории и культуры Колумбийского университета, Нью-Йорк). Таким образом произошло искажение исторических фактов, под моим именем, что я не могу не отметить хотя бы только в этом примечании. Укажу на показания Бориса Ипполитовича Книрши (по ошибке я назвал его Борисом Федоровичем) напечатанные в «Красном архиве» № 2(9) за 1925 год. Они были даны перед чем-то вроде советской следственной комиссии, почему все принимал в них за чистую монету нельзя, но характеристика Керенского, данная Книршей, приблизительно совпадает с той, которая заключалась в моем тексте.

когда, не выдержав жизни в советской России, он эмигрировал, за три года до меня. С его помощью я перенес самые трудные бои; он часто перенимал заботы внутреннего управления во времена, когда, неся другие должности, я не мог всецело посвящать себя Институту. В 1956 году он скончался в Зальцбурге в восьмидесятилетнем возрасте и я навсегда сохраню о нем благодарную память.

Конфисковав дом моей семьи (мать и братья находились за границей), мне следовало быстро изменить его вид. Я создал новые аудитории, расширил помещения библиотеки, некоторые из служащих получили казенные квартиры. Не так-то легко было заполнить около восьмидесяти комнат, не считая огромных гостиных и бальной залы. Эти большие комнаты отапливались столетней давности воздушным, т. наз. амосовским отоплением, рассчитанным на колоссальное количество дров, и были необитаемы зимой, во времена, когда каждое бревно было на учете. Но именно эти-то помещения возбуждали особое вожделение разведчиков новых учреждений, росших как грибы, искавших здания, которые можно было бы реквизировать. Чтобы бороться с претензиями этих личностей, старавшихся доказать, что их учреждению этот дом гораздо нужнее, чем вам, нужно было иметь в запасе аргументы, казавшиеся логичными. Мы прикрепили к дверям отдельных зал, по правде сказать, громадной неиспользованной площади, громкие надписи, например: Большой зал совета, Малый зал совета, Актовый зал и т. д. Что же до инвентаря движимости, который я по логике вещей должен был бы после реквизиции составить, отдавая государству все, что мне и моим принадлежало, то этого я, разумеется, не сделал, ограничившись тем, что прикрепил к некоторым особенно кидавшимся в глаза предметам фиктивные инвентарные номера, и в течении семи лет никто об этом не спрашивал. Только перед тем, как я подал в отставку и уехал из России, я дал составить инвентарь, чтобы передать его моему преемнику.

Во все это голодное время я жил содержимым дома, обменивая вещи, главным образом материи, на продукты, привозимые в город крестьянами. Алчность крестьян к приобретению городских предметов приводила иногда к курьезным сценам; так я однажды нашел в какой-то кладовой маскарадный костюм в виде бабочки, — Бог его знает, кто и когда его носил; на талии сзади были крылышки, а юбка была тюлевая, как пачки балерины. Явилась крестьянка, кажется, из немецкой колонии по Шлиссельбургскому тракту, пришла в восторг от этого костюма, долго примеряла его перед моим большим тройным зеркалом и дала за него моей кухарке (она ведала черным рынком) несколько фунтов муки. Но уходя крестьянка не захотела снять костюм — и так и пошла балетной бабочкой по улицам Петербурга, — дело было летом. Благодаря подобным товарообменам, я не слишком страдал от голода и мог делиться с

друзьями. Мне кажется, что если с коммунистической точки зрения это было казнокрадством, то с точки зрения нормальных людей я был в своем праве.

Дом, хотя и приспособленный для нового назначения, оставался в моем распоряжении, я был в нем хозяином, — это был фокус, которого в таком масштабе, кажется, в советской России никто больше не проделал. Правда, в Москве было несколько коллекций, объявленных государственными музеями, прежние владельцы которых были оставлены директорами, но их здания были много меньше и не столь привлекали аппетиты. Что же до меня, то я находился в весьма опасном положении, усугубленном моим титулом, о котором пока что как будто забыли. Мне казалось, что я комендант крепости, осажженной огромной неприятельской армией. И мне приходилось иногда принимать решения, какие принял бы этот комендант, решения быстрые, и не считаясь с отдельными лицами.

Меня может быть спросят, и я сам себя спрашивал, вел ли я эту борьбу в течении восьми лет из эгоистических побуждений, чтобы, в частности, сохранить свое имущество? Положа руку на сердце, могу ответить, что эта возможность была совсем привходящей и последней моей заботой. Состояние мое и моей семьи не заключалось в одном особняке, оно находилось в совсем иных местах и испарилось при первом дуновении революционной бури. Меня это ни минуты не озабочивало. Я говорил себе, что было очень приятно, что оно было, за что благодарение богам, но раз оно исчезло, нечего о нем думать. Хотя бы и неудачный опыт улучшить судьбу человечества мог стоить пустяка частных интересов. Может быть в глубине души у меня и оставалось инстинктивное желание сохранить как можно дольше это семейное гнездо, бывшее теперь лишь символом; я сохранял и свои личные помещения, что было огромным в то время преимуществом. Они были не очень обширны, я в них соединил лучшие предметы дома, что придавало им странно пышный вид. Я сохранял свою ванную комнату, меньше мерз, чем большинство жителей столицы, и, что было наибольшей наградой, я был окружен учениками и сотрудниками, составлявшими большую семью. Институт был для них в эти дни скорби и голода духовным центром и социальным убежищем. Мы помогали друг другу нести все тяготы времени. В течение восьми лет это был оазис в умственной пустыне, безнадежность которой ничто не может описать. Сотни лиц, которым вне наших стен угрожало физическое и нравственное оскудение, находили себе здесь духовную пищу и занятие, составлявшее их забывать повседневные заботы, везде осаждавшие до тошноты. Здесь, погружаясь в научные и художественные интересы, они отрывались от ужаса, царившего снаружи, забывали о крови, которая там текла. Насколько люди чувствовали это счастье, доказывает то, что в городе, годами лишенном средств передвиже-

ния, многие студенты, жившие в расстоянии часа ходьбы и даже больше, по два раза в день приходили в Институт, что составляло для них больше четырех часов ходьбы.

Как во всяком учреждении подобного размера (Институт насчитывал в 1925 году около тысячи студентов и приблизительно сотню профессоров, доцентов и иных научных сотрудников), не обходилось без интриг и всяких разногласий, но это явления неизбежные, в особенности на Руси, где всегда любили поедом есть друг друга, да еще в такое бурное время, как годы революции, когда один день не походил на другой. Что касается меня, то я признал новое правительство и в качестве директора Гатчинского дворца, и в качестве ректора Института. В отношении последнего я действовал единолично. Когда я собрал Совет профессоров, среди которых были не только музейные деятели, поступавшие все, как я, но и другие лица, и предложил официально войти в контакт с новой властью, я встретил сопротивление. Это было время, когда здания разных министерств еще были заняты прежними чиновниками, не впускавшими представителей «Временного рабоче-крестьянского правительства», как именовали себя тогда большевики.

Мне удалось добиться от своих коллег, что Институт пока что будет оставаться нейтральным. Впрочем, я нисколько не считался с этим платоническим постановлением и продолжал действовать, как единственный представитель Института, ведя переговоры с Комиссариатом просвещения, несмотря на то, что на наших бланках еще стояло «Министерство народного просвещения». События оправдали мои действия и сопротивление погасло в Институте, как и везде.

За захватом власти большевиками последовала эпоха создания новых учреждений и расширения прежних; огромные суммы кидались на ветер, никто их не считал, это были только бумажки. Разумеется, я воспользовался минутой, чтобы дать Институту максимум возможного. Я покупал целые библиотеки, делая этим в то же время доброе дело для людей, которые могли жить только продажей своего имущества, — и, конечно, я оценивал покупаемое как можно выше. Я добивался передачи мне библиотек уже конфискованных, часто после предварительного соглашения с прежними владельцами, которые таким образом знали, что их книги в сохранности; они могли надеяться получить книги обратно, если времена переменятся, в чем большинство их было твердо убеждено. Я увеличил число служащих, благодаря чему разоренные люди получали средства к существованию; кроме того, это давало общественное положение людям, которые иначе рассматривались бы, как лишены, хотя этот термин тогда еще не был в ходу, — это были те буржуи, про которых Зиновьев говорил, что им довольно одного запаха хлеба. Другой способ спасения — запись в студенты, что я

сделал для некоторых священников, которые таким образом законспирировались. Среди них был, между прочим, униатский священник отец Леонид, бывший секретарь архиепископа Львовского, кардинала Шептицкого, впоследствии сам епископ, которого потом сгноили в Сибири, и вопрос о канонизации которого несколько лет назад был поднят в Риме, но, кажется, оставлен. Студенты сверх того в течении некоторого времени получали даровые обеды и «продукты питания», как звучал несбдуманно созданный термин. Разумеется, все прежние служащие моего дома перешли на службу в Институт в качестве сторожей, уборщиц и т. д., что позволило мне сохранить в течении нескольких лет моего камердинера.

Главным моим делом было создание трех новых отделений, собственно говоря трех новых институтов, сыгравших значительную роль в интеллектуальной жизни эпохи. Институт до тех пор был посвящен только изучению истории изобразительных искусств. На протяжении трех лет я создал отделения истории музыки, театра и словесных искусств, т. е. литературы, рассматриваемой исключительно с точки зрения формы.

Теперь удалось придать Институту тот характер, который мне представлялся при его создании и который на первых порах в силу вещей осуществить было нельзя. Было установлено, что он в первую очередь учреждение научно-исследовательское (я слышал, будто после моего отъезда он был переименован в академию), а не высшее учебное заведение, «вуз». Главной его целью стали индивидуальные и коллективные труды его членов, читаемые и обсуждаемые в заседаниях отделений и печатаемые в присоединенном к Институту издательстве «Академия». Это когда-то частное издательство, которому грозила конфискация, я принял под крылышко Института и тем самым удержал на месте прежнего владельца; если не ошибаюсь, его звали Короленко; он стал государственным служащим. Это издательство, по крайней мере издательство того же имени, существует и сейчас.

К чисто научно-исследовательскому учреждению было присоединено высшее учебное заведение с четырьмя факультетами, соответственно отделениям Института. Все это управлялось мною в качестве председателя Института; каждое отделение имело своего председателя, ВУЗ своего ректора, Адриана Пиотровского, сына профессора Фаддея Францевича Зелинского, факультеты своих деканов. Принадлежа к отделению изобразительных искусств, я не входил во внутреннюю жизнь других отделений и мои сношения с ними ограничивались административными вопросами. Их председатели входили в Совет, собиравшийся под моим председательством.

Я очень стар и мне изменяет память на имена и лица, поэтому в моем рассказе неизбежны пробелы. К сожалению, у меня нет книж-

ки, изданной в 1922 году к десятилетию Института, в которой был дан подробный отчет о составе и деятельности всех четырех отделений. Расскажу кратко, что помню.

Во-первых, самое старое отделение — изобразительных искусств; в состав его входили (за полноту и имена-отчества не ручаюсь): академики Сергей Федорович Ольденбург и Бартольд, первый по буддийскому, второй по мусульманскому искусству, С. Елисеев по дальневосточному искусству, Василий Васильевич Струве по египтологии, Оскар Фердинандович Вальдгауэр по искусству классической древности, Джемс Альфредович Шмидт, Иван Иванович Жарновский, Владимир Николаевич Ракин, Владимир Александрович Головань, Евг. Лисенков, Николай Эрнестович Радлов и я по западноевропейскому искусству, Василий Тимофеевич Георгиевский и Леонид Антонович Мацулевич по древнерусскому искусству, Владимир Яковлевич Курбатов по русской архитектуре XVIII и XIX вв., Дмитрий Власевич Айналов по византийскому искусству, Николай Онуфриевич Лосский и Иван Иванович Лапшин по эстетике. Они же были профессорами ВУЗ'а. Кроме них там читали доценты, которых всех не упомяну; назову Александра Александровича Починкова (он же был и старшим библиотекарем Института), Елену Константиновну Мроз, Бориса Павловича Брюллова, передавшего Институту свою библиотеку, О. Константинову, Александра Александровича Зилоти, читавшего о технике живописи, и М. В. Доброклонского, Рудольфа Рудольфовича Беккера; других не припомню.

Отделение изобразительных искусств издавало Ежегодник, по тому времени казавшийся роскошным. Это было заслугой Владимира Николаевича Ракина, сумевшего вытащить из бывшей типографии Голике и Вильборг прекрасную бумагу. Ежегодник содержал статьи наших членов, относившиеся почти ко всем областям нашей науки. К сожалению, вышло только два выпуска: со слишком большими трудностями было сопряжено тогда издание такого стиля.

Другой задачей нашего отделения было образование артели художников для писания факсимильных копий со средневековых фресок русских церквей, то, чем потом стали заниматься и другие учреджениа, также и на Западе. У нас было написано много копий с новгородских фресок; не знаю, где они сейчас находятся, но после разрушения немцами новгородских церквей они составляют важный документ, воспроизводя в натуральную величину, в точных красках и со всеми трещинами, выпадками и т. д. состояние памятников в момент съемки, чего даже лучшая цветная фотография (как они редки!) дать не может.

Кроме того, наши сотрудники работали в Новгороде, производя архитектурные обмеры церквей. В мое время была обмерена цер-

ковь Параскевы Пятницы. Не знаю, что было сделано после меня, и где эти работы хранятся.

Я предполагал, как только общие условия позволят, приступить к составлению критического инвентаря всех художественных памятников России; этот проект был мною задуман в первый момент основания Института в 1910 году, но мне не пришлось увидеть его осуществленным. Слишком мало времени протекло от открытия Института до начала войны 1914 года и слишком велики были трудности в первые годы революции.

Наконец, другой давний мой проект — открытие отделения Института в Италии, в Риме или в другом городе, — мне удалось провести на бумаге через все правительственные инстанции, но тогда это было химерой и, конечно, до фактического осуществления не дошло. Да и представил я проект скорее для того, чтобы посмотреть, до какого абсурда я могу довести комиссариат.

Отделение истории музыки, по моим сведениям и сейчас еще здравствующее в том же доме на Исаакиевской площади № 5, состояло под председательством Асафьева (Глебова); из членов припоминаю Штейнберга, Евгения Браудо, Каратыгина. . . Да простят они мне, имен-отчествов не помню. Почетными членами были Глазунов и Гречанинов. Это отделение печатало в нашем издательстве многочисленные труды и устраивало исторические концерты. Под конец оно занялось пропагандой новейшей для того времени музыки. Помню концерт в зале бывшей певческой капеллы, где были кошки (уже тогда!) и камерный концерт обаятельной певицы Зои Лодий.

Отделение истории театра обязано было своим возникновением инициативе и энергии Владимира Николаевича Ракинта. Во главе его стоял Гвоздев, из членов припоминаю: Сергея Эрнестовича Радлова, Всеволода Всеволодского-Гернгросса, испановеда Тхоржевского, Константина Миклашевского.

Это отделение было чрезвычайно деятельно в отношении издания как своих трудов, так и переводных. Кроме того, Всеволодский-Гернгросс вступил в него, принеся с собой где-то ранее составленную библиографическую картотеку по истории русского театра, которую тут стали с чрезвычайной энергией и быстротой развивать. Ей было отведено особое помещение, где работа кипела. В бывшей бальной зале был устроен опытный театр. Там давались реконструкции старинного театра и опыты самых новейших инсценировок, с дискуссиями. Сергей Эрнестович Радлов, у которого была своя драматическая школа, этим руководил. Лозунгом его школы было: «Первые двадцать лет трудно».

Отделение истории словесных искусств требует наибольших объяснений. Уже до войны 1914 года в России начал обрисовываться иной подход к литературе, чем тот, которому нас учили в школе.

Интересовало не содержание, а исключительно форма. Ряд исследователей занимался этими вопросами, и мысль о создании объединяющего центра носилась в воздухе, нужен был только толчок. Однажды вечером, не помню точно, в каком году, я был у Тамары Жуковской-Миклашевской-Красиной на Пушкинской улице. Тут же был Виктор М. Жирмунский; новорожденная дочь наркома Красина, Татарка, лежала в колыбели. Разговорились о формальном методе в литературе; я сказал Жирмунскому: «Давайте устроим с вами отделение словесных искусств в моем институте». Сказано — сделано: через короткое время отделение было на ногах. Я лично симпатизировал этому подходу к литературе, видя в нем родство с тем, который был моим в истории изобразительных искусств. Не будучи специалистом в этой области, я, конечно, ограничился этим первым импульсом, а затем отделение развивалось и жило собственной жизнью и не только достигло значительных научных результатов, но имело также влияние на литературное творчество того времени. Поэты и писатели участвовали в нем наряду с учеными, и таким образом наука и искусство взаимно друг друга обогащали. В качестве интересного опыта упомяну Кабинет изучения художественной речи (который студенты быстро окрестили варварским словом «Кихр»). Там голоса поэтов регистрировались на цилиндрах фонографа, которые затем вертелись медленным темпом в соответствии с надобностями анализа.

К сожалению в этом методе, к которому Наркомпрос сначала относился с благоволением, правительство впоследствии усмотрело противное догматам марксизма духовное направление. Уже в последние месяцы моего пребывания в России (я ее покинул летом 1925 года) возникали некоторые трения по этому поводу, а позже словесное отделение, объявленное гнездом буржуазного мировоззрения, создало опасность для существования всего Института. Впоследствии я читал в иностранных газетах, что формальный метод был официально осужден партией и ученые, ему следовавшие, должны были публично каяться и заявлять о своем невежестве и ошибках.

Председателем отделения был Виктор М. Жирмунский; из членов помню Мирона Жирмунского, двоюродного брата Виктора, Эйхенбаума, Виктора Шкловского, Михаила и Григория Леонидовичей Лозинских, Модеста Гофмана, известного сиолога Алексеева, Нестора Котляревского, Николая Степановича Гумилева, В. В. Томашевского, Юрия Тынянова; студентами были тогда, ставшие впоследствии известными, Николай Аркадьевич Коварский и Веньямин Каверин. Конечно, и это отделение много печатало, что не обходилось без цензурных курьезов. Например, напечатали книжку, в которой Бог был с большой буквы, — цензура не пропускает. Надо, значит, уничтожить весь набор. Думали, думали, —

решили в опечатках пометить: «Бог след. чит. бог». Христос и Иисус должны были писаться с маленькой буквы, а за одно и Пилат. Другой раз в какой-то переводной книге было сказано, что негры неспособны к музыке. Так это или не так, вопрос другой, но цензура обиделась за негров. Не помню, чем это кончилось.

Революция перевернула вверх дном среднее образование и правила доступа в ВУЗы. Я видел, что молодежь, пополнявшая ряды наших студентов, с каждым годом становится все менее подготовленной к такой специфически гуманитарной науке, как наша; обтесывать ее приходилось уже в наших стенах. Мне казалось, что если мне удастся добиться согласия на открытие при Институте одной на всю страну классической гимназии с обоими древними языками и преобладанием гуманитарных предметов, мы через несколько лет будем иметь более пригодных для наших целей слушателей. Я представил проект, указывая, что этот рассадник будет таким небольшим, что на общее среднее образование в государстве он влияния не окажет. Вот что мне ответили: «Сегодня нет, завтра может быть. Мы, как марксисты, следуем диалектической системе: то, что сегодня кажется нам неприемлемым, завтра может показаться желательным». В 1952 году я читал, что в Советском Союзе основано тридцать школ с преподаванием латинского языка; живы ли они по сей день, не знаю.

Хочу рассказать анекдот, к Институту относящийся лишь тем, что он имел место в его здании. Это картинка петербургской жизни в первые недели большевистской власти. Я в то время еще был в Гатчине и в Петербург наезжал лишь от времени до времени; меня в Институте заменял В. Н. Ракинт. Железные дороги находились в печальном состоянии, иногда на проезд сорока верст от Гатчины до столицы приходилось терять несколько часов. В Петербурге возникла неожиданная опасность: чернь начинала громить винные погреба дворцов, частных домов, виноторговцев. Лозунг «грабь награбленное», брошенный партией до прихода к власти, продолжал действовать, к большому смущению правительства. Толпа считала себя в праве следовать ему буквально. Вино, эта вершина экономических чаяний нашего народа, вызвало движение по направлению к погребам. Правительство отдавало себе отчет в опасности: нельзя было предвидеть, к чему могло привести поголовное пьянство. Необходимо была героическая мера, и она была принята, несмотря на тяжелую материальную жертву. Правительство сначала надеялось обменять на заграничную валюту драгоценные запасы вина, находившиеся главным образом в погребах Зимнего Дворца, да и во многих других, но в виду угрозы со стороны толпы решило уничтожить все содержимое погребов города. Для начала затопили погреб Зимнего Дворца, — напрасно, толпу это не смутило: вырывая решетки подвальных окон, толпа ныряла в ледяную воду (стоял

ноябрь), чтобы выудить несколько бутылок; были утонувшие. На улицах за дешевку продавали самые высокие сорта. Этот опыт был решающим: войскам был дан приказ систематически уничтожать вино во всем городе. Производилось это следующим образом: отряд требовал открытия погреба, или взламывал его, и во дворе разбивал бутылку за бутылкой, выливая содержимое в снег. Каждый красноармеец имел право взять одну бутылку, не больше.

Как-то вечером, когда я был в Гатчине, по телефону мне дали знать, что войска окружили мой дом и собираются уничтожить содержимое погреба. Своего вина у меня было мало; за годы войны, когда не было привоза из Франции, мы с братом успели допить остатки, кроме небольшого числа очень ценных бутылок. Но двое друзей, предполагая, что дом Института, как государственного учреждения, был застрахован, просили меня приютить в моем погребе ящики, содержавшие несколько тысяч бутылок лучших вин. Они там находились всего несколько дней.

„Infandum regina jubes renovare dolorem“! Сердце всякого любителя вина обольется кровью при дальнейшем рассказе. В Гатчине среди членов партии и представителей Красной армии у меня были не только враги: были и такие, с которыми у меня установились добрососедские отношения, иногда они приходили к моему столу. Извещенный по телефону, я сразу подумал о молодом, очень влиятельном в партии офицере, товарище Левинсоне, человеке необычайной храбрости, истинном герое гражданской войны, типе библейского Маккавея. Он жил во дворце. У меня явилась мысль поехать с ним в Петербург и, пользуясь его авторитетом, остановить разрушение, конечно, предоставив ему часть добычи. Но время было позднее, поездов на Петербург больше не было, — Левинсон предложил потребовать локомотив. Однако, мной овладела преступная лень; в этот вечер я был очень усталым и решил положиться на судьбу в надежде, что, может быть, на следующее утро будет еще не поздно — и я был прав. С первым утренним поездом мы отправились в город. Но вот где настигло несчастье: перед самым Петербургом поезд остановился и простоял часа два, что тогда случалось часто. Подъехав к Институту, мы вдохнули одуряющие запахи, снег во дворе был цвета крови и покрыт морем битого стекла. Как я и предполагал, солдаты накануне вечером ушли, найдя, что уже поздно, и вернулись утром. За четверть часа до нашего прибытия они разбили последнюю бутылку. . .

С ростом Института ему становилось тесно в доме на Исаакиевской площади и нам удалось реквизировать дополнительно еще дом графини Паскевич на Английской набережной, где в парадных комнатах находились весьма ценные коллекции, сохранность которых таким образом была обеспечена. Хранителем нашего музея стал М. В. Доброклонский. Из хозяйственных предметов я кое-что про-

дал и деньги препроводил старушке графине, проживавшей в бедственном положении в бывшем ее имении на Украине. К сожалению, я не мог этого продолжать: в избытке чувств она прислала мне по почте благодарственное письмо, что могло мне стоить головы.

Со времени переезда правительства в Москву, мне часто приходилось ездить туда по делам Института. Советская бюрократия разрослась до пропорций невообразимых при старом режиме, а это много значило. У меня было впечатление, что вертится огромное бумажное колесо, похожее на колесо парижской всемирной выставки или венского Пратера, вертится впустую без цели и результата. Всякая административная инстанция немедленно порождала две новые, с которыми нужно было «согласовать» данный вопрос, а эти две порождали каждая еще две, и так без конца, как головы гидры. К тому же бумаги, которые я привозил, неизменно терялись по пути их передвижений из одной канцелярии в другую, так что я скоро научился брать их с собой по меньшей мере в шести экземплярах. Как только я замечал, что след бумаги потерян, я пускал её в догонку другую, и так по несколько раз. Как-то случилось, что один экземпляр вернулся с положительным решением, а другой с отрицательным.

Что же до главы, т. е. до Луначарского, то он становился все рассеянее, труднее доступным и боязливым, не желавшим больше принимать никакой ответственности. Мне кажется, он чувствовал, что его кредит все больше падал. Удивительно, что при этих обстоятельствах мне удавалось достигать того, чего я достигал.

Условия жизни в Москве для приезжающего извне были чрезвычайно тягостны, жилищная нужда такова, что по несколько семей ютились в одной комнате. Людям отводили не комнаты, а квадратные метры; счастливы были те, что могли выделить свою «жилплощадь» перегородками, как бы тонки они ни были. Бывали случаи, что изолировались в платяных шкафах. Лишь несколько профессий, между прочим ученые, имели право на несколько дополнительных квадратных метров и отдельную комнату.

Приезжавшим в Москву по служебным делам отводили помещение в какой-нибудь бывшей гостинице, совершенно запущенной, грязной и неотапливаемой среди зимы. Однажды с В. Н. Ракинтон мы провели неделю в таком месте и спали на одной постели в шубах, второй постели в отведенной нам комнате не было. Кто раз попробовал подобного пристанища, предпочитал сам искать себе убежище у друзей, или у друзей друзей. Кое-как удавалось пристроиться на несколько ночей, но нужно было заботиться о топливе. Раз мне пришлось на спине протащить через всю Москву, останавливаясь каждые двадцать шагов для отдыха, большую связку дров, отпущенную мне по ордеру Наркомпроса. В последние годы моего пребывания в России я пользовался гостеприимством коллеги, профес-

сора Московского университета, обладавшего дополнительной командой. В покинутом властью Петербурге условия жизни были несравненно лучше.

В 1922 году я на четыре месяца попал в тюрьму, о чем расскажу в другом месте. Несмотря на то, что меня выпустили с уверениями, что доверие ко мне не поколеблено, я все же чувствовал, по всяким мелким пакостям, мне чинимым, что почва у меня под ногами начинает колебаться. Несколько месяцев спустя я женился и решил отправиться в заграничное путешествие. Восемь лет я не выезжал из России, хотелось подышать другим воздухом. В качестве председателя Института я сам себе дал, под предлогом научных работ, заграничную командировку на шесть месяцев, которую подтвердил Наркомпрос. Я получил паспорта для жены и себя и в начале ноября 1923 года мы отплыли на пароходе в Штетин.

В мое отсутствие несколько лиц, чувствуя, что мое положение поколеблено, стали стараться сесть на мое место. Они предполагали также, что, оказавшись снаружи, я не захочу возвращаться в советский рай. Завязались всякие интриги; известия, доходившие до меня, сообщали о всяких гадостях, творимых за моей спиной.

День в день через шесть месяцев я был дома, к великому разочарованию этих лиц. Тут интриги удвоились: был заключен союз между некоторыми из моих коллег, студентами-коммунистами и коммунистами петербургских органов Наркомпроса. Общее положение сильно изменилось со времени моего отъезда. Революции быстро меняют свой облик; находящимся внутри это менее заметно, чем тем, что возвращаются извне. Шесть месяцев — большой срок, а за эти шесть месяцев произошли важные события. В мое отсутствие умер Ленин, введенный им НЭП, принесший было значительные облегчения общего характера, начинал сходить на нет, скоро предстояла его ликвидация.

Климат был другой, — да и я, испорченный пребыванием за границей, в атмосфере безопасности, потерял прежнюю гибкость, сделал несколько тактических ошибок и наконец убедился, что лучшее, что мне осталось, это подать в отставку, посадив на свое место человека по моему выбору, и уехать обратно за границу. В противном случае рано или поздно я рисковал бы головой. Мое присутствие в России потеряло смысл: я оставался там для службы стране несмотря на коммунизм и отдавал себе отчет, что в некоторой степени я был ей полезен, — а рикшетом и правительству, для которого, впрочем, личных заслуг не существовало. Не имея больше возможности служить России, я не собирался оставаться там для прекрасных глаз большевиков.

Сегодня я вижу, что ряд фактов, приведших к моему отъезду, был для меня благодетелен. Даже если бы мое положение не было поколеблено, через несколько лет я стал бы в решительную оппози-

цию действиями правительства, когда оно, в 1928 году, начало массовое разбазаривание русского художественного достояния и когда лучшие предметы музеев и дворцов стали продаваться за границу. Как я себя знаю, я начал бы громко ругаться, а чем бы это кончилось, легко себе представить.

Точка зрения правительства впоследствии была мне объяснена за границей одним должностным лицом, посланным по делам продажи предметов искусства. «Советское государство, — сказал он, — не национальное государство, а в теории ядро всемирного союза советских республик. Поэтому нам безразлично, будет ли какое-нибудь произведение искусства находиться в России, в Америке или еще где-либо. Деньгами, которые нам буржуи платят за эти предметы, мы произведем мировую революцию, после чего возьмем их у буржуев обратно». Может быть правительствам, ведущим торговлю с коммунистами, следовало бы задуматься над подобными словами. Продажа музейных объектов из России давно прекратилась; все, что было выручено тогда, было каплей воды в море, — а сколько ценностей было разбито и попорчено при безобразных способах перевозки! С тех пор добыча золота в России стала такой, что эти крохи коммунистам больше не нужны, но вред причинен непоправимый. После 1945 года в Россию было перевезено очень многое из немецких музеев, в том числе вся Дрезденская галерея. Это сторицей возместило бы за ушедшее, но позже, как *captatio benevolentiae* восточных немцев, все было возвращено.

Мне удалось выключить всех стремившихся заместить меня во главе Института и посадить на мое место профессора Харьковского университета, византолога Федора Шмидта, человека исключительной гибкости. При нем на Украине сменилось что-то вроде двадцати двух правительств и со всеми он был в хороших отношениях. «Вот человек, который мне нужен на том трудном повороте, на котором стоит Институт», — сказал я себе. Кажется, было 15 января 1925 года, когда я подписал последний приказ по Институту, сообщавший о поданной мною и принятой комиссариатом отставке и о передаче моей должности профессору Шмидту. Я еще оставался членом Института и продолжал преподавание до дня, когда летом того же года мой преемник дал мне новую заграничную командировку и я 16 июля покинул Россию. Уезжая, я еще не совсем решил, вернусь ли я, но силой вещей этот отъезд стал окончательным. Моя общественная роль была кончена и я вернулся в частную жизнь.

Одним из упреков, выдвинутых против меня со стороны коммунистов, было, что я в науке и преподавании не следовал марксизму. Честно говоря, могу утверждать, что не понимаю и не знаю, как это в отношении истории искусств можно сделать. Те, кто утверждают, что они проводят марксизм в нашей науке, лишь выкидывают акробатические фокусы и не искренни. Я мог бы взять за исходную

точку старый художественный материализм середины XIX века, как его сформулировал Готфрид Земпер, выведивший все художественные формы из материала и техники. Это все же была научно построенная доктрина; может быть, временно она была бы принята, но это не было марксизмом. Мне же претило преподавать теорию, которую я не разделял. Что же до марксизма, который стремится объяснить всякое выражение духа, — виноват, мозга, — как надстройку над экономической эволюцией, то он в применении к художественному творчеству ставит непреодолимые трудности.

О положении Института в данное время я осведомлен отрывочно. Знаю, что его музыкальное отделение живо и находится в том же доме; что словесное давным давно скончалось; а что стало с изобразительным и театральным, не знаю, но изобразительного в Петербурге больше нет. Не знаю также, что стало с библиотекой и всем научным аппаратом. Зато знаю, что на лестнице, где прежде стоял бронзовый Меркурий, копия с Джованни Болонья, сейчас стоит золоченый гипсовый Ленин.

ГАЙ РЕПИН

ПЕНАТЫ

Эти воспоминания о Пенатах, где И. Е. Репин провел последние тридцать лет своей жизни, относятся к моим детским и юношеским годам. Наблюдая жизнь в Пенатах и воспринимая ее тогда ребяческим умом, я, конечно, от многого и важного оставался в стороне.

Несмотря на это, я все же решаюсь писать о Пенатах, в надежде, что рассказанные мною со всей объективностью небольшие эпизоды из жизни И. Е. Репина в Пенатах, может быть до некоторой степени наивные в своей простоте, помогут читателю дополнить образ одного из самых больших русских художников.

Пишу я об этом, уже будучи слепым и прикованным к больничной койке. Виною этому была война. Вызванные ею нервные потрясения, переутомление, недоедание настолько подорвали мое здоровье, что я вынужден был лечь в больницу и потерял зрение. И только забота окружающих меня друзей и своевременно присланный из Америки газетой «Новое русское слово» кортизон спасли меня от смерти. Я пользуюсь случаем, чтобы всем, помогавшим и помогающим мне, выразить свою горячую благодарность.

Терпеливое и любезное участие друзей позволило мне выполнить эту работу. За нее я особенно благодарю г-жу Христину Ф. Громан, под мою диктовку записывавшую и не раз переписывавшую эти воспоминания.

1

Задолго до того, как была проложена железная дорога в Финляндию, началось заселение русскими северного берега Финского залива. Уже Петр I в устье пограничной реки Сестры основал не-

Печатается с сокращениями (Ред.) Copyright by autor.

большой городок Сестрорецк с оружейным заводом. До сих пор под Сестрорецком на песчаной косе Лисий нос стоит дубовая роща, посаженная самим Петром Великим.

Заселение шло вдоль Выборгского шоссе. Земля по обе стороны шоссе была разделена на небольшие участки, которые быстро раскупались; на участках строились дачи, разбивались сады, парки: русские семьи приезжали сюда на лето. Близость Петербурга, удобное сообщение, белые ночи, песчаный пляж и сосновые леса способствовали быстрому заселению.

За дачниками потянулись рабочие, купцы, мастеровые. Открывались магазины, склады, мастерские; строили церкви, школы, театры, спортивные площадки. Финское население любило дачников: они хорошо платили. И финны охотно шли на службу к русским и выгодно продавали им молоко, рыбу, ягоды, грибы: местное население жило за счет дачников.

По совету Н. Б. Нордман Репин тоже решил обосноваться здесь. В 1900 году, в 45 километрах от Петербурга, недалеко от станции Куоккала, он купил участок земли с небольшой дачкой, построенной местным финном. Участок в три десятины, поросший лесом, одной стороной упирался в шоссе, за которым метрах в трехстах шумело море — Финский залив.

Небольшой домик, ставший основанием известного дома-музея, не отвечал требованиям художника: был тесен, темен и не имел верхнего света, без которого жизнь Репину казалась невыносимой. И Репин немедленно приступил к перестройке. Прежде всего была снесена крыша и воздвигнута новая, с верхним светом: получилось небольшое ателье, занимавшее весь верх домика. Затем из толстых бревен были срублены дворницкая и конюшня с сеновалом под высокой общей крышей, построены каретный и дровяной сараи. Дворник колол дрова, носил воду, топил печи, подметал дорожки, полыл и поливал клумбы.

Он же ухаживал за лошадью, закладывал ее в коляску или сани и ехал на станцию к поезду, чтобы встретить барина. Барин приезжал все чаще и скоро стал проводить здесь все свободное от работы и от занятий в Академии художеств время. Этому способствовал приезд Н. Б. Нордман, тоже поселившейся в Пенатах.

2

Дом перестраивался без заранее обдуманного плана, по частям, по мере надобности. Два плотника, Михайла с братом, годами были заняты перестройкой, пристройками и надстройками и старались изо всех сил угодить хозяину.

Михайла, крестьянин Новгородской губернии, отправившись на

заработки, попал в Пенаты. Принятый им подряд, снести старую крышу и возвести новую, с верхним светом, он выполнил с большой ловкостью. Многие находили, что его конструкция стропил, балок и подпорок отличалась простотой и большим остроумием. С тех пор все плотничьи работы стали поручаться Михайле. Прорезать ли венецианское окно в столовой, поднять полы в доме, срубить бревенчатую пристройку или просто сколотить ящик — все поручалось Михайле. Работа его отличалась прочностью и точностью. Он виртуозно владел топором; аршин, отвес, пила, топор были единственными инструментами, которыми он пользовался.

В картузе, с толстой цепочкой от часов на постоянно расстегнутом жилете, в больших сапогах с торчащим из голенища аршином, Михайла был похож на типичного подрядчика. Морщинки в углах глаз и немного отвисшая нижняя «медвежья» губа придавали его рябому лицу лукавое и задорное выражение. Находчивый и хитрый, он быстро раскусил своего барина: поняв, как важно сохранять хорошие отношения с ним, он ни в чем ему не перечил и со всем соглашался. Он мог беспрекословно по пять и более раз переделывать одну и ту же вещь или часть дома, хотя и знал, что работа напрасна.

Мне, мальчику, часто приходилось быть свидетелем этой «гармонии взаимоотношений». Вот Михайла, стоя на длинной приставной лестнице под самым карнизом крыши, с деревянным орнамент-щитком в руках над головой, кричит стоящему внизу дедушке, в бархатном берете цвета золотистой охры:

— Илья Ефимович, хорошо так?

Дедушка, приглядываясь, отвечает:

— Чутьочку влево и выше! Еще, еще. . . Так, хорошо! Прибивай!

— А не очень ли высоко, Илья Ефимович? — пытается советовать Михайла.

— Тоже, сказал, высоко. Говорю хорошо, прибивай!

Михайла загоняет в центр щитка пятидюймовый гвоздь. Спустившись не торопясь вниз, он смотрит на барина. Барин молчит, глядя наверх. Михайла отходит в сторону, скручивает из газеты и махорки козью ножку, закуривает.

— А ты прав, Михайла, — после некоторого молчания говорит дедушка. — Надо было ниже.

— Можно и ниже, — спешит согласиться Михайла. — Как прикажете, так и будет. Оторвать?

Сколько раз отрывали и прибивали выше и ниже украшения, неизвестно. Могут только сказать, что кто бывал в Пенатах, мог заметить, что из середины многих щитков торчали наполовину забытые гвозди. Это значило, что барин не мог найти окончательного решения.

Беспорядочная стройка сильно отразилась на внешнем виде дома: он был похож на сложное сооружение из дерева, стекла и белого железа, из теснящихся друг к другу и громоздящихся один на другой выступов, углов, веранд, балконов. Каждая новая часть окрашивалась в иной цвет, так что дом был всевозможных цветов и оттенков, начиная от мягких светло-розовых и кремовых до кирпично-красного, черного и темнокоричневого. Не было двух одинаковых окон и дверей: все разные. Отсутствие симметрии и последовательности было полным: в доме ничто не повторялось. И над всем высилась крыша из стекла и белого железа, состоящая из целого ряда призм, конусов и пирамид. Вдобавок, на одной из призм — черный стилизованный силуэт летучей мыши, с распростертыми крыльями.

На гребне-грани другой призмы — вышка, в виде небольшого капитанского мостика. Остроконечные верхушки конусов переходили во флюгера или в торчащие вверх пучком громоотводы; на одной из пирамид вращалась Эолова арфа. Все вместе взятое придавало дому фантастический вид.

В то же время шла упорная работа в саду: поросший лесом участок постепенно превращался в живописный сад. Артель землекопов вырыла большой и несколько малых прудиков; этой же землей были повышены низменные места сада. Расчищались площадки, прокладывались дорожки, сажали фруктовые деревья, аллеи, живые изгороди. У дома появились кусты сирени и роз, клумбы с цветами; в глубине сада — вышка, три беседки, через пруды были переброшены два мостика. На пруду — белая лодочка.

Все это стоило больших денег, но Репин любил Пенаты и средств не жалел.

В одну из своих поездок за границу, в конце девяностых годов, И. Е. Репин познакомился с дочерью шведского адмирала Натальей Борисовной Нордман-Северовой. Встреча в Италии с молодой писательницей быстро перешла в дружбу, а последняя в негласный роман. И хотя в обществе они продолжали быть на «вы» и называли друг друга по имени и отчеству, об их интимной связи все знали. Репин был сильно ею увлечен, об этом свидетельствуют многочисленные ее портреты (Нордман за роялем, Нордман на балконе, Нордман за работой во Флоренции, Нордман в саду), альбом рисунков (нередко очень откровенных), как и частые их поездки за границу — во Францию, Австрию, Швейцарию, Италию. Репин был в восхищении от нее и исполнял все ее затеи — и инициатива в Пена-

тах перешла всецело в руки Н. Б. Нордман. Она была режиссером — Репин финансировал.

Судя по портретам и рисункам первого времени их знакомства, ей было лет тридцать, вряд ли тридцать пять. Образованная, энергичная, уверенная в себе, несмотря на некоторую холодность в обращении с другими, она производила впечатление мягкого и добросердечного человека. Проповедуя гуманность, идеи равенства и братства, справедливости и добродетели, Нордман, соприкасаясь с жизнью, старалась быть не только глашатаем этих идей, но и воплощательницей их. Она была строгой вегетарианкой и членом «Общества покровителей животных».

Помню, когда она садилась в коляску, кучер Язя вел себя необыкновенно шумно. Он кашлял, несколько раз приветствовал барыню, барабанил кнутовищем по передку, — все это для того, чтобы лошадь не услышала голоса Нордман, которая не разрешила пользоваться кнутом. Кобыла «Люба», хорошо знавшая свою добрую хозяйку, по голосу определив, кого везет, отказывалась бежать и шла шагом. И хотя ее поведение означало опоздание на поезд и потерю целого дня, Нордман не соглашалась, чтобы Язя взялся за кнут.

Н. Б. Нордман была носителем идей сближения интеллигенции с народом и проповедницей «себепомощи». Для облегчения работы прислуги, в Пенатах, где была полноправной хозяйкой, она требовала, чтобы прислуга ела за одним столом с хозяевами и строго соблюдала часы отдыха. Для помощи домашней прислуге покупала разные технические новинки — пылесос, стиральную машину и т. д. В то время они не отличались совершенством и были мало практичны, — тем не менее, на них тратили большие деньги.

Вряд ли читатель знает, как шестьдесят лет тому назад выглядел «дедушка» нынешнего пылесоса. Это был цилиндрический сосуд красного, как пожарная машина, цвета, полметра в диаметре и метра полтора высоты, на колесиках и с большим колесом наверху; внизу была кияшка, тоже похожая на пожарную. Вращение большого колеса приводило пылесос в действие. Для работы с ним нужны были два человека: один у колеса, другой для маневрирования с кияшкой. Сила тяги у этого аппарата была слабая, работа подвигалась чрезвычайно медленно — и нужно было быть большим идеалистом, чтобы поверить в практичность этого аппарата.

«Бабушка» стиральной машины не уступала «дедушке»: это была сорокаведерная бочка на трех ножках, с крышкой. Внутри, на вертикальном стержне, четыре лопасти, которые поворачивались на 90° в одну и другую сторону с помощью рычага, подобному рычагу водокачки, только раза в три больше. Двигать рычаг женщине было не под силу. Домашние работники не любили этих новшеств и

приводили их в негодность, сломав какую-нибудь часть. Это не смущало ни Нордман, ни Репина и они продолжали свои усилия по облегчению работы прислуги.

5

Одним из результатов этих усилий было изобретение «круглого стола». Лишний раз подтвердив гениальность изобретателя, оно превзошло все ожидания и до сих пор никем не превзойдено.

Стол был сделан по рисункам и расчетам самого Репина, и сделан сразу, что называется, одним махом, причем в его конструкции были проявлены большая практичность, оригинальность мысли и простота. Это был низкий круглый стол метра три в диаметре, в виде гриба, на ножке-столбике, прочно вделанной в пол. Среднюю часть занимал диск, около двух метров в диаметре и сантиметров десяти высотой. Диск вращался, не касаясь основного стола; вращать надо было рукой: стоило только потянуть за одну из шести рукояток, вделанных в край диска. Приборы ставили вокруг на неподвижной части стола, а кушанья на край вращающегося диска, чтобы каждый мог брать себе сам, что ему нужно. Центр стола, как малодоступный, украшался вазой с цветами или статуэткой. Грязную посуду каждый мог убрать в выдвигной ящик в нижней части стола.

Упомяну и спальню Репина. В восточной короткой стене ателье была дверь на открытый балкон, со стеклянной крышей в форме пирамиды. Две стены балкона, прилегающая к дому и смежная с ней, были сплошными, а две другие заменялись рядом деревянных колонн с невысоким барьером между ними. В углу, образованном двумя сплошными стенами, на высоте колонн и в уровень с основанием стеклянной крыши, была небольшая площадка с барьерчиком, а на ней просторная постель, ночной столик, два кресла; кроме того, тут же висели кольца и трапеция. Площадка-спальня фактически была внутри стеклянной пирамиды-крыши и поэтому постоянно доступна солнечным лучам и воздуху. Здесь Репин спал круглый год.

С площадки маленькая дверь вела, через комнату-гардеробную, в жилую часть дома. В гардеробной делались приготовления для сна на открытом воздухе. Например, зимой надевался соответствующий головной убор и шерстяные носки.

6

Среда была приемным днем в Пенатах. В этот день ворота и двери не закрывались и от двух до шести часов вечера каждому посетителю был доступен любой угол дома. На станции в Куоккала не

хвatalo извозчиков: они были разобраны гостями Пенатов. Богатый и бедный, близкий и далекий принимались хозяином дома одинаково радушно. В числе посетителей было много художников, писателей, артистов, часто людей с большими именами: Ф. И. Шалыпин, М. Горький, Л. Андреев, А. Куприн, И. П. Павлов и многие другие. И каждый вносил свое.

Из тесной прихожей с двумя столами, зеркалом, позолоченным гонгом и табличками: «Равенство и себепомощь», «Бейте весело в там-там», «Сами раздевайтесь, сами. . .» — посетитель через небольшую так называемую зимнюю столовую попадал в гостиную. В этой комнате с верхним светом и роялем у большого, в полстены зеркала, в углу стояла, в натуральную величину, статуя Венеры Милосской, рядом с ней стол с горой альбомов. На низком массивном шкафу у камина и на горке с сувенирами — скульптуры; на стенах, кроме портрета отца Нордман в адмиральском мундире, висело несколько картин.

Одна из дверей вела в библиотеку и кабинет Репина, другая в большую светлую комнату со знаменитым круглым столом и с трибуной над камином для выступлений. Две стены здесь были сплошь увешены картинами Репина, Маковского, Васнецова, Врубеля, Серова, Шишкина, Левитана, Юрия Репина, Похитонова и других художников.

Из гостиной лестница вела в ателье, занимавшее почти весь верх дома. В нем, кроме больших полотен Репина и ряда портретов, было много скульптур известных мастеров (Антокольский, Гинзбург, Трубецкий, Клодт). Статуи, статуэтки, бюсты (Л. Толстого, Пирогова, Репина, Нордман, Тенишевой), бронза, множество этюдов, альбомов с рисунками, коллекция старинного оружия, разные костюмы, латы, кольчуги, бандуры, набор запорожских трубок и многое другое в художественном беспорядке заполняло мастерскую.

Часть посетителей, рассматривавших ценности и достопримечательности дома, оставалась внизу; другая часть, большая, была в ателье с хозяином. Все стулья, кресла, оттоман и даже ступеньки, ведущие в летнюю мастерскую, были заняты. Слушали доклад или какое-нибудь новое литературное произведение, которое читал сам автор. Потом начинались оживленные прения; от прений переходили к роялю, пению, декламации. Если среди присутствующих были люди, стоявшие близко к правительственным кругам, обсуждались новости дня, затрагивались политические, социальные темы. Н. Б. Нордман здесь же проповедовала вегетарианство, доказывая преимущества растительной пищи перед мясной, и «себепомощь», которая должна облегчить работу трудящихся. Она обычно окружала себя посетителями из простого сословия и давала им советы, как надо жить. Доходило до того, что появлялся ящик с сапожны-

ми инструментами и тут же демонстрировалось шитье обуви. После этого, в особой комнате, она садилась со своими посетителями за общий стол и ела с ними кашу из общего горшка.

В шесть часов гонг звал к обеду. Хозяин приглашал гостей в столовую с круглым столом. Там прежде всего выбирался председатель, — он получал место рядом с хозяином и право давать темы для разговора. После зеленых щей из щавеля и шпината с постными пирожками подавались: знаменитый репинский винегрет с маслинами и солеными грибами, превосходное ризотто, замечательная баклажанная икра, жареная тыква, артишоки, спаржа, фаршированный перец, томаты. К этому еще всевозможные маринады, фрукты, компоты, орехи, мед, варенья, — стол получался обильным и разнообразным. Часто подавали дымящийся горшок с вареными или печеными каштанами, — их дедушка советовал основательно жевать: сорок раз на одной стороне, сорок на другой и только тогда глотать. Вина подавали не много.

Обед длился часа два. После кофе переходили в гостиную, где разговоры продолжались. Отдохнув часок, гости разъезжались по домам.

7

В Петербурге говорили: «В Пенатах питаются сеном», «Репин и Нордман едят траву». В «Сатириконе» была карикатура: Репин, с вилами на плече, идет впереди длинного обоза с сеном, — обоз тянется в Пенаты.

На этой карикатуре, по-моему, недостает Нордман: она была более строгим вегетарианцем, чем Репин, иногда изменявший растительной пище. Рассказывали, как однажды ему захотелось мяса. Нордман он об этом не решался сказать, чтобы его желание не было истолковано, как проявление слабости характера. И Репин решил ждать случая, — последний вскоре представился, когда Нордман по каким-то делам уехала в Петербург. Не теряя времени, Репин распорядился тотчас же изготовить мясной обед. Но, как это часто бывает с людьми праведной жизни, ему не повезло: только он сел за стол, как вошла неожиданно вернувшаяся Нордман. Удивлению ее не было границ. Репин нашелся:

— Косточки необходимо смазать, Наталья Борисовна, — и распорядившись подать прибор и Нордман, сказал: — Советую и вам.

Репин считал, что каждый вегетарианец имеет полное право дватри раза в год прибегнуть к мясной пище, так как усвояемость ее организмом выше, чем растительной и организму в небольшой мере она необходима. Вообще Репин, предпочитавший во всем умеренность и избегавший крайностей, находил, например, несправедливым лишать людей удовольствия выпить на Новый год или на име-

нины бокал вина, выкурить сигару, как и препятствовать члену общества покровителей животных пользоваться кнутом, если ленивая кобыла, несколько дней простоявшая в стойле, отказывается бежать.

8

Популярность Пенат росла, посетителей по средам все прибывало. Чтобы не ограничивать роста интереса населения, решено было купить находившийся в километре от Пенат театр Федотова. В письме к Чуковскому от 19 января 1910 года Репин писал:

«Наталья Борисовна зафиксировала за собой театр Федотова для уступки его кооператорам. Прекрасная идея, хорошо и неожиданно сложилась. Прилагаем Вам листок повестки окрестным обывателям для распространения, — простите, это Наталья Борисовна такая бесцеремонная».

Много позже (в 1925 году), тоже Чуковскому, Репин пишет:

«Про Пенаты можно сказать: все побывали тут. Бывал и Куприн, еще из самых молодых тогда: приезжал на велосипеде, пробирался по узкой нашей столовой на конец общей скамьи и глубокомысленно молчал, выразительно наблюдая старших товарищей; Борис Лазаревский еще молодой был, только что начинал. Одно из самых трогательных лиц был Морозов Н. А. Такой доброй, веселой молодости не было ни у кого. Только что отсидел Шлиссельбургскую крепость, он после 25 лет заточения вернулся в жизнь тем двадцатипятилетним юношей, каким был арестован. На наших глазах он начал продолжение своей молодой жизни: учился танцевать (принято было перед обедом) без всяких установленных па и фигур — как движется корпус и как подхватят его ноги. Помните кооперативную елку и торжественное знамя?»

Как затанцевали все, как в сечи на Запорожье, хотя наш зал был гораздо меньше Запорожья».

Приемы по средам, литературные вечера, лекции и доклады на разные темы в театре «Прометей», народные гулянья в саду, с целью «сближения с простолюдинами», были характерны для жизни в Пенатах до 1914 года. В том году неожиданно умерла Н. Б. Нордман. С ее смертью Пенаты потеряли главного инициатора репинских затей, а И. Е. Репин хорошего друга и близкого человека.

9

Смерть Н. Б. Нордман от горловой чахотки, за несколько дней до начала войны, была загадочна. Летом 1914 года Нордман поехала в Швейцарию, — всего через несколько дней после этого Репин получил телеграмму о ее смерти. Он немедленно поехал, чтобы попасть на похороны, но ни похорон, ни родных Нордман не застал: его ждала только свежая могила.

Странно, что доктора, лечившие Нордман от туберкулеза горла,

зная о критическом состоянии больной, не сообщили Репину о возможном трагическом исходе. И невольно возникала мысль, умерла ли Нордман или ее смерть была только инсценировкой. Она была хорошей артисткой и, может быть, решила вовремя сойти со сцены. За пятнадцать лет жизни рядом с Репиным она создала себе имя и популярность: недаром и сегодня пишут о ней, как о второй жене Репина. Оставаться в прежней роли она, возможно, не хотела, а нового создать уже не могла. Под сомнением остается и ее любовь к Репину: любила ли она его и была искренна, отвечая на чувство Репина к ней?

У Репина был тяжелый характер своенравного человека; он был очень вспыльчив, резок и даже груб. Противоречий не терпел и уживался больше с людьми льстивыми и заискивающими перед ним, с откровенными же и прямыми быстро ссорился. С домашними был строг и от сентиментальностей далек. Все это Нордман испытала на себе и, может быть, лишь из жажды славы продолжала сожительство.

Году в 1919 или 1920 (точно не помню), лет через пять-шесть после ее смерти, однажды папа, вернувшись из поездки в Выборг, за ужином рассказал, что... видел Нордман.

— Я сегодня видел Наталью Борисовну, да, да, ее, — оживленно говорил он. — Во время остановки, на станции Перкьярви, в окно вагона я заметил ее на перроне, всего в нескольких шагах. Она взглянула в мою сторону — мы встретились глазами. Я в упор смотрел на нее, она на меня. Видя мое удивление, она поняла, что я узнал ее и отвернулась. В следующий момент поезд тронулся. — Папа взволнованно продолжал: — Я могу голову себе дать на отсечение, что это была Наталья Борисовна. В таких случаях я редко ошибаюсь.

Рассказ отца сидевшим за столом сначала показался маловероятным и все были склонны думать, что папа обознался. Но потом, вспоминая обстоятельства ее смерти, ссоры, до которых в последнее время доходило в отношениях между ней и бабушкой и другие подробности, решили, что Нордман, убедившись, что инсценировка смерти прошла хорошо, возможно, вернулась под чужой фамилией в Финляндию и живет где-нибудь в уединении.

10

После смерти Нордман многое в Пенатах стало терять свой смысл. Шарманка, под которую танцевали перед обедом, упрямо молчала и все усилия домашних не могли заставить ее издать хоть один звук. Телефон оглох, звонки онемели. Волшебный фонарь долго кочевал из комнаты в комнату, пока куда-то не исчез. Струнные инструменты и многое другое вышло из употребления и оста-

валось только немым свидетелем энергии и изобретательности отсутствующей хозяйки.

Страдало хозяйство, прислуга: занятый своей работой, от всего другого дедушка был далек. По средам перестали бывать посетители из бедного люда.

Особенно пострадал, я считаю, комнатный пес, черный пудель Мик. Прежде его каждую неделю купали, повязывали ему чистый бант; остриженный по последней собачьей моде, он лежал на мягкой подушке у камина. Теперь, грязного и лохматого, его не только не пускали в дом, но и не кормили. Служащие на дворе его не любили и срывали на нем свою злость.

Кончил Мик свое существование необычно: однажды от соседки поступила жалоба, с требованием уплаты за курицу, якобы задушенную Миком. Строгий хозяин заплатил и тут же приговорил Мика к смерти через повешение. На другой день рано утром, пока все еще спали, хозяин Пенат собственноручно повесил Мика на суку сосны, под которой были найдены перья, следы Микиного преступления.

11

Дедушку я видел редко и обычно коротко. Со мной, как с ребенком, он был ласков и добродушно смеялся, когда я, чтобы понравиться ему, хвалился обновками. Дедушка мне сразу понравился, особенно же нравился его дом, где всегда было оживленно и часто даже шумно. Окружавшие его люди были обычно веселые и баловали меня. В комнатах было множество интересного, нового, нередко непонятного и необъяснимого: за каждой дверью открывался новый для меня мир. А сколько было еще закрытых дверей; шкуры зверей, черепа, латы, мечи, откуда-то доносившийся бой часов, плач Эоловой арфы — все это делало дом загадочным, сказочным.

По желанию отца, мне не стригли волос и мама каждое утро расчесывала их и заплетала в косы, как у девочек. Я очень этим тяготился и часто просил остричь меня, чтобы я был, как другие мальчишки. Папа обещал, но только тогда, когда я поступлю в реальное училище. И как же я ждал экзаменов!

— Реалист! Bravo, уже реалист! — повторял дедушка, когда я пришел показаться ему в форме реалиста, надетой мною в первый раз. На следующий день он подарил мне золотые часы. Тогда же я заметил, что если дедушка кому-нибудь что-нибудь дарил или хотел помочь, то старался сделать это незаметно, как будто случайно.

Примерно в это же время у нас шел ремонт: поднимали полы, красили окна, двери, потолки, клеили обои. Когда кончили «низ», принялись за «верх», главным образом за крышу с верхним светом. После ремонта пришел дедушка, — строгий критик, скупой на по-

хвалы, интересуясь работами отца, он, казалось, даже не заметил перемен в доме. Каково же было наше удивление, когда, через два дня после этого посещения, во время завтрака в столовую вошел Михайла и самодовольно сказал:

— Так что, Илья Ефимович просили сказать, что верх будут строить заново.

— Раз это желание отца, я против ничего не имею, — после некоторого молчания сказал смущенный папа. . .

Я долго думал, что дедушка не умеет сердиться, но потом убедился, что мнение мое ошибочно. Как-то папа позвал меня и брата и, вручив нам этюдник с красками, сказал:

— Передайте тете Наде. Она говорила мне, что хочет писать. Пока имеет охоту, пусть поработает.

Мы разыскали тетю Надю, передали ей этюдник и хотели уходить, но тут вошел дедушка. Узнав в чем дело, он пришел в страшное негодование:

— Не смей брать! — сердито закричал он, топнув ногой. — Что за фантазия, кто выдумал, этого добра наверху горы, горы! Стоит только подняться. И незачем: все равно будет валяться!

Он махал руками и, казалось, готов был броситься на виновную. Хлопнув дверью, он вышел. Мы с братом были ошеломлены: мы никогда не видели дедушку таким. Придя в себя, мы молча переглянулись и пошли в сад.

— Гоп, гоп! Дий, Гай, вы куда? — раздался в нескольких шагах от нас веселый голос дедушки.

— Мы на пруд, на лодке кататься.

— Ну, валяйте, а я посмотрю, — смеялся он. Это опять был наш дедушка, каким мы привыкли его видеть — и не хотелось верить, что это он пять минут назад готов был с такой яростью броситься на тетю.

12

Дедушка вставал в 6.30 утра. Минут десять занимался гимнастикой, потом, в берете и плафровке, гулял по саду. Там, с артельщиком землекопов или с Михайлой, осматривал работы. Зимой, когда в саду лежали снежные сугробы, дедушка брал лопату и чистил снег около дома.

Помню, папа обещал мне на день моего рождения устроить на катке сани-карусель с лампонами. В этот день я встал раньше обыкновенного и в башлыке, валенках вышел на крыльцо. Было ясное зимнее утро. Толстые сосны с ветвями, отягощенными снегом, стояли неподвижно в немой тишине. Вдруг донесся стук скребка и знакомый кашель. Я обошел дом, — у веранды стоял дедушка с деревянной лопатой в руках.

— Доброе утро, дедушка, — подойдя, поздоровался я. — Сегодня день моего рождения и папа обещал мне устроить сани-карусель с лампонами.

— Поздравляю, — ответил дедушка, улыбаясь и, воткнув лопату в снег, прибавил: — На сегодня довольно. Пойдем посмотрим, что делает Михайла.

В жарко натопленной мастерской пахло сосной; Михайла, в красной косоворотке с расстегнутым воротом, утопая в стружках, делал оконную раму, — он готовил двери, окна, косяки к предстоящей весной постройке. Они долго говорили, где и сколько надо купить досок, балок; в углу на раскаленной докрасна чугунке кипел чайник, дребезжа крышкой.

Оттуда пошли в дом; в гостиной дедушка сказал:

— Подожди меня в столовой, я сейчас приду.

В столовой было тепло, пахло мускатным орехом и чаем. Накрытый посредине стол и висячая лампа над ним бесконечное число раз отражались в зеркалах на противоположных стенах. Перепел на часах прокричал три четверти, за ним кукушка девять раз. Вошел дедушка, уже одетый.

— Вот и прекрасно, вот и хорошо, что ты здесь. — Потом громко крикнул: — Гоп, гоп, Мина! — Вошла горничная Мина с кофейником под зеленым петухом на подносе. — Мина, займитесь, пожалуйста, Гаем. Ему исполнилось сегодня восемь лет.

Горничная налила мне чашку кофе и поставила вазу с медовыми пряниками. За столом кроме меня и дедушки не было никого. Он ел молча и о чем-то думал. Снова вошла Мина:

— Илья Ефимович, натурщик пришел.

— Ах, я и забыл, — отозвался дедушка, взглянув на часы. — Скажите, чтобы подождал. — Потом вынул из кошелька три золотых, два одинаковых и один поменьше, положил передо мной на стол: — Это тебе. А папе скажи, чтобы послал лампы, а остальное сделает кучер Язя. Так лучше. — Я поблагодарил и побежал домой. . .

С девяти до часу дедушка работал в ателье над большими полотнами, часто пользуясь натурщиками. Натурщиком мог быть каждый, кто лицом, комплекцией и ростом подходил для предполагаемой картины. И тут дедушка неслыханно преображал людей: простые смертные превращались у него в царей, гладиаторов, апостолов или, наоборот, он лишал чинов и званий духовенство, генералов, сановников. Не каждый и не сразу примирялся со своей судьбой: позировать было нелегко.

В 12 приходила почта, чтение которой дедушка откладывал на вечер: он только просматривал, от кого что пришло. В час подавали обед, после обеда дедушка ложился «на часок» отдохнуть. От трех

до пяти опять сеансы. В пять подавался чай, после чая дедушка выходил в сад, где в это время «шабашили» и рабочие. В семь он ужинал, а потом уединялся в кабинете, чтобы заняться корреспонденцией и чтением пришедших днем газет и журналов.

Так проходили дни в Пенатах, кроме среды и воскресенья. В воскресенье дедушка утром ходил в церковь, а после обеда отправлялся с ответными визитами к знакомым.

Я помню дедушку, когда ему было уже 80 лет. Несмотря на этот возраст, он не производил впечатления старика; у него не замечалось упадка физических и духовных сил. Он продолжал «идти в ногу», не отставая от молодых и ведя жизнь здорового человека. Рано вставал, с аппетитом ел, держался бодро, весело; летом, как и прежде, купался в море, целиком простаивал обедню, делал большие прогулки пешком, был решителен и предприимчив.

13

От природы одаренный большим талантом, Репин отличался неутомимым трудолюбием и упорством. Он написал более сорока крупных произведений, а кроме того двести портретов и тысячи рисунков, эскизов, набросков.

Мне было семь лет, когда дедушка писал портрет Ф. И. Шаляпина, приезжавшего в Пенаты в сопровождении своего слуги-китайца, в китайском национальном костюме, и любимого бульдога.

Это было зимой. Помню крупную фигуру Шаляпина, на коньках, с деревянной лопатой в руках, расчищающего лед на пруду от снега для катка. Помню за чайным столом, рассказывающего о своей молодости, когда он в волжских городах зарабатывал пением по кабакам. На большом портрете Шаляпин был изображен в натуральную величину; он сидел на оттомане с вытянутыми прямо вперед ногами, правой рукой гладил лежащего рядом бульдога.

В журнале «Огонек» того времени была фотография, снятая в ателье в Пенатах: Федор Иванович позирует, Репин пишет. Портрет был тогда закончен. Увы, его постигла печальная участь: он стал жертвой беспощадной самокритики автора. И несколько лет спустя на этом полотне на том же оттомане того же бульдога гладил уже не Шаляпин, а голая женщина с распущенными волосами.

Прекрасно владевшему техникой и обладателю острого глаза, Репину все давалось легко. Он писал быстро, сразу, с плеча. Картины получались свежими, в них не было вымученности — и все же Репин постоянно переделывал их, совсем не дорожа достигнутым. Об утраченном он не сожалел и никогда к нему не возвращался. Восстановить тот или другой момент ему, обладавшему колоссальной зрительной памятью, было бы легко, но он этого не делал:

такой метод работы оскорблял его художественное достоинство. «Искусство для искусства», — говорил он и снова переделывал.

Я часто был свидетелем его работы. Помню, «Крестному ходу», начатому сорок лет назад, Репин никак не мог найти окончательного решения. Толпа на картине то густела, обогащаясь новыми типами, то редела, с целью разгрузки одной или другой части картины. Хоругви в отдалении, вдруг взлетев над головами, приближались на передний план, или совсем исчезали. Так было и с другими работами.

Что заставляло Репина переделывать свои картины? Объясняли это по-разному. Многие считали, что воображаемая Репиным картина была настолько прекрасна, что написанное, по сравнению с воображаемым, не могло его удовлетворить и он вновь и вновь брался за переделку.

По-моему, причина была в другом. Осуществление своего замысла для Репина не составляло большого труда и любая картина, написанная им, была точной копией его воображаемой картины. В тождественности их он не сомневался, — сомневался он в подлинности воображаемой картины: он не верил в то, что идейный замысел картины является совершенным.

Отсутствие этой уверенности усугублялось предубеждением Репина, что плебею не может быть доступна высокая идейность творческой задачи, — Репин же был простого происхождения. По натуре он был и оставался мужиком, несмотря на огромную работу над собой, проделанную им для того, чтобы избавиться от ненавистного ему мещанского духа. Последнее ему не удавалось, от него продолжало веять провинцией, — он это чувствовал и терзался этим. Ему казалось, что все написанное им бездарно. И он говорил: «Пятьдесят лет поклонялись ничтожеству», — и говорил это не из скромности или желая порисоваться, а искренне, с горечью сознания своей несостоятельности. Отсюда постоянная неудовлетворенность самим собой, явление чисто психического характера, род болезни.

Многим известен случай с картиной «Иван Грозный», этим шедевром русского изобразительного творчества, прославившим Репина на весь мир. Картина была продана и принадлежала Третьякову. Но Репин все-таки не удержался от попыток переделать ее. Третьяков знал, что Репин постоянно переделывает свои работы, а так как Репин был довольно частым посетителем его галереи, то он дал служащим распоряжение, что Репина можно пускать в галерею только в том случае, если при нем нет этюдника с красками. Если же придет с этюдником, то он должен оставить его при входе.

Несмотря на эту предусмотрительность Третьякова, Репину удалось пройти в галерею никем не замеченным — и с красками. Он немедленно пустился переписывать голову Грозного. И только

благодаря находчивости Третьякова, оригинал был спасен: узнав о случившемся, Третьяков немедленно вызвал реставраторов, которые сняли свежую краску, не успевшую засохнуть.

14

Когда в 1918 году, в феврале, русско-финская граница закрылась, ни один русский, по той или другой причине очутившийся в Финляндии, не поверил бы, если бы ему сказали, что граница больше не откроется и что России он теперь не увидит. Большинство русских в тех местах были собственниками дач, они проводили в Финляндии лето, а источники их средств существования были в России. И все с нетерпением ждали открытия границы. Но проходили недели, месяцы, — граница оставалась закрытой. И скоро пришла нужда, бедность. Там, где еще недавно жизнь была ключом, все изменилось до неузнаваемости. Дороги обезлюдели, пляж опустел, исчезли будки для купающихся. Вокруг пустынно и уныло: заросшие травой дороги, поваленные заборы, фундаменты и трубы разорванных домов, вырубленные парки с пасущимися коровами на разорренных клумбах.

В Пенатах в то время все оставалось еще по-старому. Продолжались и «среды», на которых, как и раньше, велись дружеские беседы о литературе, музыке, устраивались концерты. Правда, «среды» теперь были не столь многолюдны и шумны: ни К. И. Чуковского в салоне, ни играющих в чехарду извозчиков на дворе. Зато они стали более тесны и теплы. На них шли, чтобы «отдохнуть душой», забыться и «почувствовать себя снова человеком», как говорили приходившие. . .

Запад, уже давно знавший Репина, принял его хорошо. Финляндия на втором году своей самостоятельной жизни отметила заслуги Репина торжествами в Гельсингфорсе: финское правительство устроило по случаю 75-летия Репина банкет, на котором присутствовали, во главе с президентом, передовые люди страны (композитор Ян Сибелиус, профессор Аксен Гален, маршал Маннергейм и т. д.). После Репин написал картину «Банкет», — на ней, в залитом электричеством зале, мы узнаем виновника торжества, самого Репина, в среде финских знаменитостей.

В Европе у Репина оказалось много друзей, которые занимали видное общественное положение и играли первые роли в делах той или иной страны. Одним из них был президент Чехословакии Т. Г. Масарик, знавший Репина еще в России. Он высоко ценил Репина, как художника и бывал на каждой выставке Репина в Праге, — он купил на несколько сот тысяч чешских крон картин Репина для своей личной коллекции и для пражской городской галереи. Его примеру следовали министры, директора крупных банков и

предприятий. То же было и в других странах: картины Репина с выставок в Пенаты уже не возвращались, а сами выставки проходили с большим успехом.

Все это делало Репина очень популярным в Европе и иностранная печать часто писала о нем. Эта же печать два раза преждевременно похоронила его. «Хороший признак: сам себя пережил. Значит, буду долго жить», — смеясь, говорил Репин близким, читая в газетах о своей смерти.

Материально обеспеченный, сохраняя свежесть сил, Репин продолжал жить и творить в собственном гнезде. Ничто не нарушало его покоя. В 1924 году он писал одному из своих знакомых:

«Наступило наконец лето, тепло и я купаюсь, как ребенок. Теплый ветерок, рыжие волны у берега бьют сногшибательно! Но что это за счастье! И я каждый момент благодарю Создателя, что уже давно «отпетым, но не похороненным» я все еще живу, ем свежую землянику из своего сада, пишу этюды и продолжаю свои «хронические» картины. Внуки мои ловят рыбу и делаются с нами. У меня уже есть правнук (внук Тани Князевой-Дьяконовой). В нашем огороде скоро зацветет картофель и мы будем есть молодую. Едим уже редиску и на столах у нас благоухают пышные букеты сирени и роз. Травы нынче роскошные и парк блестит цветами: фиалки давно отцвели, таинственно кивают еще ландыши, ирисы, лупинусы и флокусы; цветут рябины, калины; яблони уже осыпались и вишни и сливы. Светильниками зажигается аллея огненных лилий; а проходя мимо Шехерезады, я вспоминаю Вапу высокую и веселую фигуру, — помните, как Вы поднимали поваленные бурей деревья. Недавно была большая буря, но Шехерезада стоит, только дороги все страшно заросли травой забытья; вчера уже Емельян выкосил их, а то не пройти, особенно утром — роса. А я босиком. И все Вас вспоминаю».

Из этого письма видно, насколько свеж и жизнерадостен был Репин, — а ему в это время было 80 лет.

К этому времени относятся, кроме «Голгофы» и «Крестного хода», над которыми он продолжал работать, три большие картины: «Гопак», «Фома неверный» и «Мария Магдалина». Почти каждый день, кроме среды и воскресенья, от трех до пяти часов он уделял время и портрету.

Весной 1922 года, войдя в ателье, я нашел дедушку в кресле перед картиной «Гопак», которую я еще не видел.

— Это ты, Гай, — сказал дедушка. — Очень хорошо, что пришел. Садись и говори, что видишь на картине.

— Я вижу пляшущих запорожцев, — не задумываясь, ответил я. — Направо запорожец с бандурой поет. Один из пляшущих держит в руках, по-моему, пику.

— Да, да. Запорожцы, когда плясали гопак, часто брали пику. Это чтобы лучше дать антраша, — оживившись, объяснил дедушка.

— А в отдалении монах в черном и в клобуке, — добавил я. Переведя взгляд на стоявшую рядом картину «Мария Магдалина», дедушка между прочим сказал:

— Камень не был настолько тяжелым, чтобы один человек не мог его отвалить. Он его отвалил и убежал.

Отдельно от других в летней мастерской стояла картина «Фома неверный». Мой отец, художник Юрий Ильич Репин, писал мне по поводу этой картины:

«Картина писана в 1925, 26, 27 гг. Она размером аршина три в высоту и аршина два с половиной в ширину. Фигуры в натуральную величину и написано все в реальных тонах дневного света. Картина была много раз переделана. Сперва фигура Христа была фасом, стоя во весь рост посреди, обнажая руками свою грудь с проколотым правым боком. И немного позади и сбоку Христа, была фигура одного Апостола. Но под конец твой дедушка совсем изменил как прилегающий фон, так и самую фигуру Христа. Только Фома остался приблизительно в той же позе на первом плане, согнувшись и обхватив руками голову, а Христос склонившись, почти в профиль наклоненной головой своей с широкой улыбкой на лице, обращаясь к Фоме, обнажает руками свою грудь. Тона продолжали быть реальные и дневного света, а живопись жизненная и широкая, доступная только одному проф. И. Е. Репину».

В глубине ателье Репин работал над картиной «Голгофа». Она на всех производила тяжелое впечатление и постоянно была затянута занавесом, который оттягивали только на время работы. На большом полотне — Голгофа в исходе ночи, при слабом свете начинающегося утра. Пустынно и безлюдно. Сквозь тяжелую мглу над близким Мертвым морем едва просвечивает чуть озаренный небосклон. Бездомные собаки, обнюхивающие землю и кровь у подножия крестов с бледными телами распятых, усиливают впечатление безлюдности.

Когда я в детстве первый раз увидел «Голгофу», мое внимание привлекли собаки и я спросил:

— На Голгофе собаки?

— Я был в Палестине, там много бездомных собак, — сказал дедушка. — Их можно встретить везде, даже на главных улицах городов.

— Наверно, там без палки нельзя из дома выйти?

— О нет, — возразил дедушка, — собаки там не злые и к человеку относятся с полным безразличием. Они приносят даже большую пользу тамошнему населению тем, что уничтожают все съедобные отбросы в городах и селах.

Из наиболее крупных портретов, написанных Репиным после революции, можно упомянуть: А. Керенский, финский художник Аксен Гален, А. Н. Андреева, вдова писателя Леонида Андреева, поэт И. Войнов, известная скрипачка Сицилия Ганзен, протоиерей

Цветков, в облачении и с крестом в руках; портрет супругов Степченко, затем А. Шуваловой, Хлопушиной, М. Орешниковой, В. Стэниной, Н. Бутлеровой, Л. Дегергольм.

15

В начале сентября 1930 года отец писал мне в Прагу: «Состояние здоровья твоего дедушки ухудшилось: физические и душевные силы покидают его». Двадцатого того же месяца я приехал домой, в Пенаты, и застал отца в кровати, хотя был полдень.

— Дедушка твой очень плох, — сказал отец. — Я всю ночь провел у него. Сестра милосердия и я по очереди дежури́м каждую ночь у него в спальне.

Я поспешил к больному. Когда ему сказали, что приехал Гай, он очень оживился, старался встать, — он лежал на оттомане, в шлафроке. Оживление, однако, сменилось спокойным безразличием. В комнату вошла тетя Вера и сказала:

— Папуля, обед подан, мы тебя ждем.

Дедушка в сопровождении меня и тети прошел в столовую и занял свое обычное место за столом. Ел то же, что и все. Ему напомнили о микстуре, прописанной доктором, — лицо его исказилось гримасой отвращения. За свою долгую жизнь он редко болел, еще реже обращался к докторам и прибегал к лекарствам. К концу обеда он несколько раз вставал, порывался куда-то идти, но садился опять и все развязывал и завязывал длинный пояс шлафрока. Потом, присматриваясь ко мне, сказал:

— Как ва́ша фамилия? — Я назвал себя по фамилии.

На следующий день здоровье дедушки ухудшилось. Он больше не вставал с постели, часто впадал в забытие и все реже приходил в себя. Консилиум докторов нашел его состояние безнадежным: у больного началось старческое воспаление легких.

29 сентября, в понедельник, дедушка умер.

Часа в три дня пришла сестра милосердия, дежурившая у ложа больного, и тихо сказала:

— Идите проститься.

Я прошел в комнату, где у стены, между двумя каминами, на широкой постели лежал умирающий. Он был совершенно спокоен и с чистой совестью готов был предстать пред лицом Всевышнего. Вряд ли в тот час кто еще с большим правом мог бы сказать: «Исполнен долг, завещанный мне Богом».

Желая скрыть от присутствующих овладевшее мною волнение, я вышел через веранду в сад. По широкой, усыпанной гравием дорожке подошел к пруду с водяными лилиями. Был сырой пасмурный день; с увядающих листьев сирени и мокрых веток деревьев падали крупные капли. Было невыносимо грустно и больно и ка-

залось, что чувство скорби пронизало и все вокруг: сад, пруд с ольхами над ним, мостик и аллею с вышкой, вишню, оплакивавших своего хозяина.

Пройдя через площадку с беседкой «Шехерезада», я незаметно для себя очутился в той части сада с холмиком, которую за шесть лет до этого дедушка указал, как место, где хотел быть похороненным. На следующий день холм должны были прокопать, к его основанию, чтобы сделать бетонный гротик для установки в нем гроба.

К вечеру я вернулся домой; в доме пахло ладаном и воском. В комнате, где лежал усопший, три монашки из соседнего женского монастыря, в Линтула, читали по очереди псалтырь. Затем протоиерей Цветков с местным хором служил панихиду. Весть о смерти Репина быстро разнеслась и в Пенаты начали съезжаться духовенство, журналисты, художники, фоторепортеры; крестьяне из соседних деревень, представители власти спешили отдать ему последний долг.

4 октября, на шестой день, Репина похоронили. Гроб стоял в переполненной местной церкви; после торжественной литургии с участием духовенства и певчих из Выборга, было совершено отпевание. Из церкви к могиле в саду Пенат гроб несли на руках. Были произнесены надгробные речи. И в последний раз дом и сад были полны людьми, местными и прибывшими издалека. . .

После смерти И. Е. Репина Пенаты опустели; дом осиротел, стал бездушным: он потерял хозяина, долгие годы одушевлявшего его своей неповторимой жизнью.

«ВСТРЕЧИ». Федор Степун. Изд. Товарищества Зарубежных Писателей. Мюнхен, 1962.

Можно по разному встречаться с людьми, как можно по разному работать, думать, чувствовать, хотеть. Встречи — это одновременно и наука, и искусство. Вся наша жизнь есть непрекращающаяся встреча, и то, какой эта жизнь является теперь, есть результат наших встреч с людьми, а через них и с самим собой.

Я не только то, что я сам сделал с самим собой, но и то, что сделали со мной те, с кем я встречался в моей жизни. В этом смысле, каждый из нас берет на себя бремя других людей, одновременно перекладывая и на других свое собственное бремя. Так расширяются, захватывая уже все человечество, знаменитые евангельские слова: «Возьмите бремя Мое на себя...», потому что, — и этих слов тоже не надо забывать — «то, что вы сделали одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».

Эти мысли приходили в голову при чтении замечательной книги Федора Степуна «Встречи». Я даже подумал, как было бы хорошо, если бы Степун написал еще одну, называющуюся «Философия встречи», приблизительно так же, как Бердяев написал свою «Философию свободного духа».

Во «Встречах», кажется, даже есть вступительные слова к этой возможной книге, в главе об Андрее Белом, этом настоящем «откровении об Андрее Белом» — интереснейшем представителе Серебряного века, «небывалом событии духа», о существе, «обменявшем корни на крылья». Вот эти слова:

«Есть только один путь, на котором человек уверяется в бытии другого человека, как подлинно человека, как единогодуховного своего брата. Это путь совершенно непосредственного ощущения изменения моего бытия от соприкосновения с другим я»

Эти слова — настоящая «путевка в жизнь», непреложный закон всякой настоящей встречи, ключ к пониманию «Встреч».

Именно потому, что Степуну удалось встретиться с теми, о ком он пишет, — с Достоевским, Толстым, Буниным, Зайцевым, Вячеславом Ивановым, Белым, Леоновым — на действительно «высшем уровне», так захватывающе интересна, так по особенному нова его книга, несмотря на то, что пишет он о как будто всем известных писателях и всем известных вещах. Его «высший уровень» затрагивает такие глубины на-

шего сознания, что соприкасаясь там, в глубине глубин, со своего рода дремлющими юнговскими «первотипами», он, вызывая их к жизни, тесно роднит и нас с теми, с кем встречался сам автор.

Таков «секрет» степуновского метода писать «воспоминания», рассказывать о своих впечатлениях о людях и их духовном облике, о их творчестве.

В отношении Андрея Белого, с долей некоторого приближения можно было бы сказать, что как Тютчеву пришлось дожидаться Владимира Соловьева, так и Андрею Белому пришлось потерпеть до Федора Степуна. Глава об Андрее Белом всего лишь одна из девяти глав «встреч». Я остановился больше на ней потому, что она, по-моему, — новое слово об этом поэте и писателе, и потому, что она, быть может, наиболее характерна для «метода Степуна». Она написана с вдохновением и подъемом, не только в сотрудничестве с глубоким пониманием Белого, но и в сотворчестве с любовью к нему. Вот несколько отрывков о Белом:

«При всей его человеческой изоэтрности и декадентской изломанности, в Белом есть нечто первично-гениальное в смысле шеллинговского определения гения, как личности творящей с необходимостью природы. Его лучшие стихи жгут и обжигают, хлещут и захлестывают душу... у него часто слышны безумные космические перворитмы. Импровизационные силы словотворчества Белого единственны...»

«Перечислить все, над чем думал и чем мучился, о чем спорил и против чего неистовствовал в своих выступлениях Белый, решительно невозможно. Его сознание подслушивало и отмечало все, что творилось в те канунные годы, как в русской так и в мировой культуре. Недаром он сам себя охотно называл сейсмографом. Но чего бы не касался Белый, он в сущности всегда волновался одним и тем же — всеохватывающим кризисом европейской культуры и жизни. Все его публичные выступления твердили об одном и том же: о кризисе культуры, о грядущей революции, о горящих лесах и о расплывающихся в России оврагах.»

Точна и глубоко характеристика творчества Белого:

«В наредкость богатом и всеохватывающем творчестве Белого есть все, кроме одного: в творчестве Белого нету *тверди*, причем ни небесной, ни земной. Сознание Белого — сознание абсолютно *имманентное*, формой и качеством своего осуществления резко враждебное всякой *трансцендентной* реальности.»

Характеристика эта интересна вдвойне потому, что она в какой-то мере приложима и ко всему в целом Серебряному веку, и к нашим пред-революционным годам.

За ограниченностью места, приведу уже без комментариев, несколько отрывков-характеристик. Из главы «Мирозерцание Достоевского»:

«Да, Достоевский тщательно одевает, 'костюмирует' действующих лиц своих романов, но всеяя в них, во всех, в светлых и в смрадных, предельно-взволнованные души и идейную одержимость, он огнем этих душ и идей как бы совлекает со своих героев их эмпирическую плоть, раздевает их до метафизической наготы.»

Из «Религиозной трагедии Льва Толстого»:

«Критикуя веру простого русского народа и выясняя те причины, которые помешали ему слиться с народной верой, Толстой не заметил, что разошел-

сы он с народом главным образом потому, что народное знание смысла жизни было порождением веры. Он же искал веры для того, чтобы обрести смысл жизни. И еще глубже: разошелся он с народом потому, что его Бог был рожден страхом смерти. Это был Бог, сущность которого определил Достоевский устами Кириллова: 'Бог есть боль страха смерти'. Народ же верит в того Бога, которого славит пасхальное песнопение: 'Смертию смерть поправ'.

Из главы «Иван Бунин»:

«На обращаемые ко мне вопросы иностранцев: в чем особая заслуга Бунина перед мировым искусством... я упорно отвечаю, что талант и оригинальность его, конечно, весьма значительны, но что не это самое главное в нем, а та подлинность, или, еще лучше, *первозданность его таланта*, которой в мире становится все меньше, хотя сознание, что без нее ни жить, ни творить дальше нельзя, всюду растет. Вот тот смысл, в котором выделение Бунина мне представляется не случайным, а симптоматически-существенным.»

Из главы: «Борису Константиновичу Зайцеву — к его восьмидесятилетию»:

«Б. К. Зайцев большой, настоящий писатель, потому что все его вещи исполнены своей особой атмосферы и написаны особым почерком... Для стиля Зайцева характерен задумчивый подернутый грустью лиризм. Зайцевская печаль всегда медитативна... Лиризму не свойственны размашистые жесты и удары голоса. В лиризме Зайцева больше вдоха, чем стона. Печаль его светла.»

Из главы: «Вячеслав Иванов»:

«Для раскрытия верховной идеи России, заключающейся по Достоевскому в примирении всех идей, Вячеславу Иванову были отпущены исключительные таланты и силы. Природа щедро наградила его дарами поэта, философа и ученого... Результат: единственное в своем роде сочетание и примирение славянофильства и западничества, философии и поэзии, филологии и музыки, архаики и публицистики.»

Из «Советской и эмигрантской литературы 20-х годов»:

«Читая советских авторов, слепому нельзя не видеть, что в России борьба идет не между капитализмом и коммунизмом, а между Богом и дьяволом, причем в стане дьявола борется большевистский коммунизм, а в Божьем стане — вся страдающая Россия... Нет никаких сомнений: советская литература и советский строй... как бы они временно не уживались в одной берлоге, по существу, — что безусловно вскроет будущее, — непримиримые враги.»

К. Померанцев

«ДОЛГОЛИКОВ». Сергей Шаршун. Поэма. Париж, 1961.

Это — одна из самых странных книг, когда-либо написанных по-русски, и одна из самых оригинальных. Следует подчеркнуть то, что сразу в ней подкупает: полнейшее отсутствие оригинальничания. Оригинальность ее органична. Если слово «искренность», которое так часто треплется поняспасну и так много прикрывает беспомощных лирических излияний, еще что-нибудь значит, надо было бы применить его к «Долголикову» Сергея Шаршуну. В этом повествовании, которое по при-

меру Гоголя автор называет поэмой, искренняя каждая страница, каждая строка, — т. е. каждая строка подлинно отвечает духовному строю автора, и при крайней своей литературной прихотливости, как бы запечатлевает его облик. Исповедь? Нет, определение это было бы не совсем правильно. Скорей какая-то судорожная фантазия на тему, которая могла бы оказаться предметом исповеди: прерывистый, сбивчивый, взрывающийся и тут же срывающийся рассказ о столкновении человека с миром, — столкновении, которое по мере чтения все отчетливее представляется ошибкой судьбы, Провидения или иной, безымянной, неведомой мировой силы. Можно бы сказать: рассказ о размолвке, о коренном разладе человека с миром. Ибо данный человек для данного мира не совсем предназначен, данный мир ему не соответствует и связанного биографического рисунка, образуемого обыкновенной человеческой жизнью, здесь не получается: линии разбиты, раздробленные углы не сходятся, привести в порядок ничего нельзя. Не удивительно, что одиночество, отраженное в «Долголикоре», непоправимо: как могло бы быть иначе? Не удивительно, что книга, пусть и украшенная несколькими соблазнительными сценами, проникнута аскетической, иноческой печалью: автор тщетно обманывает самого себя и лишь для отвода глаз сообщает о своих житейских, мелких удачах или невзгодах. В действительности он на этой земле гость, чудаковатый пришлец и, пытаясь на ней утвердиться, непрерывно наталкивается на самые разнообразные препятствия.

Об одном из своих героев Шаршун пишет, что тот говорит —

«мягким, анархическим, бодлеровским, не имеющим ничего общего с сутолокой жизни, безвозвратно погибшим, близким к гениальности, к безумию, братским, беззащитным голосом».

Приблизительно то же самое можно было бы сказать и о нем самом. Самое нагромождение эпитетов в процитированной фразе, — по-моему необыкновенно выразительной, — показатель для его маниакального стремления объяснить себе самого себя и все то, что его окружает. Если бы повествование свое он назвал «Ошибкой», то пожалуй коснулся бы ее скрытой, глубокой и метафизически-загадочной сущности. Представьте себе человека, природно доверчивого, даже простодушного, с болезненно обостренной чувствительностью, очень честного, готового все и всех любить, — и входящего в мир, застеленный от него непроницаемой пеленой и туманом. Лучшие намерения не приводят ни к чему. Никакого «контакта», никакой связи с обитателями данного мира. Человек не находит выхода, и приходится ему убаюкивать себя песнями, в которых он дорисовывает то, чего не видит, и вдохновляется тем, чего от жизни не получил.

Однако со времен Достоевского люди, которые не твердо стоят на земле и дышат на ней с трудом, в литературе не новость. У Шаршуна замечательно то, что, в следовании литературной моде, в какой-либо «линии наименьшего сопротивления» упрекнуть его нельзя никак, и ес-

ли даже одна из глав его книги и называется «Мобилизация Кирилловых», то с мыслями и настроениями самоубийцы из «Бесов» общего в ней мало. Не могу за последние десятилетия вспомнить ни одной русской книги, где редчайшее духовное своеобразие было бы настолько очевидно, при том наперекор многим воздействиям и влияниям, которые натуру более податливую обезличили бы до неузнаваемости. В самом деле, Шаршун — парижанин, бывший дадаист, в молодости сблизившийся с монпарнасской богемой и переживший, как свои, многие из ее преходящих увлечений. Но в нем уцелел и русский сектант-подвижник из заволжских степей, готовый за свою веру пойти на костер. Волга и Сена, далекие российские просторы и парижские продымленные ночные кофейни, родные поля и площадная французская ругань, внезапно ошеломляющая его своей беспричинностью, все это соседствует в его поэме, как маячит в ней и тень Андрея Белого, — вернее не тень, а отблеск того метеора, которым Белый, со своими ослепительными и все же изначально-опустошенными, бесплодными догадками пронесся в русской литературе.

Еще раз скажу: странная и замечательная книга. Книга, которую нельзя забыть. Едва ли она в наши дни вызовет много толков, едва ли наши современники обратят на нее сколько-нибудь благожелательное внимание. Но вполне возможно, что много позднее, скажем, через полвека, возникнет нечто вроде замкнутого, тесно сплоченного круга «друзей Шаршуна», которые примутся изучать его черновики, издавать оставшиеся после него рукописи и окажутся зачарованы встречей с этой духовной реальностью, похожей на сон, мираж или блуждание по крайней окраине доступного нам мироздания.

Георгий Адамович

«УХОДЯЩИЕ ПАРУСА». Д. Кленовский. Стихи. Мюнхен, 1962.

«Я просто в священном восторге от последней книги Кленовского», — писала мне недавно вдова одного эмигрантского беллетриста. — «Прочтя, дней десять бродила, как во сне... Меня очаровало содержание»... Завидный отзыв! Я показал его знакомому поэту.

— Да, — сказал он, не без легкого скепсиса в голосе, — у Кленовского много восторженных почитателей, потому что стихи его очень доступны.

Я поблагодарил его мысленно за тему. В самом деле: Д. Кленовского очень читают. И, видимо, не только в эмиграции. Не знаю, как его книги, но эмигрантские наши журналы, в которых он печатается, до «Большой земли» несомненно доходят. «Мосты», например: недавно случилось разговаривать с одним гостем оттуда, из окололитературных кругов. «Мосты» у нас знают, — сказал он. — За ними охотятся». Что касает-

ся «Нового журнала», то вот еще более доказательный пример: в последней книге академика В. Виноградова «Проблема авторства и теория стилей» (М. 1961) на первых же тридцати страницах шесть ссылок на этот журнал. Несколько более окольными путями дошел сюда отклик на стихи Д. Кленовского одного тамошнего поэта с крупным именем, очень радушный. . .

Теперь — о «доступности» (вместе со скепсисом). Тема сложная, спорная. Одно, кажется, несомненно: доступность, конечно, не синоним художественности, но «недоступность» — еще в меньшей мере. Будь я поэтическим критиком, я непременно попытался бы кое-кого в этом убедить. Но я сужу, как читатель. Которому в стихотворениях Д. Кленовского доступна прежде всего подкупающая гармония мысли и поэтического тепла; который равнодушен к строфам модернейшей архитектуры, лишенным этого качества, как бывають равнодушны к кружевам либо цирку. С этой позиции и сужу.

«След жизни», «Навстречу небу», «Неуловимый спутник», «Прикосновенье». . . Внутренняя поэтическая тема Кленовского выступает уже из одних заголовков этих четырех выпущенных им в эмиграции сборников. «Уходящие паруса», сборник, о котором идет речь, — продолжение этой темы. Не называю ее потому, что она столь же хорошо ощутима, сколь плохо укладывается в прозаические слова. В поэтические — дело иное. Например:

Заложница несбыточной мечты!
Моя душа! Все променяла ты
На право быть невольницею этой!
Ну что же! — каменные плиты мерь,
Оглядываясь на глухую дверь,
Тянись к окну под потолком и сетуй!
И вот за это все тебе дана
Никем не тронутая тишина,
Никем не смятый луч через решетку,
Ни с кем не разделенная звезда,
А в каждодневном хлебе иногда
Нездешней преломленности находка.

«Ни с кем не разделенная звезда». Хорошо и очень точно. Звезда эта — «свое» поэта, один из даров шестикрылого серафима; она, может быть, голубая, и в ее нездешнем мерцании становятся ощутимыми прикосновенья минувшего и Неотвратимого, и слышно, как таинственно шуршит время, протекая мимо человеческой жизни.

Мотив Неотвратимого — один из сквозных мотивов сборника, тонкой, без нажима, гармонической инструментовки. Позволю себе привести еще одно стихотворение целиком:

Стала жизнь, что сон перед рассветом,
Этот чуткий, этот хрупкий сон.
Спишь еще, но знаешь: мягким светом
Занялся далекий небосклон.
И тяжелых век не подымая

Чувствуешь: он в комнату вошел,
По предметам, их не задевая,
Расстелил свой сероватый шелк.
Подождать — и излишне светом
Озарится узкая кровать,
И досадно только, что об этом
Не успею никому сказать.
Вот за дверью кто-то шевелился...
Постучат, откроют и войдут...
Но того, что я уже проснулся,
По глазам закрытым не поймут.

И ощущение Времени — некий, как уже было сказано, почти на слух уловимый фон. О нем, времени, — особо:

Время, спутник мой таинственный
На моих земных путях!
Враг смертельный! Друг единственный!
Наслаждение и страх!

И затем, в предпоследней строфе, совсем просто, чтобы закончиться яркой, как озарение, строчкой:

Я тебя в беспечной младости
Не берег и не ценил,
Лишь сейчас, и то без радости,
Огорченно полюбил.

«Огорченно полюбил». Не знаю, как ценители недоступного, но ценители подлинного в поэзии мимо этого не пройдут.

Как и мимо другого прекрасного в книжке.

Л. Ржевский

Н. ГУМИЛЕВ — Собрание сочинений в четырех томах. Под редакцией проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Том первый: стихи 1903-1915 гг. Изд. кн. магазина В. Камкина. Вашингтон, 1962.

Как бы не относиться к творчеству Гумилева, появление собрания его сочинений нельзя не приветствовать. Впервые — через сорок с небольшим лет после трагической смерти поэта — сделана попытка собрать воедино его творческое наследие. Огромная заслуга в этой трудной и кропотливой работе принадлежит двум русским литературоведам, в «послужном списке» которых уже значатся издания сочинений Пастернака, Мандельштама, Клюева, Цветаевой. В условиях, в которых им приходится собирать необходимые для издания материалы, — вдали от архивов и российских книгохранилищ, — работа, проделанная этими двумя влюбленными в литературу исследователями — иногда сообща, иногда каждым в отдельности — поистине достойна преклонения. Даже если иной раз можно спорить с ними и не всегда соглашаться с их текстологическими установками, нельзя не воздать должного их работоспособности и усидчивости. Одновременно надо поблагодарить их за предо-

ставление читателю почти полных собраний сочинений ряда значительных поэтов нашего века, произведения которых в Советском Союзе либо преданы остракизму и не переиздаются, либо — в лучшем случае — появляются в виде небольших однотомников с выбором более или менее произвольным.

Предпринятое теперь Струве и Филипповым собрание сочинений Гумилева тем более своевременно, что произведений его на книжном рынке не найти ни «там», ни здесь, — новое издание позволит как бы поновому подойти к его творчеству, заново определить, какое место он занимает на русском Парнасе в результате той общей переоценки литературных (да и всех прочих) ценностей, которая происходит на наших глазах.

Трагическая гибель Гумилева была причиной того, что ореол мученичества, который естественно возник вокруг его биографии, в какой-то мере распространялся и на его творческое наследие. В представлении широкого круга читателей, не имевших возможности ознакомиться с большинством его текстов (регенсбургское издание так неудовлетворительно, что на него лучше не ссылаться), поэзия Гумилева казалась настолько неотделимой от его биографии, что объективная ее оценка делалась почти невозможной.

С выходом собрания его сочинений это изменится и уже не «по памяти», а на основании текстов можно будет ответить на вопрос, выдержало ли творчество Гумилева испытание времени. Здесь надлежит оговориться: пока вышел из печати только первый том, содержащий только стихи, написанные до 1915 года. Хотя в него вошли уже такие нашумевшие в свое время сборники, собственно создавшие Гумилеву поэтическое имя, как «Чужое небо» и «Колчан», все же без «Огненного столпа» Гумилев — еще не Гумилев и выработать окончательное о нем мнение по этим первым сборникам было бы почти равносильно тому, чтобы пытаться судить о поэзии Лермонтова, не учитывая его стихов последних лет. Тем не менее какие-то отрывочные выводы первый том его сочинений позволяет сделать, потому что в нем уже заложено то, что в дальнейшем только углублялось и, если можно так выразиться, «взросло», приобретая большее техническое совершенство.

В знаменитой статье «Что такое искусство» Толстой с некоторой издевкой цитирует Малларме, который утверждал, что «в поэзии всегда должна быть загадка». «В этом цель литературы, — говорил далее Малларме, — и нет у нее никакой другой, как вызывать образы». Для людей, поэтический вкус которых воспитывался не только на классиках, но и на символизме, на Блоке, отчасти на Анненском, поэтическое произведение, лишенное известной двупланности, не может подняться выше какого-то ограниченного уровня. Если за строками того или иного поэтического произведения нельзя ничего угадать, то — каким бы талантливым оно не было в словесном отношении — оно едва ли может быть причислено к подлинной поэзии. Все это, конечно, прописные ис-

тины, которые чуть ли ни ежедневно находят свое подтверждение в том стихотворном потоке, который наблюдается в Советском Союзе (а отчасти и за рубежом) и где — совершенно независимо от того, нравится или нет неизбежная теперь политическая окраска стиха — технические достижения и версификаторские способности автора никак не уравновешивают поэтической ценности его произведений, не влияют на их удельный вес. Все такого рода произведения плоски именно потому, что не вызывают у читателя ни образов, ни ассоциаций.

Подходя к раннему творчеству Гумилева именно с этой точки зрения, можно убедиться, что он как раз принадлежит к числу тех поэтов, которые ставить «загадки» в своих стихах почти не стремились. Для него — во всяком случае до «Огненного столпа» — мир замкнут в трех измерениях. Вместе с тем он хочет заставить своих читателей поверить (не всегда с достаточной убедительностью), что этот мир, который его окружает, малоинтересен. От него поэт просто-напросто отгораживается, утверждая, что он —

«... как некими гигантами,
Торжественными фолиантами
От вольной жизни заперт в нишу...».

Жизни он, по его признанию, не видит и не слышит, всему предпочитая красиво-звучные слова, даже если ради них приходилось ему жертвовать музыкальным содержанием.

Блок писал, что в стихах Гумилева было «что-то холодное и иностранное», а Горький, поддакивая Блоку и упрощая его, воздавая должное таланту Гумилева, говорил про него: «Жаль только — не русский он писатель». Можно было бы добавить к этим, на первый взгляд неожиданным, суждениям, что Гумилев — едва ли не до конца своих дней — был не столько «акмеистом» (кстати сказать, понятие это настолько расплывчато, что ослабивать его вообще нет смысла), сколько русским «парнасцем», русским, более поздним, более живым сколком с Леконт де Лиль («креола с лебединой душой», по слову самого Гумилева) — поэта, действительно, блестящего, слишком блестящего, слишком изысканного, но холодного, проповедовавшего большие темы и точно кочевавшего одновременно и по страницам истории, и по географическому атласу. Леконт де Лиль вместе с Теофилом Готье заразили Гумилева поклонением Музе дальних странствий, любовью к пышным словам, к романтическим именам, подсказали ему, что те люди, образы которых он создает в своих стихах, могут жить всецело по капризам их создателя. Следствием такого «избирательного сродства» оказалось, что Гумилев по очереди воображал себя рыцарем, паладином, конквистадором (любил не только этот образ, но как будто и само звучание слова). Однако, при всем его увлечении героикой (какие бы формы эта героика не принимала) в творчестве Гумилева постоянно ощущалось что-то мальчишеское. «Монтигомо-Ястребиный коготь» никогда полностью не покидал его.

Теперь, читая ранние стихи Гумилева, нельзя даже предполагать, что тяга к пышности могла быть у него неискренней. Он охотно и, вероятно, с чистым сердцем верил, что где-то в «великолепной Бассоре» (в действительности, вероятно, пыльно-провинциальном и затхлом арабском портовом городке) сохранился стиль жизни эпохи Синдбада, эпохи сказок «1001 ночи». Даже в более позднем «Колчане» отличные, чеканные стихи о войне, и они не вполне лишены какой-то внешней декоративности, здесь и там таят в себе крупницы театральности. И это позволяет думать, что даже его добровольчество, его уход на войну, который, конечно, был актом чистого патриотизма, в чем сомневаться не приходится, был в то же время и своего рода данью преследовавшей поэта Музе дальних странствий. Отсюда идеализация нечеловеческих условий современной войны, ее прославление. Войну Гумилев воспринимал, как мне представляется после чтения его военных стихов, не столько религиозно (как на этом настаивал его друг — поэт Николай Оцуп), сколько как новое «приключение» в ряду тех, которые — по стопам Рэмбо — вели его к берегам Красного моря, в Джибути, в абиссинские дебри.

Блок говорил, что «надо писать только такие стихи, которые нельзя не написать»; вероятно, и Пастернак не задумываясь подписался бы под этим требованием. Но именно в этом — программном — высказывании Блока и открывается та пропасть, которая отделяет Блока от Гумилева — от Гумилева автора статьи «Анатомия стихотворения» и поэта, для которого тема была чем-то второстепенным или, точнее, для которого любая тема могла быть использована для создания звонких, ярких, умелых, часто незабываемых строк; от Гумилева, который, перелагая Готье, писал:

Созданье тем прекрасней,
Чем взятый материал
Бесстрастней —
Стих, мрамор иль металл.

Все это, конечно, не умаляет крупных поэтических достоинств Гумилева, имя которого не вычеркнуть из истории русской поэзии первой четверти XX века; не исключает того, что таким стихотворениям, как, например, «Памяти Анненского» («К таким неожиданным и певучим бредням») или «Из логова змиева» (и многим другим) место в любой поэтической антологии. Вопрос сейчас лишь в том, не послужит ли гумилевская бравадность, приподнятость его тона, его словесные изыски и экскурсы в области уже далекие от нас, не столько по времени, сколько по духу, помехой к тому, чтобы стать популярным среди читателей тех поколений, которые о стихах Гумилева знали больше по насльпшке, а с самой эпохой Гумилева могут знакомиться только по книгам, в подавляющем большинстве случаев весьма небеспристрастным. Внимательное чтение первого тома его сочинений эти сомнения только подкрепляет.

А. Б.

СБОРНИК СТАТЕЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ТВОРЧЕСТВУ Б. Л. ПАСТЕРНАКА. Институт по изучению СССР. Исследования и материалы. Мюнхен, 1962.

Пастернаковедение, как некая самостоятельная научная дисциплина — одно из самых молодых ответвлений русской литературной критики. Но судьба этой отрасли русского литературоведения поистине необыкновенна. Нет, пожалуй, ни одного русского классика — включая Пушкина, Толстого или Достоевского — которому на самых различных языках было бы посвящено такое количество книг, статей, газетных и журнальных заметок, как Пастернаку. Объясняется это в известной степени тем, что изучение творчества этого выдающегося русского поэта не всегда вызывалось одним только литературным к нему интересом. Это обстоятельство и стало причиной того, что в потоке пастернаковедческих изысканий упор не всегда делается на основное и самое ценное в творчестве поэта. Так, например, в иностранной критической литературе по вполне очевидным причинам меньше внимания уделяется стихотворному наследию Пастернака, чем, скажем, его роману. Одновременно с этим, немало авторов, писавших о Пастернаке, не ставило своей прямой целью исследование его творчества под каким-нибудь определенным углом, а взамен этого старалось разгадать и — каждый по-своему — интерпретировать его символику, читать его так сказать «между строк» или выяснять, кто именно мог быть прототипом того или иного из его героев.

Конечно, все это более или менее естественно, если принять во внимание, что сочетание у Пастернака природного косноязычия с характерным для него приемом сложного наложения и нанизывания образов и параллельных метафор, действительно, дает богатые возможности для самого разнообразного толкования многих его поэтических текстов. Но, вместе с тем, такая попытка расшифровки действительных, а еще чаще мнимых, пастернаковских криптограмм не только доходит до явных курьезов, но иной раз мешает читателю распознать подлинное лицо поэта, затемняет его «почерк». Для критика нет, вероятно, ничего более опасного, как чрезмерное нажимание педалей или превращение критики в публицистику.

Всех этих рифов в общем удалось избежать авторам сборника статей, посвященных Пастернаку, выпущенному недавно мюнхенским институтом по изучению СССР. Сборник этот, по существу — запоздалый венок на могилу Пастернака. В подходе к творчеству поэта участники сборника пользовались полной свободой, будучи объединены только общим им всем преклонением перед его творчеством.

Всех статей, включенных в сборник, за недостатком места не перечислить, но особо хотелось бы выделить большую работу Л. Ржевского, посвященную языку и стилю «Доктора Живаго» — романа-притчи, как его определяет Ржевский. В разросшейся пастернаковской библиогра-

фии эта работа, исследующая особенности пастернаковского словаря и типы его синтаксическо-стилевых конструкций, одна из немногих ценных в научном отношении. В порядке придирки можно было бы поставить Ржевскому в укор известную сухость изложения и терминологическую перегруженность. Впрочем, это почти неизбежно, поскольку в своем исследовании автор как бы ограничивается формалистическим подходом. Но и он отходит от такого «академизма» к концу исследования, когда ему приходится анализировать философски-идейную сторону романа. Кстати, следовало бы отметить поставленную Ржевским, но им еще не до конца разработанную тему — «Блок и Пастернак».

Научный интерес представляют также статьи И. Бушман о ранней лирике Пастернака и о Пастернаке и Рильке. Бушман настаивает на невозможности включения Пастернака в какую-либо из существовавших в его время литературных школ или группировок. Вместе с тем на примере Пастернака обосновывает правильную, хоть на первый взгляд и несколько парадоксальную, мысль о том, что обращение к иностранным источникам приносит поэтам максимальную самобытность, оберегая их от эпигонства. С этой точки зрения особенно знаменательны частые переключки между молодым Пастернаком и Рильке.

По-иному примечательна статья Ф. Степуна, который в философском плане рассматривает «индивидуальную единственность» Пастернака на общем фоне современной ему литературной жизни. Степун объясняет значимость «Доктора Живаго» тем, что этот роман написан необычайно зорким человеком, лишенным каких бы то ни было идеологически-политических точек зрения. Другими словами, аполитичность (вероятно, не столько внепартийность, сколько надпартийность) Пастернака усиливает трагедийность его романа.

В. Франк во вдумчивой статье «Водяной знак» старается доказать, что родной элемент Пастернака — дождь, который в пастернаковской мифологии играет не меньшую роль, чем ночь у Тютчева. Наблюдение любопытное, хоть и несколько спорное, несмотря на обилие подобранных Франком цитат.

Интересны текстологические и библиографические заметки Г. Струве, опубликовавшего также в сборнике короткий прозаический текст Пастернака, не вошедший в трехтомное собрание его сочинений. В статье Арк. Гаева мы находим ряд отрывочных данных, касающихся биографии поэта. Н. А. Поплюйко-Анатольева пишет о «философских элементах» в творчестве Пастернака.

В заключение мне хотелось бы обратить внимание читателей на статью Д. Оболенского о «стихах доктора Живаго». Оболенский дает глубокий анализ соотношения этих стихов, формально составляющих семнадцатую часть романа, с общим его содержанием. Оболенский доказывает, что в этих двадцати пяти стихотворениях, в поэтической форме, предельно сжатой по сравнению с многостраничной прозаической частью

романа, в еще более глубоком плане раскрываются три основных темы романа: тема природы, тема любви и размышления о смысле и цели жизни. В конечном итоге, как подчеркивает Оболенский, вся история Юрия Живаго освещена словами «еще не умрет». Эта евангельская истина, непосредственно отраженная в стихах Живаго-Пастернака, а в преломленном свете в самом романе, в каком-то смысле является его лейтмотивом.

Вероятно, это единственная из пастернаковских криптограмм, разгадка которой едва ли может вызывать сомнения. Вместе с тем, эти же слова могли бы, собственно, быть поставлены эпитафией ко всему сборнику статей, посвященных личности и творчеству замечательного современного поэта — Бориса Леонидовича Пастернака. В большей или меньшей степени все статьи сборника откликаются именно на них.

А. Б.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Стр.

ПОЭЗИЯ — ПРОЗА

Д. КЛЕНОВСКИЙ: Стихи	3
БОР. ЗАЙЦЕВ: Молодость — Белый	6
ИРИНА ОДОЕВЦЕВА: Стихи	18
Л. РЖЕВСКИЙ: Начало романа	23
ИВАН ЕЛАГИН: Поэма без названия	59
СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ: Стихи	65
К. ПОМЕРАНЦЕВ: Итальянские негативы	69
СТРАННИК: Стихи	114
ЯЛЬМАР СЕДЕРБЕРГ: Шуба	121
НОННА БЕЛАВИНА: Стихи	125
ИРАИДА ЛЕГКАЯ: Стихи	127
* * * Василий Теркин на том свете	129
ИЗ ИНОСТРАННОЙ САТИРЫ	145

ЛИТЕРАТУРА — ИСКУССТВО

ГЕОРГИЙ СТУКОВ: Новое о судьбе О. Мандельштама	150
ФЕДОР СТЕПУН: Художник свободной России	160
ДМИТРИЙ СОРОКИН: Наполеон в творчестве Пушкина	165
ГЛЕБ СТРУВЕ: Об одном стихотворении С. Соловьева	179
ВИКТОР ФРАНК: Мичиганский Пастернак	185
БОРИС ФИЛИППОВ: Страстное письмо с неверным адресом	192

ПОЛИТИКА — КУЛЬТУРА

Н. ОТРАДИН: Россия и объединенная Европа	212
И. А. КУРГАНОВ: Социалистические государства и национал-коммунизм	228
П. ШЕЛЕСТОВ: Усеченная диалектика	249
А. Д. АЙЕР: Прорыв диалектического занавеса	266

Г. КРУГОВОЙ: Пути русской мессианской идеи	271
Н. ПОЛТОРАЦКИЙ: «Вехи» и русская интеллигенция	292
Н. ОСИПОВ: Отечественная война	305
Л. ЗАНДЕР: О Ф. А. Степуне и некоторых его книгах	318
ЛЕВ ШЕСТОВ: Платон	341

ДОКУМЕНТЫ — ВОСПОМИНАНИЯ

Переписка С. Франка и Вяч. Иванова	357
В. ЗУБОВ: Институт истории искусств	370
ГАЙ РЕПИН: Пенаты	392
В МИРЕ КНИГ: Федор Степун — «Встречи»; Сергей Шаршун — «Долго- ликов»; Д. Кленовский — «Ухолящие паруса»; Н. Гуми- лев — Собрание сочинений; Сборник статей, посвящен- ных творчеству Б. Л. Пастернака	412

В этой книге восемь иллюстраций

« М О С Т Ы »
А Л Ь М А Н А Х
ИЗ-ВО ЦОПЭ
MUENCHEN 2
LINPRUNSTR 11
G E R M A N Y